



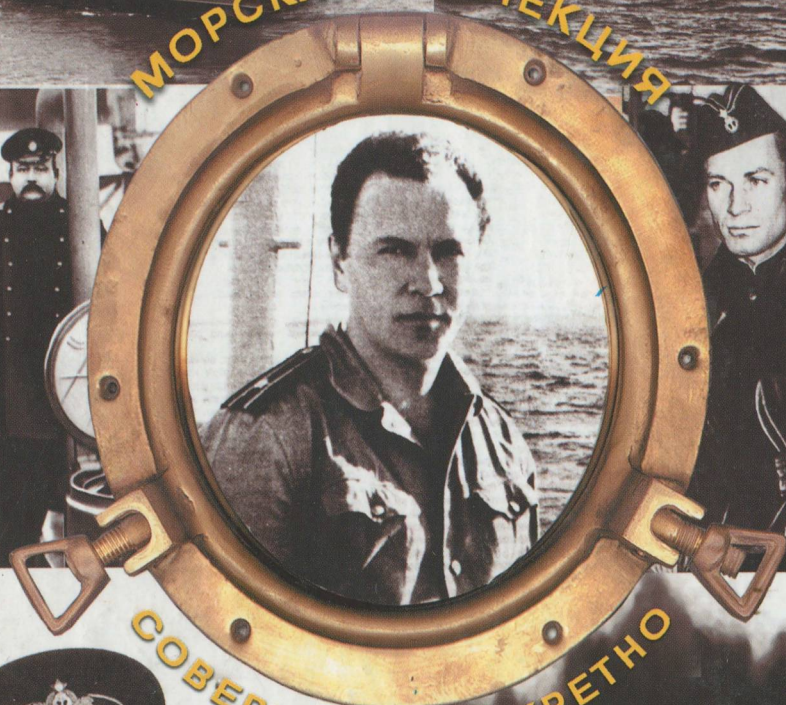
Публикация книги на сайте
библиотеки появилась благодаря
- Михаилу Котлярову.
forum.vgd.ru (mkotlyarov).

book-olds.ru

68.54
4748

НИКОЛАЙ ЧЕРКАШИН

МОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

АВАНТЮРЫ ОТКРЫТОГО МОРЯ



МОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

НИКОЛАЙ ЧЕРКАШИН

АВАНТЮРЫ ОТКРЫТОГО МОРЯ

МОСКВА 2004

УДК 08
ББК 84-4/68.54
Ч 483

Художник *Алексей Андреев*

Автор выражает благодарность
капитану 2-го ранга
Андрею Геннадьевичу БАБУРОВУ
и капитану 1-го ранга
Владимиру Александровичу СЕМЕНОВУ
за поддержку в издании этой книги

В книгу вошли фотоиллюстрации
из частных собраний, Российского фонда культуры,
фототеки Центрального Военно-Морского музея
и Центрального музея Вооруженных Сил РФ.

Черкашин Н.А.

Ч 483 **Авантюры открытого моря — М.: Совершенно секретно, 2004. — 384 с., 16 л. ил. на вкл.**

Угон из итальянского порта русской подводной лодки в 1914 году, попытка взорвать крейсер «Аврора» в историческую ночь 25 октября 1917 года, одиссея польской подводной лодки «Орел» в годы второй мировой войны, мятеж на советском корабле «Сторожевой» в 1975 году — вот неполный перечень военно-морских авантур XX века, о которых рассказывает известный писатель-маринист Н. Черкашин, сам в прошлом подводник, в своей пятой книге «Морской коллекции» издательства «Совершенно секретно».

Книга проиллюстрирована уникальными фотографиями, большая часть которых публикуется впервые.

ISBN 5-89048-128-2

**УДК 08
ББК 84-4/68.54**

© ООО «Совершенно секретно», 2004

*В слове «авантюра» нет ничего предосудительного.
В изначальном смысле «авантюра» — опасное
приключение.*

*В таком понимании вся история мореплавания —
это трехтысячелетняя авантюра.*

*В двадцатом веке это слово стало означать
опасное предприятие с минимальными шансами
на успех.*

*И таких предприятий в минувшем веке хватало...
О них и пойдет речь.*

АВАНТЮРЫ РУССКОГО ФЛОТА

ПО СЛЕДАМ «СВЯТОГО ГЕОРГИЯ»

Люби далекий парус корабля.

Максимилиан Волошин

СТАРАЯ СЕНСАЦИЯ

Для меня эта история началась в разгар «перестройки» в Москве, на книжном кладбище близ Преображенского рынка. Сторож районного склада макулатуры разрешил порыться в горе книг, журналов, газет, сданных в обмен на «Французскую волчицу» или «Черного консула».

Я и подумать не мог, что там, за складским забором, под мелким осенним дождичком, поиск книжных диковинок, по недомыслию принесенных в жертву «Волчице», обернется для меня событиями куда более увлекательными, чем интриги французского двора.

Дома, разбирая находки — подмоченный том «Морской гигиены», «Справочник по реактивным самолетам» и бесплатное приложение к газете «Рабочая Москва» с повестью Новикова-Прибоя «Соленая купель», — я обнаружил и кусок дореволюционной газеты с оторванным названием. Внимание мое привлекла маленькая заметка собственного корреспондента Петроградского телеграфного агентства в Риме, датированная 23 сентября 1914 года:

«С судостроительной верфи «Фиат» в Специи угнана подводная лодка, строящаяся по заказу русского флота. Похитителем является отставной итальянский морской офицер Беллони, известный своим франкофильством и русофильством.

Им оставлено на имя правления верфи письмо, в котором он просит отложить окончательное суждение о его поступке, обещая прислать объяснение из первого же порта. Знающие его лица говорят, что Беллони спокойный, уравновешенный человек. Правление верфи, как это ни странно, узнало о пропаже только спустя 8 часов. Итальянское правительство открыло по этому делу следствие».

Заметка обрывалась, как бытылочное письмо в жюль-верновском романе, заставляя гадать, домысливать... Прислал ли Беллони объяснение своему поступку «из первого же порта»? Зачем и куда угнал итальянец русскую подводную лодку? Да и чем кончилась вся эта необычная история?

Видимо, в последующих номерах газеты были новые сообщения корреспондента ПТА... Вспоминаю: этот обрывок я наудачу извлек из картонной коробки с надписью «Вермут». Коробка осталась в левом углу навеса, рядом с прессовочным станком.

Утром заглядываю на склад. Коробка на месте. Роюсь в кипе старых «Работниц»... Чьи-то медицинские конспекты в ветхих газетных обложках. Вот с этого я оборвал клоч с заметкой... Бережно снимаю одну обертку, другую... Удача почти невероятная! В уголке газетной полосы читаю: «К угону русской подводной лодки. Рим, 28/9 (Соб. корр. ПТА). Отставной мичман Анжелло Беллони, угнавший с верфи «Фиат» подводную лодку, строящуюся для русского флота, заявил о своем намерении поднять на ней российский флаг и вступить в войну против Германии на стороне Российской империи».

Старая сенсация сохранила свой заряд до наших дней. Шутка ли — угнать подводную лодку?! Не самолет, не танк — подводный корабль. Впрочем, в более поздние времена угоняли и подлодки. Последняя попытка была сделана несколько лет назад в Сан-Франциско. Группа неизвестных пыталась увести в море подводный атомоход, чтобы произвести ракетный залп по Атлантическому побережью США.

Но это политический гангстеризм, авантюра на грани безумия.

Поступок же Беллони при всей своей сумасбродности, бесспорно, был совершен из лучших побуждений. Можно понять молодого офицера, наделенного к тому же южным темпераментом: Россия ведет борьбу с заклятым врагом Италии — Австро-Венгерской империей, а правительство родной страны всеми мерами пытается сохранить позорный — в глазах рвущегося в бой мичмана — нейтралитет. О, он сумеет преподать хороший урок — должно быть, казалось Беллони — своим адмиралам, своему правительству!

Я невольно проникся симпатией к этому дерзкому моряку. Видимо, характерец у него был еще тот, если его в мичманском звании перевели в запас и отправили подальше от боевого флота — на судостроительный завод.

Наверное, вся эта история так бы и осталась для меня курьезом, забытой сенсацией, если бы через неделю мне не выпала командировка в Италию — поход в Средиземное море с отрядом балтийских кораблей.

Вообще-то узнавать о судьбе Анжелло Беллони и его подводной лодки надо было именно в Специи, где строилась лодка, но командировка предусматривала посещение только двух итальянских городов — Ливорно и Флоренции. Спрашивать в чужой стране

наугад: «А не знаете ли вы человека, жившего полвека назад?» — дело куда как безнадежное. Единственное место в Ливорно, где могли хоть что-то слышать об истории с угоном русской субмарины, — это судостроительная верфь «Орландо».

...Выгадав время поближе к концу рабочей смены, прошу шофера остановиться у ворот судоверфи. Со мной наш переводчик. Выбираем в потоке рабочих самых пожилых. Вот, кажется, этот, в синем комбинезоне, с висками, заросшими серебряным волосом.

— «Фиат»? — переспросил рабочий переводчика, — Беллони? Угон лодки?

По выражению лица было видно, что обо всем этом мой собеседник слышит первый раз. Но уходить просто так он не собирался.

— Витторио! — окликнул он из толпы высокого старика в кепи с длиннющим козырьком. И пока старик пробирался к нам, наш новый знакомый рассказал, что Витторио еще до войны — второй мировой, разумеется, — строил корабли по русским, то есть по советским, заказам и что знаменитый лидер черноморских эсминцев «Ташкент» спущен именно здесь, со стапелей «Орландо».

Витторио тоже ничего не знал о давнем событии, но он оставил еще нескольких своих коллег, и вскоре возле нас собралось довольно шумное общество. На меня поглядывали с любопытством и чуточку сочувственно, так, как будто это у меня лично угнали семьдесят лет назад подводную лодку.

— Беллони, Беллони? — повторялось на все лады. — Специя, «Фиат»...

И все пожимали плечами.

Ничего не оставалось, как распрощаться и поблагодарить всех по меньшей мере за отзывчивость, за готовность помочь... Мы возвращались в порт пешком — до стоянки нашего корабля рукой было подать, как у памятника «Четырем маврам» нас нагнал чернокудрый парень в полосатой майке и что-то быстро-быстро стал говорить переводчику. Тот достал блокнот, и парень начертил в нем схему со стрелками.

— Он говорит, — пояснил переводчик, — что какой-то Беллони, старый-престарый старик, живет во Флоренции, и нарисовал, как его отыскать.

Это была слишком невероятная удача, чтобы в нее можно было поверить. Ну, пусть это не сам Беллони, а в лучшем случае кто-то из его родственников, все равно ведь что-то можно будет узнать.

Я с трудом дождался следующего дня, когда огромный автобус повез наших матросов на экскурсию в город Данте и Микеланджело.

Во Флоренции, улучив момент, мы с сотрудником нашего консульства, которого тоже заинтересовала история с подводной лод-

кой, разыскивали дом, указанный в блокноте, поднялись по железной лестнице — площадки ее выходили во двор наподобие балконов — на самый верхний этаж и там, на двери с искомым номером, нажали рычажок старого велосипедного звонка, привернутого прямо к ручке.

Дверь открыла пожилая черноволосая женщина в пластиковом переднике. Узнав, что нам нужен Беллони, она провела нас к отцу — сухонькому лысому старцу, который, несмотря на свои восемьдесят лет, сохранил и блеск в глазах, и ясную память.

С первых же фраз выяснилось, что Уго Беллони, так звали хозяина комнаты, никакого отношения к своему однофамильцу Анжелло Беллони не имеет. Более того, в их роду никогда не было моряков, все мужчины занимались стекольным ремеслом. Лично он сам, Уго Беллони, мастер высшего класса по шлифовке линз и прочих оптических деталей. И уж если мы, русские, интересуемся «Сан-Джорджио» — так, сказал он, называлась подводная лодка, строившаяся для России, — то он может сообщить, что перед первой мировой войной их фирма «Оффичине Галелео» выпускала перископы и прожекторы по заказам русского флота. Он сам, Уго Беллони, — это было первое его самостоятельное дело — изготавливал линзы для клептоскопа подводной лодки «Сан-Джорджио», или, как называлась она поначалу, «Р-1» — «Фиат».

Увлечшись воспоминаниями, старик нарисовал нам схему клептоскопа и объяснил, чем этот оптический прибор отличается от перископа: у перископа для обзора горизонта поворачивается вся труба со вставленными в нее призмами, у клептоскопа — лишь одна оптическая головка.

Ничего больше старый мастер рассказать не мог.

Ну что ж, и это надо было считать удачей. Я видел человека, который реально соприкасался с кораблем, существовавшим для меня лишь в виде угасающего типографского текста на ломкой от времени газетной бумаге. По крайней мере теперь я знаю название подводной лодки — «Сан-Джорджио».

Лиха беда начало! Квартирка старого оптика на флорентийской улочке была первой вехой на бесследном теперь уже пути «Сан-Джорджио» и его канувшей в Лету команды.

Еду, еду, следу нету... Это про лодку. Любую. А про подводную?.. Но есть еще два моря, в которых следы кораблей живут много дольше, чем кильватерная струя. Первое — море бумажное: валы отчетов, воспоминаний, газетных статей, архивных документов, морских карт, книг... Второе — память рода людского, живая память очевидцев и участников, память видевших. Если в первом еще есть лоцманская служба — библиографы и архивариусы, то

второе — стихийно и непредрекаемо. Тут вся надежда на цепочку воспоминаний, на то, что она не прервется, когда один называет другого...

ПОДРУЧНЫЙ «ЧЕРНОГО КНЯЗЯ»

На следующий день после визита к Уго Беллони в ливорненской военно-морской академии состоялся прием советских моряков. Надо сказать, что это единственное в Италии учебное заведение, которое готовит офицеров для военно-морского флота.

В больших прохладных залах, сервированных а-ля фуршет, итальянские гардемарины угощали калининградских курсантов пиццей и кьянти. То тут, то там возникали группки, которые пытались преодолеть языковой барьер с помощью английских фраз, мимики и жестов.

Моим соседом оказался один из преподавателей академии пожилой тененто ди фрегатто¹. Он попивал свое кьянти сам по себе, ничуть не проявляя итальянской живости и общительности. Чтобы не выглядеть таким же букой, я задал ему несколько праздных вопросов, на которые он ответил с официальной вежливостью.

Я спросил его, слышал ли он что-нибудь о «Сан-Джорджио».

— «Сан-Джорджио»? — переспросил тененто ди фрегатто. — Разумеется. Это учебный корабль нашей академии.

У меня прыгнуло сердце: неужели подлодка сохранилась?!

— Подводный корабль? — уточнил я.

— Нет, надводный. Он был построен в сорок третьем году.

Про подводную лодку «Сан-Джорджио» мой собеседник ничего не слышал, что было вполне понятно. События в Специи произошли тогда, когда тененто ди фрегатто еще не было на свете. Но едва я назвал имя Анжелло Беллони, лицо офицера оживилось:

— О, вы слыхали о нашем *padrino*²?! Да-да, мне посчастливилось застать старика. В сорок втором я был у него курсантом. Правда, Беллони оглох, почти ничего не слышал, но в подводном деле соображал за троих. Синьор Боргезе его очень ценил.

Так я узнал, что Беллони, некогда экспансивный мичман, с годами остепенился и стал изобретателем в области подводного плавания. Он предложил новый тип гидрокостюма, строил карликовую подводную лодку для высадки подводных диверсантов. С началом второй мировой войны Беллони, оглохший в экспери-

¹ Капитан 2-го ранга.

² Дедушка.

ментах с новым снаряжением, был назначен руководителем «Подводного центра», затем возглавлял школу боевых пловцов, находившуюся здесь, в Ливорно.

Много позже я нашел всему этому подтверждение в мемуарах «черного князя» — главаря подводных диверсантов итальянских ВМС Валерио Боргезе.

Больше всего меня удручило то, что Беллони работал у Боргезе и на Боргезе, на его «людей-лягушек», водителей человекоуправляемых торпед. Разумеется, он был просто специалистом, изобретателем «вне политики», он был солдатом, не обсуждающим приказов, как сказал бы о нем адвокат, окажись Анжелло Беллони на скамье военных преступников. Но престарелый изобретатель и его патрон князь Валерио Боргезе, отправивший на дно с помощью магнитных и прочих мин не один английский корабль, ушли от правосудия союзников куда как легко.

После приема в актовом зале нас провели по академии.

Академическая башня с часами внесена в лоции Лигурийского моря как навигационный ориентир. Море рядом. Но мачты с подвязанными парусами — они вздымаются над крышей учебного корпуса — неколебимы ни волной, ни ветром. Старая баркентина врыта в землю по фалышборт и превращена в наглядное пособие по морской практике.

Гид о чем-то рассказывает, а я никак не могу отделаться от мысли, что по этим вот плитам шагал главный подводный пират Средиземноморья князь Валерио Боргезе, в этих благочестивых стенах он был вскормлен и воспитан.

Головорезы Боргезе — звучит почти в рифму, — водители человекоуправляемых торпед, топили английские корабли и в Александрии, и на Мальте, и в Гибралтаре... Как могла родиться дьявольская идея человекоторпеды под таким щедрым солнцем, в такой жизнерадостной стране? Но ведь и картины Дантова ада родились на этой земле.

Входим в церковь военно-морской академии, встроенную в учебный корпус. Небольшой зал из желто-кофейного мрамора. Цветные витражи с парусниками. В алтарных окнах — изображения крестов с приросшими книзу якорными лапами. Якорные кресты или крестовые якоря.

В красных лампадах бьется живой огонь. На правой стене — барельеф святой Варвары, покровительницы оружия на море. На левой — огромная мраморная карта Средиземного и Черного морей. На ней помечены все итальянские корабли, погибшие в обеих мировых войнах. Возле Крыма несколько черных значков — катера диверсантской флотилии МАС, уничтоженные защитни-

ками Одессы и Севастополя. На мраморных досках — фамилии всех погибших офицеров.

Сюда, в легкий полумрак и благоговейную тишину, доносятся сквозь нетолстую алтарную переборку вопли спортзала.

Через стенку, в аудиторном классе, другая мемориальная карта: «Корабли, потопленные итальянцами». Возле Крымского полуострова несколько пометок: «Подводная лодка типа «Декабрист», «Подводная лодка типа «Щука»... И странно и больно видеть родные слова, выписанные чужими буквами да еще на такой карте...

Гид бесстрастно напоминает, что в Черном море во время прошлой войны действовали шесть итальянских подводных лодок. Но самое интересное открылось мне в зале гардемаринской столовой. Взглянув на две большие картины, висевшие по соседству — у входа, я уже не смог от них отойти.

На одном полотне был изображен линкор-красавец «Джулио Чезаре», ведущий огонь на полном ходу¹. После капитуляции фашистской Италии он был передан по репарациям одной из союзнических стран. Сдача без боя такого огромного корабля, как линкор, укол весьма чувствительный для национальных амбиций. Князь Боргезе публично поклялся, что «позорное пятно с итальянского морского флага будет смыто». Через несколько лет на реэквизированном линкоре при невыясненных до сих пор обстоятельствах произошел взрыв. Корабль затонул, унеся с собой сотни жизней. Вторая картина, вывешенная рядом, как раз и подтверждала гипотезу подводной диверсии с целью «искупления национального позора». На полотне в темно-зеленых фосфоресцирующих красках глубины восседают верхом на торпеде два акванангиста. Их лица в масках. Волосы развеваются в воде, а кажется, будто они стоят дыбом от ужаса, и от этого тебя самого пробирает легкая дрожь. Оба диверсанта уже под днищем корабля. Один из них держится за бортовой киль, другой крепит зажим для мины. Зритель смотрит на них снизу вверх, будто сквозь смотровой иллюминатор субмарины, высадившей боевых пловцов и теперь парящей в глубине.

«Джулио Чезаре» погиб в одном из портов средиземноморского региона в октябре 1955 года. До сих пор причина этой крупнейшей катастрофы остается загадочной. Есть предположение, что под линкором сработала невытраленная немецкая электромагнит-

¹ Особенными подвигами «Джулио Чезаре» во вторую мировую войну не прославился. Судя по всему, на картине был запечатлен короткий бой 9 июля 1940 года возле мыса Стило с английскими кораблями, прикрывавшими конвой на Мальту. В том бою «Чезаре» получил повреждения. (*Примеч. авт.*)

ная мина. Но ведь «Чезаре» взорвался на якорной бочке, куда он становился не раз и не два...

Здесь, в Ливорно, я узнал еще один факт, который, как мне кажется, косвенно подтверждает гипотезу подводной диверсии. Дело в том, что в 1955 году ливорненская фирма «KoS.MoS» спроектировала и построила две сверхмалые подводные лодки: «SX-404» и «SX-506». Габариты последней — «SX-506» — относительно «сверхмалые»: длина 23 метра, надводное водоизмещение 70 тонн. С экипажем в пять человек эта лодка могла пройти без дозаправки 1200 миль (более двух тысяч километров). На двенадцать суток ей хватало всевозможных припасов. Главное назначение «SX-506» — переброска боевых пловцов в район диверсии. Восемь морских диверсантов располагались в центральном отсеке (всего отсеков три) на восьми складных койках. В районе высадки четверо боевых пловцов переходили в носовой отсек, облачались в легководолазное снаряжение и через шлюзовую камеру с донным люком выходили в забортное пространство, снимали с внешних подвесок семиметровые пластиковые сигары с прозрачными колпаками двухместных кабин. — подводные транспортировщики, садились в них и доставляли к выбранному в гавани кораблю 270-килограммовую мину с часовым механизмом. Транспортировщики погружались на 60 метров. Мощность аккумуляторов позволяла им нести на себе двух людей и мину со скоростью марафонца — почти сто километров (свыше 50 миль). Обозначались эти подводные «колесницы» индексами «SF2P/X60».

Спустя почти тридцать лет, все эти цифры и индексы перестали быть тайной настолько, что итальянский журнал «Ривиста мариittима» опубликовал даже фотографию сверхмалой подводной лодки «SX-506» с транспортировщиками боевых пловцов. А тогда, в 1955-м, та карликовая лодка, видимо, все же была проверена в реальной диверсии с «Джулио Чезаре», после чего фирма «KoS.MoS» построила и продала другим странам свыше шестидесяти таких лодок.

Я так подробно пишу об этом, потому что бывший командир «Сан-Джорджо» Анжелло Беллони, будучи начальником школы и руководителем научно-технического центра, имел прямое или косвенное отношение ко многим диверсиям людей Боргезе. Ведь разработка и строительство сверхмалых подлодок начались еще перед второй мировой войной.

Если в 1943-м конструктору штурмовых средств было под шестьдесят, то в 1953—1955 годах, когда создавались «SX-404» и «SX-506», ему едва перевалило за семьдесят — возраст для изобретателя вполне творческий.

Выходило так, что искал патриота, а нашел пособника головорезов Боргезе. Но я и не подозревал, что передо мной, как говорят реставраторы, «записанная картина» и что сквозь верхний малочисленный слой вот-вот проглянет новое лицо.

КТО ВЫ, ЛЕЙТЕНАНТ РИЗНИЧ?

Поздней осенью 1978 года дела занесли меня в Ригу. В одно из воскресений знакомый моряк-библиофил предложил съездить за город — порыться на книжном развале. Место, где собирались книжники, а также филателисты, нумизматы, коллекционеры открыток, значков, орденов, находилось на лесной поляне между поселками Имантой и Бабите. То было великолепное торжище! Глаза разбегались от обилия редкостных обложек, старых открыток, кляссеров с марками, монетами, этикетками... Скупое рижское солнце рябило на планшетах со значками и орденами... Я присел перед чемоданчиком старика филокартиста и стал перебирать пожелтевшие открытки с видами городов, монастырей, ландшафтов. Тут были и дореволюционные «посткарты», и зарубежные — немецкие, французские, английские... Итальянская открытка с изображением монастыря святого Георгия на севастопольском мысу Феолент задержала на секунду взгляд: «Сан-Джорджо!» Почему-то раньше не приходило в голову подобрать русский эквивалент итальянскому «Сан-Джорджо». Значит, подводная лодка Анжелло Беллони называлась «Святой Георгий». Незначительное это открытие отложилось в памяти.

В Георгиевском монастыре бывал Пушкин. Место живописнейшее. Мне посчастливилось видеть море с высоты этого крутого мыса... Открытку я купил.

Вечером мы рассматривали свои приобретения в кабинете моего друга. Я снял с полки указатель к «Морскому атласу» и наудачу просмотрел названия кораблей, начинавшихся со слова «Святой...», «Святая...».

Есть! «Святой Георгий!» Открываю нужную страницу. Несколько крупниц информации: «Русская подводная лодка... В сентябре 1917 года совершила переход из Специи в Архангельск... Входила в состав сил флотилии Северного Ледовитого океана».

Спрашиваю хозяина атласа, где бы можно было бы еще найти что-то о «Святом Георгии». Приятель порылся в своих картотеках:

— Вот где. — Посмотри прекраснейшую монографию Трусова «Подводные лодки в русском и советском флоте». Трусов — бывший машинный унтер-офицер с подлодки «Минога». Ничего более подробного о русских подводных лодках я не читал.

Монографию капитана-инженера 2-го ранга Трусова я читал уже в Москве — в военном зале Библиотеки имени Ленина. Знатоком морской литературы оказался на высоте: книга действительно изобилвала редчайшими фотографиями, чертежами, подробными сведениями о конструктивных особенностях и боевых действиях едва ли не всех субмарин русского флота. Но самой важной для меня была 242-я страница. Сжато, но емко Трусов рассказывал о поистине героическом деле, которое выпало на долю малой — прибрежного действия — подводной лодки. Но спустя три года лодка была продана военно-морскому флоту России и в 1917 году с русской командой совершила труднейший и опаснейший переход из Италии на русский Север — в Архангельск, переход вокруг Европы, через два охваченных мировой войной океана, через оперативные зоны германских подводных лодок.

Командиром этого корабля был назначен старший лейтенант Иван Ризнич.

Этот человек сразу же заслонил в моих глазах фигуру Беллони, и поиск мой, начатый в Ливорно, обещал продлиться, но уже в ином направлении.

Ризнич, Ризнич... Несколько дней фамилия эта не выходила у меня из головы.

Кого удивишь в наше время переходом вокруг Европы, когда Мировой океан изборозжен по всем широтам, высотам, глубинам, когда «Арктика» раздвинула своим форштевнем льды на самой «макушке» планеты — на Северном полюсе, когда подводные лодки, не всплывая, огибают земной шар под водой, когда Ален Бомбар переплыл Атлантический океан в надувной лодке, когда даже в ванне можно пересечь Ла-Манш?! Но я и не собирался никого удивлять. Я удивился сам. Разглядывая карту перехода, невольно наложил на маршрут «Святого Георгия» маршруты тех кораблей, на которых мне доводилось ходить из Средиземного моря на север, и понял, что видел все те же проливы, мысы, маяки, по которым определялся и старший лейтенант Ризнич.

И ясно припомнился осенний шторм в Северной Атлантике и высокий башнеподобный мостик нашей подводной лодки, затянутые в резину гидрокомбинезонов фигуры вахтенного офицера и боцмана. Оба обвязаны и принайтвлены страховочными концами к перископным тумбам. Волны перекатываются через рубку так, что подлодка скрывается на время под водой.

Мостик «Святого Георгия» много ниже, чем мостик современных океанских лодок, и я представляю, как накрывало верхнюю вахту в шторм. Удар иной волны легко ломает позвоночник при-

вязанного к рубке подводника, может приложить к лодочному железу так, что и зубы выплюнешь.

В прошлую войну штормовая волна смыла с рубки С-102 сигнальщика и вахтенного офицера. Работали дизели, рулевой в центральном посту вел лодку по курсу, но добрую четверть часа корабль шел вслепую — наверху никого не было.

Шторм для дизельной подводной лодки опасен и тем, что в сильную качку, при больших кренах и дифферентах из аккумуляторных батарей может выплеснуться электролит, и тогда субмарина лишится подводного хода. Разумеется, в жесткую непогоду подлодка может погрузиться и переждать шторм на глубине. Но в военное время любой командир пойдет на это лишь в случае крайней нужды. Он предпочтет душевыворачивающую качку зряшному расходу электроэнергии, которая жизненасущна в подводном бою.

Помимо слепого произвола стихии, «Святого Георгия» подстерегали опасности, приуроченные умами специалистов в германском морском штабе: минные поля и позиции подводных рейдеров вокруг Британских островов.

И все-таки Ризнич привел свою «малютку» в Архангельск, совершив первый в истории русского флота океанский поход на подводной лодке.

Я пытался представить себе этого человека. Какой он? Высокий? Коренастый? Черноволосый? С бородой? Веселый? Властный? Откуда он родом? Что с ним стало после семнадцатого года?

Звучная короткая фамилия напоминала другую — Дундич. Олеко Дундич. Может быть, поэтому Ризнич виделся таким же лихим и отважным, как и герой гражданской войны. Дундич — серб. Фамилия Ризнич, по всей вероятности, тоже сербская. Серб на русской морской службе? Такое вполне могло быть, если вспомнить историю балканских войн. Но, может быть, Ризнич — это сокращенное «ризничий»¹, фамилия духовного происхождения?

Проще всего было бы обратиться в Центральный государственный архив Военно-Морского Флота и посмотреть послужной список Ризнича. Но архив в Ленинграде, а как бы ни хотелось бросить все московские дела и немедленно взять билет на «Красную стрелу», надо ждать, когда в текучке дел и работ выдастся окно, хотя бы в два-три дня. Время шло, а желанное «окно» не выдавалось. Поездка в архив все переносилась и переносилась: из первоплановых дел — во второочередные, из второочередных — в третьестепенные...

¹ Ризничий — монах, заведующий в монастырях хранилищем церковной утвари.

«НЕИЗВЕСТНАЯ В ВОСТОЧНОМ КОСТЮМЕ»

Летом я часто наведываюсь в Мураново — подмосковный музей-усадьбу Баратынского и Тютчева. До Муранова от нашего Абрамцево рукой подать: можно на велосипеде доехать, можно и пешком дойти.

После морского похода в Италию я снова навестил уютный деревянный дом под теннисными липами, ходил по комнатам, где в старой бронзе, фарфоре, гобеленах застыл золотой век, в десятый, а может, в пятнадцатый раз прислушивался к рассказу экскурсовода, и уж, конечно же, не побывав я в Ливорно, ни за что бы не обратил внимания на фамилию Боргезе, упомянутую экскурсоводом между делом.

Потом, когда Инна Александровна освободилась, я попросил ее подробнее рассказать об итальянце, жившем в Муранове и состоявшем гувернером при молодом барине — Евгении Баратынском.

Судя по древности рода Боргезе (корни его уходят в эпоху императорского Рима), по его разветвленности, гувернер Баратынского — отставной наполеоновский солдат Джьяченко Боргезе — и «черный князь», командовавший флотилией подводных диверсантов, могли состоять в разноколенном родстве. Так или иначе, но в мрачной тени Валерио Боргезе мурановский гувернер предстал эдаким Билли Бонсом, который своими рассказами о морских приключениях, о прекрасной Италии, об огненных пироскафах зажег в юноше интерес к Средиземному морю. В конце концов Баратынский отправился в круиз по лазурному морю. Плавание оказалось для него роковым — сорокачетырехлетний поэт умер в Неаполе от разрыва сердца.

Фамилия Боргезе насторожила, что называется, глаз на бывлые розыски, и когда, разговорившись о Баратынском и его дружбе с Пушкиным, о друзьях великого поэта вообще, Инна Александровна достала новенькую, только что вышедшую книжку «Современники Пушкина» и я стал листать, взгляд сразу же выхватил из текста фамилию Ризнич. Под портретом то ли турчанки, то ли сербианки стояла надпись — «Амалия Ризнич». Разумеется, к командиру подводной лодки «Святой Георгий» Ивану Ризничу она никакого отношения не имела. Однофамилица, да и только. К тому же Инна Александровна сразу же предупредила, что искусствоведы ведут спор — Амалия ли Ризнич изображена на портрете. Портрет «Неизвестной в восточном костюме» (так называется картина) был написан в 30-х годах девятнадцатого века. А возлюбленная Пушкина скончалась в 1824 году. Двадцатичетырехлетний поэт увлекся красавицей итальянкой в пору одесской ссылки. Ей посвящены стихотворения «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Под небом голубым

страны своей родной...», «Для берегов отчизны дальней...». Несколько раз вспоминает он о ней и в «Евгении Онегине».

Итак, Амалия Ризнич! Кто она, откуда родом, почему у нее, итальянки, сербская фамилия? И наконец, робкая надежда, а вдруг все это имеет отношение к командиру «Святого Георгия»? Ведь фамилия очень редкая.

Еду в Москву, в музей Пушкина, спрашиваю, нет ли в фондах чего-нибудь об Амалии Ризнич. Разумеется, есть. Мне предлагают сборник пушкиноведческих материалов, выпущенный в 1927 году в Ленинграде. Открываю главу «Семья Ризнич» и переносюсь в Одессу начала прошлого века. Сразу же становится ясным, что Амалия Ризнич, в девичестве — Рипп, полуитальянка-полуавстрийка, отходит в моих поисках на второй план, а вот муж ее, Иван Стефанович Ризнич, вполне годится в деды командиру «Святого Георгия». Но это еще надо доказать...

Иван Стефанович Ризнич родился в 1792 году в Триесте, где отец его, серб из Дубровника, держал торговую контору, перешедшую позже к сыну Ивану. Молодой наследник вовсе не ограничивал круг своих интересов одной только коммерцией. Он учился в Падуанском и Берлинском университетах, знал несколько языков, собрал хорошую библиотеку, увлекался театром и итальянской оперой.

Пожив некоторое время в Вене, молодой негодичант переезжает в 1822 году в Одессу, где основывает экспедиторскую контору по хлебному экспорту. Дом Ризнича, как считают некоторые пушкинисты, и сейчас еще стоит в Одессе на улице Пастера (бывшая Херсонская) под номером пятьдесят.

Энергичный, европейски образованный коммерсант очень скоро занимает в Одессе видное положение и не случайно привлекает внимание Пушкина, с которым даже состоит в переписке. Литературоведы считают, что образ Ивана Ризнича навеял поэту стихотворные строки:

Дитя расчета и отваги,
Идет купец взглянуть на флаги,
Проведать, шлют ли небеса
Ему знакомы паруса?
Какие новые товары
Вступили нынче в карантин?
Пришли ли бочки жданных вин?
И что чума? И где пожары?
И нет ли голода, войны
Или подобной новизны?

Двадцатилетняя красавица итальянка родила ему сына Стефана, который скончался в годовалом возрасте. Заболев чахоткой, Амалия Ризнич уезжает на родину в Италию, где вскоре умирает.

Три года Иван Стефанович живет один, уходит с головой в служебные дела. За добросовестные услуги русскому государству его награждают орденом Владимира 4-й степени. Однако сердце его принадлежит сербскому народу, страдавшему под турецким игом. В 1826 году Ризнич издает на свои средства в Лейпциге книгу стихов прогрессивных поэтов-соотечественников.

В 1827 году Иван Стефанович вступает во второй брак — берет в жены графиню Полину Ржевусскую, сестру небезызвестной Эвелины Ганской, ставшей впоследствии женой Бальзака. Новобрачные переезжают из Одессы в имение графини под Винницей, в село Гопчица. Здесь Ризнич строит для местных крестьян церковь и приходскую школу. Деятельный, предприимчивый эмигрант принимает русское подданство, хлопочет о дворянстве и получает его вместе с чином статского советника и должностью старшего директора киевской конторы Коммерческого банка.

Вторая жена принесла Ризничу двух дочерей и трех сыновей. Самый младший, Иван, родился в Киеве в 1841 году. Вот он-то, надо полагать, и стал отцом Ризнича-подводника. Не хватает лишь маленького звена — даты и места рождения командира «Святого Георгия». Узнать это можно только в Ленинграде — в Центральном государственном архиве ВМФ...

ПРОДАЕТСЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

Старинное здание Центрального государственного архива Военно-Морского Флота высится по левую руку от Зимнего дворца, и то, что оно расположено в самом сердце бывшей столицы — на Дворцовой площади, — сразу же настраивает на торжественный лад. С благоговением поднимаюсь по чутунным высокосводным лестницам. Дверь читального зала тяжела, будто снята с боевой рубки линкора. Здесь, в этом доме, обращенном к вечности, спрессована история российского флота. Здесь в шелесте бумаг оживают раскаты давным-давно оттремевших залпов, встают тени великих флотоводцев и безвестных моряков, подают голоса мертвые ныне корабли, их погибшие командиры и умолкнувшие радиопередатчики... Здесь распахиваются секретные некогда досье с государственными и военными тайнами. И кто знает, сколько неожиданных открытий погребено пока в неразобранных архивных папках и связках?... Во всяком случае, история подводной лодки «Святой Георгий» приоткрылась мне с почти исчерпывающей полнотой. Я прочитал ее, как остросюжетную пьесу — с замиранием сердца. Для удобства дальнейшего рассказа выношу «действующих лиц» в отдельный список:

Адмирал И.К. Григорович — морской министр царской России.

Вице-адмирал А.И. Русин — начальник морского генерального штаба.

Дмитриев и Врангель — русские морские агенты в Италии¹.

Асвадуров — представитель фирмы «Фиат» в Петрограде.

Место действия: Рим, Специя, Корсика, Петроград. Время действия: 1914—1917 годы.

Перед первой мировой войной морской генеральный штаб, сознавая техническую отсталость русского флота, развил активную закупочную деятельность в ведущих промышленных странах.

Заказы были выданы даже на германские заводы фирмы «Крупп», которая построила для России три подводные лодки — «Карп», «Карась», «Камбала». Русский заказ оказал заметное влияние на развитие германского подводного флота. Так, параллельно с постройкой лодок для России «Крупп» начала строить улучшенную подводную лодку для германского флота.

Италия была одной из стран, в которой морское ведомство России разместило наиболее крупные заказы.

Фирма «Оффичини Галилео» во Флоренции поставляла русскому флоту перископы для подводных лодок и мощные прожекторы для морских крепостей. Долгосрочные контракты были заключены с судостроительными фирмами «Орландо и Ансальдо», а также с заводом ««Фиат» — Сан-Джорджо» в Специи, который взял обязательство построить для Черноморского флота подводную лодку водоизмещением в 700 тонн.

Надо сказать, что русские конструкторы, работавшие в подводном кораблестроении, завоевали немало приоритетов. Они, например, первыми установили на лодках дизели в качестве главного двигателя, что значительно увеличило дальность, скрытность и безопасность плавания. Крупным новшеством была постройка Невским заводом двухкорпусных подводных лодок типа «Нарвал» с водонепроницаемыми переборками, разделявшими внутренний объем на изолированные отсеки.

Эти корабли обладали высокой мореходностью и повышенной живучестью.

Итальянская подводная лодка «Фиат» была интересна русским инженерам лишь тем, что в ее конструкции удачно сочетались гидродинамические обводы подводной лодки с компоновкой двигателей надводного хода, что позволяло быстро достигать высоких скоростей.

¹ Должность, идентичная ныне должности военно-морского атташе.

В мае 1914 года был заключен контракт с обществом ««Фиат» — Сан-Джорджо» в Специи о постройке подводной лодки в 252 тонны водоизмещения. Фирма обязывалась после приемки корабля доставить его в Севастополь. Эта оговорка имела впоследствии решающее значение для судьбы подводной лодки.

Контракт предусматривал основные тактико-технические данные корабля: водоизмещение надводное 252 тонны, подводное 305 тонн.

Вооружение состояло из двух носовых торпедных аппаратов с двумя запасными торпедами. Скорость хода: надводная — 14 узлов, подводная — 9. Дальность плавания в надводном положении при скорости в 9 узлов — 1500 миль. В экипаж входили два офицера, четыре унтер-офицера, десять нижних чинов.

В боевой рубке — «наблюдательной башне» — имелись иллюминаторы для подводного наблюдения и два периклептоскопа.

За две недели до начала войны начальнику подводного плавания Главного управления кораблестроения вручили телеграмму от вице-адмирала Русина с пометкой «Весьма срочно»:

«Морской генеральный штаб ввиду возникших политических осложнений просит Ваше Превосходительство принять меры к немедленному переводу покупаемой у завода «Фиат» подводной лодки в один из ближайших французских портов впредь до выяснения положения».

26 июля 1914 года начальник генмора¹ вице-адмирал Русин получил от морского агента в Риме Дмитриева шифрограмму:

«...Исполнить приказание нельзя, т. к. выход из Специи совершенно закрыт, завод «Фиат» описан властями, подводным лодкам не разрешено погружаться даже в гавани».

31 июля агент генмора во Франции передает в Петербург:

«Дмитриев телеграфировал приказ заводу перевести подводную лодку в Виллафранку, о чем сообщено заводу. Директор мне заявил, что вывести подводную лодку из Специи без разрешения властей невозможно, что правительство ввиду нейтралитета не позволит продажу лодки нам, воюющей стране, но что завод до конца нейтралитета держит лодку в нашем распоряжении на случай соглашения с другой нейтральной страной — Испанией — об условном приобретении ею лодки с доставкой ее во Францию, где лодка может и остаться. Директор добавил, к сожалению, что у него мало надежды на успешный дальнейший ход, ибо власти уже осмотрели подводную лодку и он полагает, что ввиду ее полной готовности в случае объявления войны ее реквизируют».

¹ Генеральный морской штаб.

После соответствующих переговоров директор завода «Фиат» сообщил русскому морскому агенту в Риме, что «МИД Италии, ссылаясь на ст. 6 и 7 Гаагской конференции, указало ему, что завод может продать подводную лодку только невоюющей стране. Категоричность такого заявления ставит завод в невозможность выполнить желание русского министерства прямым и легальным путем; на нелегальный же — завод не может решиться, не желая рисковать своей репутацией и отношениями с итальянским морским министерством».

Завод просит выплатить ему половину стоимости корабля, что-бы в случае непредвиденных обстоятельств лодка юридически значилась за русским правительством.

28 августа 1914 года Русин отдал морскому агенту телеграфное распоряжение:

«Оставить лодку до конца войны в Италии. Никакой денежной платы до окончания приема лодки произведено не будет».

В тот же день он получил ответ от Дмитриева: «Директор завода просил меня дать ему 3—4 дня для обсуждения с соответствующими лицами создавшегося этой телеграммой положения и изыскания способа удовлетворения нашего требования».

Резолюция морского министра гласила: «Мы возьмем после войны, но просить не продавать ни одной державе, кроме, конечно, Италии».

4 сентября 1914 года морской агент Дмитриев уведомил морского министра телеграммой: «Завод «Фиат» согласен на предъявленные требования хранить лодку до конца войны».

Но уже на другой день — 5 сентября — начальник генмора получил из Бордо экстренную телеграмму:

«Командир порта Аяччио сообщил морскому министерству: подводная лодка, заказанная Россией заводу «Фиат», похищена итальянским мичманом запаса Анжелло Беллони без ведома фирмы и правительства, чтобы идти сражаться в Адриатическое море под флагом России или союзной державы, желающей ее купить. Подводная лодка, совершенно готовая, со штатской командой пришла под коммерческим флагом на Корсику, чтобы уведомить русское и французское правительства о своем поступке. Подводная лодка идет на Мальту ожидать решения России и в случае отказа всех союзников будет возвращена заводу. Прошу сообщить русскому правительству и просить его ответа. Дмитриев».

Ответ последовал не сразу. В генморе консультировались и совещались около двух недель, пока вице-адмирал Русин не отправил морскому агенту депешу следующего содержания:

«Похищение подводной лодки совершенно неожиданно для нас. «Фиат» имел в виду перепродать нам лодку через 3-е лицо, возможно, все подстроено «Фиатом», однако итальянец нам неизвестен. Так что не исключена возможность авантюры, предпринятой нашими врагами, хотя бы для Турции. Предложите французскому правительству перекупить лодку у нас. Цена 1 815 000 франков. Выпускать лодку с неизвестной командой не следует. Лучше задержать ее немедленно и отправить под конвоем в Тулон».

24 сентября Дмитриев докладывает начгенмору: «Французское правительство арестовало подводную лодку в Аяччио. Французский посол заявил, что она будет возвращена строителям. Итальянское правительство озабочено возможностью последствий этого нарушения нейтралитета, самое же похищение считает простым безрассудством».

25 сентября 1914 года итальянское правительство обращается к французскому с просьбой вернуть подводную лодку. Русин инструктирует своего агента в Бордо:

«Предполагаем протест Италии только формальным, и Франция ввиду войны отклонит возврат подводной лодки. Если Франция согласна выдать подводную лодку нам и если адмирал Бuede-Лапейерер согласен на участие подводной лодки в совместных действиях союзников, мы пошлем отсюда личный состав и мины».

Спустя три дня Дмитриев сообщил начгенмору подробности угона:

«В официальном заявлении мне «Фиат» отрицает причастность к краже. Объясняет припадком острого нервного возбуждения командира, увлекшегося фантастическим планом, для исполнения которого воспользовался выходом на пробу радиотелеграфной станции. Лодка еще в Аяччио. Следствие продолжается. Подробности еще не выяснены.

Франция рассматривает дело кражи подводной лодки как гражданское, предоставляя заинтересованным сторонам искать судом. Прошу сообщить, уплатило ли морское министерство что-нибудь за лодку, так как только в этом случае Россия может начать дело».

30 сентября. Секретная телеграмма русского посла из Франции: «Из объяснений со здешним МИДом выяснилось, что французское правительство во избежание щекотливых пререканий с Италией полагало бы рассматривать дело об угона нашей подводной лодки из Италии в качестве гражданского правонарушения. Если русское правительство уже внесло фирме «Фиат» часть стоимости лодки, то это дает ему право обратиться во Франции в суд секвестра...

Ввиду уже дважды предъявленного Италией требования о возмещении подводной лодки, желательно по возможности получить скорее ответ по существу настоящей телеграммы».

Чувствуя, что подводная лодка уплывает, что называется, из рук, чины генмора решаются на авантюрный шаг, смысл которого изложен в служебной записке без подписи, но, судя по почерку, принадлежавшей перу вице-адмирала Русина:

«Морской генеральный штаб опасается, что если подводная лодка «Фиат» будет возвращена в Италию, то она может попасть Турции или нашим неприятелям, ввиду этого желательно принять всяческие меры, чтобы задержать подводную лодку во Франции.

Морское министерство вошло в переговоры с представителем «Фиата», чтобы уплатить ему как бы задним числом задаток (подчеркнуто мной. — Н. Ч.) с тем, чтобы предъявить указанный иск».

В октябре же 1914 года последовало прямое указание начгенмора Русина своему агенту в Италии Врангелю:

«...Предлагаю Вам переговорить доверительно с «Фиатом», что Морское министерство готово уплатить 40 000 франков в виде задатка за лодку. Деньги будут внесены представителю фирмы в Петрограде Асвадурову условным депозитивом на его имя. «Фиат», получив телеграмму о взносе Асвадурова, должен выдать Вам временную записку о получении денег задним числом до войны в счет следуемой по контракту суммы... Позаботьтесь, чтобы форма расписки была такова, чтобы ее можно было предъявить французскому суду. Если лодка будет присуждена, будет послана команда для приема лодки, после чего «Фиат» получит остальные деньги.

Морской генеральный штаб полагает, что в случае, если суд не признает прав на лодку за Россией и вернет последнюю в Италию, итальянское правительство ввиду огласки всей истории принуждено будет иметь особый надзор за подводной лодкой и вряд ли позволит передать ее кому бы то ни было».

Странное молчание морского агента в столь критической ситуации озадачило начальника генмора и вызвало дополнительное напоминание:

«Благовольте на № 1817 ускорить переговоры и, ответ».

Врангель молчит. Сутки. Вторые. Наконец 4 октября из Рима приходит долгожданная шифровка.

«Телеграммы (обе) получены сегодня одновременно семь вечера. Первую не могу расшифровать. Термин «Альфа» не известен. Врангель».

Затем через сутки начгенмору приходит еще один тревожный — время уходит! — запрос:

«Прошу сообщить, каким ключом набрана телеграмма № 1817. Несмотря на помощь канцелярии посольства, телеграмма не разбирается. Врангель».

Только 10 октября начгенмору приходит из Рима ответ по существу: «Предполагаю отказ. Морскому министерству известно от завода, что за лодку не поступало взносов. Следствие закончено. Администрация завода привлечена к уголовному суду за действия, могущие нанести вред дружеским отношениям страны с иностранными державами. Завод привлек командира к суду за кражу собственности завода, энергично отрицая в печати причастность к замыслам. Дело получает огласку. По моим частным сведениям, министерство предполагает лодку реквизировать по возвращении. Прошу срочного ответа. Врангель».

11 октября. «Ожидаю директора завода завтра в субботу. Врангель».

В тот же день дополнительная информация от Врангеля: «Директор «Фиата» телеграфирует: ожидает лодку сегодня в Специи. Лодка в 5 вечера вышла из Аяччио».

Третья депеша, полученная в тот же день, гласила: «Лодка пришла в Специю сегодня в час дня. Врангель».

Итак, авантюра с Асвадуровым и французским гражданским судом не удалась. Генмор полагал было отказаться от заказа, не веря уже ни в какие сроки. Война приобретала затяжной характер. А после ее окончания надобность в устаревшей подводной лодке наверняка отпадет. Но события, произошедшие на морских театрах первой мировой войны, заново предрешили судьбу субмарины.

НА ФАРВАТЕРАХ МИНЫ!

Летом 1915 года на русском Севере (в Белом море) на главном морском пути, связывавшем Россию с союзниками, и прежде всего с Англией, появились немецкие мины. Открываю папку с надписью: «Дело Архангельского Контр-разведывательного отделения о минах в Белом море...» Начинается оно с вырезки из газеты «Архангельск» за 5 июля 1915 года «Мины на Белом море»: «Объявляется для сведения мореплавателей, что в горле и бассейне обнаружены плавучие мины...»

Следующий лист «Дела...» представляет секретную телеграмму из Петрограда в Архангельск подполковнику Кашинцеву от генерал-майора Бонч-Бруевича:

«По сведениям нашего великобританского военного агента, служащий по транспорту грузов в Гамбурге немецкий офицер ру-

ководит разбрасыванием мин на Белом море. Совершенно срочно примите меры».

Первыми жертвами немецких минеров пали трое поморов-рыбаков. Даже казенный язык полицейского донесения, полученного начальником Архангельского отделения контрразведки подполковником Кашинцевым, передает драму, разыгравшуюся на берегу Белого моря:

«Пристав села Кузомени Горшков донес, что в селении Пулонге наносной береговой миной разорваны на мелкие части трое крестьян и что по заявлению крестьян-промышленников Умбы замечено на море по направлению к Кандалакше подводная лодка».

29 июня 1915 года в районе Городецкого маяка взорвался на mine шедший в Архангельск финский пароход «Урания» с грузом динамита и бензина.

Печальный список пароходов, подорвавшихся на немецких минах в Белом море, рос с каждой летней неделей 1915 года.

Вслед за «Уранией» отправились на дно английские транспорты «Твейлэйт», «Друмлойсон», «Ардель», груженные углем и лесом, подорвались русская парусная шхуна «Николай» и норвежский углевоз «Лисекер», затем снова англичанин — пароход «Мадура» с русской пшеницей и льном в трюмах...

Плавучие немецкие мины наносили ощутимый ущерб российскому и союзническому мореходству на главной северной коммуникации. А тут еще в районах Ледовитого океана, прилегающих к горлу Белого моря, появились германские подводные лодки. С волнением читаю телеграмму, отбитую подполковнику Кашинцеву со Святоносского маяка 6 августа 1915 года: «Капитан пришедшего парохода «Бетти» имеет подобранного тяжело раненного человека с английского парохода «Гродно», уничтоженного германской подводной лодкой U-422. Требуется немедленная медицинская помощь».

11 августа 1915 года на стол начальника разведотдела штаба главнокомандующего 6-й армией легла такая телеграмма:

«По уверениям рыбаков-промышленников, мины эти разбросаны каким-то норвежским пароходом, идущим с грузом в Архангельск. Штабс-капитан Петров».

Этот же штабс-капитан Петров составил архангельскому генерал-губернатору обстоятельный доклад, весьма красноречиво характеризующий охрану водных районов близ Архангельска и Мурмана.

«Специально командированный в Белое море агент отделения сообщил: охраны Кольского залива абсолютно нет никакой ни на берегу, ни на море, а потому легко и безнаказанно возможна постановка мин, и пароходы, приходящие в Семеновские острова с

грузом для новостроящейся железной дороги, могут быть потоплены и загородают фарватер, чем лишат на сравнительно большое время возможности подвоза необходимых для постройки материалов и провианта рабочим.

На островах Паное у входа в горло Белого моря, по заверениям лица, хорошо осведомленного о положении на островах, возможен склад германских мин, острова эти не обследованы».

Русский консул в Финмарке Цур-Милен срочно сообщал своему шефу — министру иностранных дел Сазонову — ценную информацию, которой поделился с ним английский вице-консул в Нарвике Гэнер: «В местах появления германских подводных лодок находящимися поблизости английскими тральными пароходами был замечен в отдалении какой-то сомнительный пароход. Окрашенный в черный цвет, который, как Гэнер склонен был думать, может быть грузовым судном, имеющим на борту запас минерального топлива для снабжения им подводных лодок, представляя собой как бы плавучую базу для последних. Цур-Милен».

Угроза русскому и союзническому судоходству на Севере возросла до такой степени, что генеральный морской штаб в докладе императору Николаю II за февраль 1916 года вынужден был констатировать:

«Императорским Морским Министерством получены агентурные сведения, что наше тяжелое положение (из-за отсутствия надлежащей охраны на севере) известно неприятелю. Противнику также известно, что возле незащищенного мурманского побережья находится 20—30 судов, ждущих перехода в Архангельск.

В Кольском заливе (Александровск и Семеновы острова) сосредоточены грузы совершенно бесценные, среди которых одних только ружей свыше 700 000 штук, и удачно выполненной операцией противник может сразу уничтожить вооружение целой почти 3/4-миллионной армии».

Учитывая опасность, генмор еще 5 августа 1915 года перебросил из Вологды в Архангельск для охраны Беломорья две подводные лодки — «Дельфин» и подводную лодку № 2.

Оба корабля практически были небоеспособны и почти всю войну простояли в Архангельском порту. 3 мая 1917 года командующий флотилией Северного Ледовитого океана уведомлял генмор: «Штаб полагает считать подводные лодки «Дельфин» и № 2 непригодными для боевой службы».

В конце 1916 года появилась реальная надежда заполучить итальянскую субмарину. Завод «Фиат» построил для отечественного флота серию больших лодок, так что нужда в малых, надо полагать, отпала.

«4 декабря 1916 года. Секретно. Справка морскому министру
Морской генеральный штаб полагал бы желательным выше-
упомянутую подводную лодку по приемке ее отправить с нашим
уже личным составом на Север для защиты Кольского залива.

Для осуществления этой операции представляется наиболее
желательным назначение командиром лодки № 1 старшего лейте-
нанта Ризнича».

Резолюция морского министра: «Согласен».

В один прекрасный день сотрудница архива положила мне на
стол две тоненькие папки: вахтенный журнал подводной лодки
«Святой Георгий» и послужной список старшего лейтенанта
И. Ризнича.

Жадно листаю личное дело командира «Святого Георгия» —
фотографии нет, как нет ее в архиве вообще. Скупые анкетные дан-
ные. Первым делом ищу сведения о рождении. Вот они: «Ризнич
Иван Иванович, из дворян Киевской губернии, православный, ро-
дился 19 января 1878 года». Все сходится! И отцу в год рождения
сына было 37 лет. Выходило, что командир «Святого Георгия» вел
свой род от «пушкинского» Ризнича и что он в самом деле прихо-
дился великому французскому романисту внучатым племянником.

Испытываю почти физическое блаженство от того, что круг
замкнулся. Кажется, уже третий круг в розысках по делу «Святого
Георгия».

Читаю послужной список дальше: «Окончил Морской кадетс-
кий корпус. Действительная служба началась в 1895 году в Черно-
морском флотском экипаже. Через четыре года — вахтенный на-
чальник на эскадренном броненосце «Синоп», затем ревизор на
минном крейсере «Гридень», ревизор и водолазный офицер на
крейсере 1-го ранга «Память Меркурия».

В 1902 году — помощник начальника водолазной школы. В рус-
ско-японскую войну «за труды по обстоятельствам военного вре-
мени» награжден орденом св. Анны III степени и светло-бронзо-
вой медалью «В память 200-летия Гангутской победы».

Молодой офицер тянется к знаниям, посещает лекции Воен-
но-юридической академии.

В декабре 1907 года Ризнич круто меняет службу — переходит
в только что созданный учебный отряд подводного плавания.

Как отмечал в служебной аттестации Ризнича командир 8-го
флотского экипажа: «В службе сего офицера не было обстоя-
тельств, лишающих права на получение знака отличия беспороч-
ной службы». Тем не менее 3 июля 1908 года Ризнич был уволен в
запас. Почему?

Прежде чем найти ответ на этот вопрос, я решил съездить на родину моего героя. Может быть, там помнят его, может быть даже — но это была уж вовсе дерзкая надежда, — там живет кто-нибудь из его потомков, дальних родственников? Еду в Киев...

«Украинская энциклопедия» подсказала, где искать село Гопчица: Винницкая область, Погребищенский район, железнодорожная станция Ржевусская, река Россь. Название станции обнадеживало: если фамилия бабушки моего героя сохранилась на вокзальной вывеске, то уж наверняка что-то осталось от Ризничей и в родовом селе. Как-никак, а Иван Стефанович выстроил там церковь и школу.

...Автобус мчался вдоль берега полноводной Росси. Золотые холмы полей накатывали к реке от дальних лесов. Под старыми ветлами паслись кони. Потом за зеленой колоннадой стройных тополей открылись домики Гопчицы — ладные кирпичные хаты в садах и виноградниках. Кое-где сохранились и мазанки под соломой, будто для того, чтобы помнить, каким было село лет сто назад.

Председатель местного колхоза Алексей Платонович Лесовой, человек нездешний и новый, с живым интересом выслушал историю «Святого Георгия» и его командира. И как ни осаждали его страдные летние дела, повел меня смотреть, что осталось от старого имения. Осталось, увы, немного: лишь зерновой амбар, сложенный из дикого камня. Церковь Козьмы и Дамиана разобрали в 1953 году, тогда же снесли и старую школу. На ее месте сейчас новая, имени героя-пограничника Павленко.

— Знаете что, — посоветовал мне в утешение Лесовой, — сходите к бывшему директору школы. Он историю села писал. Может, он чего скажет?

Юрий Константинович Храбан, старый сельский интеллигент, усадив меня на лавочку в своем саду, повел рассказ о Гопчице со времен Богдана Хмельницкого. Я не торопил его и услышал наконец долгожданную фамилию, правда, Храбан, кроме того, как «пан Ризнич» был здешним управляющим, поведать больше ничего не смог. Но зато он рассказал, как лет тридцать назад его ученики, роясь на месте сломанной церкви, наткнулись на склеп с дубовым гробом, накрытым железным колпаком с надписью «Ризничь». Самодельные археологи гроб вскрыли и обнаружили на золотистом бархате скелет рослого человека. Пришли взрослые, гроб закопали, склеп засыпали, а железный колпак унесли на колхозный двор. До недавнего времени он служил поилкой для мелкой живности.

— Так и не сохранился?

— Нет. Наверное, на металлолом сдали. А вот место склепа могу вам показать точно.

И мы пришли к новой школе. На месте старой, ризничевской, лежал большой камень, но не памятный знак, как мне показалось, а просто валун, чтобы по лужайке не ездили.

Отмерив от нижней ступеньки заднего крыльца полтора шага, Храбан показал мне чуть заметную впадину подле утопанной дорожки.

— Вот здесь.

Я взял немного земли с места родовой усыпальницы Ризничей.

Из Гопчицы, бывшего имения Ризничей под Винницей, я возвращался подавленный тем, что увидел — сровненный с землей фамильный склеп предков моего героя. Коротая время в ожидании киевского поезда, я рассказал о своих поисках соседу-попутчику, пожилому железнодорожнику из местных жителей.

— А вы в Круподерницах не были? — спросил он меня. — Там какая-то церковь морская, с якорями.

На перроне затерянной в винницкой глубинке станции это сообщение прозвучало как известное присловье, обозначающее верх нелепости: «Подводная лодка в степях Украины». Кажется, я ответил что-то в этом духе, и железнодорожник принялся рьяно убеждать меня:

— Точно говорю — с якорями. Моряки там похоронены. Адерковь строил граф Игнатъев... Да вы сходите, тут семь километров всего, до поезда успеете...

И я пошел. В старинное село Круподерницы, любимое имение графа Игнатъева, того самого, что заключал знаменитый Сан-Стефанский мир¹, меня подвез с полдороги попутный мотоциклист. Если бы не треск мотора, можно было бы представить, что вокруг ожили пейзажи из гоголевских поэм про сказочных виев, прекрасных утопленниц и отважных кузнецов. В камышовых зарослях на берегу пруда с кувшинками и, должно быть, с русалками прятались каменные стены некогда водяной, а потом машинной мельницы — круподерни, теперь полузаброшенной и потому таинственной.

Церковь, повторявшая черты воинского храма в Плевене, стояла на крутом холме в такой же буйной зелени, в какой утопала мельница и все село. И никаких якорей, равно как и колоколов, не просматривалось. Но за церковью, на погосте, по углам каменной глыбы, увенчанной дубовым крестом, лежали четыре адмиралтейских якоря. На камне едва проступали слова, выбитые, как мне

¹ Договор между Россией и Турцией, завершивший русско-турецкую войну 1877—1878 годов. Подписан в Сан-Стефано.

объяснила сторожика, по распоряжению графини Игнатьевой на символической могиле сына-моряка: «Крест сей воздвигнут в 1914 году в молитвенную память лейтенанта гвардейского экипажа графа Владимира Игнатьева, капитана 2-го ранга Алексея Зурова и всех наших славных моряков, с честью погибших в Цусимском бою 14—15 мая 1905 года».

Останки лейтенанта Игнатьева и старшего офицера крейсера «Светлана» кавторанга Зурова покоились за тысячи миль от этого камня на дне Желтого моря. А здесь, в зачарованной глуши, лопались от зноя стручки акаций и лениво гоготали гуси в чьем-то сонном саду.

Меньше всего я ожидал прочесть на памятнике имя Зурова. Для меня оно было связано лишь с забавным эпизодом, рассказанным академиком Крыловым в своих «Воспоминаниях»: однажды перед «страшным» экзаменом по мореходной астрономии кадет Морского корпуса Леша Зуров проник по поручению однокашников в типографию, где печатались билеты, и, не имея времени на списывание задач, спустил брюки, сел на литографский камень, после чего товарищи добросовестно изучили оттиск. За эту лихую проделку Зуров едва не попал в штрафную роту. Спасла его резолюция генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича: «Вот такие офицеры и нужны русскому флоту, не теряющиеся при любых обстоятельствах».

От того литографского камня до этого — надгробного — Зурова отделяло немного. Трудно было представить на мостике гибнущего корабля этого веселого удалца. Мне стало жаль его, как будто я знал его близко. Да ведь и знал: такие, как он, на флоте не переводятся...

Я стоял у черного камня. Сладковатая горечь цветущей сирени мешалась с пряной прелью погоста. Журчали птичьи голоса.

Я безнадежно опаздывал на поезд. Но ничуть об этом не жалел. Здесь, у камня с якорями, мне открылась та даль, что зовется былью веков, и в ней дымили высокие трубы обреченной эскадры, трепетали на реях сигнальные флаги и «готовые к бою орудия в ряд, на солнце зловеще» сверкали, в ней бурунили Японское море перископы первых русских подводных лодок — «Дельфина», «Сома», «Щуки»... И я понял, что рассказ о моем герое будет неполным, если обойти вниманием тех людей, что стояли рядом с ним.

От якорного обелиска в украинском селе незримые нити тянулись в города немислимо разные: в русский Порт-Артур, болгарскую Варну и латышскую Лиепаяу, бывшую Либавау... Но прежде пришлось вернуться в Ленинград, под своды морского архива.

«КАПИТАН ЩА»

За десять лет до выхода «Святого Георгия» в историческое плавание в Либавском военном порту появились странные матросы. После побудки, молитвы и завтрака они уходили из казармы, неся клетки с белыми мышами. Лишь посвященные знали — это идут на свои таинственные корабли подводники. А мыши им нужны для того, чтобы определять по поведению зверьков загрязненность воздуха в отсеках. Ведь лодка уходила под воду с тем запасом кислорода, какой содержался в атмосфере отсеков. И только.

Так началось в Либаве отечественное подводное плавание, во главе которого стоял талантливый деятельный офицер — капитан 1-го ранга (потом контр-адмирал) Эдуард Николаевич Щенснович. В русско-японскую войну Щенснович, или «капитан Ща», как его звали друзья, командовал самым быстроходным кораблем порт-артурской эскадры броненосцем «Ретвизан».

«Пойду таранить «Миказу», — частенько повторял каперанг Щенснович не то в шутку, не то всерьез. На флагмане японской эскадры, блокировавшей Порт-Артур, броненосце «Миказа», держал флаг адмирал Того. И когда русские корабли попытались прорваться из Порт-Артура во Владивосток и в Желтом море завязался жестокий бой, из кильватерной колонны неожиданно вышел «Ретвизан» и на всех парах ринулся на «Миказу». «Капитан Ща» вовсе не шутил, он вел свой броненосец на таран.

Очевидец, бывший минный офицер лейтенант И. Иениш писал: «Японцы переносят огонь на «Ретвизана». Он быстро оказывается в кольце падения снарядов. Громадные столбы разрывов все более и более льнут к нему, вода кипит вокруг. Несколько попаданий — по-видимому, в броню, но вскоре уже невозможно их отличить в вихре пены и дыма. Внезапно он меняет курс, склоняясь быстро вправо на сближение с японцами, видимо, набирает, судя по буруну у форштевня, максимальную скорость и продолжает идти на головной корабль неприятеля. Огонь японцев доходит до бешенства. Временами «Ретвизан», весь с мачтами, исчезает в гигантском куполе столбов воды, дыма и взлетающей пены. Каждый раз кажется, что на этот раз кончено. Но несколько мгновений — и броненосец выходит из падающей массы этого купола и так же упорно продолжает свой исступленный бег, все так же держа курс на головного вражеской линии. Все так же ровны и резки залпы его башен. Его низкая, но соструенная масса с тремя трубами четко рисуется на фоне фиолетового горизонта. Ясно вижу, что на «Миказе» кормовая башня не действует и средняя артиллерия работает только частично. В моей памяти блесну-

ли слова Щенсновича: «Пойду таранить «Миказу», и глаза мои приковываются к «Ретвизану».

Возможно, форштевень «Ретвизана» и взрезал бы борт «Миказы», если бы в смотровую щель боевой рубки не влетел осколок снаряда. Отрикошетив от броневых стен, он ударил Щенсновича в живот. Тяжело контуженный каперанг потерял сознание. Вызванный в рубку старший офицер (он руководил тушением пожара), не зная замысла командира, велел рулевому вернуть броненосец в кильватерный строй.

Контузия и раны сказались на здоровье Щенсновича роковым образом. Эдуард Николаевич заболел и умер семь лет спустя, в 1911 году.

Отважному порт-артурцу и доверили в 1907 году организацию совершенно нового на флоте дела — подплав.

В свой Учебный отряд подводного плавания — завязь будущих подводных сил России — Щенснович отобрал семь офицеров и двадцать матросов, руководствуясь такими критериями: «Каждый человек, выбранный на службу на лодках, должен быть высоконравственным, непьющим, бравым, смелым, отважным, не подверженным действию морской болезни, находчивый, спокойный, хладнокровный и отлично знающий дело». В эту великолепную семерку офицеров-подводников был зачислен и двадцативосьмилетний лейтенант Ризнич, бывший водолазный офицер с броненосца «Георгий Победоносец» (везло ему на Георгиев!), кавалер ордена святой Анны 3-й степени, полученного за «организацию подводного дела в 1904—1906 годах».

Ризнич пришел в отряд не учиться, а обучать, ибо ко времени создания «подводной дружины Щенсновича» он обладал изрядным опытом командира-подводника. Он наверняка гордился тем, что еще в 1904 году стажировался на «Дельфине» — первой русской субмарине — у самого кавторанга Беклемишева, подводника № 1. Правда, стажировка началась почти сразу же после трагедии, разыгравшейся на «Дельфине» летом того же года...

Утром 16 июня 1904 года «Дельфин» начал учебное погружение у западной стенки Балтийского завода. Вместо Беклемишева, который уехал по делам службы в Кронштадт, «Дельфином» командовал его помощник — лейтенант Черкасов. Это было первое его самостоятельное погружение и... последнее. Стравливая избыточное давление через рубочный люк, Черкасов не успел вовремя опустить крышку, и в лодку хлынула вода. «Дельфин» затонул. На поверхность успели вынырнуть лишь десять матросов и два офицера. Лейтенант Черкасов и двадцать четыре матроса погибли. Труп Черкасова нашли не в прочной рубке, а в корме. Это

послужило поводом, чтобы обвинить лейтенанта в трусости, мол, бросил свой боевой пост. Однако Беклемишев сумел доказать следственной комиссии, что его помощник ушел в корму, уступая место под рубочным люком спасающимся матросам. Как командир, пусть даже временный, лейтенант Черкасов должен был покинуть корабль последним, и он остался верным этой старой морской традиции.

«Дельфин» подняли, отремонтировали, покрасили... Но мрачный ореол стального гроба, в котором задохнулись двадцать пять человек, не могли рассеять никакие доковые поновления. Так что стажировка Ризнича началась в атмосфере, весьма способствующей размышлениям о бренности жизни подводника. Впрочем, вряд ли он им предавался, этот энергичный и решительный моряк. Выбор был сделан раз и навсегда: подводные лодки.

Пройдя «школу Беклемишева» (Ризнич был участником отличных торпедных стрельб на кронштадтском рейде), лейтенант-стажер получил назначение на одну из первых подводных лодок Невского завода — «Щуку». Он принял ее еще на стапелях, достраивал, спускал на воду, испытывал в море и... расстался с ней сразу же, как только лодку приняла комиссия. «Щуку» увезли на специальном железнодорожном транспорте во Владивосток, на Тихий океан, где разгоралась русско-японская война.

Ризнич получил новехонькую — только что со стапелей — подлодку «Лосось».

Корпус этого корабля-долгожителя мне довелось видеть еще несколько лет назад на севастопольской базе Вторчермета, где редчайший памятник отечественного судостроения был безжалостно разрезан на лом. Металла-то из него с гулькин нос...

В ноябре 1905 года Ризнич принял «Белугу» и одновременно исполнял дела начальника отряда подплава. Но самым памятным для Ризнича кораблем стала подводная лодка «Стерлядь». На ней он совершил беспрецедентный по тому времени переход в штормовую погоду из Ливава в Ригу без судна-конвоя. О ней он написал брошюру «Подводная лодка «Стерлядь», которая стала едва ли не первым учебником по практике подводного плавания. Брошюру морской генеральный штаб засекретил, так как речь в ней шла о субмарине отечественной постройки, а не иностранной, вроде лодок Лэка и Голанда.

К сожалению, это уникальное издание исчезло бесследно. Нет его ни в Ленинке, ни в научной библиотеке Военно-морской академии... Там, где слишком долго царила тайна, поселяется забвение.

...В Либава (бывшей Ливаве) и сейчас еще стоят краснокирпичные фигурные корпуса казарм, в которых жили первые рус-

ские подводники. Какая отважная и дерзновенная жизнь кипела в этих стенах на заре века!

Все вновь, все неизведанно — и каждый фут глубины, и каждая походная миля на утлых, опасных подводных снарядах, в которых скептики видели скорее «аппараты», чем боевые корабли. Невольно хочется сравнить эту когорту энтузиастов с отрядом космонавтов: ведь и они, эти «охотники», мичманы и лейтенанты, стояли перед тем же порогом небывалого, за которым простиралась пусть не бездна Вселенной, но бездна океана. Недаром водные недра нашей планеты называют «гидрокосмосом».

Дух поиска и эксперимента, риска и удали разительно отличал Учебный отряд подплава от других частей и заведений императорского флота, погруженного после Цусимы в анабиоз позора и уныния.

Командир Либавского военного порта возмущался тем, что подводники не выпускают его в эллинги с засекреченными субмаринами, тогда как простые мастеровые входили туда беспрепятственно.

Командир Либавского порта писал в Петербург жалобы и доносы на Щенсновича и его людей. А Щенснович в ту пору работал над документом, который по праву можно назвать первым «Уставом подводного плавания». Щенснович добивался строительства бассейна для своих лодок, теребил начальство, требуя средств на развитие учебной базы отряда. Столь же беспокойными и деятельными были и ближайшие его помощники — командиры учебных подводных лодок лейтенанты Ризнич, Власьев, Белкин, Заботкин...

Ризнич составил первый «Словарь командных слов по управлению подводными лодками». Лейтенант Белкин разрабатывал тактику ночных атак. Это стоило ему жизни. В 1909 году во время ночной учебной атаки Черноморская эскадра «Камбала», на которой находился Белкин, была нечаянно протаранена броненосцем «Ростислав».

Питомцы отряда учились не в классах, учились прямо на подводных лодках, учились в море. Тонули, горели, садились на мели, но горькая соль морского опыта насыщала инструкции, правила, рекомендации для тех, кто поведет потом свои «Барсы» и «Пантеры» в боевые походы сначала первой мировой, а потом и гражданской войны...

Чем больше я вчитывался в документы Учебного отряда, тем больше утверждался в мысли, что имя первого адмирала-подводника Эдуарда Николаевича Щенсновича забыто несправедливо. Ученик и соратник адмирала Макарова, он по-макаровски же взялся за совершенно новое и весьма важное для русского флота дело: создание ядра будущих подводных сил. Он разрабатывал тактику

подлодок и методику обучения экипажей, он заложил основы профессионального отбора подводников и изучал психологию людей, заключенных в тесное замкнутое пространство стального корпуса. При всей широте своих планов и замыслов Щенснович вникал в такие «мелочи», как покрой дождевого платья для верхней вахты или замена казенной водки в рационе подводников на горячий грог, «ибо последний обладал более сильным противостудным действием».

Однажды подводная лодка лейтенанта Ризнича задержалась с возвращением в Либаву из Риги на несколько суток. Свое опоздание командир объяснил тем, что не смел нарушить запрет начальника отряда закупать бензин у частных лиц.

«К сведению господ офицеров, — писал в приказе по этому поводу Щенснович, — впредь руководствоваться только интересами дела, даже если приходится поступать в разрез с моими распоряжениями».

Прекрасно сказано — по-нахимовски, по-макаровски!

ОШИБКА «МОРСКОГО СБОРНИКА»

Я бы не обратил особого внимания на мелькавшую в документах отряда фамилию Серафимов, если бы перед приездом в Ленинград, листая старые номера «Морского сборника», не наткнулся в октябрьской книжке 1915 года на убогое сообщение о том, что прогерманское правительство Болгарии казнило офицеров Серафимова и Манолова за симпатии к России. Стало грустно и обидно... Прокручивая архивные микрофильмы, я уже успел привыкнуть к фамилии этого офицера, которая так часто мелькала в приказах и распоряжениях Щенсновича. Разумеется, Серафимов не мог отречься от своих русских соплавателей, людей, посвящавших его в тайнства подводной войны.

В том секретном, «режимном», как сказали бы сейчас, отряде обучался единственный иностранец — лейтенант болгарского флота Рашко Серафимов, будущий командующий военно-морскими силами Болгарии. «Считаю долгом, — отмечал в одном из своих приказов адмирал Щенснович, — признать лейтенанта Серафимова умеющим управлять подводной лодкой типа «Стерлядь»... За отличное содержание лодки благодарю лейтенанта Серафимова».

Серафимов боготворил Щенсновича, так как знал, что его русский командир в свои мичманские годы принимал участие в освобождении Болгарии от турок. За лихие атаки на Дунае, когда маленькие паровые катера, выставив вперед шесты с минами, бес-

страшно неслись на турецкие мониторы, мичман Щенснович был произведен в лейтенанты и награжден боевым орденом.

«Мне кажется, — писал Щенснович в одном из писем к своему другу, — что после Дуная, когда на утлом катере да еще с шестовой миной, готовой ежеминутно взорваться и разнести в клочья нас всех, осыпaeмый градом пуль, мы все-таки упорно шли на сближение с турецкими броненосцами, заставляя их позору отступать, уже никакие силы ада не будут страшными...»

Молодой болгарин был окружен в отряде подводников той особой теплотой, которая всегда отличала отношения двух славянских народов. Управлять подводной лодкой его учили и Ризнич, и Власев, и командир «Пескарь» — лейтенант Келлер. Серафимов не только схватывал все на лету, но и сам привносил новаторские идеи. Так, в мае 1906 года подводники должны были провести показательную атаку императорской яхты «Штандарт». Перископы двух лодок — «Белуги» и «Сига» — были замечены с борта яхты, и атака сорвалась. Третьей лодкой — «Пескарь» — командовал Серафимов. Он подкрадывался к цели, не поднимая перископа, по заранее взятому пеленгу. Командир «Штандарта» обескураженно доносил: «Лодка «Пескарь» на яхте не была замечена, когда она атаковала, несмотря на самое тщательное наблюдение». Можно считать, что лейтенант Серафимов провел первую в истории подводного флота бесперископную атаку. Неужели он так бесславно погиб, как сообщил о том «Морской сборник»?

НА ЗЕМЛЕ РАШКО СЕРАФИМОВА

Я не историк, не архивист, и потому поиск мой строился довольно стихийно. Порой более срочные дела прерывали его, и тогда все откладывалось до какого-нибудь толчка или извне, или из глубины памяти... Так случилось в Варне, куда я приехал к болгарским водолазам, обнаружившим на дне Черного моря советскую подводную лодку Щ-204, которая погибла в 1941 году.

Я шел по тенистому бульварчику и вдруг набрел на скромный памятник с бронзовым бюстом графа Игнатьева, военного деятеля и дипломата, весьма чтимого в Болгарии. Сразу припомнилась церковь в Круподерницах, черный камень в якорях: Зуров, Щенснович, Ризнич, Серафимов... Да ведь я же в городе, где жил первый болгарский подводник лейтенант Серафимов! Найти варненский военно-морской музей не составило труда. Уже в самом начале экскурсии мне бросилась в глаза табличка: «Личные вещи капитана 1-го ранга Рашко Серафимова». За стеклом витрины тус-

кло поблескивала парадная треуголка, шитая тужурка и кортик отважного офицера. Из рассказа начальника музея капитана 1-го ранга Георгия Антоновича Антонова я понял, что Серафимовым в Болгарии гордятся; о нем написаны научные труды, жизнь его изучена во всех подробностях, и только «либавский период» совершенно неизвестен исследователям.

— Вам, наверное, интересно будет знать, — заметил Антонов, — что Рашко Серафимов выходец из рода нашего народного героя, «апостола свободы» Василя Левского...

Разумеется, знать это было интересно, как и то, что судьба Серафимова во многом повторяла зигзаги судьбы его друга и учителя Ивана Ризнича. Они одновременно — в 1908 году — один в России, другой в Болгарии начали публицистическую деятельность, отстаивая будущность подводного флота. Так же, как и Ризнич, Серафимов дерзко спорил с начальником болгарского генерального штаба, защищая молодой флот своей страны от нападков царских сановников.

«Болгары храбры на суше, а не на море», — утверждал высокопоставленный оппонент Серафимова. Но бесстрашная атака болгарских миноносцев турецкого крейсера «Гамидие» в 1912 году — в ней принимал участие и капитан-лейтенант Серафимов — доказала обратное. Отзвуки той острой полемики, видимо, и ввели в заблуждение «Морской сборник», сообщивший в пятнадцатом году о казни Рашко Серафимова.

Когда человека хоронят раньше времени, говорят, что он будет долго жить. К сожалению, Серафимов не оправдал этого поверья. Он умер в двадцать втором году в Одессе... После того, как его отстранили от командования флотом, он ушел на своей парусно-моторной шхуне «Тритон» в красную Россию, но заболел в Одессе холерой. Там он и похоронен.

Так закончилась в моих поисках линия лейтенанта Серафимова, питомца либавского отряда, патриота Болгарии и друга России.

НАДЕНУ ФУРАЖКУ НА ПЕРЕСКОП!

В девятьсот седьмом году русская печать как никогда много писала о подводных лодках. Это не случайно, в это время создавалась программа строительства нового — «последусимского» флота, решался вопрос, предопределявший морские победы и морскую стратегию государства: корабли каких классов закладывать на стапелях, строить ли линейно-броненосную армаду или создавать новые виды морского оружия?

В конце 1907 года капитан-лейтенант Колчак сделал в санкт-петербургском морском кружке нашумевший доклад: «Какой нужен России флот?» Блестящий оратор, Колчак пылко доказывал, что подводным лодкам нет и не может быть места в составе флота морской державы.

Чтобы нейтрализовать оппонента, лейтенант Ризнич выступил с лекцией «Подводное плавание и его значение для России». Через неделю успех Ризнича закрепил товарищ по либавскому отряду и герой Порт-Артура лейтенант Власьев. Его «Отчет командира подводной лодки «Пескарь» о плаваниях и маневрах» произвел благоприятное впечатление на слушателей, весьма влиятельных в правительственных кругах.

Тогда на подводников обрушился некий капитан-лейтенант Роберт фон Энгельман. Выпады этого «теоретика» на страницах «Морского сборника» граничили с прямым издевательством. «Всякий рыбацкий бот, — утверждал Энгельман, — неизмеримо правоспособнее подводной лодки... Бороться с субмаринами очень просто, — надо взять на «шестерку» молот и веревку, подойти к лодке, заарканить перископ, стукнуть по нему молотком, а затем тащить добычу на буксире в ближайший порт».

Энгельман публично похвалялся надеть свою фуражку на перископ любой подводной лодки из отряда Шенсновича.

Это был вызов, за который человека, затронувшего честь корабля, полагалось вызвать на дуэль. Жаль, но поединки к тому времени были запрещены. Однако, дуэль все же состоялась. Ризнич ответил Энгельману тем же оружием — пером публициста. Старейший морской журнал сохранил гневную отповедь подводника:

«Итак, общество считает меня фанатиком подводного плавания. Почему? Потому, что я говорю, что подводная лодка есть могущественное, хотя и неуниверсальное оружие... Я оптимист и потому считаю, что все улучшается на этом свете, все идет вперед. Фантазия моя дает мне картину будущего; имею ли я основания ей не доверять? Нет, так как в мой короткий век я видел то, что раньше было для меня «фантазией»... Сегодня фантазия, а завтра факт. Быть может, скоро появятся подводные крейсера, которые сделают морскую настоящую войну невозможной. «Dum spiro, spero»¹. Энгельман утверждает, что лодка не мореходна, это аппарат, а не судно. Нельзя ли доказать? Впрочем, я предвижу, что автору будет трудно это сделать, поэтому за него я докажу — противное».

¹ Пока дышу, надеюсь (*лат.*).

И Ризнич доказал это походом через два океана. Правда, это произошло через девять лет, когда он менее всего был готов к осуществлению такого доказательства...

По иронии судьбы именно в это время старший лейтенант Ризнич оказался под властью своих могущественных оппонентов. Вице-адмирал Колчак командовал Черноморским флотом, в состав которого входила подводная лодка Ризнича, а кавторанг фон Энгельман состоял при штабе Колчака... И когда возник вопрос: кому поручить опасное и почти безнадежное дело — перегон лодки-малютки из Италии в Белое море, — выбор пал на «фанатика подводного плавания».

Полемика Ризнича с Энгельманом меньше всего походила на академическую дискуссию. Это был бой чести и подлости, прозорливости и невежества. В конце концов, Ризничу пришлось уйти в запас и... заняться продажей велосипедов фирмы «Дукс». В справочнике «Весь Петербург» за 1909 год читаю: «И.И. Ризнич, представитель технической конторы «Дукс», адрес: угол набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта». Дом этот сохранился и ныне. Только никто в нем уже не помнит рослого рыжеусого коммерсанта с морской выправкой, занимавшего квартиру на втором этаже...

Рутинеры вынудили уйти в отставку и других офицеров, ратовавших за мощный подводный флот. Ушел в запас лейтенант Михаил Тьедер, ученик «первого подводника России» М.Н. Беклемишева, единомышленник Ризнича, командир подводной лодки «Скат», участвовавшей в войне с Японией. «Подводники — моряки будущего», — утверждал Тьедер наперекор Колчаку и Энгельману.

И Ризнич и Тьедер, оказавшись вне флота, оружия не сложили. Тьедер написал книгу «На подводной лодке», которая выдержала сразу два издания. Ризнич продолжал выступать с лекциями в защиту своих идей. Одна из них называлась «Ответ сомневающимся в пользе подводных лодок». Свои лекции и доклады представитель велосипедной фирмы издавал за свой счет в виде иллюстрированных брошюр. Некоторые из них и сейчас еще сохранились на полках научных библиотек Москвы и Ленинграда.

Призывы флотских прогрессистов не остались неуслышанными. Россия строила подводные лодки. В 1911 году была заложена новая серия больших субмарин оригинальной отечественной конструкции. Если боевые качества тех лодок, на которых служил Ризнич, вполне отвечали их мирным рыбьим названиям — «Лосось», «Стерлядь», «Пескарь», — то новые корабли были настоящими хищниками морских глубин — «Акула», «Кашалот», «Нарвал»...

Несколько позже появились легендарные «Барсы», которые оказались боеспособными и в годы второй мировой войны.

Это были корабли, которые предсказывал Ризнич и о которых он мечтал. Однако служить на них ему не пришлось...

ДИВИЗИОН ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С началом первой мировой войны призванного из запаса лейтенанта Ризнича назначили начальником дивизиона подводных лодок особого назначения. Это были три тихоходные малотоннажные (35 тонн), как сказали бы сейчас, «карликовые» субмарины с экипажем в одиннадцать человек, с дальностью плавания в 150 миль и глубиной погружения в 30 метров. Они были так малы, что вместо личных имен им присвоили номера — № 1, № 2 и № 3. Особое назначение дивизиона состояло в том, что его лодки должны были оборонять Пярнуский залив.

Военное счастье Ризничу не улыбалось. Почти два года дивизион простоял у стенки, если не считать коротких выходов на дозорную службу. Вахтенный журнал подводной лодки № 3, на которой держал свой брейд-вымпел Ризнич, полон невообразимой скуки: «1 марта 1915 года. Военная гавань Пярну. Красили корпус». Следующий день — «...Чистили цистерны», «...Команда ходила в церковь», «Команда ходила в баню». А то и вовсе события суток укладывались в три слова: «Случаев не было».

Из документов, хранящихся в Центральном государственном архиве ВМФ, удалось установить, что в 1916 году подводные лодки № 1 и № 2 отправили по железной дороге в Архангельск, где они бесславно и закончили свой путь. Подлодка № 2 при буксировке в Мурманск погибла в горле Белого моря, по счастью, без экипажа. Весенний шторм выбросил ее на камни, и волны разбили корпус. Подлодка № 1 до августа 1917 года простояла в Архангельском порту, пока ее не исключили из списков корабельного состава флотилии Ледовитого океана. А вот о лодке № 3, которой командовал Ризнич, оставаясь начальником дивизиона, никаких сведений не было. Куда делась она?

Сотрудники архива посоветовали обратиться к знатоку морской старины Дмитрию Адольфовичу Быховскому, бывшему подводнику, автору документальных книг по истории флота.

Созваниваюсь с Быховским и еду к нему...

В который раз убеждаюсь: Ленинград — это город, в котором можно отыскать ключ к любой застарелой морской тайне, раскрыть судьбу сгинувшего корабля, узнать едва ли не о каждом че-

ловеке, чья жизнь была хоть как-то связана с морем, дальними плаваниями, полярными экспедициями...

Идешь по строгим линиям Васильевского острова или бродишь мимо фасадов с лепными якорями, масками, кирасами, скользишь взглядом по узким окнам в старомодных переплетях и невольно веришь, что там, за этими оплывшими от времени стеклами, чего только не перевидавшими на своем беспокойном веку, там в ветхих книжных шкафах, ящичках дедовских секретеров, в шкатулках с пожухлыми письмами, в чьих-то допотопных семейных альбомах, в связках бумаг и фотографий, погребенных в еще пока не выброшенных сундуках и в запыленных антресолях, там-то и таятся разгадки многих морских тайн... Да что бумаги!.. Сколько драгоценного угасает в сотах памяти нерасспрошенных стариков — последних петроградцев и петербуржанок...

В квартире отставного капитана 2-го ранга Быховского не было ни сундуков, ни антресолей. Его кабинет занимала картотека — мощная машина систематизированной памяти. На мой вопрос о судьбе подводной лодки № 3 Дмитрий Адольфович, выдвинув один из каталожных ящичков, дал точный и исчерпывающий ответ: — Флагманская лодка дивизиона особого назначения была переброшена в 1916 году на Дунай. Там, базируясь на русский порт Рени, она охраняла стратегический мост от мониторов австро-венгерской флотилии. Как видите, Ризничу выпала честь войти в историю подводного плавания еще и как первому командиру подлодки, действовавшей в речных условиях. Вы бывали на Дунае?

Я бывал на Дунае, и даже заносило меня в зеленый уютный городок Рени на высоком левобережье. Живо вспомнилась быстрая мутная вода в крутящихся воронках и спутанных струях. Там и большому современному теплоходу нелегко, а уж карликовой субмарине и подавно...

— Из Рени, — продолжал Быховский, — Ризнич был направлен в Италию принимать «Святой Георгий». Добирался он туда со своей командой через Персию, Египет, Тунис. Видимо, французы переправили его из Бизерты в Специю... Подводная лодка № 3 осталась в Рени, при оккупации Бессарабии ее захватили румыны, пытались ввести в строй, но ничего у них не вышло, разрезали «тройку» на лом.

Обо всем этом Быховский узнал почти из первых уст — от боцмана Грязнова, служившего с Ризничем на этой самой подводной лодке.

Как-то на заседание историко-литературной секции при Центральном военно-морском музее, которую возглавлял Быховский, пришел лысоватый старичок с аккуратной бородкой, в старом

флотском кителе. Он внимательно и почтительно слушал доклады и сообщения. Вряд ли кто-нибудь из присутствующих подумал тогда, что с этим невзрачным человеком под сводами музея вошла живая история российского подплава.

Грязнов начал службу на лодках еще в русско-японскую войну, с красной строки боевой летописи нашего подводного флота. Был инструктором в учебном отряде Щенсновича. После Дуная боцманил на большой лодке «Леопард», на ней же выходил в легендарный Ледовый поход, когда в марте 1918 года из Гельсингфорса в Кронштадт, раздвигая метровый лед, ушли от немцев 250 кораблей, ставших ядром советского флота на Балтике. После гражданской Василий Михайлович обучал краснофлотцев-подводников.

Уж Грязнов-то мог многое рассказать и о Ризнице, и о Щенсновиче... У него наверняка могла быть и фотография командира «Святого Георгия»... Быховский отыскал адрес старого боцмана — 14-я линия Васильевского острова, дом № 73, но тут же предупредил:

— Грязнова я не видел давно. Может быть, его уже и нет...

Вскакиваю в такси и мчусь на Васильевский остров, как будто с помощью четырех колес можно обогнать время... Старый доходный дом с лепной осовавиахимовской эмблемой над упраздненным парадным входом. На этажи вела «черная» лестница. Воистину это была черная лестница.

— Опоздали вы годом, — встретила меня вздохом сожаления пожилая женщина, — умер он... в прошлую пасху... Поехал за тортом и... прямо в трамвае.

— Вы жена Василия Михайловича?

— И жена померла... Мы-то уж новые жильцы.

— Бумаги какие-нибудь остались? Документы, фотографии, письма?

— Да были бумаги. Во двор все выбросили... Жена Грязнова тихо померла, никто не слышал. Она тут с неделю пролежала... запах пошел. Ну и выбросили все перед ремонтом.

Я спустился в каменный колодец двора, раскаленный июльским солнцем. Из распахнутых окон выплескивались шумы большого дома: надрывались младенцы, орали магнитофоны, грохотала пальба с телевизионных экранов, на шестой этаж звали Витьку-паршивца, и сыпались с какого-то подоконника «миллион, миллион алых роз»...

Дом жил своей жизнью, и не было ему никакого дела до старого боцмана, игравшего со смертью в глубинах Балтики и Тихого океана... Через этот двор-колодец протекала Лета — река забвения, и мне вдруг стало до боли жаль лысоватого человека в старом флотском кителе, канувшего в ее мертвую воду почти бесследно...

Вместе с ним исчезли в ее черных омутах и все его потаенные суда, умевшие счастливо всплывать, но только не из глубин реки забвения; исчезли и его «годки»-товарищи, и те фотографии, где они запечатлены рука об руку с ним, боцманом «Леопарда» и подводной лодки № 3, сгнула и общая тетрадь, которой Грязнов поверял свои воспоминания...

Дом № 73 украшала лепная осовавихимовская эмблема с девизом «Крепи оборону Родины!», и мне захотелось, чтобы рядом была выбита надпись: ...как крепил ее военный моряк Василий Грязнов, живший в этом доме».

Итак, в свое звездное океанское плавание Ризнич отправился с берегов Дуная. Наверное, черноморские штабисты, которые подбирали командира на «Святой Георгий», понимали, что подводник, совершивший самый дальний свой лодочный переход одиннадцать лет назад по прибрежному маршруту Ливава — Кронштадт и волею судеб всю войну проторчавший у причальных стенок Пярну и Рени, не слишком удачная кандидатура для столь рискованного дела, как перегон подлодки-малютки из Средиземного моря в Белое. Но кандидатуру Ризнича выдвигал не кто иной, как командующий Черноморским флотом вице-адмирал Колчак. И выдвижение это надо понимать как запоздалую, но все-таки месть — тонкую, хорошо продуманную: «Кажется, вы, господин Ризнич, так рьяно отстаивали мореходность подводных аппаратов? Так вот вам шанс отличиться...» Шанс был не столько отличиться, сколько сгинуть в коварном Бискае или угодить под торпеду германского подводного рейдера... Ризнич после многих лет вынужденного бездействия принял этот вызов. Он верил в себя, верил в стойкость и храбрость русского матроса.

«Найти себе команду дружную и которой можно вполне довериться, — писал Ризнич, — не так трудно, если принять во внимание громадный контингент желающих плавать на подводных судах».

Именно такую — дружную — команду и подобрал Ризнич.

Одно время ходила такая легенда, будто экипаж «Святого Георгия» сплошь состоял из младших офицеров, переодетых в матросское платье. Но это не более чем легенда. Все пятнадцать человек команды были матросами и унтер-офицерами, добровольно вызвавшимися идти в опасное плавание. Офицерские же погоны носили, кроме Ризнича лишь двое: штурман лейтенант А.Э. Ропп и подпоручик по адмиралтейству М.А. Мычелкин. Оба бывалые моряки, прошедшие в буквальном смысле огонь и воду...

Александра Эдуардовича Роппа Ризнич пригласил из «клуба самоубийц», как тогда называли дивизию, траления Балтийского

моря. Лейтенант Ропп командовал в ней одним из тральщиков, служил на крейсере «Аскольд», отличившемся при штурме дарданелльских фортов.

Еще раньше — в 1908 году — мичман Ропп вместе с другими моряками линейного корабля «Слава» и всей гардемаринской эскадры участвовал в спасении жителей Мессины, разрушенной мощным землетрясением. На мундире его рядом с орденом Станислава поблескивала серебряная итальянская медаль...

Вахтенный начальник подпоручик по адмиралтейству Михаил Алексеевич Мычелкин прошел все ступени флотской службы: матрос, кондуктор, офицер. Немало морей избороздил он на своем веку. Чудом уцелел на торпедированном в Пенанге крейсере «Жемчуг».

Проблема сплоченности экипажа, психология взаимоотношений командира подводной лодки и членов команды волновали Ризнича не меньше, чем техническая сторона подводного плавания. «Что лучше, — задавался он вопросом, — будет ли командир отделен от команды и управлять лодкой отдельно или команда будет иметь возможность все время следить за командиром? Мне кажется, что где бы то ни было и что бы ни делалось, но если от действий другого зависит наше благосостояние, а тем более жизнь, то удивительно хочется быть в курсе дела и кажется очень тяжелым не иметь возможности следить за всеми действиями лица, в руках которого находится наша жизнь».

Команде «Святого Георгия» повезло: у нее был не просто отважный командир, но командир-психолог...

Командир был назначен, подобран экипаж, а вопрос о передаче лодки России все еще висел в воздухе. Истощенная затянувшейся войной царская казна не могла выплатить заводу те миллионы, которые оговаривались в контракте. Союзники-англичане обещали кредит, но не очень торопились.

Тем временем, ничего не зная о закулисной борьбе дипломатов и финансистов, в Специю для приема подводной лодки прибывает русский экипаж во главе со старшим лейтенантом Ризничем.

Итальянские власти встретили моряков настороженно. Только что за революционные выступления им пришлось удалить из Специи экипаж ремонтирующегося русского парохода «Млада».

Морской министр приказал назвать подлодку Ф-1, однако подводники запротестовали. Морской агент Врангель доносил в генмор: «Нашей подводной лодке заводом перед спуском было дано имя «Святой Георгий». Командиру и команде весьма желательно было бы, если возможно, оставить название, тем более что данное ей — Ф-1 — по-немецки означает «скот», «скотина»...»

Просьбу уважили.

19 апреля Лондон, наконец, раскошелился и перевел заводу «Фиат» обещанный России кредит — 2 251 628 лир.

Путь в Россию был открыт.

ПОХОД

В сентябре 1916 года германское командование направило в Северный Ледовитый океан флотилию подводных лодок. Восемь субмарин развернули самый настоящий террор: за десять дней они пустили ко дну четырнадцать русских и союзных транспортов.

Но уже собирала свои силы флотилия Северного Ледовитого океана. И уже шли из далекого Владивостока через три океана в четвертый выкупленные у японцев эскадренные броненосцы «Полтава», «Пересвет», крейсер «Варяг»... Спешил из Средиземного моря крейсер «Аскольд». Дымились буксы у железнодорожной платформы под тяжестью подводной лодки «Дельфин», которую сопровождал из Владивостока в Архангельск будущий вахтенный начальник «Святого Георгия» подпоручик по адмиралтейству Михаил Мычелкин.

Флотилия стягивала свое боевое ядро. Ни одна страна не собирала свои корабли к бою на таком пространстве. Долог и опасен был путь на север. Не всем удалось дойти до скалистых берегов Мурмана. На выходе из Порт-Саида взорвался по неизвестной причине «Пересвет».

Самым малым кораблем, добравшимся на север, была подводная лодка «Святой Георгий».

...Старый вахтенный журнал. Пожелтевшие разграфленные страницы, каллиграфический бег пера и следы от капель соленой морской влаги:

«7-го мая 1917 г. Воскресенье, г. Специя.

11.30. На строившейся в Италии в городе Специя на заводе «Фиат — Сан-Джорджо» лодке подняты флаг, гюйс и выпел. Лодка начала кампанию.

Освящение лодки и Флага произвел приехавший из Рима священник при Российском в Италии посольстве архимандрит Симеон в присутствии Российских консулов из Флоренции и Сицилии, главного командира гавани Специя вице-адмирала Кани, администрации завода и офицеров строящихся лодок для Испании и Португалии».

«Из Специи. Вторник 13/20 июня.

7.00. Погрузили на конвоир, итальянский вооруженный пароход «Равенна», офицерский багаж; команда окончательно перешла из занимаемого на заводе помещения на лодку.

8.25. Вышли в бухту на погружение и дальнейшее следование с конвоиром «Равенна» в Геную.

16.30. Стали на правый якорь в порту г. Генуя около завода «Ансальдо», пришвартовались кормой к стенке.

Лейтенант барон Ропп-1-й».

Записи в вахтенном журнале вел старший офицер подводной лодки лейтенант барон Ропп-1-й. Несмотря на их отрывочность, обстоятельства опасного плавания прорисовываются весьма отчетливо.

В Генуе «Святой Георгий» получил первое боевое задание: отконвоировать в Гибралтар вместе с французским эсминцем и подводной лодкой восемь союзных транспортов. 18 июня 1917 года Ризнич вышел из Генуи в охранении каравана. Этим рейсом начинался долгий путь домой...

О том, в каких условиях протекало четырехмесячное океанское плавание, можно судить по свидетельству одного из подводников той поры:

«Даже в холодные зимние дни в отсеках не могло быть искусственной теплоты, так как драгоценное электричество не могло быть выделено для обогрева и температура внутри лодки была температурой воды, в которой она плавала. Спертый воздух, насыщенный маслом от работающих машин, запахом камбуза, необходимость хода целые дни без ванны и даже без умывания — все это было слишком неудобно.

Корабль постоянно качало, и некоторое число команды, даже испытанных людей, часто болело морской болезнью. Постоянная качка делала почти невозможным стоять или спать, и хотя бедный моряк мог бы выспаться, но качка выбрасывала его из койки на палубу. Едва можно было писать (слишком холодно) и читать, так как было мало света и главным образом потому, что от качки глаза не могли держать в фокусе написанное.

Но наиболее раздражающим явлением в жизни подводной лодки была сырость. Над матросом, лежавшим в койке, зачастую капала вода, подобно дождю.

Несколько часов плавания под водой приводили к тому, что умственное состояние определялось как «обалдевание». Но физические страдания почти ничто в сравнении с мыслью, что лодка в любую минуту могла натолкнуться на германские мины».

«Святой Георгий» отправился в плавание в самый разгар подводной войны. В феврале 1917 года Гинденбург и Людендорф настаивали на том, чтобы Германия начала неограниченные действия подводных лодок. Атлантика кишела немецкими субмаринами. То была последняя и потому особенно яростная попытка задушить Англию кольцом морской блокады.

Караван вошел в Гибралтар, прижимаясь к побережью Франции, держась подальше от некогда бойких главных морских трасс Средиземноморья.

Справа по борту оставались роскошнейшие европейские курорты — Ривьера, Ницца... Немыслимо голубое летнее море меньше всего походило на «театр военных действий».

Вечером 21 июня моряки наблюдали лунное затмение. Штурман Ропп записал в вахтенный журнал с прилежностью астронома: «19¹⁶. Началось лунное затмение.

Четверг. 1³⁰. Луна очистилась».

Подводники, люди, склонные к поиску предзнаменований, толковали — добро или беду сулит затмение светила. На другой день выяснилось — беду. Неподалеку от Картахены на «Святой Георгий» вдруг ринулся испанский крейсер с явным намерением протаранить. Пришлось срочно погружаться и уходить на безопасную глубину. То ли испанец ошибся, то ли имел злой умысел — гадать было некогда...

25 июня караван благополучно добрался до Гибралтарской скалы. Оттуда «Святой Георгий», не обремененный конвойной службой, двинулся налегке. Однако, едва они миновали пролив и вышли в Атлантику, как на лодку обрушилась беда за бедой. Сначала вышел из строя мотор-генератор гирокомпаса. Затем налетел шторм, да такой, что нечего было и думать о починке путевого прибора.

«4/17 июля 1917 г. Вышли из Гибралтара.

Зайдя за мыс Сан-Винсент, встретили свежий погс, зыбь крупная, сильно заливаает. Подводная лодка принимает много воды».

Можно себе только представить, сколько драматизма скрыто за этой скупой строкой. Ведь именно так, «принимая много воды», погиб в осенний шторм броненосец «Русалка». Имя этого корабля, затонувшего на Балтике в 1893 году, прогремело на всю Россию. Из ста семидесяти семи матросов и офицеров не спасся никто. В ревельском парке Кадриорг на пожертвования народа был сооружен прекрасный памятник. Всякий раз, когда погибал в море корабль, к подножию монумента приносили венки.

Незадолго перед выходом «Святого Георгия» в свое отчаянное плавание постамент «Русалки» был снова завален живыми цветами. На траурных лентах поблескивало имя подводной лодки «Барс», без вести пропавшей в боевом походе. «Барсом» командовал опытейший подводник, однокашник Ризнича по Морскому корпусу и отряду подплава старший лейтенант Н. Ильинский. Большая, новейшая по тому времени подводная лодка исчезла в глубинах Балтики. Малая, прибрежного плавания субмарина штурмовала океан. Легко могло статься, что рядом с венками экипажу

«Барса» положили бы свежие погребальные гирлянды. Но Ризнич вывел «Святой Георгий» из штормовой полосы и благополучно привел его в Лиссабон.

«6/19 июля 1917 г. Стали на бочку на рейде г. Лиссабон. Перебирали и сушили моторы, перископы, залитые соленой водой».

В Лиссабоне команду ждал отдых перед самым опасным участком маршрута — переходом в Англию. Пути к Британским островам были густо усеяны германскими минами, перекрыты кайзеровскими подводными лодками. Число их на позициях превышало порой три десятка.

Португалыцы приняли русских подводников радушно: готовили баню, сводили на бой быков. Коррида Ризничу и его спутникам не понравилась. И без того много крови лилось на полях Европы.

Пять суток прорывался «Святой Георгий» через коварный Бискай в Англию. Сто тревожнейших бессонных часов. И в любую секунду под бортом мог грянуть взрыв мины, торпеды...

Им везло. Командир немецкой подлодки промахнулся: торпеда прошла по корме. Ризнич записал в вахтенный журнал: «20-го августа 1917 года. Вышли из Плимута в Скапа-Флоу. Около мыса Уред мина прошла между тральщиком с запасными вещами, шедшим сзади нас, и нами, причем ее видели, шкипер тральщика, рулевой и командир».

24 августа, оставив главную базу британского флота, «Святой Георгий» двинулся вдоль Скандинавии к родным берегам. Но Северный Ледовитый океан уже вздымал осенние штормы.

Мне довелось видеть подводную лодку, попавшую в хороший циклон. Стальные листы легкого корпуса были смяты в гармошку, из прорех торчали вывернутые волнами баллоны воздуха высокого давления...

У мыса Норд-Кап «Святой Георгий» попал в шторм похлеще, чем на выходе из Гибралтара. Стоять на мостике было невозможно — валы перекатывались через рубку, — и Ризнич приказал закрыть все люки. Дизель остановили, ему не хватало воздуха. Всю ночь лодка держалась против волны, выгребая на малых оборотах под электромотором. Потом, в Архангельске, подводники отмечали эту ночь как свое второе рождение. А тогда, в бушующем Норвежском море, кое-кто из команды уже начал переодеваться в чистое — смертное белье.

Конструктор лодки немало бы удивился, узнав, что его маленький «Фиат» выдержал океанские шквалы. Наверное, он с удовольствием пожал бы руку отважному командиру. Но это сделали за него соотечественники Ризнич, архангелогородцы, высыпавшие

ясным сентябрьским утром встречать «Святой Георгий» под марши духового оркестра и перезвон соборных колоколов.

9 сентября 1917 года командир лодки доносил командующему флотилией Северного Ледовитого океана:

«Рапорт

Доношу Вам, г. Адмирал, что сего числа с вверенной мне командой прибыл из Специи и ходатайствую о зачислении ее в дивизион подводных лодок особого назначения с 1.IX. 1917 г.

При сем доношу, что нам пришлось все время прорывать блокируемые подводными лодками зоны и проходить вблизи минных полей неприятеля, выдерживать жесточайшие погоды, как-то у Сан-Винсента и Норд-Капа, конвоировать суда, не потеряв ни одного, что в настоящее время считается чрезвычайно редким в Средиземном море.

Список личного состава лодки на обороте сего прилагается.

Старший лейтенант Ризнич».

В списке были указаны:

1. Старший офицер, лейтенант А.Э. фон дер Ропп-1-й.
2. Подпоручик по адмиралтейству М.А. Мычелкин.
3. Боцман Гусев, старший унтер-офицер.
4. Охотник¹, младший унтер-офицер Семенов.
5. Старший унтер-офицер Юдин.
6. Младший унтер-офицер Доданов.
7. Младший унтер-офицер Никитин. Мотористы:
8. Младший унтер-офицер Столяров.
9. Старший унтер-офицер Кузьмичев. Минный машинист, младший унтер-офицер Русинов. Электрики: Младший унтер-офицер Лапшин.
12. Младший унтер-офицер Тимофеев.
13. Комендор, младший унтер-офицер Туликов.
14. Старший радиотелеграфист Кистень.

В приказе по флоту и морскому ведомству морской министр контр-адмирал Д.Н. Вердеревский отмечал:

«Этот блестящий, исключительный по условиям плавания переход лодкою малого водоизмещения в осеннее время св. 5000 миль через ряд зон расположения германских подводных лодок, минных заграждений и т. п. наглядно показывает, что офицерам и матросам, сплоченным взаимным уважением и преданным своему делу, не страшны не только поставленные врагом всевозможные преграды, но и сама стихия... Родина вправе будет гордиться бес-

¹ Добровolec.

примерным в истории подводного плавания переходом подводной лодки малого водоизмещения из Италии в Архангельск».

Старший лейтенант Ризнич был произведен в капитаны 2-го ранга и награжден орденом Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Так он поставил великолепную точку в своем давнем споре с Колчаком и Энгельманом.

Вахтенный журнал «Святого Георгия» обрывается в ноябре 1917 года. Из последней записи можно понять, что лодка стоит на ремонте в Архангельске, что запчасти в портовых амбарах Соловецкого монастыря растащены, что обогривный пар на корабль подавать перестали... А через три месяца «Святой Георгий» вступил в самый бурный период своей жизни: 17 февраля 1918 года его экипаж перешел на сторону советской власти.

Моторный старший унтер-офицер Илларион Кузьмичев был выдвинут членом Центрального комитета флотилии Северного Ледовитого океана. А моторист Яков Ужакло стал в годы гражданской войны комиссаром службы связи Белого моря в Совете комиссаров флотилии.

...Всего лишь полгода развевался над кораблем Андреевский флаг. Семь лет «Святой Георгий», переименованный в «Коммунар», нес службу в Красном Флоте.

В августе 1918 года в Архангельск вступили английские интервенты. Многие корабли флотилии Северного Ледовитого океана были уведены в Англию. Но «Коммунар» оставался верным присяге пролетарской республике. Экипаж увел подводную лодку вверх по Северной Двине, а затем, приведя ее в негодность, выбросил на отмель. С восстановлением советской власти в Беломорье «Коммунар» снова вступил в строй. Правда, на этот раз как учебное судно.

5 июля 1924 года потрепанную в боях гражданской войны подводную лодку разобрали в Архангельске на металл. Имя «Святого Георгия» — «Коммунара» было исключено из корабельного списка. Из списка, но не из истории.

А вот следы кавторанга Ризнича безнадежно терялись в дореволюционном Архангельске. Можно только предполагать, что он погиб в февральские дни 1918 года.

ОХОТНИЧИЙ ПЫЖ ИЗ СТАРОЙ ГАЗЕТЫ

Я возвращался из архива, не в силах отделаться от ощущения, что упущен кончик нити, который ведет к Ризничу. Кажется, побывав всюду, где только можно было хоть что-то о нем узнать, — Центральный военно-морской архив, Центральная военно-морс-

кая библиотека, Центральный военно-морской музей... Вдруг припомнилась графа из послужного списка, где шла речь о семейном положении. Короткая запись: «сын Иван, 1908 г. Кронштадт». Если он жив, этот сын Иван, если за три войны с ним ничего не случилось, значит, ему сейчас за семьдесят. И если он никуда за эти годы не переехал, что маловероятно, то живет либо в Кронштадте, либо в Ленинграде.

Подхожу к ближайшему справочному киоску — у Московского вокзала, — заполняю бланк... Через четверть часа получаю ответ. О, чудо! «Ризнич Иван Иванович 1908 года рождения проживает по адресу: ул. Халтурина, д. И». Да это же в двух шагах от моего архива. Сын Ризнича живет в двух шагах от дома, где хранится личное дело его отца.

Не медля ни минуты, возвращаюсь на улицу Халтурина. Вот большой и старый, по-видимому, бывший доходный дом. В одном из закоулков двора-лабиринта нахожу нужный подъезд, поднимаюсь на четвертый этаж, нажимаю кнопку трескучего звонка. Еще секунда, и я перенесусь на семь десятилетий назад... Проходит секунда, другая, третья... Проходит почти минута, прежде чем дверь приоткрывается на цепочке и в щели возникает старушечье лицо. Спрашиваю Ивана Ивановича.

— А его нет. Вы кто ему будете?

Представляюсь, объясняю, по какому делу нужен мне Ризнич. Старушка смягчается, и дальнейший наш разговор протекает на многостольной коммунальной кухне. Из рассказа соседки узнаю, что Иван Иванович говорить об отце не любит, что человек он своенравный, резкий, вспыльчивый, гордый, к нему подход нужен.

Напоследок я узнал, что Ризнич-младший — художник-фарфорист, и довольно известный, работает и по сию пору на фарфоровом заводе имени Ломоносова.

Я распрощался и ушел, несколько обескураженный «информацией к размышлению». Если и в самом деле тема отца для Ризнича неприкосновенна — мало ли тому личных причин, — то при неосторожном расспросе легко получить поворот от ворот.

План действий придумался к вечеру. Я приду к Ризничу не как к сыну командира «Святого Георгия», а как к художнику-фарфористу. Для одной из газет я писал о Конаковской фаянсовой фабрике, немного знал предмет и мог завязать беседу с художником, не выглядя абсолютным профаном. На всякий случай утром полистал еще кое-какие искусствоведческие книги.

Еду на Халтурина, вхожу в знакомый уже подъезд. На сей раз дверь открывает сам Ризнич. Высокий крепкий старик в полувоенном платье. Мое появление его не очень удивило. О нем писали в

заводских и городских газетах, в художнических журналах, так что к визитам корреспондентов он вроде бы привык. Познакомились. Прошли в комнату. Укравкой оглядел стены — нет ли портрета отца? Нет. Висели расписные тарелки, но ничего хотя бы косвенно намекавшего на «Святого Георгия» не было. Зато множество странных вещей выдавали чудной быт этого сложного человека. На подоконнике стоял аквариум с личинками комаров — наживкой для будущих рыбалок. Несколько насекомых вылупились и противно зудели в воздухе, несмотря на снег за окном. С высоких стен смотрели чучела тетеревов, вальдшнепов, глухарей; поблескивал золотом корешков многотомный Брем в соседстве с «Птицами СССР»; на антресолях торчали лыжи, треноги старых мольтбертов и прочая рухлядь...

Мы договорились встретиться завтра в музее фарфорового завода, где выставлены многочисленные работы Ризнича-художника.

Этот второй мой визит дал не намного больше, чем первый. Я узнал, что Иван Иванович почти всю жизнь провел в Ленинграде. И в войну здесь же служил старшиной-радиотелеграфистом на тральщике «Шуя». На ломоносовском заводе работает с довоенных времен. Художнические его работы демонстрировались на международных выставках в Нью-Йорке и Лондоне, Париже и Милане...

В музее образцов фарфорового завода мы долго ходили между витрин с сервизами, вазами, блюдами... Я слушал Ризнича, изображал внимательного экскурсанта, что вообще-то было нетрудно — старый художник рассказывал интересно. Мне нравилась его манера говорить — резковато, прямо, ничуть не заботясь, какое впечатление производят на собеседника суждения. Наверное, точно так же держался и командир «Святого Георгия», отец... Речь Ивана Ивановича изысканно правильная, отточенная, переносила ее на бумагу — и карандашу самого строгого редактора нечего будет поправить. У стенда с сервизом, расписанным Ризничем на тему «Маневры Черноморского флота», я рискнул и попробовал завести разговор о «Святом Георгии».

— Жаль, фотографии командира нигде не сохранилось, — вздохнул я. — Ни в музее, ни в архиве, ни в библиотеке...

Ризнич хитровато усмехнулся:

— В каком часу уходит ваш поезд?

— Сегодня ночью.

— Загляните ко мне вечером.

Вечера я дождался с трудом. Неужели что-то есть, что-то сохранил, что-то покажет?!

Все по сказке — с третьего раза. В третий раз распахнулась знакомая мне дверь. Иван Иванович все в том же полувоенном пла-

тье, загадочно улыбаясь, провел меня в комнату. Статный парень лет тридцати протянул руку:

— Ризнич Иван Иванович.

Старый художник посмотрел на сына вприщур, потом снова обратился ко мне:

— Вы хотели знать, как выглядит мой отец? Считайте, что перед вами живой его портрет. Я помню его лицо. Говорят, в третьем поколении потомки наиболее точно повторяют своих предков.

Затем мы пили чай. Внук командира «Святого Георгия» рассказывал о своей работе, она тоже связана с морем — гидрогеология. У него подрастает сынишка. По семейной традиции он тоже назван Иваном. Иван Иванович Ризнич, шестой в роду.

На посошок выпили за то, чтоб славному роду не было перевodu...

Мой рижский приятель был немало удивлен, узнав, что я все еще разыскиваю следы «Святого Георгия», следы его командира...

— Делать тебе нечего... Подумаешь, историческое событие: перегнали корабль из точки А в точку Б.

— Ну, положим, атомный ледокол «Арктика» тоже перешел из точки А в точку Б. Из Мурманска на Северный полюс. Это во-первых. Во-вторых, речь идет о первом океанском плавании русской подводной лодки. Кстати, в дореволюционном флоте оно было и единственным. «Святой Георгий» стал «Коммунаром» — первой советской подводной лодкой на Севере. Так что именно с него можно вести родословную подводных сил Северного флота. Если хочешь, «Георгий» — «Коммунар» проложил путь в океан нашим нынешним подводным атомоходам. Он точка отсчета: от и до. До всплытия на Северном полюсе. До кругосветного похода под водой!

Иван Ризнич — фигура такого же плана, как автор «мертвой петли» капитан Петр Нестеров, а может быть, и крупнее. Он был не только отличным практиком, но и теоретиком военно-морского искусства. Недаром его называли «светлым гением русского флота», «пионером подводного плавания». Он точно предсказал путь, по которому пошло развитие подводного мореплавания России. И он самоотверженно отстаивал этот путь, ставя на карту и карьеру и жизнь...

Как ни похож внук на деда — судить о том может только Ризнич-художник, — все же хотелось увидеть подлинные черты Ризнича-командира.

С этой целью я приехал в Ленинград в очередной раз. Позвонил старому художнику, но оказалось, что на улице Халтурина он уже не живет — получил квартиру в новом районе. Между прочим, дом,

в котором он жил на Халтуринской, принадлежал когда-то графине Ганской — сестре отцовской бабки. Теперь же к Ризничу надо было ехать в Гавань, на улицу Кораблестроителей. Остановка автобуса называлась внушительно: «Адмиральский проезд».

Многоэтажный дом стоял на берегу Финского залива, и в новых окнах Ризнича широко открывалось море — то самое, глубины которого бороздил его отец.

Как и старая квартира, новая была увешана чучелами птиц, лесными трофеями... Недаром любимый жанр живописи, которому художник отдается самозабвенно, — анималистика. Рыбак и охотник, Ризнич давний член республиканской судейской коллегии по собаководству.

Иван Иванович был на даче, и принимала меня его жена, Нина Ивановна. Она весьма сочувственно отнеслась к моему поиску и постаралась восполнить неразговорчивого мужа.

— Вы знаете, у него такая интересная жизнь. Он встречался с известнейшими людьми... А из него слова не вытянешь! — сетовала Нина Ивановна.

Она назвала только несколько имен тех, с кем водил дружбу Иван Ризнич, — Виталий Бианки, поэт-подводник Алексей Лебедев, командир краснознаменной подводной лодки «Лембит» Матиясевич...

Об Алексее Лебедеве я расспрашивал особо. Блестящий поэт, чьи стихи вошли во все морские антологии, штурман подводной лодки Л-2, он погиб вместе с кораблем, подорвавшимся на mine в 1941 году... С Алексеем Лебедевым Иван Ризнич боксировал в одном спортклубе, когда оба начинали службу на Черноморском флоте. Потом судьба свела их на Балтике. Бывало, что Лебедев жил в квартире товарища, писал ему шуточные стихи... В дружбе Ризнича с Лебедевым каким-то отзвуком повторялась дружба Пушкина с его прадедом.

Из семейного альбома выпала фотокарточка человека в морской офицерской форме.

У меня екнуло сердце — кавторанг Ризнич?! Это был Ризнич, но только младший, художник. Иван Иванович сфотографировался во флотском кителе (покрой этой морской походной одежды почти не изменился с 17-го года), по всей вероятности, пытаясь представить себе отца. Разглядывая эту фотографию, я понял, что сыновняя любовь не угасла к отцу ни в роковом 37-м, ни в более поздние годы.

В том, что Иван Иванович человек с характером, я убедился еще раз, опоздав на условленную встречу у проходной фарфоровой фабрики минут на пять. Старый художник не стал ждать ни секунды: укатил на дачу. Попеняв себе, я позвонил его сыновьям — Ивану и Дмитрию. Решили собраться у старшего.

Иван тоже жил в новостроечном районе, настолько новом, что даже земля там была насыпана заново. Этот искусственный грунт, эти новехонькие стены блочных домов наводили на грустную мысль о том, что следы прошлого искать здесь бессмысленно, что дела дедов астрально далеки от забот внуков, что я напрасно трачу время, блуждая по лабиринту необозначенных микрорайонов.

Братья Ризнич и их семьи были в сборе. Не смогла приехать только сестра Наталья.

Я рассказывал им о «Святом Георгии», об их деде и с каждой минутой убеждался в ошибочности своих недавних сомнений. Им, потомкам, интересно было все, им, слава богу, благодарным потомкам, дорога была каждая подробность из жизни никогда не виденного ими, почти легендарного деда.

Иван — гидрогеолог. Дмитрий — мастер по ремонту медицинской техники. Оба далеки от военно-морского флота, и окружение у них весьма сухопутное. Но вот что примечательно: нет-нет а кто-нибудь из товарищей по работе, соседей, друзей да сообщает — нашел строчку про вашего деда в такой-то книжке, или встретил его имя на карточке библиотечного каталога, или мелькнуло оно в журнальной статье.

— Однажды, — вспоминает Иван, — в экспедиции по Вилуюю нашел я на берегу таежной речушки Морхи охотничий пыж из старой газеты. Развернул и вдруг читаю родную фамилию: «...Праворуля», — скомандовал Ризнич...» Ребята смеются: мол, куда ни ткнись, всюду Ризнич. А я подумал, может, и вправду про деда написано?

Иван — ленинградец только по месту рождения и по прописке. Все лучшие годы провел в экспедициях на Камчатке, в Сибири. Защитил диссертацию. Кандидат геолого-минералогических наук. На досуге построил каютный катер — морские сани типа «фоке». Летом вместе с сыном Ваней, шестым в роду Ризничей, бороздят воды Финского залива. Все-таки тянет море!

Я передал Ивану деревянный туесок с гопчицкой землей, взятой с места родовой усыпальницы Ризничей.

ФЛОТОПИСЕЦ ИЗ ИВАНОВА

Всякому, кто шел по следу, знакомо чувство безнадежного тупика. Потеряны все нити — ни вправо, ни влево... Где искать дальше, когда молчат архивы, музеи, библиотеки, когда опрошены все знакомые, кто хоть как-то связан с историей дореволюционного флота.

Да и что я ищу — песчинку в океане прошлого. Конец 1917 года не способствовал аккуратному подшиванию бумаг. Великая ломка. Гражданская война. Интервенция. Разруха. Сожженные библиотеки. Развезенные архивы.

На стыке двух эпох бесследно исчез маленький экипаж малого корабля. Эй, на «Святом Георгии»! Где ваш командир? Обозначьте свое место! Покажите свой перископ!

Глубина времени беспощаднее глубины океана. Моря веками хранят в своих недрах корабли, документы, сокровища... Время развеивает все в прах.

— Читал я где-то про твоего Ризнича! — звонит приятель. — Оказывается, он воевал в русско-японскую и изобрел миномет.

Расспрашиваю, где читал, когда?..

— Кажется, в каком-то журнале для изобретателей. В конце прошлого года.

Еду в редакцию журнала «Изобретатель и рационализатор», с любезного разрешения сотрудников роюсь в годовых подшивках. Есть! Вот эта статья — «Тайна изобретателя миномета». Но речь в ней шла о другом русском подводнике — мичмане Сергее Николаевиче Власеве, талантливом изобретателе, отважном офицере, командире подводных лодок «Макрель» и «Акула». Судьба Власьева, впоследствии кавторанга, по-своему героична и загадочна. И ею занимался некто Алебастров из города Иванова. Но он же упоминал в своей статье и о Ризниче, ибо командир «Святого Георгия», судя по всему, был хорошо знаком с Сергеем Власевым.

«В те годы, — пишет Алебастров, — на подводников смотрели как на «смертников». Когда зашла речь о прибавке содержания подводникам, морской министр адмирал Бирилев цинично заявил: «Прибавить можно... Все равно они все скоро перетонут...» О будущем подводного флота тогда шли ожесточенные споры... Известный военно-морской теоретик А.Д. Бубнов утверждал: «В открытом море подводные лодки не имеют никакого боевого значения». А адмирал Колчак вообще не находил места подводным лодкам в составе флота! На защиту подводного флота выступили молодые офицеры — лейтенант Ризнич, Тьедер, Власьев, Кржижановский, Подгорный. «Подводники — это моряки будущего!» — прозорливо восклицал М.М. Тьедер. «Морское могущество России неизбежно сопряжено с развитием подводного флота», — утверждал С.Н. Власьев.

Дискуссию разрешили просто: «главари» подводного лагеря Ризнич и Тьедер были изгнаны с флота!»

Пишу Алебастрову письмо, и вскоре приходит ответ, из которого заключаю, что имею дело с превеликим энтузиастом и знатоком

истории отечественного флота. Игорь Сергеевич Алебастров, школьный учитель, пенсионер, вот уже много лет собирает материалы о зачинателях русского подводного плавания; он переписывается со старыми моряками, изучает подшивки давно исчезнувших газет, разыскивает родственников своих героев и время от времени публикует результаты бескорыстных изысканий на страницах не самых популярных журналов. Он порастил меня осведомленностью в «делах давно минувших дней», знанием истории флота, наконец, просто задором, с каким брался стирать «белые пятна» морских хроник, вызволять из небытия имена людей, забытых незаслуженно...

Какое счастье, что не перевелись еще подвижники! Один такой горячий любитель с успехом заменит иную дюжину полусонных профессионалов, вникающих в дело по долгу службы.

Этот человек, которого я ни разу не видел, а только слышал по телефону да разбирал строчки его взволнованных посланий, воодушевил меня на новые поиски, заставил бросить все и поехать в Архангельск, город, когда-то встречавший «Святого Георгия» громом оркестров и радостными возгласами.

Но прежде чем отправиться на Белое море, я побывал на берегах моря Московского. И вот там-то, в городе детства — Конакове, с легкой руки ивановского «флотописца» Алебастрова я нашел то, что так давно искал. Узнав, что я еду в волжский городок по домашним делам, Игорь Сергеевич воскликнул: «Ба! А почему бы вам не заглянуть к Борису Лемачко? У него крупнейшая в стране коллекция фотографий русских и советских кораблей. Запишите адрес...»

Борис Васильевич Лемачко, инженер-станкостроитель, ничуть не удивился моему визиту. К нему часто обращаются изобретатели, историки, коллекционеры, журналисты. В его собрании свыше тридцати тысяч снимков, открыток с изображением линкоров, крейсеров, эсминцев, подлодок, тральщиков, авиаматов, пароходов, буксиров — всего того, что плавало за последние полтора века лет под флагом России и СССР. Увлечение юности — «открытки с кораблями» — стало чуть ли не второй профессией Лемачко. Во всяком случае, вот уже четверть века пополняет он свою коллекцию уникальными фотоматериалами.

А что остается от корабля, поглощенного морем или разрезанного у последнего причала автогеном? Модель — далеко не всегда. Фотография — как правило.

В десятках альбомов, стоявших на полках этой небольшой квартиры, были сосредоточены давно исчезнувшие эскадры и флотилии.

— «Святой Георгий»? — деловито осведомился Лемачко, и сердце мое сжалось: сейчас скажет: «Увы, ничем не смогу вас порадовать». Но что это? Он достает альбом. Раскрывает на какой-то

странице, кладет передо мной. — Увы, у меня только две фотографии. И то прислали из Франции.

Плываюсь в небольшие снимки. На одном запечатлена церемония первого подъема флага на «Святом Георгии» в спейдском порту. Хмурое майское утро. На причале люди под зонтами. Это чиновники завода «Фиат». Рабочие, докеры, судостроители стоят так, дождь их не пугает. За рубкой по правому борту — небольшой экипаж. Бескозырки сняты. На корме матрос поднимает белое полотнище с косым синим крестом. С этой минуты подводная лодка «Сан-Джорджио» — русский корабль «Святой Георгий»... Перед коротким фронтом экипажа, там, где положено быть командиру, — гологоловый офицер, широкий лоб, усы, прямой нос... Ризнич? Снимок мелкий, и черты лица читаются плохо.

На второй фотографии подводная лодка выходит из Специи. Клепоскопы подняты. На мостике — рослый офицер в белом кителе. Это, несомненно, Ризнич, ибо никто, кроме него, командира, стоять там в такой момент не имеет права. На лицо его — экая досада — падает плотная тень. И все же это Ризнич! Вот мы и встретились — ни в Ливорно, ни в Ленинграде, ни в Кронштадте — на берегу Волги, под вековечный шум конаковских мачтовых сосен... Выходит, не такая уж это мистика — вызывать тени ушедших людей. Тень старшего лейтенанта Ризнича, застывшая на фотосеребре, стоит перед моими глазами. Надо только захотеть увидеть человека, и ты увидишь, даже если его давно уже нет в живых...

КОРОЛЕВНА

В Архангельск я прилетел в начале апреля. Северная Двина дремала подо льдом, по старинной набережной кружила метель. У здания Северного морского пароходства мужественно бил фонтан, перешибая поземку струями. Он утверждал весну на этой суровой земле.

Первые мои вылазки в краеведческий музей и областную библиотеку, где хранилась архангельская периодика 1917 года, принесли удручающие результаты. В обширном музее первая мировая война была представлена маленьким стендом; сотрудники ровным счетом ничего не знали о героическом переходе «Святого Георгия» из Италии в Архангельск. В еще более феешенебельной библиотеке подшивки газет и журналов семнадцатого года оказались неполными, разрозненными, а «Архангельские губернские ведомости» за сентябрь 1917-го состояли сплошь из «Обязательных постановлений министра торговли о ценах», полицейской

хроники да «именных списков убитым, раненым, без вести пропавшим».

В морском пароходстве я надеялся узнать адрес ветерана-портовика, который мог бы помнить встречу «Святого Георгия».

— Вот что, — сказали мне в пароходстве, — загляните-ка вы к Ксении Петровне Гемп. Ей девяносто два года, но у нее ясная память. Она хорошо знала Георгия Седова и даже провожала его «Великомученика Фому» в последний рейс. Может быть, она знает что-то и о Ризнице.

Встретиться с Ксенией Петровной оказалось не так-то просто. Несмотря на возраст, она ведет такой деятельный образ жизни, что впору записываться к ней на прием. Будь это так, в длинном списке оказались бы краеведы и фольклористы, ботаники и журналисты, историки и геологи...

Пока я дожидался своей очереди, Ксения Петровна консультировала студенток местного медучилища по лечебным травам. Ее соседка, фармацевт Валентина Михайловна Бугрова, угощала меня чаем.

— Если бы знали, что это за человек! — восклицала Бугрова с неподдельным пафосом, с каким женщины редко говорят друг о друге. — Всю жизнь она прожила в Архангельске. Отец ее Петр Минейко был одним из первых гидроэнергетиков России, главным инженером по строительству портов Белого и Баренцева морей. Кстати, ГЭС на Соловецких островах тоже он строил.

Ксения была красавицей, она и сейчас красива, это в девяносто-то два года! Сказать, что она ботаник — ничего не сказать. Она из породы последних энциклопедистов. Женщина-университет. Земля ли у нас такая холмогорская, что ли?! Судите сами. Она пешком исходила все Беломорье. Знает камни и травы, птиц и рыб края. Перевела на современный русский язык поморские лоции. Она читает древние славянские грамоты. Под ее редакцией только что вышел сборник «Былины Беломорья». Ее принимали в раскольничьих скитах, и староверы величали ее «королевой».

Она изучала водоросли Белого моря, пропагандировала их питательные свойства и даже добилась, чтобы в Архангельске начали выпекать лечебный хлеб с добавлением «морской травы». В семьдесят лет она погружалась в Белое море с аквалангом, чтобы изучать подводные нивы. Во время войны она пешком прошла по льду Ладоги и принесла в блокадный Ленинград мешок водорослевых спор. Она учила блокадников, как разводить водоросли и как готовить из них пищу.

Сын Ксении Петровны погиб под Сталинградом, у нее никого больше не осталось. Она одна. И не одна. У нее прекрасная биб-

лиотека. У нее всегда люди. Она работает ночи напролет. Ей некогда обедать. У нее на кухне нет кастрюль. Она питается, как студентка, чаем и бутербродами. Правда, чай она заваривает свои, травяные. Мы, соседи, иногда приносим ей готовые обеды и чуть ли не силой заставляем есть. Она не от мира сего. Но живет для людей.

Федор Абрамов написал о ней восторженный очерк. Портрет Ксении Петровны висел у него в рабочем кабинете. Она почетный гражданин города Архангельска...

Вот с чем вошел я в книжное хранилище Гемп. За столом, уставленным стопами фолиантов, папок, заваленным фотографиями, свитками карт, сидела худощавая седая женщина, похожая на одну из постаревших шекспировских королев. Услышав имя Ризнича, она грустно усмехнулась:

— Наконец-то хоть кто-то спросил меня про Ивана Ивановича! Как же мне его не знать... Я встречала «Святого Георгия» у Соборной пристани... Иван Иванович бывал у нас в доме... Целовал мне руку... Он хорошо пел. У него был баритон... Любил веселье, добрую компанию. Свой переход он отмечал весьма шумно — в Морском собрании гулял чуть ли не весь город... Высокий, слегка грузный, держался очень уверенно, подтянуто. Он приглашал нас с отцом на лодку. Маленькая, изящная, с блестящими перископами... Мы прозвали ее «конфетка». Но боже, как же тесно там внутри! Я не представляю, как он укладывался там на своем крохотном диванчике... Это невероятно, что они прошли два океана. Как они радовались, что им удалось выйти из шторма возле Норд-Капа.

А еще «Святой Георгий» мы называли «литературной лодкой». Дело в том, что Иван Иванович всегда появлялся в сопровождении двух офицеров. Одного звали Грибоедовым, другой носил фамилию Лермонтов. Оба состояли в родстве со своими знаменитыми предками¹. Еще Ризнич очень был дружен со знаменитым полярным исследователем Борисом Андреевичем Вилькицким, тем самым, что совершил первое сквозное плавание по Северному морскому пути из Владивостока в наш город. В его честь назван пролив в Северном Ледовитом океане.

¹ Позже я узнал, что Константин Николаевич Грибоедов, командовавший в годы первой мировой войны подводной лодкой типа «Барс», стал одним из первых советских подводников; Грибоедов командовал на Севере подводной лодкой Д-3 («Красногвардеец»), затем возглавлял отдельный дивизион подводных лодок. За поход дивизиона к Новой Земле был награжден орденом Ленина.

Кто именно из лермонтовских родственников сопровождал Ризнича, установить пока не удалось. Среди родственников поэта были морские офицеры. Один из них, Дмитрий Николаевич Лермонтов, декабрист. Возможно, К.П. Гемп имела в виду Владимира Михайловича Лермонтова, драгунского полковника, георгиевского кавалера, перешедшего в годы гражданской войны на сторону Красной армии.

— А в честь Ризнича?

— Кажется, был назван какой-то островок. Возможно, я ошибаюсь.

Она раскрыла атлас.

— Нет. В честь Ризнича ничего не названо.

— А какова его дальнейшая судьба?

— До восемнадцатого года он был в Архангельске. Что с ним стало потом, мне не известно. Я бы и сама хотела узнать, где его могила. Он был прекрасным моряком и истинным патриотом.

Ксения Петровна устало откинулась на высокую спинку стула. Она была родом из девятнадцатого столетия. Глядя на нее, слушая ее, зная о ней, думал: век Бородина и декабристов, Пушкина и Достоевского, век, в котором вспыхнули искры самых гуманных идей, наделил одну из своих дочерей всем лучшим, чем славен был сам, и она сумела пронести этот прекрасный дар сквозь вихри нашего времени, донести его нам, людям, стоящим на пороге века двадцать первого.

Ксения Петровна живет в каких-нибудь ста шагах от той пристани, где провожала в 1912 году судно Георгия Седова и встречала в 1917-м подводную лодку Ивана Ризнича. Пройдя по набережной мимо памятника Петру I, я вышел на площадку, сложенную из гранитных квадратов под высоким холмом. Это и была Соборная пристань, переименованная в Красную. С трех сторон ее омывала Северная Двина. Если бы можно было прокрутить ленту реки вспять, как кинолентку, то сейчас бы вон там, из-за заснеженной излучины, показался черный струг подводной лодки с двумя блестящими клептоскопами, а колокола несохранившегося Троицкого собора грянули победную песнь в честь первопроходцев.

Справа от Красной пристани стоял белый теплоход «Аджигол» — флагман датского морского пароходства. Слева вздымались мачты шхуны «Запад», где курсанты старейшей в стране Архангельской мореходки размещали музей своего двухсотпятидесятилетнего училища.

Старая гранитная пристань готова была провожать новых Седовых и встречать новых Ризничей.

Мы живы, пока мы живем в чьей-то памяти. Сегодня я видел человека, в чьей памяти улыбался, пел, отдавал морские команды герой моей повести. Сегодня я впервые почувствовал, как тонок и трепетен ток, идущий из глубин прошлого, такого, казалось бы, далекого, ставшего достоянием учебников и ученых.

Вдруг вспомнилась та груда старых книг и журналов близ Преображенского рынка. С обрывка ветхой газеты начался этот поиск. Не так ли бездумно спешим мы отнести на «свалку истории»

то, что при ближайшем рассмотрении может составить нашу гордость?!

После журнальной публикации очерка о Ризнице в «Юности» пришло много писем. Читал их, и было такое ощущение, будто в темени, заволакивающей прошлое, вдруг вспыхнуло множество фонариков, и в пятнах их света проступили новые лица, новые факты, новые подробности океанского плавания «Святого Георгия».

Вот что пишет бывший командир С-56, совершивший первое в истории советского подводного флота кругосветное плавание, Герой Советского Союза, вице-адмирал в отставке Григорий Иванович Щедрин:

«Мне довелось командовать подводной лодкой «Малютка» (М-5), на Тихоокеанском флоте — сравнимой по своим размерам со «Св. Георгием», и я вполне могу оценить на собственном опыте величие подвига экипажа и командира «Св. Георгия». Это было по плечу лишь дружному, крепко спаянному экипажу, возглавляемому бесстрашным командиром. Ризнич сумел создать на корабле атмосферу человечности, взаимного доверия и уважения.

Старший лейтенант И. Ризнич оказался и хорошим практиком, и не менее серьезным теоретиком, сумевшим правильно определить истинный курс развития отечественного флота. Жизнь доказала правоту его взглядов...

Важное уточнение пришло из Свердловска от юриста по образованию и историка по призванию Николая Старикова. «Та субмарина, которую угнал с завода в Специи мицман Беллони, — пишет Стариков, — так и осталась в Италии. Ее называли «Аргонот», а F-1, переименованную в «Святой Георгий», построили для русского флота заново». Первородное имя F-1 «Сцилла» — удалось установить уже не из письма Старикова, а из других источников. Вероятно, была еще и «Харибда». Сцилла и Харибда — два легендарных мыса в Мессинском проливе. Пройти между ними, как гласит легенда, значит, счастливо миновать смертельную опасность.

Но самые интересные письма пришли из Владивостока от дочери ближайшего помощника Ризнича вахтенного начальника «Святого Георгия» подпоручика по адмиралтейству Мычелкина. Ольга Михайловна Косолапова, библиотекарь на пенсии, глубоко чтит память отца. Она прислала мне открытки, отправленные отцом с борта «Святого Георгия». На них сохранились отпечатки корабельного штемпеля с перевернутой буквой Я в слове «Подводная». Видимо, штемпель изготавливал наспех перед самым отходом лодки итальянский гравёр, который по привычке к латинскому R и перевернул букву. В глазах филателистов эта оплошность придает отпечаткам особую ценность. Но для меня эти обтрепан-

ные по краям открытки со скучными заметками о походе «Святого Георгия» и вовсе не имели цены. На одной из них был изображен плотный офицер с подкрученными усами, в белом кителе и беловой фуражке — подпоручик Михаил Мычелкин, единственный из участников исторического похода, в чье лицо можно было заглянуть хотя бы на фотографии...

Ольга Михайловна Косолапова, ровесница сына Ризнича, писала: «Я мало видела отца. Он часто бывал в плавании: только в 1912—1913 годах он побывал в Императорской гавани (ныне Совгавань), Гонконге, Шанхае... Но тем ярче запомнились дни, когда он бывал дома».

Из писем Косолаповой вставала колоритная фигура моряка-тихоокеанца. Бывший конторщик Михаил Мычелкин в русско-японскую войну был призван матросом на флот. Во Владивостоке он увидел диковинные корабли — подводные лодки. Тогда они были окутаны воистину фантастическим ореолом. Во всяком случае, в магазин силикатных товаров Михаил не вернулся. Остался служить на флоте кондуктором¹. Много плавал. С началом первой мировой войны был произведен в офицеры, но не в мичманы (это звание присваивалось представителям флотской элиты), а в подпоручики по адмиралтейству — сказалось недворянское происхождение.

«Мещанин города Соликамска, как записано в метриках, — вспоминает дочь, — окончивший Пермское училище, куда ходил за 15 верст, неся сапоги на плече, всегда стремился к образованию. Мы получали по подписке энциклопедию Брокгауза и Ефрона, все 80 с лишним томов. Был у нас и шеститомник Пушкина под редакцией Венгерова, одно из лучших изданий, на котором воспитывались русские интеллигентные семьи. Отец научил меня читать...»

Война застала Мычелкина на крейсере «Жемчуг» в малаккском порту Пенанг. Вечером 28 октября 1914 года «Жемчуг» был торпедирован германским рейдером «Эмден». Первая торпеда разорвалась в кормовой части корабля, вторая попала в нос и вызвала детонацию патронного погреба. «Жемчуг» затонул через несколько минут.

«Отец находился в каюте, — вспоминает Ольга Михайловна, — когда корабль вздрогнул и погас свет от попадания торпеды, пущенной с «Эмдена». Он бросился к двери, но, как ни вертел ручку, дверь не открывалась. В коридоре слышались голоса, топот ног, корабль кренился, дверь заклинило. Папа бросился к иллюминатору, просунул руку, плечи, голову, но грудная клетка

¹ Кондуктор — унтер-офицер сверхсрочной службы. Обычно это звание присваивалось после сдачи специальных экзаменов.

не пролезала, застряла — ни туда ни сюда. От попадания второй торпеды взорвался патронный погреб, взрывная волна распахнула все двери, и застрявший в иллюминаторе человек вылетел, как пробка, ободрав до кости ребра.

Когда очнулся, крейсера уже не было. Видно, отца выбросило далеко, и в воронку, возникшую на месте погружения, его не затянуло. Он плавал среди обломков, досок, ящиков. Его окликнули: «Миша, это ты?» Узнать кого-либо было трудно: все были облеплены черным мазутом...

Отец получил контузию, он окликал уцелевших, собирал их вместе, чтобы не уносило течением и отливом. Их заметило и подобрало в ночи английское судно.

Вот такого бывалого моряка и выбрал себе Ризнич в спутники по опасному плаванию. «Фотографию лодки в Специи, — читаю письмо, — с надписью даты спуска «Святого Георгия» на воду и несколькими строчками, адресованными маме («Дорогая Оля, дети...»), с печатью «Просмотрено военной цензурой» я подарила Н.А. Залесскому¹. Он очень обрадовался: «Этот снимок мне дороже всяких бриллиантов».

Вахтенный начальник «Святого Георгия» поручик по адмиралтейству Михаил Алексеевич Мычелкин умер зимой 1918 года. Поехал к брату в Пермь и тяжело захворал грудью. Видимо, сказались ледяные вахты в последний месяц океанского перехода.

«Об Иване Ивановиче Ризнице могу сказать только, — пишет Ольга Михайловна, — что отец относился к нему с большим уважением и даже симпатией. Я чувствовала это по голосу, когда он рассказывал о нем, перебирая фотографии. На одном фото, наклеенном на картон, Ризнич запомнился мне таким: крепкий, основательный, похожий на украинца с круглым смуглым лицом под козырьком фуражки.

Думаю, что отца потянуло на «Святой Георгий» не только из-за чувства воинского долга — надо! — но привлекла его и весьма притягательная личность командира Ризнича.

Как-то я спросила папу — хорошо ли жить на лодке? Он ответил: «Сыро». И добавил: «Резина мокрая. Душно».

О судьбе штурмана «Святого Георгия» старшего лейтенанта Александра Рогата известно лишь то, что после революции он остался в Советской России и умер в 1929 году, по всей вероятности, в Ленинграде.

¹ Н.А. Залесский — ленинградский знаток истории флота, профессор Военно-морской академии, собравший крупную коллекцию фотографий русских кораблей.

А что же судьба командира «Святого Георгия»? Увы, документальных сведений о ней пока нет. Правда, за годы поисков у меня составила целая коллекция версий на этот счет, предложений, мнений... Почти все они сходятся на том, что капитан 2-го ранга Ризнич не погиб в восемнадцатом году в Архангельске... Интересное письмо пришло из Владивостока от Георгия Николаевича Егорова. Он записал по памяти рассказ покойного отца-моряка: «В 1922 году белогвардейский адмирал Старк, покидая Владивосток, увел с собой многие суда Доброфлота. Эти пароходы оказались в различных портах Дальнего Востока, стояли они зачастую без экипажей и даже без охраны. Было предпринято несколько успешных попыток вернуть их во Владивосток с помощью специально подобранных команд.

Летом 23-го года мой отец в составе одной из таких команд прибыл в Шанхай. В день захвата белогвардейского парохода наши моряки рассредоточились и разными путями стали пробираться к судну. Однако захват не состоялся — командир не прибыл в назначенное место.

Позже выяснилось, что в городе его узнал кто-то из бывших сослуживцев-офицеров, его схватили, обнаружили под кителем красный судовой флаг и расстреляли. О командире отец рассказывал, что он был офицером царского флота, подводником, который угнал из Орана в Россию подводную лодку. Быть может, это был не угон, а перегон, и не из Орана, а из Специи? Если так, то тогда командиром группы захвата был не кто иной, как кавторанг Ризнич».

«ПО МЕСТАМ СТОЯТЬ! К ПОГРУЖЕНИЮ!»

В научной библиотеке Военно-морской академии я встретил человека, с которым давно искал случая познакомиться, — профессора, капитана 1-го ранга в отставке Николая Александровича Залесского. Николай Александрович с 1925 года собирает фотографии кораблей и судов русского военного флота. Он-то и предложил мне заглянуть в сборник ЭПРОНа за 1934 год, где была помещена редчайшая фотография, сделанная в последние годы морской жизни «Святого Георгия». Оказывается, корпус устаревшей и разоруженной субмарины Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН) использовала в качестве судоподъемного понтона. Какая странная судьба у этой подводной лодки: вместо того, чтобы топить корабли, она поднимала их со дна морского!

Выходило, что «Святой Георгий» не был разобран на металл в 1924 году, как сообщал о том справочник, а плавал в составе ЭПРОНа по меньшей мере еще десять лет. Эти последние годы понтон «Святой Георгий» провел в Мурманском порту, поднимая затонувшие в гражданскую войну суда. Видимо, там, на корабельном кладбище Зеленый мыс, он и закончил свою необыкновенную жизнь.

Летом 1984 года старший внук Ризнича кандидат геолого-минералогических наук Иван Иванович Ризнич пригласил меня на морскую прогулку по Финскому заливу. Большой каютный катер, построенный руками Ивана при участии всех членов его дружной семьи, отвалил от причала водномоторного кооператива и, набирая скорость, помчался, взрезая невысокие волны. Справа по борту вздымались чуть видные в дымке купола и мачты Кронштадта. Мы проходили мимо города-гавани, куда приводил свою подводную лодку и где подолгу жилал геройский дед капитана катера.

Иван стоял на руле — крепкий, широколобый; спокойные глаза, стриженные усы выдавали в нем того бывалого человека, каким становится к сорока годам, должно быть, любой геолог, изрядно поколесивший и походивший по нашей бескрайней стране. Он внимательно вглядывался в зеленую рябь залива, чтобы не наскочить с лету на какой-нибудь топляк. А я смотрел на Ивана, пытаюсь угадать в нем черты того морского офицера, чей мужественный образ — загадочный и чуточку смутный — запал мне в душу на многие годы. Как, в сущности, все было недавно — в пределах одной человеческой жизни: и броненосец «Ретвизан», идущий в дерзкую атаку, и победный звон архангелогородских колоколов в честь подводников, одолевших океанские дали, и «Аврора», входящая в Неву...

— А знаешь, — оторвался на миг от штурвала Иван, — вместе со мной работает племянник Ксении Петровны Гемп, той самой, что встречала «Святого Георгия» в Архангельске!.. Вот совпадение!

Я не удивился. Наверное, в таких совпадениях, когда дела и дружбы дедов повторяются через поколения, как повторилось в правнуках, например, přátельство Пушкина и Дениса Давыдова, есть своя закономерность. Если жизнь человека была посвящена благородному делу, неважно на каком поприще — литературном, научном, морском, — если она вобрала в себя хотя бы одну истинную идею, то отзвуки этой гармонии и через века будут находить родственные души.

В жизни рода Ризничей было много таких совпадений...

В 1966 году группа советских атомных подводных лодок обошла вокруг планеты, не всплывая из глубин Мирового океана. Это

грандиозный поход начался с командирского возгласа: «По местам стоять! К погружению!», а закончился словами: «По местам стоять! К всплытию!» Автором этих команд был лейтенант Ризнич, пионер русского подводного плавания.

В конце двадцатого века на Тихоокеанском флоте один из атомных подводных крейсеров был назван «Георгием Победоносцем». Так замкнулась эта история, которая началась на заре российского подводного плавания. У новонареченного корабля судьба оказалась столь же нелегкой, как и у его северофлотского тезки. В недоброе время взвилось над ним славное имя. Словно хотели защитить им корабль, прикрыть от гибели, которая нависла над ним в виде затяжного и безысходного ремонта. Ельцинское правительство не смогло (или не захотело) найти деньги для оживления боевого корабля. Американцы тут же предложили валюту для оплаты разделки совсем не старого еще атомохода на металл. Но моряки отстояли свою подводную лодку. В 2002 году необходимые финансовые средства были изысканы и моряки вместе с рабочими судоремонтного завода «Звезда» во Владивостоке отремонтировали корабль ударными темпами. В конце ноября 2003 года подновленный «Георгий Победоносец» под марш «Прощание славянки» отошел от заводской стенки и взял курс в родную базу.-

Что бы там ни говорили, а у кораблей, как и у людей есть свои ангелы-хранители. Не допустил святой Георгий отправить на утиль освященный в его честь корабль...

ТОРПЕДА ДЛЯ «АВРОРЫ»

25 октября 1917 года 3 часа ночи

Кавторанг Николай Михайлович Грессер 3-й проснулся оттого, что над ухом шелкнул взведенный курок. Рука молниеносно выдернула из-под подушки наган... Тихо выругался. Шелкнул открывшийся сам собой замок стоявшего в головах чемодана. Жена недовольно заворчалась.

— Опять ты вскакиваешь посреди ночи... Бож-же, что за наказание...

После Кронштадта Грессер спал с наганом под подушкой. После Крон-штад-та... Отныне и навсегда в этом слове будет слышаться ему клацанье затвора, шорох клешей, метущих ступени, яростная дробь в дверь...

Ему всегда казалось, что самое страшное из того, что может с ним случиться, это смерть от удушья в живо погребенной подводной лодке. Всю войну в сейфе своей командирской каюты он держал изрядную дозу морфия на тот самый страшный, безысходный случай. Но судьба пощадила его «Тигрицу», и в феврале семнадцатого он благополучно сдал ее своему однокашнику по Морскому корпусу. А спустя неделю случилось то, что не примерещилось бы ему и в самом нелепом кошмаре. Его пришли убивать свои, русские матросы. Они пришли ночью. В ту самую первую весеннюю ночь, когда до острова Котлин доползли слухи об отречении императора, о революции, о свободе...

Грессер жил в третьем этаже доходного дома на Господской улице. Весь день первого марта он просидел в квартире, леча ангинозное горло всевозможными полосканиями. Он не знал о митинге на Якорной, не знал, что военный губернатор Кронштадта адмирал Вирен поднят матросами на штыки, что весь день взбуряженные толпы ходили по кораблям, где им выдавали «драконов», и желтоватый кронштадтский лед становился красным там, где вершился суд скорый и беспощадный... Ничего этого он не знал, хотя и догадывался, что в городе неладно...

А в полночь винтовочные приклады заколотили в дверь его квартиры. Он успел набросить па плечи китель и, поразмыслив с минуту, открыл дверь. Сильные руки выдернули его на площадку.

— Во какого выдрили! — по-рыбацки обрадовался рябой широкоскулый матрос. — Сыпсья вниз, гнида! Смертушка твоя пришла!

Какое счастье, что Ирина с Надин остались в Петрограде...

Своих, с «Тигрицы», в толпе взбулгаченных матросов он не разглядел. Был бы кто из них — любой бы воспротивился столь вопиющей несправедливости: капитан 2-го ранга Грессер никогда не был «драконом». За всю войну он ни разу никого не ударил, хотя ударил. Но только один раз и то за дело — сигнальщика Землянухина. «Тигрица» шла ночью в надводном положении. Поход предстоял опасный, Грессер нервничал, ибо лучше других знал, куда и на что они идут. Он первый заметил веху, обозначающую скальную банку, и вовремя успел отдать команду на руль. Но первым заметить веху должен был сигнальщик — она была в его секторе. И Грессер ткнул Землянухина биноклем в лицо:

— Плохо смотришь, чучело!

Эбонитовый наглазник рассек матросу бровь, но Землянухин снес тычок как должное:

— Виноват, вашсокродь, прозевал...

— Смотри в оба! Лодку загубишь!

На том все и кончилось. И знали об этом случае только они двое — матрос и офицер. Землянухина давно уже нет в Кронштадте — его перевели на лодку-новостройку, так что никто не мог припомнить кавторангу ничего дурного. Но никто и не собирался ему ничего припоминать. Ночным пришельцам достаточно было того, что его выудили.

Он видел, как вниз по лестнице гнали в шею соседа — старшего лейтенанта Паныпина. Во дворе — Грессер успел заметить в лестничное окно — жались перед матросскими штыками пятеро полуодетых офицеров.

— Дайте хоть шинель набросить! — взмолился кавторанг. — У меня анги́на.

— Иди, иди, шас мы тебя вылечим! — пообещал рябой и подернул ружейный погон.

Жизнь подводника приучила Грессера искать выход в секунды. И он, как всегда, нашел его, обведя затравленным, но цепким взглядом лестницу, окно, площадку второго этажа... Дверь в квартиру Паныпина оставалась полуоткрытой. Поравнявшись с ней, Грессер метнулся в сторону и тут же захлопнул тяжелую дубовую створку, набросил крюк, задвинул засов. Он успел проделать все это в считанные мгновенья, успел отскочить в сторону — от пуль, дырявивших дверь. В квартире никого не было. Расположение

комнат Грессер знал прекрасно, так как жил в точно таких же этажом выше, поэтому, прикинув на бегу, что выбираться в окна, выходящие во двор и на улицу, опасно, он ринулся в чулан, распахнул узкую раму и очутился на крыше чайной, пристроенной к торцу дома. Скатившись по ледяной кровле в задний палисадник, Грессер дворами и глухими проулками выбрался на северную окраину Кронштадта. Страх — смертный страх гонимого зверя — выгнал его на лед Финского залива, и он трусцой двинулся по санному пути в Териоки. Он обходил фортовые островки с глубокого тыла, опасаясь выстрела в спину. В одном кителе, без фуражки, в тонких хромовых ботинках он пробежал по заснеженному льду верст десять, пока, вконец ооченевшего, его не подобрала финские рыбаки. Они отвезли его на санях в ближайший поселок. Дней десять он прометался в бреду жестокой простуды. Старуха финка выходила больного брусничным листом, клюквенными чаями, парным молоком. Грессер оставил ей свои золотые наградные часы, полученные за потопление германского крейсера, и отправился в Питер пригородным поездом.

В столице ликовала «великая и бескровная» революция. Извозчик с красным бантом и с красной лентой, вплетенной в гриву лошади, с трудом пробился на Английскую набережную.

В доме жены — особняке генерал-лейтенанта Верха — Николай Михайлович встретили, как выходца с того света. Из Морского корпуса — через мост — примчался отпущенный до утра Вадик, кадет старшей роты. Когда все домашние вдоволь нарыдались и нарадовались, когда, отойдя душой и телом от кронштадтского бега, Николай Михайлович появился в Адмиралтействе, то и там его приняли, как воскресшего из мертвых. Ему были рады, его расспрашивали, ему называли имена погибших в Кронштадте офицеров, и в тот же день у Грессера стала дергаться правая щека — то ли от всего пережитого, то ли от застуженного во льдах залива лицевого нерва.

— Послушайте, правда ли, что они обезоружили даже памятники? — приставал к нему лейтенант Дитрихс, офицер из ГУЛИСО¹. — У Беллинсгаузена отобрали кортик, а у Петра — шпагу?

— Правда, — отвечал Грессер, испытывая некоторое удовлетворение от того, что отголоски кронштадтских событий взволновали тихую заводь штаба.

Его принял новый морской министр Александр Иванович Гучков и нашел ему место под Шпицем²: Грессера назначили

¹ ГУЛИСО — Главное управление по делам личного состава морского ведомства.

² Шпиц — название Адмиралтейства в морском обиходе.

старшим офицером в отдел подводного плавания. Казалось, жизнь снова налаживается, и притом в лучшем качестве: ни выходов в море, ни нервотрепки с матросами, от дома до службы — променадная прогулка в четверть часа, в просторных коридорах и высокооконных кабинетах — привычное золото погон, холерные лица сослуживцев, знакомых и по гардемаринским ротам, и по кают-компаниям, и по морским собраниям... Но горький дым кронштадтских труб — корабельных и заводских — докатывал и сюда, под Шпиц, и с каждым месяцем он ощущался все горше, все ядовитей, все убийственной... В октябре генмор работал как машина, разобшенная с гребными валами, — сам по себе. Маховики флота вращал Центробалт. Грессер готовил бумаги, относил их на подпись, писал проекты приказов — с глухой тоской человека, вынужденного верить в платье голого короля...

25 октября 1917 года 3 часа 20 минут

Этот дурацкий щелчок чемоданного замка начисто лишил сна, и Николай Михайлович долго прислушивался к ночным звукам взбудораженного города. Откуда-то с Галерной осенний ветер принес глухие хлопки винтовочных выстрелов — необъяснимых и потому зловещих. Пробухали над окнами чьи-то сапоги, и долетел торопливый говорок.

Каменная раковина петербургского двора втягивала в себя все шумы бессонной столицы. Но пуще всего шумел ветер с залива. Мерзкий проволоочный свист проникал сквозь двойные стекла. Стекла дрожали, дребезжали и, казалось, трепетали, словно листы пергамента.

Как и всем морякам, Грессеру не спалось в сильный ветер. С мичманских времен приобрел «штормовую бессонницу». Даже если вахту несешь не ты, без толку спать — в любую минуту поднимет аврал: лопнул швартов, не держит якорь, навалило соседний корабль...

Старый «Мозер» пробил в гостиной третий час ночи. Дребезжащий его бой напоминал взвизги пружин, вырывающихся на свободу.

Грессер сделал отчаянную попытку уснуть, прибегнув к испытанному средству: представил себя летучей мышью, висящей вниз головой в темном теплом дупле. При этом он грел затылок ладонью. Прием подействовал: сердце отпустило, голова приятно отяжелела, оставалось только вспомнить обрывок сна, прерванного щелчком чемоданного замка... Но тут за окном раздался протяжный грохот железа по железу. Так грохотать — раскатисто, звонко, сыпуче — могла только якорь-цепь.

Грессер выбрался из-под одеяла, приоткрыл штору.

«Диана»? — спросил он себя, увидев посреди Невы частокол крейсерских труб и мачт. «Диана» стояла в Гельсингфорсе. С какой стати она в Петрограде?

Приглядевшись, Грессер точно определил корабль — «Аврора». Он и забыл о ее существовании: ведь год корабль проторчал у стенки Франко-Русского завода.

Крейсер открыл прожектор, и дымчатый в дождливой мгле луч, недобро мазнув по окнам Английской набережной, запрыгал по разведенным пролетам Николаевского моста. У баковой шестидюймовки суетились комендоры.

У Грессера дернулась и запрыгала щека. Похолодевшая грудь ощутила металл нательного крестика. Это не «Аврора». Мрачный призрак кронштадтской Вандеи вошел в Неву, в Петроград, подступил к самым окнам его дома. Грессер затравленно оглянулся, ища, как тогда, на Господской, путь к отчаянному спасению, но взгляд увяз в уютном сумраке спальни, едва рассеянном зеленой лампадой под фамильной иконой.

Шальной свет корабельного прожектора вымертвил лики святых, круглое женино плечо, фотопортреты в резных овалах... Это беспощадный Кронштадт рвался в окно — страшный в своей слепой ярости. Нет-нет, неспроста они осветили именно его окно, ужаснулся мгновенной догадке Грессер. Они пришли за ним, они вот-вот застучат прикладами в высокие двери берховских апартаментов. Надо будить Ирину, дочь, надо бежать, ехать, мчаться прочь, прочь, прочь от этого проклятого города!

Грессер с трудом взял себя в руки и унял дрожь в щеке. «Значит, «Аврора», — произнес он. Он вспомнил, что крейсером в последнее время командует его тезка и сын отцовского приятеля лейтенант Эриксон, потомок того самого Эриксона, что построил в Америке первый бронированный корабль «Монитор». Неужели это Эриксон привел «Аврору»? Или его, как и бывшего командира, пристрелили на трапе? Бедный Йорик! Даже если он жив, ему все равно придется сегодня несладко. «День славы наступает...» Николай Михайлович накинул японский халат, прошел на кухню. Горничная Стеша, прикрывая вырез ночной рубахи, испуганно выглянула из своей комнатки.

— Чтой-то вы в такую рань, Николай Михалыч?!

— Приготовь бритье, Стеша, и крепкий чай, — распорядился Грессер. — Бритье в ванную, чай в кабинет. Барыню не буди. Мне на службу надо.

Горничная поспешно зашуршала юбками.

«День славы наступает...» Эта строчка из «Марсельезы» припомнилась еще там, у окна, когда он глядел на угрюмую глыбу крей-

сера, и теперь он без тени иронии повторял ее. Да, сегодня или никогда... Сегодня он, капитан 2-го ранга Николай Грессер, потомок петровского адмирала шведа, военный моряк в восьмом колене, свершит то, что назначено ему судьбой и историей.

Возвышенные мысли одолевали его всегда почему-то во время бритья.

Грессер был третьим офицером на флоте — после старшего лейтенанта Павлинова и вице-адмирала Колчака, — который брил и бороду, и усы. Это требовало известной смелости, ибо император не благоволил к бритолицым офицерам.

На сей раз пальцы слегка дрожали и он дважды порезался на смерть отточенным лезвием, чего с ним давно не случалось. Замазав порезы квасцами и растерев щеки одеколоном, Николай Михайлович заглянул в зеркальце «жокей-клуб». В этот день он хотел запомнить свое лицо. Кто знает, быть может, он видит его в последний раз. В серых остзейских глазах застыл странный сплав тоски и безверия, страха и злой решимости. Но тонкий хищный нос и по-прежнему волевые губы ему понравились.

Грессер переоделся в чистое белье, надел новый китель, сшитый у самого модного в Кронштадте портного еще до Февраля и потому злато сверкавший упрямленными погонами. Поразмыслив секунду, он не стал их снимать. В такой день он может себе это позволить. И кавторанг с презрением покосился на повседневную тужурку с нарукавными галунами аля бритиш пойви, введенными Керенским в угоду взбаламученной матросне.

Он стянул с пальца массивное обручальное кольцо и придавил им записку на столе: «Ирина! День, о котором я тебе говорил, настал. Возьмите с Надин в дорогу самое необходимое. Ждите нас с Вадимом вечером в Териоках по известному адресу. Мы должны срочно оставить Питер. Не волнуйся, родная, все будет хорошо. Твой капитан Немо».

Он окинул свой кабинет тем особым — цепким — взглядом, каким всегда прощался с кронштадтской квартирой перед выходом в море. Запомнить и унести с собой, быть может навсегда, и этот секретер с перламутровыми вставками, и настольную министерскую лампу, чей керосиновый фитиль он собственноручно переделал под электрический патрон, и чернокожие с золотом корешки «Военной энциклопедии», и портрет отца в рамке из обгорелых палубных «паркетин» с броненосца, погибшего в Желтом море, и висящий под портретом кинжал для левой руки...

Кто-то из знатоков холодного оружия уверял его, что это — дага или «каульбарс» («ерш»), как называли эту штуку в средневековой Германии. Он снял клинок со стены. То была самая цен-

ная реликвия дома. Она передавалась в роду Грессеров от деда к старшему внуку и служила зримым, но — увь! — единственным свидетельством причастности родоначальника к рыцарскому клану. Лет триста назад именно этот кинжал помог достославному мужу одержать победу в фехтовальной дуэли. Левая рука прашура, вооруженная коротким клинком, нанесла удар неожиданно и разяще...

Может, взять на удачу с собой? Быть может, счастливая сила «каульбарса» не иссякла в веках?

Поразмыслив, он вернул дагу на место. Его «кинжал для левой руки» выкован из другого металла. У каждого должен быть свой «каульбарс». У каждого должен быть свой «ерш», улыбнулся он неожиданному каламбуру. В конце концов, под один и тот же вексель дважды в долг не берут.

Заспанная Стеша принесла чай.

— И куда-то вы ни свет ни заря?!

— Война, Стеша, война! Грешно спать в такое время... — топливо отхлебывал чай Грессер. — Передай Ирине Сергеевне мой наказ: уезжать из города не мешкая. Я пришлю верного человека, он вам поможет.

Чай, подернутый ароматным парком, был хорош — вишнево-красен, в меру горяч и терпок. Кавторанг допил залпом и, не слушая озабоченных причитаний горничной, решительно направился в прихожую. Стеша не успела даже подать шинель. Грессер облачился сам, пробежался пальцами по золоченым пуговицам, привычным жестом проверил, как сидит фуражка, но вместо кокарды ребро ладони укололось о золотое шитье непривычного «краба», учрежденного все тем же адвокатишкой на потребу Центробалта.

Переложил наган в карман шинели без погон, осмотрев барабан — все ли патроны на месте.

Стеша при виде оружия жеманно ойкнула.

— Поддай дождевик, — сказал Грессер.

Нахлобучив на фуражку просторный капюшон и убедившись, что «краб» не виден, Николай Михайлович вышел из квартиры.

25 октября 1917 года 4 часа утра

Матрос 1-й статьи Никодим Землянухин проснулся оттого, что гадюка, увиденная во сне, цапнула его за ногу. Нога заныла. Но то уже было не во сне, а наяву. Вчера цапнула лодыжку юнкерская пуля в перестрелке у Николаевского кавалерийского училища. Вроде пустяк, весь день ходил с перевязкой, к утру же вишь как взяло, задергалось... А тут еще и змея приснилась...

Аспида во сне видеть, известное дело, хитреца встретить. Но хитрецов Никодим среди своих корешей не числил, а иных встреч не предвиделось. Кряхтя и охая, Землянухин сел на скрипучую экипажную койку.

Матросы с подводного минного заградителя «Ерш», намаявшись за день, храпели во все завертки.

Никодим достал из-под подушки бинт и отковылял в коридор на свет — рану посмотреть да свежей марлей замотать. У питьевого бачка гремел кружкой Митрохин, минный боцман и председатель лодочного судкома. Был он в тельнике полосатом, в исподнем и сапогах на босу ногу.

— Охромел, братец? — участливо поинтересовался Митрохин. — Эх тебя не ко времени клюнуло! Нынче контру вышибать пойдем, а ты обезножил...

— Юнкера подковали...

— Вот что, — председательским баском распорядился Митрохин, — все одно ты не ходок пока. А у меня каждый боец на счету. Заступай-ка ты на весь день в караул «Ерша» охранять. Не ровен час кака стерва залезет. Лодку, сам знаешь, в момент затопить можно.

— И то жалко — новехонька, — соглашался Землянухин, перетягивая лодыжку. — В море еще не ходила. Как девка нецелована... Не робь, догляжу.

— Скажи баталеру, чтоб цельных две селетки выдал, буханку хлеба и шматок сала как пострадавшему от наемных псов капитала.

— Ишь ты, — усмехнулся Никодим. — Складно как: «сала — капитала». Стихами заговорил.

— Мы, земелюшка, еще не так заговорим! Вот «Аврора»-матушка слово скажет — это будет дело. Слышь — против Зимнего стала!

25 октября 1917 года 4 часа утра. Крейсер «Аврора»

Как ни хотелось завалиться на койку — прямо так, в синем рабочем кителе, скинув лишь ботинки, — и рухнуть ничком поверх верблюжьего одеяла (мамин подарок к выпуску), мичман Демидов присел к каютному секретеру, откинул доску и, повернув бронзовый ключик, открыл свой ящичек, где хранилась заветная — гардемаринская еще — тетрадь. Он не притрагивался к ней с июля — с самого выпуска.

Страница, отведенная для описания торжеств производства, была перечеркнута с восторгом девятнадцати лет.

У!

УРА! А!

ВЫПУСК!! УРА! УРА!

Ошеломительно новая — офицерская! — жизнь, перенасыщенная событиями революционного года, прервала хронику последних трех почти взрослых демидовских лет, но вчера он поклялся себе продолжить дневник и не бросать его до тех пор, пока будет длиться их прекрасный роман с Надин Грессер, пленительной богиней Северной Пальмиры, Авророй с Английской набережной, невиской наядой и прочая, прочая, прочая... Именно вчера произошло то, что казалось невыносимым, несбыточным, о чем он вспоминал сегодня с легкой краской счастливого стыда и восторженным благодарением... Боже! Как доверить это бумаге так, чтобы никто не прочел?! Каким шифром записать этот восхитительный день?!

Может быть, писать по-французски? Но здесь, на «Авроре», по-французски читал каждый второй офицер. И если в грядущем морском бою осколок немецкого снаряда пробьет ему грудь и черная тетрадь вместе с другими его бумагами ляжет на стол старшего офицера или, быть может, самого командира... О нет! Чести Надин Грессер, дочери моряка и возлюбленной морского офицера, ничто не должно угрожать!

После долгих раздумий Демидов решил писать самое сокровенное арабской вязью, которую уж точно никто на корабле прочесть не сможет и которой он с грехом пополам овладел на первом курсе Петроградского университета — за год до поступления на отдельные гардемаринские классы.

События первой половины дня можно было доверить любому глазу, и мичман Демидов торопливо набросал по-русски:

«24 октября 1917 года. У стенки Франко-Русского завода.

Этот великий День моей жизни, который я могу уподобить по значению лишь Дню ангела или Дню производства, начался столь же обыденно и серо, сколь и все предыдущие недели и месяцы нашего ремонта: подъем флага, развод на работы и т. п. Правда, за завтраком в кают-компании наш командир (выборный) милый добрый Эрик — да простит он мне эту фамильярность! — еще раз подтвердил то, чем жили мы все в наше заводское прозябание: «Аврора» свертывает ремонт и в самые кратчайшие сроки уходит в Гельсингфорс. А это значит, что мы успеем еще хлебнуть настоящей боевой жизни, пока не замерзнет Балтика. И если Бог будет милостив к моей морской судьбе, он ниспошлет «Авроре» славное дело. Ведь случился ж Моонзунд, а это значит, что настоящая морская война для Балтийского флота только начинается, как мудро заметил Борис Францевич Винтер, наш старший офицер, и наш Ютландский бой (или Цусима?) — впереди. Петроград еще воздаст тем, кто спасет его у ворот Финского залива, огнем и броней преградив путь кайзеровским дредноутам.

Не слишком ли выпренне я выражаюсь?! Но День-то какой — День! Право, он стоит и «высокого штиля», и белых стихов.

Итак, за утренней трапезой лейтенант Николай Адольфович Эриксон, высокий, сутуловатый, с серыми чуть навывкате глазами, привыкшими разглядывать море скорее на штурманской карте, чем в прорези боевой рубки, дал понять весьма недвусмысленно, что крейсер идет в боевые порядки и посему свободные от службы офицеры могут покончить со всеми своими личными делами в городе до самого ужина. Подтекст этого необычного разрешения был откровенно ясен: «Господа офицеры, прощайтесь с Питером. Мы уходим на войну».

Я отпросился на берег тут же после обеда. Сменив китель на вицмундир и подвязав черный галстук, я сбежал по трапу на стенку и скорым шагом, миновав проходную завода, вышел к Цусимской церкви¹. Отсюда до дома Грессеров — рукой подать. Собственно, в этом и заключался весь мой план прощания с Питером — нанести последний визит Надин, как звали ее домашние, Наденьке, как звал я ее про себя.

Оставив Цусимскую церковь за спиной, я вдруг сообразил, что не худо бы поставить свечу Николе Морскому. Он один лишь знает, что ждет «Аврору» завтра. Я вернулся. В Царских вратах алтаря вместо занавеси висел шелковый Андреевский флаг. Стены храма украшали мраморные доски с именами кораблей мучеников: «Ослабя», «Бородино», «Суворов»... Я любил эту церковь и до флота... Зажег свечу Николаю Чудотворцу, попросил его об удаче на море и вышел с легким сердцем.

На Галерной в кондитерской я попросил положить в коробку полдюжины птифуров.

С замиранием сердца я поднялся на ее этаж. Дверь открыла она сама...»

Далее арабской вязью.

«Надин была в длинной черной, высоко запоясанной юбке и в пепельной шемизетке², заправленной за широкую атласную ленту, стянутую на узкой талии большим бантом. Она провела меня в гостиную, где никого, как впрочем и во всем доме, не было. Николай Михайлович ушел на службу, а Ирина Сергеевна со Стешей отправились на Шукинский рынок. Признаюсь, я не придавал этому никакого значения. Я надеялся лишь на прощальный поцелуй, как тогда, летом, в Териоках.

¹ Церковь, построенная в память погибших в Цусимской бою офицеров и матросов. Разрушена в 30-е годы.

² Шемизетка — блузка из расшитого тюля.

Мы сидели на широком подоконнике в гостиной и смотрели на сумрачную Неву, всю в острых всплесках под осенним ветром. Надин была грустна. Она сказала, что утром разложила пасьянс на нас и вышло очень нехорошо. И что вообще жизнь нависла над всеми нами и вот-вот опрокинется, и мы вместе с нею. Все полетит в бездну, в пропасть...

Бедняжка! Кажется, она очень верила своим предсказаниям, в уголках ее огромных глаз блестели слезы.

Я позволил себе слегка обнять ее, и она не отстранилась, а припала к плечу моему со следами свежеспортого погона. Пушистые волосы ее нежно защекотали щеку и шею. Она всхлипывала, шептала мне в ухо.

— Папа увозит нас всех в этот противный Гельсингфорс. Мы теперь увидимся очень нескоро... Если вообще увидимся...

— Но ведь это же замечательно! — вскричал я. — Ведь и мы уходим в Гельсингфорс! Мы обязательно увидимся... Там чудные кондитерские и великолепные цветочные магазины...

Я нес всю эту чушь, а перед глазами вставали страшные мартовские дни, гельсингфорсский морг, набитый телами растерзанных офицеров...

Я целовывал ее слезы, я покрывал поцелуями ее бледные щеки, виски, лоб, переносицу, пока наши губы наконец не встретились, не раскрылись, не слились...

...У входа в мертвецкую стоял замерзший труп адмирала Непенина в лихо заломленной бескозырке. В уголок рта была вставлена дымящаяся папираса...

...Надин бессильно сползла с подоконника на мои руки, и я унес свою драгоценную ношу в комнату...

...Вокруг адмирала приплясывали пьяные матросы: «Мы перед тобой тянулись. Теперь ты перед нами стой!» Я держал под руку вдову лейтенанта Ефимова, командира «Куницы», на которой проходил практику. Они покосились на горжетку Лилии Николаевны, на мои якорьки на гардемаринских, по счастью, черных погонах¹, и пропустили нас под своды морга...

...Пальцы мои что-то расстегивали и что-то развязывали на безжизненном теле Надин, ни в чем не встречая преграды. Меня охватывал сладостный ужас от их дерзостной, преступной свободы. О, если бы ты хоть раз остановила мои руки, я ничего бы не посмел. Но ты не остановила их даже тогда, когда они вторглись и в вовсе запретные пределы...

¹ Гардемарины Отдельных Классов в отличие от привилегированных питомцев Морского корпуса носили не белые, а черные погоны. Отсюда и их прозвище — «черные гардемарины».

...Прости меня! В тот день я был влюблен в Лилию Николаевну. Но только в тот день — страшный скорбный день. Она была неотразимо хороша в своем трауре, в своей горе. Знаю, что признаваться в этом кощунственно, но в любой миг того дня я мог разделить судьбу ее мужа. Я исподволь любовался ею, обожал ее, потому что не знал еще толком тебя, потому что та внезапная любовь придавала мне храбрость вести ее сквозь толпы опьяненных кровью матросов, под своды подвала смерти, где на столах и в проходах были свалены пробитые штыками и пулями тела корабельных офицеров с неприкрытыми лицами. Она бесстрашно шла по этому аду, и я, сжимая ее локоть, сгорал от невыносимой страсти, как сейчас, Надин, как сейчас...»

25 октября 1917 года 5 часов утра

Долги осенние ночи в Петрограде. Еще и намек на рассвет не было. Шквальный ветер расклеивал желтые листья по мокрой брусчатке Конногвардейского бульвара. Грессер шагал, прикрывая лицо отворотами дождевика. Он сворачивал в безлюдные переулочки и, если впереди маячили чьи-то фигуры, пережидал встречных в подворотнях, грея в ладони тяжелую сталь нагана.

«День славы настает...» — настырно звенела застрявшая в мозгу строчка.

У Поцелуева моста он наткнулся на извозчика-полуночника, чудом занесенного в такую ночь на Мойку.

— Эй, борода! — окликнул его Грессер. — В Графский переулок свезешь — не обижу!

— Можно и в Графский, — протянул нахохлившийся возница в рваной брезентухе. Но, разглядев под капюшоном пассажира офицерскую фуражку, трусливо запричитал: — Слезай, ваше благородие, не повезу! Жизнь нонче дырявая. И тебя под пулю подставлю и сам пропаду. Пешочком оно надежнее...

Хлестнул лошадь и покатиł прочь от опасного седока.

Но и идти пешком оказалось вовсе не так безопасно, как предсказывал извозчик. Едва Грессер перешел мост через Мойку, как на той стороне его строго окликнули:

— Эй, дядя, ходь сюды!

Три солдата в папахах-ополченках с винтовками за плечами поджидали раннего пешехода.

Кавторанг взвел в кармане курок и, с трудом переставляя ноги, двинулся к ночному патрулю. Глаза перебежали с солдат на парапет моста, с моста на угол переулка, привычно оценивая расстояние и время, отпущенное ему на все — на поиски спасения, на мгновенное решение, на прыжок, на бег...

К счастью, они просто стояли, дымя сигарками, а не шли ему навстречу. До них было шагов полста... Грессер не спеша перешел на их сторону и двинулся по тротуару. Он уже присмотрел арку, ведущую во двор, и знал, что будет делать в следующий миг.

— Ходи веселей! — поторопил ефрейтор-бородач, опиравшийся на винтовку.

Поравнявшись с аркой, Грессер метнулся в тоннельный проход. И прежде чем солдаты спохватились, скинули с плеч винтовки, бросились вдогон, он успел проскочить тоннельчик и рвануть вправо за угол трехэтажного флигеля, особняком стоявшего посреди двора. Грессер с гимназических лет знал эти места, и, конечно же, солдатам-чужакам неведомо было, что за флигелем на прострел уходила анфилада из четырех дворов, чьи каменные коробки разгорожены жилыми перемычками, и что все входные двери правой стороны выводят не только на «черные лестницы», но и в подъезды соседней улицы.

Три винтовочных выстрела, грохнувших скорее для остроты, чем для дела, пошли гулять по гулким закоулкам двора-лабиринта, пугая и без того встревоженных жильцов.

Отдыхавший под лестницей и став вдвое осторожней, кавторанг вышел на Малую Гренадерскую и через четверть часа, уже без приключения, добрался в Графский переулок.

25 октября 1917 года 6 часов утра

Братва поднялась рано, и высокосводные старинные коридоры флотского экипажа доверху наполнились перекриком, смехом, бранью... Землянухин обдал лицо и шею ледяной, но мертвой, прогнанной через трубы и насосы, водой и отковылял на береговой камбуз раньше всех, так как его и еще четырех караульных уже поджидал в Обводном канале паровой катер.

По случаю революции были сварены макароны, как после загрузки угля, но не в ужин, а вопреки всем обычаям — в завтрак. День начинался необычно. День начинался просто замечательно. И, запивая макароны крепким чаем, Землянухин забыл на время и про виденного во сне аспида, и про ноющую ногу, и про постылый караул.

Баталер выдал обещанные Митрохиным две сельди, буханку ржаного хлеба, от щедрот и в честь великого дня насыпал еще полный кисет махры. Не забыл и про сало — выдал шматочек, весь в хлебных и табачных крошках. Никодим уложил харч в брезентовую кису¹, затянул поплотнее бушлат, нахлобучил на уши бескозырку, чтобы не слудло, вскинул на ремень винтовку и отправился на катер.

¹ К и с а — холщовый или брезентовый мешок, сумка.

Катер вошел в Неву, оставил по корме «Аврору» и взял курс на Васильевский остров, где в тесную кучу сбивались крапы и трубы Балтийского судостроительного завода. Ветер серчал, и Землянухин зажал в зубах концы ленты с золоченой надписью: «Ершь».

Подводный заградитель стоял у достроечного причала, выставив тупую, косо срезанную корму с крышками минных коридоров. Матросы помогли Землянухину перебраться с катера на корпус, передали кису с провизией, и паровик ходко пошел дальше.

Часового нигде не было, но как только землянухинские сапоги загремели по палубе, люк в рубке приоткрылся и на мостик выбрался молодой.

— Ну что, вуенный, дрых небось, шельмец?! — вместо приветствия и пароля спросил Землянухин.

— Никак нет, Никодим Иванович, службу правил! — белозубо осклалился матрос. — Смотрел как положено — не текет ли в трюмах.

— Текет, да не в трюмах... Небо вон все прохунилось, — ворчал Землянухин, кутаясь в постовой дождевик. — А брезент-то сухой! Это что — весь караул продрых?! Ах ты, зелень подкильная, дери тебя в клюз! Так-то ты службу несешь?!

— Все, дядя, была служба, да вся вышла! Революцию исделаем, войне акулий узел на глотку, и глуши обороты.

— Давай вали отсюда, племянничек! С такими сделаешь революцию...

Но молодой его не слышал — во весь дух по лужам мчался к заводским воротам. Землянухин привалился к носовому орудию и с наслаждением закурил, гоня из ноздрей сырость терпким дымком. Ветер встрепливал на реке белые «барашки», чуть видные в предрассветной темени.

Грессер уверенно поднимался по темной лестнице. На третьем этаже повернул барашек механического звонка у двери с медной табличкой: «Старший лейтенантъ С.Н. Акинфьевъ».

Лязгнул крюк. Акинфьев открыл и изумленно воззрился:

— Ники, ты! В такую рань?! Проходи. Извини — в дезабилье.

Белая бязевая рубаша широко открывала могучую густоволосую грудь, крепкие скулы были окантованы включенной со сна бородкой, отчего командир «Ерша» походил на разудалого билибинского коробейника.

— День славы настает, — загадочно, как пароль, сообщил Николай Михайлович, досадуя, однако, что привязавшаяся с утра фраза сорвалась-таки с языка. Акинфьев, впрочем, принял ее как невеселую шутку.

— Не знаю, как насчет славы, по день гибели русского флота наступил всенепременно.

Пока Грессер стягивал дождевик, шинель, стряхивал дождевики с фуражки и перекладывал наган в карман брюк, Акинфьев хлопотал у буфета, позвякивая то бутылками, то стаканами.

— А я, брат, теперь горькую пью, — объявил он так, как сообщают о неожиданной и безнадёжной болезни. — Потому стал фертоинг на рейде Фонтанки, втянулся в гавань и разоружил свой флотский мундир. Честь имею представиться — старлент Акинфьев, флаг-офицер у адмирала Крузенштерна¹. На службу не хожу-с. Морячки вынесли мне вотум недоверия... Ба! Да ты при полном параде!

На плечах Грессера тускло золотились погоны с тремя серебряными кавторанговскими звездочками.

— Рискуешь, однако...

— Последний парад наступает.

— Перестань говорить загадками.

— Изволь.

— Только выпьем сначала. Иначе ни черта не пойму...

Грессер пригубил водку с одной лишь целью — чтобы согреться. Акинфьев ополовинил стакан и закусил престранно — занюхав спиртное щепотью мятной махорки.

— Сережа, «Аврора» вошла в Неву и взяла на прицел Шпиц и Зимний.

— И поделом.

— Голубчик, ты пей, да разумея. Во всем Питере нет сейчас войсковой части, равной по огневой мощи крейсеру. Ты представляешь, каких дров могут наломать братишки, взбаламученные комиссарами?

Акинфьев слегка задумался, приподняв бровь краем стакана.

— Четырнадцать шестидюймовок. Почти арtpолк. Это солидно.

— Сережа, ты всегда был прекрасным шахматистом... «Аврора» — ферзь, объявивший шах нашему королю. Эту красную фигуру надобно убрать с доски. Убрать сегодня, нынче же!!

— Как ты себе это мыслишь? — Акинфьев долил в стаканы.

— Не пей пока, ради бога. Выслушай на ясную голову... Самый опасный противник ферзя — «слон», то бишь «офицер». Белый или черный, в зависимости от поля, на котором стоит «королева»...

— Перестань читать прописи! — рассердился Акинфьев. — Что ты задумал?

— «Ерш» получил торпеды?

— С неделю уже как оба аппарата зарядили. Да все никак на испытания не выберемся...

¹ Жаргонное выражение, обозначающее полную неприкаянность: бронзовая статуя Крузенштерна стоит на постаменте напротив Морского корпуса.

— И прекрасно! И превосходно!

Грессер отставил стакан и заходил по комнате.

— Сережа, надо вывести «Ерш» и ударить по «Авроре» из носовых! И это должны сделать мы с тобой плюс твой инженер-механик. Кстати, кто у тебя мех?

Акинфьев плюхнулся в кресло-качалку и откинулся так, что на секунду исчез из глаз собеседника.

— Ники, пил я, а вздор несешь ты...

— Не волнуйся, Сереженька, не волнуйся... Выслушай. Я все продумал, все рассчитано по шагам и минутам. «Ерш» от «Авроры» разделяет меньше мили. Десять минут хода. Стрельба по неподвижной цели залповая. В залпе две торпеды. Дистанция кинжального удара — промаха не будет! «Аврора» ляжет поперек Невы, и вся шваль разбежится. Мы выиграем время. Потом придут верные войска, надежные корабли, и никаких революций. Кризис уляжется. Ты перестанешь сидеть на экваторе и снова вернешься на корабль, где раз и навсегда забудут про судкомы и про совдепы. Флот снова станет флотом. И это сделаем мы: ты и я. В принципе все не так сложно. Команда сейчас носится по Питеру и делает революцию. И черт с ней, матросней! Мы справимся втроем. Механик запустит движки. Ты станешь на мостике, я — к торпедным аппаратам. Стреляю по твоей команде. Потом погружаемся и реверс — полный назад. Впрочем, там широко, и можно развернуться: два мотора враздрай... Можно и не погружаться. Уйдем в надводном положении. При такой готовности, как у них они не успеют открыть огонь из кормовых плутонгов.

Акинфьев, трезвея, бледнел. Он медленно вылез из качалки.

— Капитан 2-го ранга Грессер, в Морском корпусе меня не учили стрелять по своим кораблям.

У Грессера яростно задергалась щека, и он безнадежно пытался унять ее, прижав ладонью.

— Старший лейтенант Акинфьев. Меня тоже не учили стрелять по русским кораблям, и до сих пор я не мазал по немецким. Но зато кто-то научил русских матросов прекрасно стрелять по русским офицерам. В Кронштадте растерзали трех наших товарищей по выпуску. Я назову их — Садофьев, Агафонов, Извицкий. Они погибли ни за что. Только потому, что носили па плечах погоны, которые вы, Акинфьев, поспешили снять.

— Что-о? — взревел Акинфьев и из билибинского корабейника превратился в разбойного атамана. — Вон из моего дома! И чтоб духу твоего здесь не было!

Грессер вынул наган.

— Видит бог, — прошептал он, — я не хотел этого.

Почти не целясь — в упор — он выстрелил в бязевую рубашу, четырежды нажав «собачку». Тут же повернулся и вышел в прихожую, услышав только, как за спиной тяжело рухнул бывший одноклассник и жалобно зазвенело столовое стекло.

Из дневника мичмана Демидова. Борт «Авроры»

Я вернулся на «Аврору» точно в срок — к ужину. Все были в сборе и уже рассаживались по своим местам. Коленька Красильников толкнул меня локтем в бок.

— Ты что сияешь, как барышня с мороза? Выпил?

— Самую малость, — поддержал я его заблуждение. — Перед ужином очень полезно для пищеварения.

Мне хотелось, чтобы меня побыстрее оставили одного и никто ни о чем не расспрашивал. На моих губах и в моих ладонях еще жила, билась Надин.

Едва был подан компот, лейтенант Эриксон поправил манжеты и объявил негромким глуховатым голосом:

— Господа офицеры, я прошу всех ночевать сегодня на корабле. В городе неспокойно. Могут быть всякие неожиданности, а мы все отвечаем за крейсер. Тем более что последние события в Рижском заливе обязывают нас быть в предельно боеготовом состоянии.

К этому спичу все отнеслись с большим пониманием, без нарочитых, как обычно, нареканий на суровую корабельную жизнь. Да и то сказать: отирание заводской стенки не шло ни в какое сравнение с тяготами походных будней. Упоминание об особой обстановке и призыв к боевой готовности грели кровь.

Эриксон закрыл за собой дверь командирской каюты. Младший механик лейтенант Буянов отправился в машину — готовить ее к ходовым испытаниям. Член судового комитета мичман Соколов ушел на очередное заседание. А мы все остались в салоне, который заменял нам кают-компанию, закрытую на ремонт. Одни читали, другие — мой сосед по каюте мичман Красильников и мичман Бук — играли в «трик-трак». Уют большой и доброй семьи, огражденной от всех невзгод мира толстой клепаной сталью, воцарился в салоне «Авроры».

Я присел в кресло у полупортика правого борта со свежим номером «Морского сборника», но сквозь страницы я видел рассыпанные по подушке волосы Надин и заново переживал восторг своего нечаянного счастья.

В десятом часу вечера через салон в каюту командира прошел невысокий матрос, никого не спрося и не сняв бескозырку. Одет был, впрочем, по форме.

— Кто это? — спросил я Красильникова.

— Предсудкома Бельшев. Из машинной команды.

От этого явления повеяло мартовским Гельсингфорсом и в душу закралась знобкая тревога.

Матрос пробыл в каюте командира довольно долго, вышли они вместе, вид у обоих был несколько обескураженный, у Эриксона — так даже растерянный. Свой разговор они продолжали на ходу.

— Если вы отказываетесь вести «Аврору», — спрашивал Бельшев, — может, кто из офицеров рискнет?

Эриксон, кажется, взял себя в руки и ответил твердо:

— Никто из офицеров этого сделать не сможет.

Еще не зная, куда и зачем надо вести «Аврору», я мысленно с ним согласился. Большинству наших офицеров едва перевалило за двадцать. Эриксон, если не считать инженера-механика кавторанга Малышевича, самый старший из нас: ему только что стукнуло двадцать семь. Его выборное командирство началось у стенки завода, и он сам никогда никуда крейсер не водил. Ведь это же не шутка — ворочать огромный корабль, к тому же не в море, а в реке, посреди города. Да и потом, что за нужда? Тут меня осенило: немецкая эскадра прорвалась в Финский залив и теперь на всех парах мчит к Петрограду. Час-другой — и ее залпы накроют Адмиралтейство, Зимний, Исаакий, дом, где живет Надин. Не зря вещало женское сердце! И дурной па-сьянс... Вот оно, возмездие от судьбы за нынешнее счастье! Ведь не дается же оно в руки так просто, без искупления, без потери. А что равноценное могу я потерять? Только жизнь.

Я припал к холодному толстому стеклу полупортика. Рядом с крейсером стоял замызганный буксир. На его корме лежали дрова, на огромных поленьях сидели кочегары, смолили сигарки. Они оживленно спорили и тыкали пальцами в противоположный берег Невы. Что там такое? Буксир загораживал вид из полупортика. К тому же стояла кромешная тьма, только отблески света, падавшего из наших иллюминаторов, дробились на черном лаке реки, вид которой рождал тоскливую мысль о том, как мерзко захлебываться в этой густой стылой воде. Нет-нет, это совершеннейший абсурд: немцы не могли так быстро и так неожиданно прорваться. Кронштадт, форты, береговые батареи... Мы бы слышали их залпы. Здесь что-то другое. Что?

В салон снова вошел Бельшев, и не один — с двумя матросами при винтовках. На немой вопрос старшего офицера он сказал:

— Я вынужден поставить часовых для вашей же пользы. Не ручаюсь за команду, если она узнает, что командир отказался вести крейсер. — Он обернулся к часовым и громко приказал: — Никого в салон не пускать! Вы за них отвечаете.

Бельшев вышел, и в салоне повисло тягостное молчание.

«Вот так же началось и на «Павле», — мелькнула смятенная мысль. — Быть может, на клотике «Авроры» уже горит красный огонь — сигнал к расправе?»

Я сам видел, как в ту жуткую мартовскую ночь — с 3-го на 4-е — на всех кораблях, вмерзших в Гельсингфорсский рейд, вдруг стали загораться красные огни, будто одна мачта поджигала другую. Сначала линкор «Император Павел I», затем «Андрей Первозванный», «Слава», «Громобой», «Диана»... Мы на «Кунице» так и не поняли зловещего смысла этих огней, даже когда с «Павла» понеслась в ночь беспорядочная винтовочная пальба. Под утро на судно прибежал по льду без фуражки младший минный офицер «Павла» лейтенант Гроздовский. Ошпаренной рукой он зажимал рану на шее, весь правый погон был залит кровью, разодранный на спине китель наминал фалды фрака. Я проводил его к командиру. Доктора на судне не было, и офицеры «Куницы» принесли в кают-компанию все лекарства, у кого что было. Ожоги и рану промыли спиртом, забинтовали, нашелся лишний китель. У Гроздовского дергался рот, когда он рассказывал, как матросы подняли на штыки штурмана Ланге, как убивали кувалдой лейтенанта Совинского, как выкуривали офицеров, закрывшихся в каютах, горячим паром, просовывая шланги в разбитые иллюминаторы...

Я не мог понять этого кровавого разгула, вызванного только тем, что бразды дисциплины с отречением государя вдруг резко пали, и от этого опьянения вседозволенностью вспыхнуло массовое безумие, прокатившееся по кораблям волной насилия, убийств, порой совершенно ничем не оправданных...

Наверное, до конца жизни меня не покинет тот позорный животный утробный страх. Он не оставлял меня и на «Авроре», хотя команда крейсера была весьма миролюбива; это тоскливое снедающее душу чувство то затихало, уходя вглубь, то вспыхивало при малейшем намеке на обострение событий, какой-либо пустяковой стычке или даже косым взглядом, брошенном кем-нибудь из строя или в кубрике.

Я тайно носил револьвер, рассчитывая дорого продать свою жизнь, если и на «Авроре» повторится то, что случилось на «Павле». Когда спускаешься в палубы, так и ждешь от каждого встречного — оскорбит, ударит, пырнет, выстрелит. Вся команда кажется переодетыми пиратами. Любой матрос — зловеще загадочен.

О Боже, как это унизительно, невыносимо — бояться собственных матросов! Ведь с ними идти в бой на общую смерть, и бояться их больше, чем немцев?!

Надин, я никогда не признаюсь тебе в этих постыдных страхах.

Едва матросы с винтовками встали у дверей салона, я вспомнил, что мой револьвер остался в ящике каютного секретера. Горько попеняв себя за беспечность, я тут же задался вопросом, весьма небезразличным для моей чести: а посмею ли я пойти и принести сюда револьвер? Во всяком случае, сразу же выяснится, действительно ли я такой трус, каким кажусь себе, или не все еще безнадежно. Заодно откроется и что означают эти часовые — охрану или арест?

Я медленно встал из кресла и, стараясь быть как можно неприужденнее, подошел к дверям, при этом от меня не укрылось, что взгляды всего салона устремились в мою сторону. Часовой опирался на винтовку и безразлично смотрел поверх офицерских голов. Я сказал ему, что иду в каюту за книгой. Как ни старался я владеть голосом, все же фраза прозвучала заискивающе. Матрос не удостоил меня ответом. Вспыхнув от унижения, я двинулся дальше. Второй часовой стоял в коридоре. Он подтягивал ремень винтовки. Увидев меня, он вытянулся и молча пропустил.

Я зашел в каюту, засунул под брючный пояс револьвер, глянул в зеркало — не оттопыривается ли китель, затем снял с полки томики Джека Лондона и вернулся в салон. Красильников ворчал, что он не понимает, что происходит.

— Кто командует крейсером — Эриксон или Бельшев? Может быть, нам всем отправиться в кочегарку, а кочегары станут на мостик?!

— Дорогой мой, на этом shipе мы без году неделя. Уже нас-то в любом случае на мостик не позовут...

Я сунул ему «Мартина Идена».

— Читай и укрепи дух свой.

Красильников улыбнулся. Мне удалось довольно точно скопировать отца Паисия.

Пришел инженер-механик Буянов и бесстрастно объявил, что машины готовы к работе и их скоро начнут проворачивать.

На Эриксона жалко было смотреть. Он то уходил в свою каюту, то возвращался в салон. Мрачно что-то бормотал, разводит руками, будто спорил сам с собой. Он походил на человека, которому сообщили вдруг убийственную весть, или на игрока, решающегося на последнюю ставку, после которой — пуля в лоб.

Право, его можно было понять. Приказ о походе он получил не от командира бригады крейсеров и не от Штаба флота, даже не от Центробалта, который мог отдавать боевые распоряжения, опять же только через Штаб флота. Группа каких-то заговорщиков, фактически находящихся вне закона, повелевает крейсером так, будто он давно уже перешел на их сторону, будто уже не существует

ни Штаба, ни Центробалта, ни Правительства. Подчинись он сейчас, завтра, быть может, ему отвечать головой по законам военного времени за самовольный поход, за государственную измену.

Он был добрым малым, наш милый Эрик, исправным служби́стом, аккуратным штурманом — не более того. Ему никогда еще не приходилось решать столь ужасных дилемм. Он сгорбился так, что руки повисли вровень с коленами.

Я нечаянно поймал его взгляд и вдруг понял: он смертельно не хочет быть сейчас командиром, что он с радостью переложит это тяжкое бремя на любого, кто вызвался бы сам. Сам!

Я ощутил за поясом грозную сталь оружия, и голос Провидения шепнул мне: «Вот твой час! Вот твой шанс!..»

В следующую секунду я знал все, что мне предстоит сделать. Надо достать револьвер и выйти к командирскому краю общего стола. Надо громко и четко сказать, обращаясь к Эриксону и ко всему салону: «Господин лейтенант, я объявляю вас низложенным! Господа офицеры, с этой минуты я беру на себя всю полноту власти и всю меру ответственности. Прошу выполнять все мои приказания, а мичману Красильникову исполнять обязанности старшего офицера. Мы немедленно уходим в Гельсингфорс. Господа офицеры, прошу разойтись по боевым постам!»

Я расстегнул нижнюю пуговицу кителя и нащупал рукоятку револьвера.

О, Надин, я вернусь к тебе не зауряд-мичманом, а командиром крейсера!»

25 октября 1917 года 7 часов 30 минут утра

Из Графского переулка Николай Михайлович направился в Адмиралтейство. В другое время он вышел бы на Невский или на Гороховую и через полчаса неспешного хода был бы у цели. Но в это ненастное утро ему понадобилось больше часа, чтобы, пережидая красногвардейские патрули и огибая опасные места — у Телефонной станции бабахала перестрелка, — добраться до павильона, над которым сверкал золоченый кортик Шпица.

В Морском министерстве как ни в чем не бывало творилась обычная рутинная работа. Еще звенели телефоны, еще сновали офицеры с папками для бумаг, накладывались резолюции, бесильные что-либо изменить, ставились печати, уже утратившие свою юридическую силу, отдавались распоряжения, которые уже никем никогда не выполняются...

Николай Михайлович разделся в своем кабинете и, ловя недоуменные взгляды на свои погоны, решительно направился в приемную морского министра. На большом столе адъютанта в беспор-

рядке валялись снятые телефонные трубки, отчего зеленое сукно столешницы походило на поле брани, усеянное костями.

— Дмитрий Николаевич у себя? — осведомился Грессер у взмыленного помощника.

— Отбыл в Зимний. Когда будет — неизвестно.

Грессер досадливо покусал губы и направился к выходу. В коридоре он едва не выбил из рук лейтенанта Дитерихса стопку свежееотпечатанных книжиц.

— Возьми себе одну в отдел, — милостиво разрешил автор. — Наконец-то мы дали флоту современный порядок старшинства... Можешь найти себя.

Грессер перелистал объемистый список, устанавливавший старшинство офицеров в чинах, и с трудом удержался, чтобы не трахнуть сияющего Дитерихса по голове новеньким грессбухом. Идиоты, «Аврора» держит Шпиц на прицеле, а они выясняют — кто за кем! Но тут его осенило.

— У вас в ГУЛИСО есть факсимильные бланки?

— Есть, — ответил на бегу Дитерихс.

— Ну и прекрасно. Заверишь мне выписку из приказа. Вердеревский назначил меня командиром «Ерша».

— По морям соскучился?

— Да. Там воздух свежее.

Грессер сам отстучал на «ундервуде» выписку из несуществующего приказа, и лейтенант Дитерихс благополучно заверил ее гербовой печатью ГУЛИСО. Теперь можно было действовать.

Телефонная станция, на удивление, еще работала, только вместо нежного голоса дежурной барышни в трубке пророкотал чей-то густой бас. Тем не менее с Морским корпусом его соединили. Николай Михайлович попросил инспектора классов немедленно отправить кадета старшей роты Вадима Грессера в отдел подплава Главного штаба.

— Пусть он выйдет на набережную. За ним подойдет катер.

И, оставив инспектора в полном недоумении, пошел хлопотать насчет катера. Разумеется, путь по Неве был куда безопаснее, чем по мостам и улицам, перекрытым черт знает кем. Грессер проследил из окон Адмиралтейства, как моторная лодка с сыпом вынырнула из-под Николаевского моста и благополучно — вздох великого облегчения — приткнулась к служебной пристани.

Вадим, рослый, светловолосый — в мать, четко вошел в кабинет, вскинув руку к бескозырке. Николай Михайлович меньше всего хотел услышать от него казенные слова и поспешил обнять сына так, что у того хрустнули крепкие плечи.

— Хочешь сюрприз? — с наигранной бодростью спросил Николай Михайлович. — Я беру тебя юнгой к себе на лодку. Можешь меня поздравить — назначен командиром «Ерша».

— Поздравляю тебя, папа! А ты не шутишь насчет юнги?! — радостно и недоверчиво спросил Вадим.

— Нисколько. Сейчас мы отправимся на Балтийский завод — «Ерш» стоит там, — и ты сам во всем убедишься. Быть может, даже сегодня нам предстоит боевое дело. Но об этом молчок.

— Папа, за кого ты меня принимаешь?! — глаза юного Грессера сияли.

— С твоим начальством я обо всем договорился. А пока переверни ленту литерами внутрь. Так надо. Для маскировки. И никаких лишних вопросов, мой мальчик. Виноват — юнга Грессер!

Николай Михайлович не собирался посвящать сына в детали операции. Он не мог поручиться, что в душе юноши при известии о предстоящей атаке «Авроры» не вызвадут патриотические чувства. Потом, когда у них будет больше времени, а главное, когда дело будет сделано, он объяснит ему историческую необходимость их общего подвига — подвига, черт побери! — подбадривал себя Грессер, вспомнив бледнеющее лицо билибинского корабельника.

Ну что ж, если акинфьевы пасуют, то спасти флот и Россию придется грессерам. История повторяется: варяги снова приходят на Русь, а в жилах его рода текла древняя варяжская кровь.

— Подожди меня здесь, я через часок вернусь.

Пока Вадим перешивал за его столом ленту на бескозырке (блистать на питерских улицах литерами Морского корпуса было небезопасно), Грессер облачился в шинель, натянул дождевик с капюшоном и сбежал по боковой лестнице к выходу на набережную.

25 октября 1917 года 10 часов утра

Светало. Сквозь осеннюю хмарь тускло просвечивал плоский кружок солнца. Дождь еще моросил, и Землянухин подвязал над распахнутым люком брезент, а сам залез от режущего ветра в рубку так, что из горловины входного люка голова его торчала, как из стального окопа. Зато все было видно вокруг и не дуло. Винтовка стояла рядом под рукой. Конечно, можно было бы задраить люк и наверстать упущенное за полубессонную ночь, но Землянухин нутром чуял — в такой день спать нельзя. Неспроста аспид приснился. Да и нога разнылась так, что хоть выставляй на студеной ветер: пусть застынет, проклятая.

А тут еще глаз, защищенный биноклем, заслезился, засвербил. Капитана 2-го ранга Грессера помянуть заставил. Ишь ведь как саданул биноклем — бровь и надглазье рассек до кости. Вахту

Землянухин достоял тогда, кровью умываясь. Внизу корешам сказал, что волной об перископ приложило. Стыдно было, что подвернулся командиру под горячую руку.

Ребята в дизельный отсек его отправили. Там мотористы врачевали: тряпицу с отработанным машинным маслом под глаз приложили. У «маслопупов» чумных, известное дело, отработанное масло — первое лекарство. И внутрь его принимают (от язвы), и ссадины им мажут. На них, насквозь промасленных, и впрямь, как на собаках, все заживает. А тут от такой примочки разнесло Землянухину весь глаз, окривел малость, думал — и вовсе ослепнет. Старший офицер кличку ему придумал — Циклоп. «Тебе, Землянухин, теперь только в перископ смотреть — второй глаз жмурить не надо».

Одно хорошо, на вахты ставить перестали. Отоспался хоть за поход. Спасибо экипажному подлекарю — спас глаз. Только на всю жизнь красным сделался, как у кролика. Велел подлекарь промывать глаз почаще крепким чаем или порошком белым — борной кислотой. Настоящий-то чай в команде давно перевелся, а вот порошок должен быть в аптечке, что в кают-компании висит.

Землянухин оглядел пирс и палубу — всюду пусто и безлюдно, задраил рубочный люк, спустился в центральный пост, где под иконкой Николы Морского тлея вместо лампадки алая пальчиковая лампочка. Он хотел было перелезть в носовой отсек, как вдруг заметил в красноватом полумраке портрет Керенского, присоседившийся подле иконы. Весной, когда «Ерша» под гром оркестра спускали со стапелей, премьер толкнул речь с рубки подводной лодки.

Потом подарил команде свой портрет и расписался в историческом журнале корабля. Теперь команда пошла его свергать, а портрет все еще висел в центральном посту. Непорядок! Матрос снял рамку, выбрал фото длиннолицего человека во френче и с бобриком. Рамку засунул за трубу вентиляционной магистрали — сгодится еще на что-либо путное, а скомканное фото выбросил из люка в воду.

Восстановив справедливость, Землянухин почувствовал себя лучше. На душе полегчало, и глаз ныть перестал. Он не сомневался, что Митрохин с «ершонцами» обойдутся с Керенским точно так же. Попался бы он им в руки!

Вадиму в своих планах Грессер отводил простую, но очень важную роль. По его команде с мостика сын рванет рычаги стрельбовых баллонов. Торпедные аппараты к выстрелу приготовит он сам, минер первого разряда. Дело стояло лишь за механиком, который смог бы запустить дизели. За ним, третьим членом их отчаянной команды, и направлялся кавторанг. Он не сомневался, что инже-

нер-механик с «Тигрицы» лейтенант Павлов, трудяга и колдун над моторами, после трех лет общего смертельного риска пойдет за ним в огонь, воду и медные лодочные трубы. Тихий, скромный, покладистый офицер.

Разумеется, его тоже не следовало посвящать в план до конца. Главное, чтобы Павлов сейчас оказался дома, у себя на Петровском острове. Грессер бывал у механика на крестинах дочери и хорошо знал, как отыскать его дом в задних дворах Петровского проспекта.

Он спрыгнул в рассыльную моторную лодку. За руку поздоровался с ее бессменным водителем — старым порт-артурцем отставным кондуктором Чумышем.

— «Како» «Живете», «Люди»? — назвал набор сигнальных флагов Грессер, заранее зная, что старый крейсерский сигнальщик ответит неизменным — «НХТ». Для морского уха сочетание этих букв звучит весьма жизнеутверждающе.

— А сынок-то ваш — орел, — польстил Чумыш отцовскому сердцу, правя под средний пролет Дворцового моста. — Добрый моряк будет.

— Хочу к себе на лодку юнгой взять. Что скажешь, Зосимыч?

— Дело стоящее, — одобрительно кивнул старик. — Под отцовским доглядом оно надежнее...

На этом оба замолчали, настороженно вглядываясь в мосты и гранитные берега, где мельтешил вооруженный люд. Могли и из озорства пальнуть...

За Тучковым мостом Чумыш сбавил обороты и плавно приткнулся в бухточку острова, откуда начинался Петровский проспект.

— Если через час не вернусь, возвращайся на стоянку, — предупредил Грессер и скорым шагом двинулся к дому механика. Но у первого же перекрестка из-под земли выросли трое — бородачи с погонами пулеметного полка и молодой мастеровой, опоясанный солдатским ремнем с навешанными бомбами.

— Далеке путь держим, господин хороший? — поинтересовался бомбист с вежливостью, не предвещающей ничего хорошего. Бежать было поздно, да и благоразумие подсказывало, что лучше оставаться на месте.

— Иду к старому другу. Он здесь живет тремя домами дальше.

Один из солдат зашел за спину и обхлопал Грессера по бокам.

— Локотки-то, барин, разведи, а то несподручно... От она игрушка кака! — зацокал языком солдат, извлекая из кармана грессеровского дождевика офицерский наган.

— Это что ж, другу в подарок?! — покачал на ладони наган мастеровой.

— Да чего тут лататы разводить, — прогудел второй пулеметчик. — С ходу видно — контра. К стенке его — и весь разговор.

И снова, как у окна утром, грудь кавторанга ощутила металлический холодок нательного креста. «Все. На этот раз не отвертеться, — леденящей безнадельностью осознал он, — и так весь день немисливо везло. Боже, Вадим будет ждать...»

— Шагай! — подтолкнул его солдат к кирпичному брандмауэру. Грессер с ужасом обвел глазами пустыр: неужели здесь, в этом унылом захолустье, оборвется его жизнь?

— Погодь, Аким, — остановил пулеметчика мастеровой. — Тут птица не простая. Надо кой-кому его показать.

Грессера отвели в полуподвальчик бывшего трактира, где, сидя на столах и не выпуская из рук винтовок, отчаянно дымили махрой солдаты, фабричные, несколько студентов — то ли переживали непогоду, то ли ожидали команды. Среди разношинельного люда мелькали и флотские бушлаты. К одному из них подвели кавторанга. Широколобый с волчьим раскосом боцманмат¹ хмуро глянул:

— Кто такой и куда направлялся? Почему с оружием?

«Ерш» — ударили в глаза Грессеру литеры с заломленной бескозырки, и сердце запрыгало — вот оно, спасение! Он еще не знал, каким образом оно произойдет, но инстинкт безошибочно определил: буду жить! И от этой ликующей мысли Грессер улыбнулся, и улыбка вышла весьма натуральной. Он протянул боцманмату руку и радостно, будто старому знакомому, выдохнул.

— Здравствуйте, товарищ!

Этот жест, как и улыбка, были столь непритворны, что хмурый боцман невольно пожал ладонь.

— Ваш новый командир, — представился пленник. — Капитан 2-го ранга Грессер. Назначен на «Ерш» морским министром и Центробалтом. Вот выписка из приказа.

Моряк недоверчиво пробежал строчки, изучил печать, потом вернул бумагу и нехотя назвал:

— Представитель судебного комитета Митрохин. Он же командир отряда Красной гвардии... Ежели вы на «Ерш» назначены, так почему вы здесь, а не на лодке?

— Иду за механиком, — охотно пояснил Грессер. — Он здесь живет. Хочу принять корабль как полагается. Тем более, что он не совсем еще готов.

— Хорошо, — согласился Митрохин. — Вас проводят.

Он отошел к мастеровому с бомбами, и кавторанг краем уха уловил обрывок фразы: ...если врет — в расход».

¹ Унтер-офицерское звание на флоте.

Провожали его пулеметчик Аким и рабочий парень. Грессер уверенно привел их на пятый этаж серого доходного дома. Дверь открыла худосочная бледная шатенка — жена Павлова.

— Инженер-механик лейтенант Павлов здесь живет? — официально спросил кавторанг — нарочно для своих провожатых.

Женщина секунду вглядывалась, потом с облегчением улыбнулась.

— Николай Михайлович! А я вас не узнала... Какая досада, Саша уехал к сестре на Лиговку... Могу дать вам его адрес.

Грессер записал и попросил конвоиров отвести его к Митрохину.

— Дайте мне провожатого на Лиговский проспект, — попросил он у боцмана. — Иначе меня снова задержат.

Широколобый усмехнулся:

— Шибко кореша мои понравились? Отпустить не могу. Не имею права отряд распылять... Так что добирайтесь сами. А уж лучше, мой совет, в такой день дома посидеть. На службу сейчас не к спеху... Подождет служба.

— Спасибо за совет. Но корабль я должен принять сегодня. И прошу вернуть мне мое оружие, — сыграл Грессер ва-банк. Митрохин усмехнулся:

— Ну уж нет. Так идите. Вам же лучше будет. На пикет напоретесь — и бумажка не поможет. А наганчик я вам на лодке возверну.

Отобранное оружие кавторанг тоже записал на счет поруганной офицерской чести. Ну что ж, сегодня он расплатится за все сполна. «День славы настает...

Из дневника мичмана Демидова. Борт «Авроры»

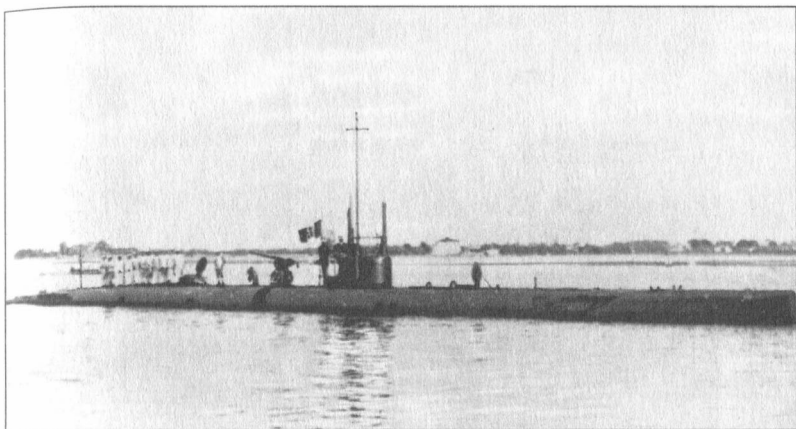
«Едва я покинул свое кресло, как дверь в салон распахнулась и Бельшев с мичманом Соколовым быстро прошли в каюту командира.

Я опоздал! Промедлил всего лишь несколько мгновений... Не знаю, чего они мне стоили — судьбы или жизни... Захотелось вдруг горько разрыдаться в плечо Надин, как это сделала она, там, на подоконнике... Я рухнул в кресло, и Красильников, мой несостоявшийся старший офицер, положил мне на колени Джека Лондона, отметив ногтем строчку.

Бельшев с Соколовым вышли из каюты командира, и все как один впились в их лица взглядами:

что?!

Мне показалось, что комиссар повеселел. Он подошел к часовому, шепнул ему что-то, усмехнулся, и оба удалились из салона. Через минуту и Эриксон весьма решительно перешагнул комингс



Подводная лодка «Аргонот», та самая, которую угнал Беллони и которая станет «Святым Георгием». Специя. 1914 год



Корабельная печать
«Святого Георгия»



Мичман Иван Ризнич
(рисунок по
фотографии).
1898 год



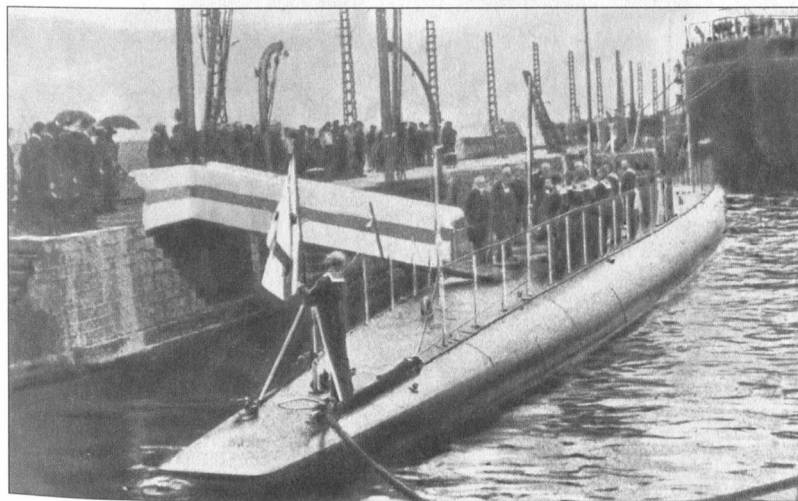
Лейтенант Ризнич у рубки сверхмалой подводной лодки № 3.
Он командовал дивизионом таких кораблей. 1916 год



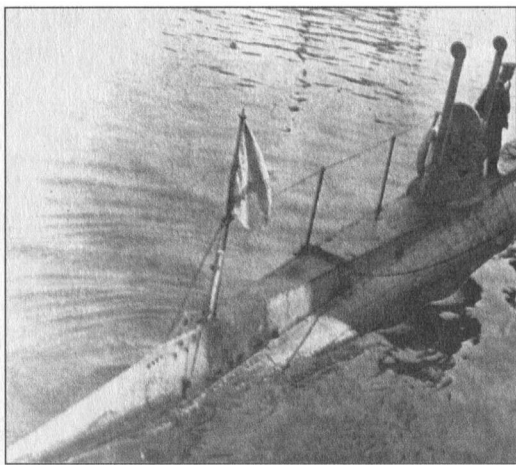
Подпоручик по адмиралтейству
Михаил Мычелкин. 1916 год



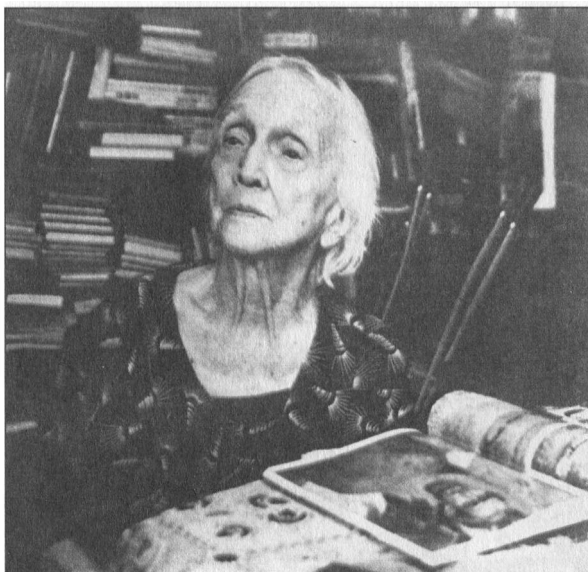
Ольга Косолапова, дочь
подводника Мычелкина.
Владивосток.
60-е годы XX века



Освящение подводной лодки «Святой Георгий» в Специи. 1917 год



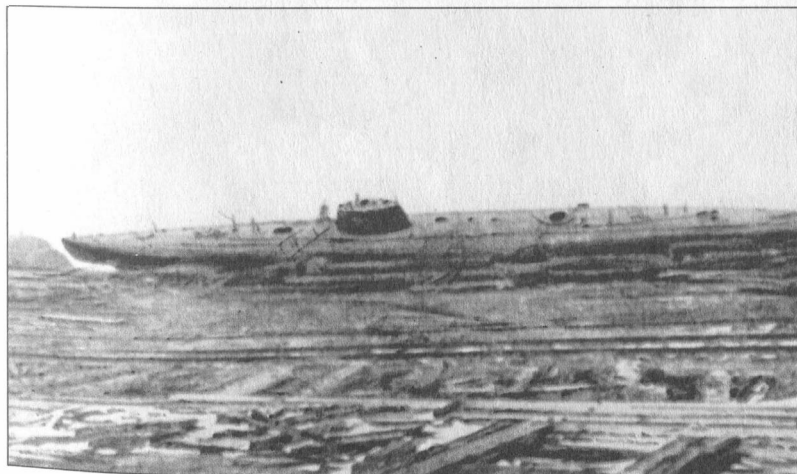
Сверхмалая подводная лодка № 2. Дунай. 1915 год



Ксения Петровна Гемп — муза полярных капитанов.
Архангельск. 1990 год



Матросы «Святого Георгия» вместе с итальянскими моряками. Снялись на память перед опасным походом. Специя. 1917 год



Судьба корабля... Корпус «Святого Георгия» на берегу Северной Двины. 1920 год



Лейтенант Иван Ризнич.
1904 год...



Сын командира «Святого
Георгия» художник Иван
Иванович Ризнич. Ленинград.
70-е годы XX века



Потомки Ивана Ивана Ризнича. Первый ряд — внуки: Иван Иванович
(геолог) и Дмитрий Иванович (техник), справа. Правнук Иван и правнучка
Ольга. Ленинград. 70-е годы XX века



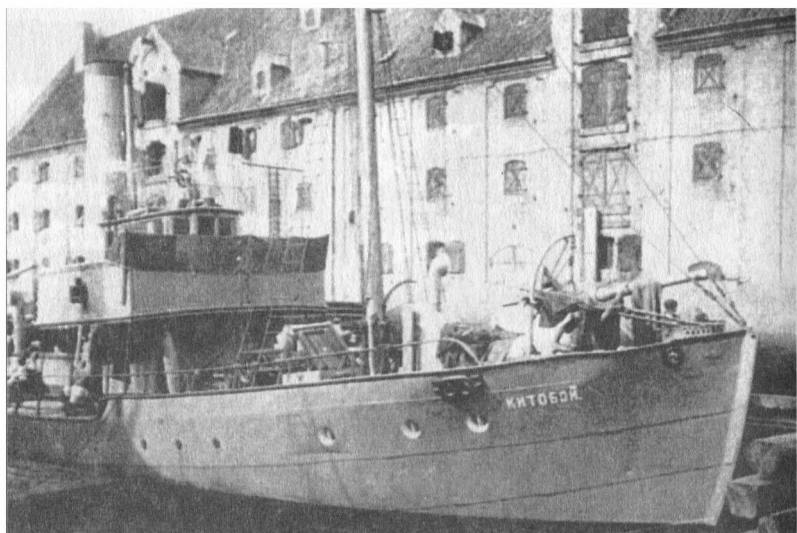
Контр-адмирал Владимир Пилкин, герой Порт-Артура
и Белого флота



Посыльное судно «Китобой»,
бывший тральщик и зверобой



Старший лейтенант
Оскар Ферсман,
командир легендарного
«Китобоя» в эмиграции



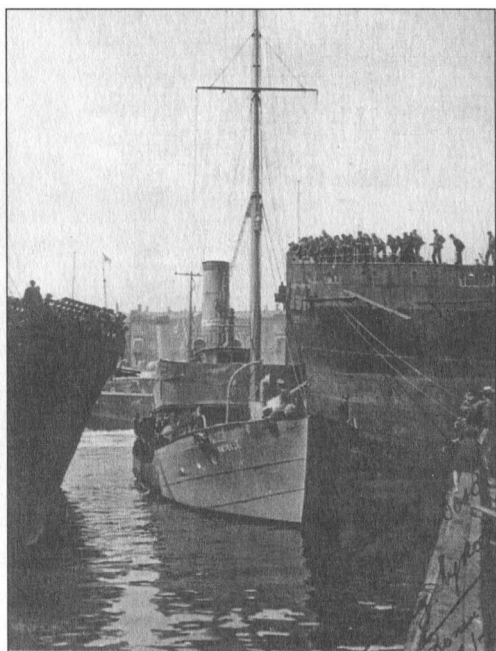
«Китобой» в копенгагенском порту. 1920 год



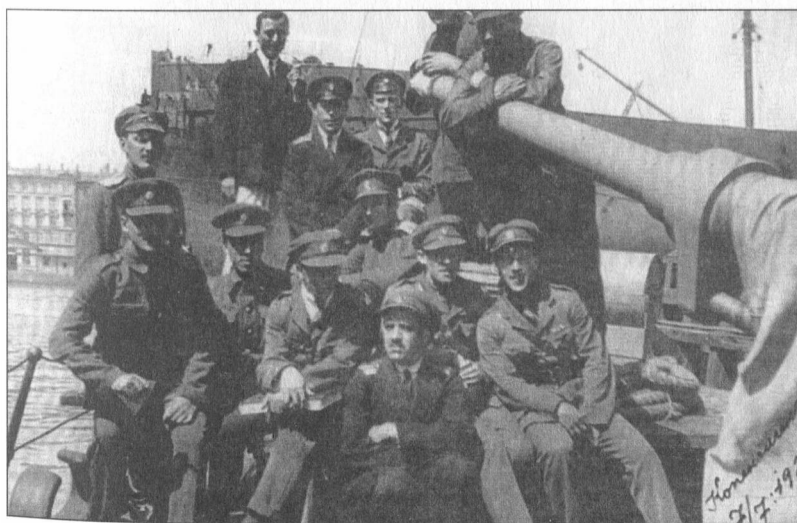
Офицеры «Китобоя».
Двадцать лет спустя...
Штурман — лейтенант
Оскар Вилькен (*вверху*),
старший лейтенант
Георгий Вахтин



Баталер капитан Г. Пономарев (*слева*) и
сигнальщик мичман Г. Марков.
Копенгаген. 1920 год



«Китобой» — навстречу неизвестности



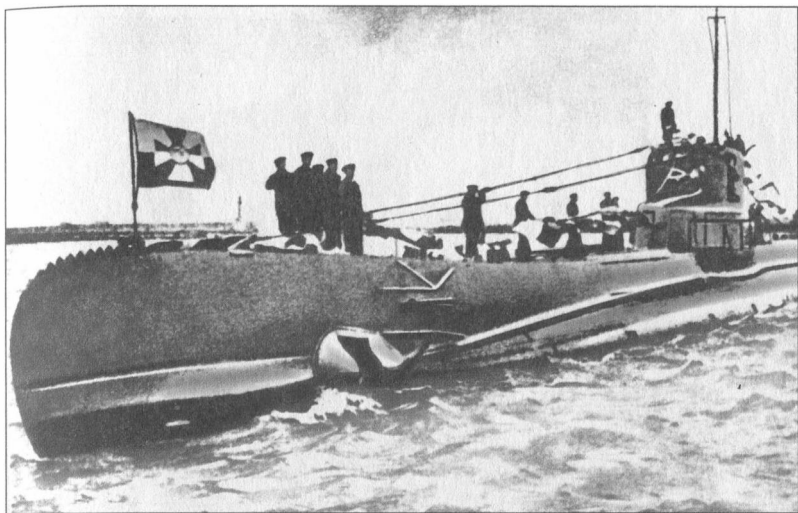
Экипаж «Китобоя» в Копенгагене. 7 июля 1920 год



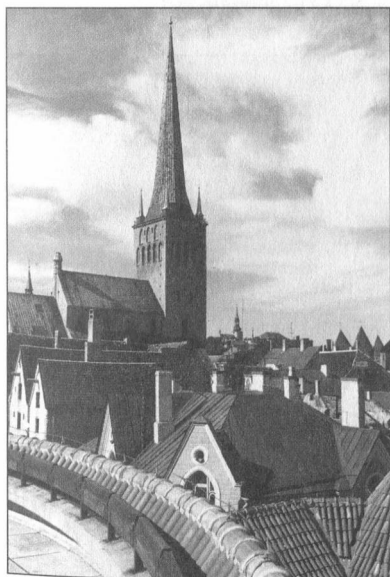
Бизерта. Корабли русской эскадры. Крайний слева — «Китобой».
Декабрь 1920 год



Ветераны Белого флота и участники легендарного похода. Среди
«китобойцев» — Оскар Ферсман (стоит второй справа)



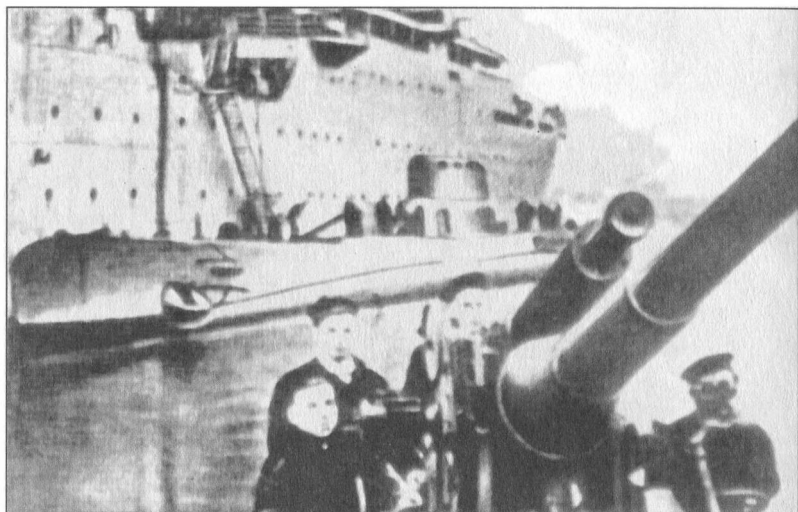
Подводная лодка «Ожел» в предвоенные годы



Таллинские башни — немые свидетели героизма польских подводников



Капитан маринарки (капитан-лейтенант) Ян Грудзински, взявший на себя командование подводной лодкой «Ожел»



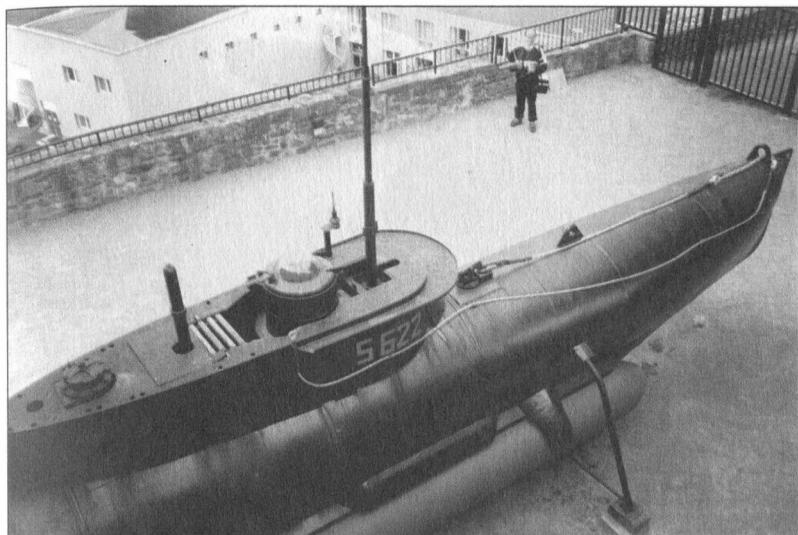
Комендоры польской подводной лодки «Вилк» у борта британского корабля — «Ожел». 1940 год



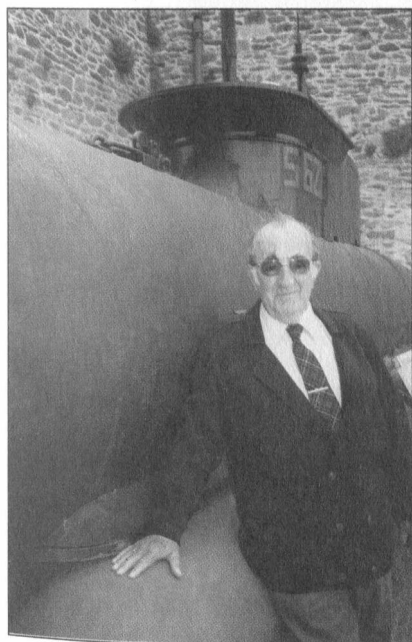
Командор подпоручник (капитан 2-го ранга) Хенрик Клочковский



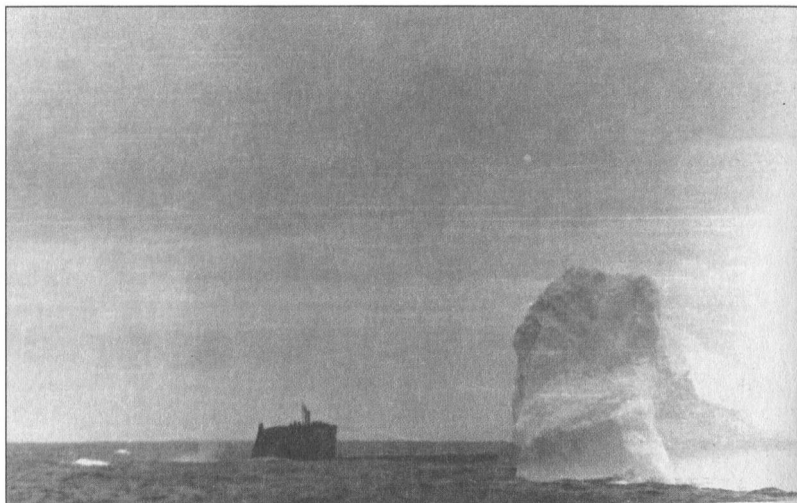
Поручник маринарки (старший лейтенант) Анджей Пясецки по прозвищу Пабло, один из главных организаторов побега из Таллина



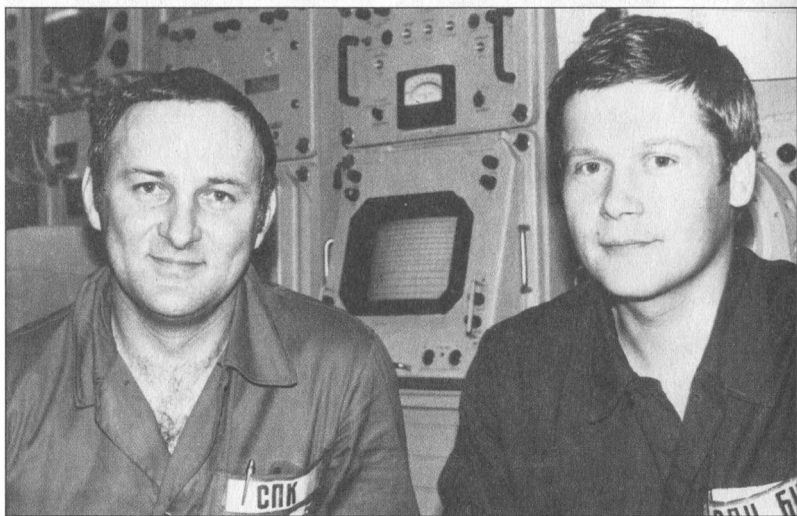
«Зеехунд» — одна из немногих карликовых подлодок Германии,
уцелевших после второй мировой.
Стоит в морском музее французского Бреста. 2000 год



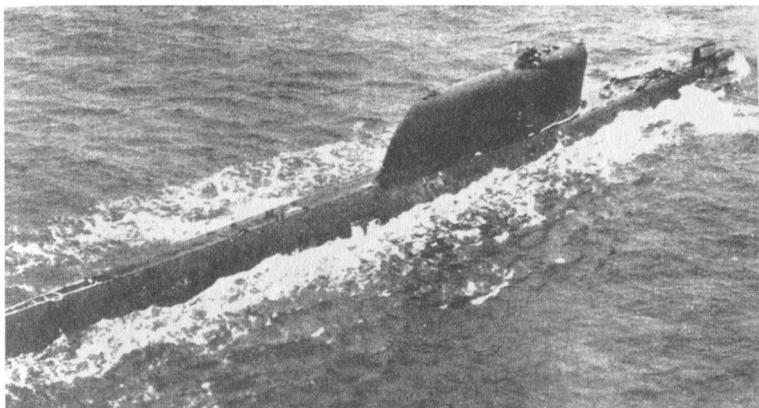
Алвин Гудман: «Я командовал
Зеехундом».
Франция, Брест. 2000 год



Айсберг опасен для субмарины и в надводном положении и в подводном



Счастливы, пережившие столкновение с «клыком» айсберга.
Капитан 2-го ранга Юрий Пастушенко (слева). К-279.
Гренландское море. 1983 год



Первый советский атомный подводный ракетносец К-19 в море.
Его прозвали «Хиросимой». 1961 год



Моряки из 10-го отсека после сорокасуточного заточения.
Капитан-лейтенант Борис Поляков. (третий справа в первом ряду).
Североморский госпиталь. 1972 год



Первый российский авианосец — «Адмирал Флота Советского Союза Н. Кузнецов» в Средиземном море. 1996 год



Молебен в Морском соборе Санкт-Петербурга. Настоятель — протоиерей Богдан



Адмирал Валентин Селиванов благодарит Бога за счастливый исход дальнего плавания. Санкт-Петербург. 1996 год

своей каюты. «Жребий брошен!» Он был в фуражке, длинном бушлате, с биноклем на груди.

— Господа офицеры, прошу вас наверх, по своим местам. Сейчас будем сниматься и пойдем к Николаевскому мосту.

— Куда, куда? — удивленно протянул Красильников. Но ему никто не ответил.

Я прошел в каюту, надел пальто и взбежал на ют, куда был расписан по снятию со швартовых. Порывистый ветер с юга чуть не сорвал фуражку. Было сыро, темно и беззвездно. Но дождь уже не моросил.

С кормовой рубки наружный плафон едва освещал ют тусклым электричеством. Я споткнулся о кормовые концы, разбросанные по палубе. Ютовые тихо зубоскалили у лееров правого борта. Я отозвал унтер-офицера и велел навести порядок.

— Черт-те что на палубе. Сами же ноги поломаете!

Унтер зыкнул ютовых.

— Эй, вуенные! Концы в бухты прибрать!

Матросы нехотя принялись за дело.

Палуба мягко сотряслась и мерно задрожала — пустили машины, которые работали то вперед, то назад, размывая винтами отмель, наросшую за год стоянки.

— Отдать кормовой! — крикнули с мостика. Я громко репетовал, думая о том, что опоздай Бельшев на полминуты — и эту команду подавал бы я, и кто-то другой смотрел бы, как уползает с берега стальной трос, как плавно отходит от стенки корма, волоча по воде свет, ниспадавший из иллюминаторов. «Аврора» шла по Неве самым малым... Осенняя темень поглотила Васильевский остров — ни огонька, ни искры из трубы. Лишь на Английской набережной горел тусклый оконный квадратик. Я всмотрелся, и сердце взыграло: то был дом Верха и свет был зажжен на этаже, где жили Грессеры. Трудно было сказать, в какой комнате, но мне хотелось думать, что это не спит Надин, что она у окна и видит, как приближается к ее дому красавец-крейсер. Она, конечно, думает обо мне, о том, что случилось вчера. Как? Уже вчера? Да, сейчас далеко за полночь и на дворе 25 октября семнадцатого года.

А все-таки это просто распрекрасно, что мы идем к Николаевскому мосту! Об этом и не мечталось, чтобы так попрощаться, почти как в рыцарском романе — примчать под окна дамы на коне в боевых доспехах...

— Господин мичман, куда мы идем? — осторожно интересуется долговязый матрос.

— К Николаевскому мосту.

— А что мы там будем делать?

— Не знаю, — стараюсь отвечать, как можно дружелюбнее. — Подойдем, получим приказание — станет ясно.

— Скорей бы на якорь да в кубрик погреться. Спина задубела... Глянь, Васюта, окно горит. Не одни мы не спим.

— И то веселее...

Мне неприятно, что они положили глаз на м о й огонек. Я не хочу, чтобы кто-нибудь отпустил сальную шутку насчет неспящих в ночи, и быстро перевожу разговор:

— Какая жуткая тишина...

Крейсер застопорил машины и теперь идет по инерции, бесшумно, будто скользит по намаасленному стеклу. Ничто не взбулькнет, не всплеснет...

Вдруг ржavo загрохотала цепь, и вода гулко ухнула под тяжестью станового якоря. Крейсер вздрогнул и замер, уставив форштевень в гранитный бык Николаевского моста.

— Вот и приплыли! — облегченно вздохнул унтер-офицер. Все разом о чем-то заговорили, радуясь скорому отдыху.

Из темноты возникла фигура Эриксона, он шел с мостика к себе в каюту.

— Идите отдыхать, — кивнул он мне устало. Я приказал унтер-офицеру отпустить матросов в кубрик, а сам отправился в свою каюту, где и написал эти строки.

Сейчас лягу и усну так, как говорила бабушка: будто мертвый рукой обвел.

Спишь ли ты, милая Надин?»

25 октября 1917 года. Полдень

Царственный город вздымал в небо кресты и шпили, ангелов и корабли, фабричные трубы и стрелы порталных кранов. Статуи богов и героев на мокрой крыше Зимнего дворца подпирали головами низкое серое небо. Меж прозеленевших фигур курился дым. То был отнюдь не благовонный фимиам. То юнкера и ударницы топили печи в холодном осажденном дворце.

Бледное чухонское солнце выкатывало из-за арки Главного штаба. В прорехи небесной наволочи оно било в окна Зимнего, золотыми путами вязало статуи богов и героев на дворцовой крыше, и казалось, что по огненному настилу его лучей вот-вот съедет с арки колесница Победы и шестерка медных копей промчит ее над площадью, увлекая за собой неистовые толпы гневных людей. Каменное жерло арки, словно мортира, наведенная в сердце-вину дворца, выхлестнет их в едином порыве, и под ударом могучего залпа рухнет мраморный столп, и бронзовый ангел с его вершины накроет дворец своим тяжелым карающим крестом.

На мраморных клетках столичного плац-парада вот-вот должен был разыгаться финал грандиознейшей партии. И среди тысяч красно-белых фигур ее тайно творилась в этот день никому неведомая комбинация: некий «офицер» должен был уничтожить некую «пешку», дабы белая «ладья» могла нанести удар по красному «ферзю». И тогда все вернется на круги своя: колесница Победы и кони неизбежно замрут на своем месте, а медные боги с крыши дворца вечно будут подпирать головами тяжелое низкое небо.

Человек, вознамерившийся выиграть историческую партию, сидел на скамейке Петровского парка, бессильно привалившись к деревянной спинке. После всех ночных и утренних перипетий, после великолепного блефа, пережитого в полуподвале трактирчика, руки и ноги вдруг ослабели настолько, что Грессер едва дотронулся до первой скамьи. Но мозг работал превосходно.

Ташиться на Лиговку через весь город — в который раз испытывать судьбу. Не может же в самом деле везти бесконечно. Вызвать Чумыша и отправиться на моторке? Было бы лучше всего. По Обводному каналу они проскочили бы, минуя всевозможные пикеты, патрули, разъезды, до самого дома павловской сестры, что стоит у Ново-Каменного моста. Шестиэтажную жилую громадину, увенчанную угловой башней, построили совсем недавно — перед войной. Грессер знал этот дом. Его архитектор Фанталов приходился ему шурином. Черти бы их всех побрали — шуринов, архитекторов, механиков; этот дьявольский город, непроходимый, как минное поле!

Кавторанг извлек из кармашка-пистона часы: золотые стрелки на золоченых цифрах отсчитывали золотое время. Все летело в тартарары из-за того, что инженера-механика понесло в этот день к сестре... И Чумыш безнадежно исчез со своим катером — попросту вызови его отсюда...

Ветер сорвал капюшон с фуражки и надул его, как парус.

Парус!

Ну конечно — парус. В конце Петровского проспекта — яхт-клуб. Взять шлюпку, швертбот, какой-нибудь «тузик» на худой конец и, обогнув Васильевский остров, войти в Екатерингофку, а там по каналам, по протокам, под мостами «северной Венеции» можно пробраться почти в любое место центра! От этого счастливого открытия Грессер ощутил прилив новых сил, покинул скамью и размашисто зашагал к западной стрелке острова. Там, за Петровской косой, начиналось взморье и взгляд тонул в привычном мгlistом просторе. Кавторанг сразу повеселел и прибавил шаг. День славы не угас!..

Тоненько взвыл пустой желудок. Грессер вспомнил, что, кроме стакана чая, принесенного Стешей, да глотка водки у Акинфье-

ева, он и крошки во рту не держал. «У Павловых перекушу», — пообещал он голодному желудку и тут же забыл о еде, потому что впереди — в изгибе дамбы — открылось дивное видение рощи яхтенных мачт. Они качались на свежем ветру, и слышно было, как пощелкивают по дереву необтянутые ликтросы.

Ни в яхт-клубе, ни в парусной гавани Грессер никого не нашел, даже сторож исчез, что было весьма на руку. Кавторанг прошелся по дощатым мосткам, выбирая подходящее суденышко. Он при-смотрел себе небольшой швертбот с веселым именем «Внучок».

Сбежал в шкиперскую за веслами и там же, в кипе сигнальных флагов, отыскал красное с косицами полотнище. Флаг на языке сигнальщиков назывался «Наш», и это короткое простое словцо обрело иной — коварный — смысл, как только красный стяг затрепетал на мачте «Внучка». «Ваш, ваш», — усмехнулся неожиданной игре символов Грессер. Он поддел ломом рым, к которому была прикреплена амбарным замком цепь швертбота, и вывернул его с насадным скрипом из причального бруса. Ветер-бейдевинд туго впрягся в парус, зажурчала вода за кормой — «Внучок» ходко резал рябь Малой Невы. Кажется, впервые за весь день в душе кавторанга разжались стальные тиски, и он испытал нечто похожее на легкое опьянение.

Сначала ему пришлось полавировать, но зато выйдя в Невскую губу и повернув на юг, «Внучок» резко понесся вдоль Морской набережной Васильевского. Не прошло и часа, как Грессер, обогнув ковши и пирсы Балтийского завода, входил в мутные воды Екатерингофки. Он даже сумел разглядеть рубку «Ерша», такого близкого и все же недостижимого. Перед Гутуевским мостом он спустил парус и на веслах вошел в устье неширокого и грязноватого Ново-Обводного канала. В екатерининские времена здесь была южная граница города, но Питер давно перевалил этот рубеж, каменной лавой потек по старым почтовым трактам, сводя леса, вбирая в себя окрестные деревни, дачные усадьбы, озерца и речушки. По обеим набережным канала встали такие же уныло-красно-кирпичные, как и его стенки, корпуса бумагопрядильных фабрик, механических мастерских, скотобоен, газгольдеров осветительного завода, казачьих казарм, складов. Даже храмы здесь возводили все из того же темно-багрового кирпича, точно ставили их на крови.

Ново-Обводный, словно замасленный пояс, стягивал рабочую блузу города. И здесь, в его пролетарских недрах, красный флажок на мачте «Внучка» трепыхался, будто охранный грамота. Мимо по обе стороны канала проносились к Варшавскому вокзалу грузовые моторы с винтовочным людом в кузовах. Красногвардейцы с любопытством поглядывали на одинокое суденышко, упрямо ползущее от моста к мосту, на простоволосого гребца в дождевике

(фуражку Грессер спрятал под банку), на красный стяг, развевавшийся над швертботом. У Провиантских складов Измайловского полка кавторанг позволил себе передохнуть — большая часть пути была пройдена. Взглянув на фигурную башенку Варшавского вокзала, он вспомнил, что Ирина с дочерью должны непременно уехать из города. Уехали ли? Страшно представить, что будет, если те, кто придут мстить за «Аврору», застанут их в квартире. Грессер снова приналег на весла, их лопасти оставляли за собой вертялые воронки в мертвой от фабричных стоков воде.

25 октября 1917 года 14 часов 35 минут

Пока швертбот тащился по каналу, события в городе обгоняли его со скоростью красногвардейских грузовиков. В час дня («Внучок» еще шел под парусом по Екатерингофке) был взят Мариинский дворец и распущен предпарламент. А в те минуты, когда Грессер, добравшись наконец до Лиговки, привязывал швертбот под Ново-Каменным мостом, на экстренном заседании Петроградского Совета Ленин объявил о свершении социалистической революции. Партия века, которую кавторанг еще надеялся выиграть, стремительно близилась к финалу. Одна за другой исчезали с доски его фигуры — Госбанк, электростанция, тюрьма «Кресты», Николаевское кавалерийское училище, Павловское, Владимирское, школа прапорщиков... Но красный «ферзь» еще не был введен в дело. Еще можно было успеть убрать его белой «ладьей». Кто бы обратил внимание на то, как от безлюдных причалов Балтийского завода почти бесшумно оторвалось и скользнуло в Неву шучье тело подводной лодки. А если бы и всполошились, никто и ничем не смог бы помешать удару — до залповой позиции десять минут хода! От торпед, нацеленных кавторангом Грессером, еще не уклонилось ни одно судно.

— Боже, как я рад вас видеть!

Николай Михайлович едва удержался, чтобы не обнять своего механика. Павлов, не привыкший к таким сантиментам обычно сдержанного командира, смущенно хлопотал в прихожей, ища достойное место для грессеровской шинели.

— Да как же вы меня нашли, Николай Михайлович! — конфузился он, не забывая однако делать сестре отчаянные знаки, которые надо было понимать как призыв к большому кухонному авралу.

— Нет-нет! — заметил Грессер. — Гостевать нам некогда! Чашку чая, бутерброд — и basta!

Однако от тарелки гречневой каши, одобренной гречишным медом, не отказался. Ел жадно, торопясь, и, вопреки правилам высшего света, говорил о делах.

— Снова, милейший Александр Павлович, нам выпало вместе послужить... Мы оба назначены на «Ерш». Он еще в заводе, но сегодня надо срочно перегнать его на Охту... Приказ морского министра. Собирайтесь пока... Срочно!

— Да я что ж... Я очень рад... Мигом... Дизеля только на «Ерше» паршивые — американские, фирмы «New London», второе слабее, чем нужно. Поставили за неимением проектных, так скорость на семь узлов упала....

— Ничего, ничего, на Неве и десяти узлов хватит... Главное, чтоб запустились.

Они шли по Гороховой вдвоем, в открытую, никого не сторонясь и ни от кого не прячась. Да и не было никому дела до двух прохожих в дождевиках, спешивших туда же, куда стремились боевые отряды, а то и просто кучки поблескивающих штыками красногвардейцев. Впереди в ранних сумерках мерк золоченый кортик адмиралтейского шпица. Там лепные гении славы осеняли центральную арку, под которую вскоре вошли эти двое в тяжелых намокших плащах.

25 октября 1917 года 18 часов 10 минут

На парадном лестничном марше они встретили скорбную процессию. Впереди шел кондуктор Чумыш, держа за собой носилки. С них свисали полы шинели, прикрывавшей с головой чье-то тело. Офицеры Штаба молчаливой гурьбой спускались по ступенькам, понуро потупив взгляды. Грессер увидел Вадима, он шел рядом с Дитерихсом.

— Что случилось? — спросил их кавторанг. Дитерихс сделал патетическую мину:

— Не перевелись еще на флоте настоящие герои! Боже, какой был человек!

— Кто? — рывкнул Грессер.

— Подполковник Уманцев. Час назад застрелился в своем кабинете.

Сердце Грессера тоскливо сжалось. Он хорошо знал этого офицера из отдела морской авиации. Боевой летчик, кавалер золотого георгиевского оружия, он, как и Грессер, служил под Шпицем недавно. Еще вчера он заходил к нему за справочником по кайзеровским субмаринам, и они остроумно пикировались насчет возможностей самолета и подводной лодки в морских войнах будущего и весело сошлись на том, что самолеты в грядущих сражениях будут взлетать с подводных лодок.

Кавторанг не стал спрашивать о причинах рокового шага — в последние дни самоубийственные выстрелы в кабинетах Адми-

ралтейства раздавались нередко, но Дитерихс словоохотливо пояснил, что час назад Уманцев получил из Ораниенбаума, где базировалась Петроградская школа морской авиации, удручающее сообщение. Группа летчиков-инструкторов, которая тайно готовилась к воздушному налету на Смольный и на «Аврору», была кем-то выдана и арестована матросами. Арестованы все семьдесят летчиков-офицеров. Уманцев, как выяснилось из его по-смертной записки, был главным разработчиком и вдохновителем операции.

— Вот так уходят от нас лучшие люди! — сакраментально заключил кадровик.

— Так уходят настоящие офицеры! — Кавторанг со значением произнес слово «настоящие» и поспешил отделаться от раздражавшего его лейтенанта. Грессер, в душе считавший себя викингом, недолго любил немцев вообще и особенно тех, кто воевал против немцев же. Еще он подумал, что, если его удар по «Авроре» сорвется, ему придется последовать примеру подполковника Уманцева.

«К черту, к черту! — отогнал он мрачные мысли. — Покойника встретить — к удаче. Все будет хорошо. И завтра тот же Дитерихс будет восклицать в коридорах: «Не перевелись еще на флоте настоящие герои!»

— Ты обедал? — спросил Грессер Вадима, удрученно шагавшего рядом.

— Нет, папа.

— Ничего. Ужинать будем на «Ерше». На Ерше Ершовиче, у Петра Петровича! — деланно взбодрился Грессер.

Они шли полутемными коридорами. Электричество отключили, и всюду — на коридорных перекрестках, лестничных площадках, в рабочих комнатах — горели свечи и керосиновые лампы. Их красноватый шаткий свет сгушал и без того тревожную атмосферу под сводами Адмиралтейства. В пустом кабинете Уманцева, куда по пути к себе заглянул Грессер, тоже оплывала толстая непогашенная свеча. Из-под тумбы стола торчала черная рукоять упавшего на пол револьвера. Кавторанг подобрал его. По старым флотским поверьям, вещи мертвеца приносили счастье. Он постоял еще немного, отдавая долг памяти. Вот еще один, кто попытался выиграть партию века. Мир праху твоему! Грессер с болезненным любопытством заглянул в окно. Что видел в свой последний миг Уманцев? С большим трудом он рассмотрел в ночной темени Медного всадника, тщившегося перескочить Неву с крутого камня. За Николаевским мостом вспыхнул огненный зрак «Авроры». Голубоватый луч как бы прощупывал спарядные трасы будущих залпов.

Надо спешить!

День славы близился к концу.

Свой второй — запасной — наган Грессер извлек из служебного сейфа и вручил сыну.

— Стрелять умеешь?

— Папа! — обиженно воскликнул сын.

— Ну, ну... Я пошутил. Держи. Это тебе мой подарок с началом новой флотской жизни... Александр Павлович, у вас оружие с собой?

Павлов обескураженно захлопал себя по карманам:

— Вы знаете... С тех пор, как я сдал свое оружие в Кронштадте... По распоряжению судового комитета... С тех пор безоружен. Да и на что механику пистолет?

«Голубчик, — хотел было возразить Грессер. — Сначала вы офицер, а уж потом — механик...»

Но укором характера не исправишь. Да и к лучшему, если у Павлова не будет револьвера. Как-то он еще поведет себя, узнав, что «Ерш» потопил «Аврору»... Потопил! Грессер не позволял себе сомневаться в ином исходе дела. Главное, чтобы Павлов привел подводную лодку в движение. А уж убрать какого-нибудь Митюху-часового — если, конечно, раскомиссаренная команда сочла нужным его выставить — он, капитан 2-го ранга Грессер, сможет сам: приказом ли, пулей ли...

Вдруг осветилось все — вспыхнули люстры, рожки и настольные лампы. И тут же под старинными сводами поплыло эхо выстрелов, грохоча, ломаясь, множась. Грессер, а за ним Вадим и Павлов выскочили в коридор, но чей-то истошный вопль заставил их замереть на месте.

— Из кабинетов не выходить! Всем оставаться на местах! Оружие на пол!

В Адмиралтейство ломались матросы с винтовками. Они врывались в святая святых российского флота, где с петровских времен решались судьбы сотен кораблей и сотен тысяч нижних чинов. Это дурная кровь ударила в думную адмиральскую голову. Апоплексический удар. Потоп! Генмор шел ко дну, как цусимский броненосец.

Грессер затравленно оглянулся — из глубины коридора уже смотрело вдоль кабинетных дверей тупое рыло «максима». Пулеметчик в бескозырке зычно гаркнул:

— Полундра! Кому говорю! По местам!

Оба офицера и кадет нехотя повиновались. Щека кавторанга отчаянно дергалась. Кронштадт повторялся в самом худшем варианте — он настиг его вместе с Вадимом. Мысль Грессера рабо-

тала с удвоенной энергией: за себя и за сына. В соседних кабинетах громко хлопали двери, их обитателей уводили...

Вадим снял бескозырку, чтобы вернуть ленте ее законное положение. Он не хотел быть инкогнито перед лицом опасности.

— Стоп! — остановил его отец. — Достань наган и выводи нас с Александром Павловичем под прицелом. Ты понял? Мы — арестованные, ты — конвойный.

Глаза юноши загорелись. Ну конечно же, для него начиналась увлекательнейшая игра. Будет о чем рассказать в Корпусе!

Так они вышли в коридор и пошли прочь от пулемета. Их не окликнули, их не остановили... Грессер шел на полшага впереди Павлова, заложив руки за спину. Он выбирал дорогу, ибо только он один знал, что за ближайшим поворотом — ход на боковую лестницу. Сердце гулко отбивало шаги. И кавторанг томительно считал не то удары в груди, не то шаги по ковровой дорожке. «...Двадцать семь, двадцать восемь... Господи, пронеси! Двадцать девять... Если выберемся, закажу молебен... Тридцать... Тридцать один...»

В спину ему смотрело револьверное дульце Вадима, спину Вадима сверлил стальной зрак пулемета.

На сорок втором шаге-ударе кавторанг свернул за угол и... столкнулся с Чумышем.

Процессия сбилась, смешалась.

— С нами, с нами, Зосимыч! — сквозь зубы выдавил Грессер. Но кондуктор с круглыми от страха глазами не мог взять в толк, зачем ему тоже надо шагать с арестованными.

Их суету заметили.

— Эй, с наганом, веди сюда! — распорядился чей-то металлический голос.

Грессер навскидку выстрелил между мраморных колонн, откуда раздался приказ, и кинулся, увлекая всех за собой на боковую лестницу. Он только на секунду оглянулся — бежит ли Вадим? Тот бежал, отмахиваясь зажатой в руке бескозыркой. Вслед за ним поспевал Чумыш. Последним скатывался по ступенькам Павлов.

Дубовая дверь во внутренний дворик была заперта. Грессер ударился в нее всей тяжестью грузного тела и с острой тоской понял — не выбить, не открыть... Сверху громыхала сапогами погоня.

Чумыш ткнулся в дверь цокольного этажа, и она распахнулась. Бросились в нее. Теперь вел кондуктор. Подвальные лабиринты он знал досконально. Ступеньки. Поворот. Еще ступеньки... Железная дверь с корабельными задрайками. В мгновение ока сбили стальные клинья — ржавый визг, затхлая темень, спасительная броня пожарной двери. Задраились. Дышали тяжело и часто. Механик чиркнул о стену спичку, посветил вокруг, и все с замира-

нием сердца оглядели глухие своды каменного мешка. Повсюду громоздились связки бумаг, дел, папок...

С той стороны рвали задрайки. Громко щелкнула пуля — кто-то сторяча попробовал прострелить железную дверь. В темень западни доносились голоса:

— Дыму бы подпустить. Враз бы вылезли...

— Бомбу под замок — и вся недолга...

— Пушай сидят! Часового поставить — и что твои «Кресты».

Спичка механика давно погасла, тьма стала еще гуще. Грессер отыскал плечи Вадима и слегка сжал их, прислушиваясь к голосам за дверью.

Павлов дышал, как загнанная лошадь.

— Ваше благородие, дайте-ка мне спички, — обратился Чумыш к механику.

— Куда ж ты нас, старый черт, завел?! — одышливо спросил Павлов.

— Вы меня зазря не чертите! Как завел, так и выведу. Ни одна крыса того не знает, что Чумышу ведомо. Спички дайте! — уже не попросил, а потребовал кондуктор.

Полупустой коробок прогремел в темноте. Слышно было, как Чумыш что-то разгрыз, потом выяснилось — карандаш. Он поджег расщепленную половинку и посветил в дальнем углу их нечаянной камеры. Грессер, Вадим и Павлов нетерпеливо шагнули следом. Кондуктор присел, и все увидели квадратную дубовую крышку с двумя ржавыми кольцами.

— Там, где у нас внутренний двор, раньше канал был, — пояснил Чумыш по ходу дела. — Канал не то при Павле, не то при Александре засыпали. Да не абы как, а с умом.

Кондуктор ухватился за одно кольцо, Грессер — за другое, рванули разом... Разбухшая от сырости крышка сидела прочно. Дернули вчетвером. Увы, люк не поддавался. Такого оборота не ожидал и Чумыш.

— Эх, засела дура! — сокрушенно ругнулся он.

Грессер взял у Вадима револьвер и пятью точными выстрелами расщепил край крышки. Из щели потянул сырой сквозняк. Кавторанг выдернул из ближайшей стопки бумагу, поджег и просунул в дыру. Огонь высветил под крышкой кирпичный пол. Он был неглубоко — в метре, не больше. Кавторанг растеребил одну из связок и приказал всем скручивать листы в жгуты и пропихивать в щель. Работа закипела при свете карандашного огрызка. Когда под крышкой выросла высокая горка скрученной бумаги, Грессер бросил в дыру карандашный огарок, и на кирпичном полу запылал костер. Все с новой энергией принялись бросать в огнен-

ную щель скрученную бумагу. Пламя подсушило отсыревшую древесину, и вскоре, поднатужившись, Грессер с механиком вырвали злополучную крышку. Чумыш прыгнул в люк. Согнувшись в три погибели, он исчез в темени низкого и узкого хода. Грессер последовал за ним. Потом спустился Вадим. Последним, закрыв за собой крышку, пролез механик.

Эти четыреста подземных метров показали им с коломенскую версту, прежде чем они выбрались из водосточного колодца у западного торца Адмиралтейства.

— Ну, Зосимыч, удружил, — обнял кондуктора Грессер. — Век не забуду. Пойдешь ко мне боцманом?

— Эх, Николай Михалыч... С меня теперь боцман, что с пальца гвоздодер. Я уж на вечную зимовку ниже земной ватерлинии собрался...

— Рано крылья опустил, орел порт-артурский! А сослужика нам последнюю службу — подбрось в Балтийский завод. Только катер сюда подгони. Нам сейчас, сам понимаешь, не резон по набережной фланировать.

— Не сумлевайтесь! Сделаю, как надо.

Чумыш исчез в ночной мороси, переждав броневику с белыми буквами на пулеметной башне — «РСДРП». Боевая машина катила с Сенатской площади в сторону Зимнего...

Из дневника мичмана Демидова. Борт «Авроры»

Как ни был мертв мой сон, я очнулся, повинувшись внутреннему толчку, что всегда будил меня за полчаса до подъема флага. Умывшись и растеревшись, вышел на верхнюю палубу. Утро серое, ветреное, холодное. Ветер сносил дымы из труб Зимнего на норд-вест, значит, дул с юго-востока.

Чугунная громада Николаевского моста нависала над Невой совсем близко от нас. На мосту вершилось обычное движение, лишь изредка мелькали красные повязки на рукавах солдатских шинелей и матросских бушлатов.

На набережных толпился народ, разглядывая «Аврору». Она стояла посреди Невы, точно новый дворец с высокой колоннадой труб, выросший за ночь на виду города. У стенки завода крейсер сливался с цеховыми постройками и был малоприметен.

Я поднялся на сигнальный мостик и навел бинокль на толпу. Надин среди глазющей публики не было. Тогда я навел линзы на ее окно. Оно приблизилось, но угол зрения был неудачен — стекло тускло отливало.

Неужели еще вчера я был по ту сторону этой стеклянной границы и губы мои пылали на ее губах? От этой мысли бинокль в руках слегка задрожал.

Ее окно смотрело на «Аврору»... То была каменная оправа на-шей жгучей тайны. Прямоугольный колодец, в застекленной непроглядной глубине которого жила моя прекрасная сирена... Видит ли она, какое величественное прощание подарила нам судьба?

Я опустил бинокль и взял контрольные пеленги на башню Кунсткамеры и шпиг Адмиралтейства. «Аврора» стояла на якоре незыблемо. Я записал пеленги в журнал. Эти простые служебные дела привели мои мысли в трезвый порядок. К черту сирен и наяд! Есть милая, обожаемая, земная, грешная, сладостная Надин. Как все преобразилось со вчерашнего дня! Как обновилась вся жизнь! Каким глубоким таинственным смыслом наполнилась каждая мелочь бытия, каждый пустяк уже примелькавшейся корабельной жизни! Все, все, все, на что упадет взгляд, напоминает ее, говорит о ней, обещает ее... Вот выются ленты у сигнальщика на бескозырке, а я уж думаю, как хороша была лента черного репса в ее волосах. Вот тренькнул машинный телеграф, точь-в-точь как звонок за ее дверь... Сколько томительного сладостного ожидания разлито вокруг... С завистью смотрю я на корабельный прожектор; луч его так легко может проникнуть в ее окно, упасть к ее ногам, лечь на руки, объять ее...

Вчера она стала моей. Теперь я обязан по долгу офицерской чести предложить ей руку, сделать официальное предложение... Да что по долгу! По давней заветной и безнадежной доселе мечте я могу просить Надин выйти за меня замуж. Пусть до лейтенантского чина мне трубить еще три года, пусть нет у меня этих злосчастных пяти тысяч¹... Николай Михайлович Грессер настоящий боевой моряк, и он, не впадая в предрассудки, конечно же отдаст дочь за настоящего боевого моряка, пусть пока и в невеликих чинах. К тому же революция наверняка упразднит «мичманский ценз», и нам ничто не помешает соединить руки...

— Надолго мы тут стали, господин мичман? — спросил сигнальщик, подставив ветру спину.

— Думаю, что нет. Прибудет высокое начальство, посмотрит, как отремонтирован крейсер, и двинем в Гельсингфорс.

Я и не подозревал, как глубоко заблуждался. Вместо представителя Главного морского штаба на корабль прибыл Антонов-Овсенко, член Военно-Революционного комитета. Что он говорил команде, я узнал лишь много позже — понаслышке, так как

¹ По негласному правилу мичман русского флота мог жениться, либо достигнув чина «лейтенант», либо если на счету у него было не менее пяти тысяч рублей, гарантирующих, что он сможет содержать жену и семью на свое мичманское жалованье.

сразу же после обеда свинцовый сон — сказались все полубессонные ночи — не дал мне выбраться из койки.

Сколь сладко просыпаться в броне и железе с именем любимой. О, Надин!

Перед глазами замелькали вспышки сокровенных видений.

Арабской вязью:

«...Шемизетка брошена на китель. Длинная черная юбка соскользнула с подлокотника кресла, точно живая. Туфелька улетела под фортепиано...

Придя в себя, я ужаснулся разорению, в которое привел столь сложные, столь красиво подобранные, разглаженные, затянутые наряды моего божества, ее уложенные волосы. Я ощутил себя вандалом, разрушившим прекрасную статую, язычником, сорвавшим в порыве безумия покровы со своего кумира и застывшего в ожидании неминуемого возмездия. То было святотатство художника, под чьей кистью Мадонна вдруг обратилась в «обнаженную маху»... Но вместо праведного гнева на меня обрушились неистовые милости поверженной богини...

Мой крестик качался над ней на цепочке...

...Потом в гостиной она взяла меня за руки:

— Я прошу вас обещать мне... Нет, лучше поклянитесь! Клянитесь мне, что вы никогда не посмеете подумать дурно о том, что было сейчас... Никогда не поставите мне этого в укор...

— Да господи! Как в голову вам могло такое прийти?! Да я... Я клянусь самым святым, что у меня есть, что буду боготворить этот день и вас всю жизнь, сколько бы мне ее ни досталось. Клянусь флагом своего корабля... Клянусь спасением своим в бою... Если выпадет смерть медленная, томительная — вы, память о вас, об этом дне будут моим утешением.

Она убежала в комнаты и вернулась оттуда, неся в ладонях маленький образок из очень темного серебра.

— Вот... Он хранил на морях моего деда. Он счастливый. Бабушка сказала: «Надень его на того, кого хочешь спасти». Теперь он ваш... — Она застегнула мне на шею цепочку, поцеловала в лоб и губы и легко подтолкнула к двери. — А теперь ступайте, ступайте... Скоро придут наши. Вас никто не должен видеть сейчас. И запомните мой телефон в Гельсингфорсе. Он очень простой: девятнадцать-семнадцать. Все вместе, как нынешний год».

25 октября 1917 года 19 часов 00 минут

Склянки на «Авроре» отбили семь часов вечера, когда от Адмиралтейской набережной отвалил черный катерок с пассажирами и рулевым.

— Скажи на милость, службу не забыли! — воскликнул кондуктор, расслышав сквозь клекот мотора медные удары авроровской рынды. Грессер с тревогой вглядывался в приближающиеся надстройки крейсера: что, если прикажут встать к борту? Высокие трубы корабля выростали над мостом с каждой секундой. Вот и выгнутый нос с черной серьгой якоря (второй отдан), клепаный борт с тремя ярусами иллюминаторов, отвáленный выстрел¹ со шлюпкой на привязи...

На заре туманной юности корабельный гардемарин Грессер проходил на «Авроре» морскую практику. Вон иллюминатор его кубрика. В кожухе первой трубы отогревался он после вахт на сигнальном мостике. А сколько раз банил баковое орудие, за которым был закреплен в гардемаринской прислуге!

Однажды летней тихой ночью, когда крейсер резал заштилевшее море, Грессер выбрался из душного кубрика наверх. Никем не замеченный, он пробрался на бак, за шпиль, и лег там на теплое дерево палубы. Он лежал на спине — головой к форштевню, раскинув руки в стороны. Лицо его нависало над росзвездами черной бездны. Корабль чуть покачивался, и вместе с ним качалась ночная Вселенная. И тогда у гардемарина захватило дух от созерцания этой космической шири. Он плыл один между морем и звездами неведомо куда — в вечность и бесконечность. Потом он нигде не испытывал такого величественного чувства, и он всегда благодарил судьбу и «Аврору» за тот звездный миг в его жизни.

То была злая ирония судьбы, что именно ему предстояло сегодня уничтожить «Аврору». «Уж лучше бы ты потонула в Цусиме», — не без горечи пожелал кавторанг, глядя, как створятся за кормой катера мачты и трубы крейсера.

— Пронесло!

Не окликнули, не осветили, не выстрелили. Чумыш держал курс на огни Балтийского завода.

Землянухин сидел в боевой рубке и приканчивал вторую седледку, заедавая ее ржаной краюхой. Он хотел было спуститься за чайником, который грелся на электрокамбузе, как вдруг услышал глухое фыркание мотора. Насторожился. Выглянул из рубочного люка и подвинул поближе винтовку.

Маленький катер ткнулся в лодочный корпус, и один из пассажи́ров — высокий, в офицерской шинели — зычно крикнул:

— Вахта! Прими концы!

¹ Выстрел — причальный брус, который отваливается от борта при стоянке корабля.

Землянухин вылез из люка по грудь, выпростал винтовку, кланулся затвором.

— Стой! Кто идет?

— Ага, есть живая душа! — обрадовался офицер. — А ну помоги вылезти!

— Кто идет, спрашиваю! — рассердился матрос на слишком уверенного в себе незнакомца.

— Я новый командир «Ерша». Капитан 2-го ранга Грессер, — громко представился офицер. — Со мной вновь назначенные механик, боцман и юнга. Кто старший на борту?

— Я старший... Матрос 1-й статьи Землянухин.

— Землянухин, ты? — радостно удивился кавторанг. — Не узнал меня, что ли?

— Узнал, как не узнать... — протянул матрос.

— «Тигрицу» нашу помнишь?

— Все помню, ваше выск... Тьфу! Господин кавторанг. Ничего не забыл.

— Так прими концы! — властно потребовал Грессер.

— Часовой есть лицо неприкосновенное, — важно напомнил Землянухин. — Все начальство в экипаже. Туда и езжайте.

— О ч-черт! Какое, к лешему, начальство, если я командир. Вот мое предписание.

— Не могу знать. Председатель судкома меня ставил. Председатель и снимет. Бумажку ему покажите.

— Друг мой, не придурайся ватником! — начал злиться кавторанг. — Председатель судкома боцманмат Митрофанов наложил свою резолюцию.

— У вас резолюция, а у меня революция! — парировал Землянухин, уличив про себя командира в неточности: не Митрофанов — Митрохин.

— Стой! — осадил он кавторанга, решившего взять скат лодочного борта приступом. — Стой! Стрелять буду!

Но первым выстрелил Грессер. Пуля цвелькнула над ухом, и Землянухин нырнул вниз, захлопнув крышку люка.

Пуля вторая и третья отрикошетили от стальной горловины. Кавторанг еще не мог поверить, что блестящая комбинация «белая ладья берет красного ферзя» рухнула оттого, что некая пешка сделала непредусмотренный ход и навсегда ускользнула из-под удара.

По обе стороны рубки «Ерша» зажглись красно-зеленые ходовые огни — сигнал бедствия. Их включил Землянухин, призывая к себе на помощь.

Грессер, Чумыш, Вадим, Павлов столпились вокруг задраенного люка. Час назад они точно так же стояли перед дубовой крыш-

кой лаза в надежде на выход. В надежде на вход им было отказано — входной люк незыблемо перекрывал массивный литой кругляк из красной меди.

Щека Грессера задергалась вдруг быстро-быстро, он издал странный горловой звук и принялся яростно колотить рукоятью нагана крышку рубочного люка.

— Открой, сволочь, открой! — рыдал он, отбиваясь от рук Чумыша и Павлова, пытавшихся оттащить его прочь от рубки. С помощью Вадима, наконец, удалось это сделать. Грессер все же вырвался, сумев при этом не расстаться с оружием. Он отскочил к носовой пушке, ударился спиной о казенник, и этот удар привел его в чувство. Он вскинул наган, тщательно прицелился и расстрелял сначала левый красный фонарь, затем — правый зеленый. Брызнули осколки стекол, ходовые огни погасли.

Кавторанг перекрестил лицо, сунул теплый ствол в рот и нажал спуск.

— Папа! — заорал Вадим.

Курок сухо шелкнул. Как чемоданный замок.

Осечка?

Грессер быстро осмотрел барабан. Он был пуст. Кавторанг швырнул револьвер в воду и, обессилев, упал грудью на пушечный ствол. Вадим подбежал, обнял, прижался к плечу.

Мимо них скользили по Неве почти бесшумно силуэты эсминцев-«новики». Жидкий дым их труб стлался по воде. Эсминцы шли к «Авроре», словно два припозднившихся телохранителя.

— «Самсон» и «Забияка», — совиным оком прочел надписи на бортах Чумыш. — Из Гельсингфорса притопали... Видать, будет дело.

25 октября 1917 года 21 час 40 минут

«Аврора» стояла посреди Невы незыблемо, точно броневой клин, вбитый в самую сердцевину города.

В казенник баковой шестидюймовки уже загнали согревательный заряд, который, прежде чем начаться боевой стрельбе, должен был выжечь густую зимнюю смазку в канале ствола.

Река обтекала корабль, и острый форштевень крейсера невольно разрезал Неву надвое. Полотнища вспоротой реки трепетали за кормой, словно матросские ленты...

Из дневника мичмана Демидова. Борт «Авроры»

После полудня пролился мелкий дождь, хорошо очистивший воздух от туманной дымки. Видимость улучшилась, несмотря на то, что быстро стемнело, а небо было затянуто облаками. С вы-

соты авроровского мостика хорошо были видны оба городских берега в разнорусье горящих окон. Яркие освещенные трамваи неторопливо всползали и сползали с плавных крыльев моста. Петроград жил обычной жизнью, разве что толпы людей стояли на набережных и любовались подошедшими к «Авроре» кораблями, освещавшими друг друга, мост, Неву и здания мощными морскими прожекторами. Поодаль от нас курились легкими дымами минные заградители «Амур», «Хопер», яхта Красного Креста «Зарница», а после ужина подошли и стали к Васильевскому острову учебное судно «Верный» вместе со сторожевиком «Ястреб». Наши матросы кричали им с борта, вызывая земляков и дружков.

Крейсер погружался в якорное безделье, офицеры разошлись по каютам, лишь в салоне несколько человек пили вечерний чай. Я устроился у своего любимого полупортика и стал дочитывать Джека Лондона.

Вдруг кресло, палуба и стол дрогнули от орудийного выстрела. Шнурок звонка в буфетную закачался, словно маятник.

Эриксон, сидевший напротив меня с папиросой, недоуменно поднял брови.

— Леонид Николаевич, — поймал он мой взгляд. — Пойдите наверх, выясните, что это за выстрел, и доложите!

Я быстро прошел из салона в каюту. Надел фуражку, выбежал на верхнюю палубу и двинулся по левому борту на полубак, где толпились праздные матросы. При виде меня они расступились, и я прошел к носовой шестидюймовой пушке, возле которой хлопотали комендоры.

— Куда стреляли, ребята?

— Холостым пальнули. Бельшев приказал. Со стороны Зимнего неслась беспорядочная трескотня винтовок. Я невольно любовался ночной панорамой, рассвеченной, словно в праздник, дюжиной прожекторов. Лучи их, иссиня-белые, металась по мостам и фасадам, утыкались в Зимний, взблескивали на шпилях и куполах.

— Цвень-нь-нь!!

Пуля, прилетевшая с Васильевского острова, злобно цокнула в левую скулу «Авроры» и отлетела, фырча. Матросы зашевелились.

— Постреливают, однако.

— Затемнить корабль!

— Эй, вниз! Вырубите фазу!

— Броняшки на иллюминаторы ставь! Вали вниз, ребята!

«Аврора» гасила огни...

НИКОЛА С КОРАБЛИКОМ

(Вместо эпилога)

Все решилось на входных стрелках Медгоры: шестидюймовый снаряд угодил под бегунок паровоза морского бронепоезда «Адмирал Непенин». Взрывная волна шуганула в топку и вышвырнула горящие угли в будку машиниста. Тела оглушенных офицера-механика и матроса-кочегара заживо испеклись в раскаленном шлаке. Спасся только командир бронепоезда кавторанг Николай Леман, находящийся в боевой рубке, приклепанной к тендеру паровоза. Он выскочил из белых клубов горячего пара в сугроб и стал зарывать ошпаренные лицо и руки в снег, запорошенный угольной пылью. Командование принял на себя старший офицер бронепоезда кавторанг Грессер. Но вторым накрытием свалило под откос блиндированную платформу с морскими орудиями Канэ, а рельсы позади хвостового броневагона завило в турий рог... Последняя пулеметная башня еще прижимала цепи красных к взрытому насту. Николай Михайлович не строил иллюзий: участь «Адмирала Непенина» была решена...

Как и положено командиру, пусть и временному, Грессер покидал бронепоезд последним. Он собрался было прыгнуть, как ожила вдруг пулеметная башня хвостового вагона. Пулемет бил короткими прицельными очередями, а потом вдруг сорвался на бешеную молотьбу.

Грессер пробрался в десантный вагон и за плечи вытащил из-под бронеколпака лейтенанта Демидова. Губы его были закусены в кровь.

— Я же приказал, — тряс его Грессер, — всем покинуть поезд! Немедленно! Ну?! — И, встретив запаленный взгляд, умоляюще попросил: — Бери лыжи — и за мной. Слышишь? Нужно взять лыжи и уходить в лес.

Демидов слепо повиновался.

— Лыжи! — кричал Грессер выскакивавшим из дверей и люков морякам. — Разбирайте лыжи!

Лыжи для разведкоманды лежали на платформе с путевым припасом.

Под «дымовой» завесой парящего паровоза они уходили на лыжах в тайгу. Уходили счастливики, кому досталась пара смоленых деревянных стругов... Остальные бежали вслед за ними, проваливаясь по колено, по пояс в остекленевший мартовский наст, судорожно выбираясь из него, и снова — ползком, рывками, с молитвами и матюками — стремились в низкорослую чащу карельской тайги. Смерть — неминуемая, беспощадная, ликующая —

смотрела им в спины сквозь прицелы красноармейских пулеметов. Смерть клевала их в затылки и меж лопаток, валила в зернистый, спекшийся на морозце снег, присыпанный сбитой пулями хвоей. И только тогда, когда зловещее цвеньканье наконец стихло, Грессер остановился, перевел дух, осмотрелся. За ним едва поспевал на лыжах Леман с багровым, ошпаренным лицом.

— «Непенинцы», ко мне! — гаркнул Грессер в сложенные ладони. Слева и справа из заснеженных елочек выехали на зов лейтенанты Демидов, Твердоземов. Потом двое гардемарин в матросских бушлатах и штурман Миклашевский. Двинулись группой — след в след. Первым торил лыжню Грессер... Чуть позже их вереницу догнал инженер-механик старлейт Ильютрович. Шли до позднего вечера, опасаясь погони... Шли молча, истово, греясь на ходу... В темных сумерках встали, вытоптали лыжами площадку под вывороченным корневищем буреломной ели, нарубили лапника, но костер не зажгли, чтобы не привлечь на огонь преследователей.

Ночь коротали, тесно прижавшись друг к другу, дрожа в непросушенных, волглых шинелях и бушлатах. А утром двое гардемарин из оружейной прислуги не поднялись...

Их застывшие тела уложили под корневищем. Руки скрещивать на груди не стали, так и положили их с кистями, засунутыми в рукава заледеневших бушлатов. Леман, как командир, прочел над ними короткую молитву. Подняли было наганы для прощального салюта, но Грессер, напомнив о рысущих красных отрядах, просил не стрелять. Молча двинулись дальше — на запад, к финской границе. Шли с надеждой выйти на какую-нибудь деревушку, рыбацкий стан, избу лесника, но чем дальше углублялись в тайгу, тем глуше становились ельники вокруг заметных озер да занесенных валунов. Ни тропы, ни лыжни, ни следа, ведущего к жилью. Только цепочки, оставленные волчьими лапами, то и дело пересекали взятый курс.

Во вторую ночь все же решились развести костер.

Утоптали площадку. Молодежь разбрелась за хворостом. Пошел и Грессер. Завернув за большой — с избу — валун, он увидел Демидова, без шапки, по колено в снегу... Лейтенант быстро крестился, держа в опущенной руке взведенный наган.

— Дима! — гаркнул Грессер так, что качнулись ветви.

Демидов растерянно оглянулся, как очнувшийся лунатик, и бессильно опустил в снег. В два прыжка Грессер добрался до него и выхватил из вялой руки наган:

— Ты что? Ты в своем уме? Как можно так раскисать?!

— Я не раскис... Николай Михайлович, поймите.. Я всю свою жизнь учился воевать. Топить врага в море. Жил мыслью, что я —

защитник своей Родины... Но я не убил ни одного немца. Я третий год убиваю только своих... Русских. Я положил их столько, что и целая деревня потом не народит. Зачем? Зачем России нужен лейтенант Демидов? Зачем я? Зачем мы все, если мы должны стрелять друг в друга?! Русские в русских? Зачем? Я не хочу.

Он жадно набивал рот снегом, и губы его тряслись то ли от холода, то ли от рыдания. Грессер с силой растер ему виски льдышкой:

— Успокойся! Ну, прошу тебя... Я приказываю: лейтенант Демидов, возьмите себя в руки! И перестаньте быть тряпкой, слюнтяем, бабой!.. Дима, Дмитрий, слушай меня... Ты стрелял в людей. Да, в русских, в своих... Но обезумевших. Их поразила страшная, неведомая психиатрам напасть, которая заставила их вломиться в дверь твоего и моего дома. Они вкусили крови в Кронштадте, в Питере — и пьяны, и свирепы. Им внушили сатанинскую мысль, что они имеют право убивать любого, кто окажется на их безумном пути... Когда безумец с окровавленными руками врывается в твой дом, у тебя нет времени на увещания. Надо стрелять... И ты стрелял... Ты прав...

— Но зачем их так много?

— В эпидемию тоже гибнут тысячами... Это — эпидемия. Мор. Красный мор... Это пройдет и кончится. Все потом ужаснутся. Идем к костру. Идем, согреемся... Выпить бы рому глоток... Или крепкого чаю. Идем!

Там, на утоптанной площадке, уже трещало пламя и «непеницы» жадно сгрудились у оранжевых языков.

— Коля, — шепнул Грессер Неману теске и однокашнику, — правь, как на корабле, а то народ одичает.

— И то верно, — согласился Леман, морщась от боли лопающихся волдырей.

— Штурман! — строго окликнул Миклашевского Леман. — Наше место?

Лейтенант вздрогнул, будто назвали его тайное забытое имя. Но он был истинным штурманом, ибо в горячке боя и отступления не позабыл прихватить обрывок путевой карты и теперь к всеобщему изумлению достал его из-за пазухи:

— От станции Медгора мы ушли верст на пятнадцать.. До финской границы еще полтора. Пять ходовых дней.

Все сгрудились над измятым бумажным лоскутом, позабыв про костер.

Карта! Их общий сертификат на спасение. Карта! Клубок Ариадниной нити из этого гиблого лабиринта озер и валунов. Карта! Значит, и здесь ступала нога человека, раз расчерчена эта глухомань на геодезическую сетку.

— Пять дней... — мрачно протянул Леман, и у всех холодок пробежал по неоттаявшим спинам при мысли о еще пяти ночлегах в снегу, для кого-то столь же смертельных, как для схороненных утром гардемаринов. — Где механик?

— Я, господин кавторанг! — встрепенулся Ильютович.

— Обеспечьте теплый ночлег. Придумайте что-нибудь. Сообразите. Вы же инженер, черт возьми!

— Есть, — без особого энтузиазма откликнулся грузный, неповоротливый Ильютович.

— Берите молодежь в помощники, и с Богом!.. Та-а-ак, кто у нас старший артиллерист? Лейтенант Демидов? Произведите учет оружия и огневых припасов.

В наличии оказалось шесть наганов, два кортика и один артиллерийский тесак.

— Николай Михайлович, вам придется взять на себя и обязанности ревизора. Как у нас с провизией?

Провизии вышло удручающе мало. Перетряхнув все карманы, офицеры выложили на разостланный носовой платок Грессера плоскую баночку сардин, три английских бульонных кубика и горстку слипшихся в табачных крошках монпансье.

Больше всего обрадовались жестянке, в которой можно было кипятить воду — полстакана зараз. Пили по очереди, обжигая губы о закопченную жечь, горячий хвойный отвар, присасывая выделенный Грессером крохотный леденец. Никто не смог припомнить чаепития более сладостного, а главное, живительного, чем это.

Тем временем Ильютович и в самом деле проявил инженерную сметку: из ветвей и снега соорудил нечто вроде грота, обращенного к кострищу. Нарубили лапника тесаком, на него и завалялись, тесно прижавшись друг к другу.

Леман распорядился выставить на ночь боевое охранение. Вахту решили нести по два часа — до рассвета. Демидову выпала «собака». С полуночи и далее.

— Возьмите мою овчину! — Стянул Леман с плеч романовский полушубок, он единственный, кто был одет не в бушлат и шинель. — Передавайте его по смене, а мне кидайте ваше рубище. Не замерзну в куче...

— Дима! — погрозил пальцем Грессер. — Помни наш уговор!

Эту ночь передраем по-божески. Утром встали все и, похлебав из жестянки бульону, двинулись в путь. Приморозило так, что ноздри слипались от неосторожно втянутого воздуха.

Островерхие ели стояли в снежных нарядах посреди вечной тишины, сотканной из хвои и снега. В этой стылой красе была разлита смерть, и Грессер с беспощадной ясностью прочитал в

низком небе последнее условие их затянувшейся игры: «Если засветло не выйдем к жилью, утром встанут не многие». Во всяком случае себя он не тешил иллюзией. И потому с мрачным любопытством оглядел ландшафт своей грядущей кончины: «Так вот где Бог привел...

Во всяком случае здесь, под сенью еловых лап, в бескрайнем снежном саване, выходило лучше, чем в тесном затхлом отсеке «Тигрицы» или под стенкой городского пустыря...

К вечеру не открылся ни один знак человеческого присутствия, еще и подморозило. И похоже было, что ни один Грессер валился на лапник с мыслью не о ночлеге, а о смертном ложе. Не грел и костерок, разложенный кое-как. Тем не менее охранение все же выставили, и первому опять выпало вахтить Демидову.

Уже сквозь сон, сладкий гибельный сон замерзающего человека, Грессер уловил сухой хлопок нагана. Он сразу понял, что случилось...

— А, ч-черт! Не уберег...

Он рванулся на выстрел, словно чужая смерть придавала силы. Чертыхаясь горестно и злобно, кавторанг проваливался в глубокие следы, оставленные лейтенантом... У кого-кого, а у него был шанс выбраться из этих дебрей. Молодой, сильный... Он бы мог и в одиночку выбрести на жилье...

...Демидов шел ему навстречу, сгибаясь под тяжестью матерой волчицы. Сбросил зверя в снег.

— Вот... С первого выстрела положил... Прямо в башку, — с трудом отдышался Дмитрий. — На живца взял.

— Как это?

— Лег на снег.. Они подкрались. Вроде как на падаль... С первого выстрела. У меня всего один патрон и был.

— Ну, значит, жить тебе долго... Смерть свою пристрелил.

Волка освежевали, выпотрошили, тушку жарили на еловом стволике, поворачивая как на вертеле. Грессер запек волчье сердце в угольях... Рвали полусырую, полусгоревшую волчатину голыми зубами. Оживали... Только Ильютович не ел:

— Не могу... Собачатина. У меня пес дома остался.

Шкуру подсушили над костром. Нарезали меховых стелек в сапоги. И поутру двинулись дальше. Смерть подарила им этот ночлег. Но не надолго. К полудню Леман скорчился от дикой рези в желудке. Остановились. Развели костер... Потом слегли еще двое — Трердоземов и Любимов. Полусырая волчатина выходила боком.

Леман корчился и просил пристрелить его... Чтобы не слышать его стонов, Грессер оставил при больных Ильютовича, и вместе с Демидовым они отправились бродить по округе. Шли без надежд. Понимали оба: на сей раз — конец. С больными не уйти.

Стояло мартовское полнолуние, и огромная волчья луна катилась по верхушкам елей.

— Николай Михайлович, смотрите! — вскрикнул Демидов.

На вершине валуна, похожего на постамент Медного всадника, высился большой деревянный крест о восьми концах. Поодаль, на берегу заметенного озера стояла рубленая часовенка, а подле нее три избушки, сращенные в одну под единой крышей. В крохотном оконце тлел красный свечной огонек. Туда и постучались, все еще не веря глазам своим. Вышел старец в монашеском облачении, бесстрашно спросил, что за люди.

Грессер, перекрестившись на часовню, объяснил как мог, кто они и откуда и что остальные четверо замерзают в тайге без сил.

— Эх, — вздохнул старец, — из всей братии я один и остался... Однако же пособим чем сможем...

Он вытащил из-под крыльца деревянные санки, впрягся в них и зашагал вслед Демидову, торившему обратный путь.

— Как вас звать, батюшка? — спросил лейтенант.

— Отец Феофилакт я. Игумен Николо-Святского скита. Было нас четверо. Брат Савл преставился в позапрошлом Рождество. А братья Борис и Георгий как ушли летом за мукой в село, так и сгинули. Бог весть, где они и что с ними.

С трудом отыскивали бивуак. Уложили Лемана на сани. Остальные, весьма воодушевленные открытием товарищей, поднялись и зашагали сами, время от времени впрягаясь по двое в сани. Так и дошли и свалились без сил на скамьях трапезной, прислушиваясь лишь к тому, как старец разжигал печь, ставил чай да приговаривал, что потчевать ночных гостей особо нечем: сухари да рыбы сушеные, что братья Борис и Георгий без вести пропали и что год как живет он на подножном корму да милостию Божьей.

Потом пили что-то блаженно обжигающее и ароматное, потом игумен развел всех по кельям и укрыл самых продрогших драпами овчинами...

Под утро, вынырнув из провального забытья, кавторанг Грессер вдруг тихо разрыдался от давно забытого чувства — покоя. Того самого безоглядного, безмятежного покоя, когда можно отдаться сну всецело, не боясь, что ночью тебе выстрелят спящему в спину, что рядом с твоим случайным ложем разорвется шальная граната, хлынет вдруг море из роковой пробоины.

Впервые за много лет тело его каждой клеточкой ощутило вдруг свою безопасность, и он заплакал легко и счастливо, как плачут дети, убедившись, что кошмар остался во сне, и им ничто не грозит, и мир прекрасен. То были слезы смертника, которому объяснили о помиловании...

Он проснулся от пригревшего щеку солнца, лившегося в келью из рубленого оконца, и с наслаждением втянул в себя запах чистого деревянного жилья — кисловатого духа овчины, терпкого аромата сухих дубовых листьев, восковых свеч перед иконами старого письма.

Потом повеяло печным теплом, и где-то неподалеку за дощатой стеной застреляли дрова. Так просыпался он мальчиком в усадьбе деда под Лугой. Просыпался и ждал, когда в детскую заглянет бабушка, чмокнет в маковку и скажет: «Ангел мой золотой... Блинчики-то уже стынут». А дед с напускной суровостью кричал из-за двери: «Ну-тко, под воду холодную — марш!» И нянька тащила умывальный кувшин, и бабушка окунала в него свой локоть — не холодна ли вода и защищала единственного внука от деда-спартанца...

В дверь и в самом деле заглянул дед, но не мамин батюшка, а игумен Феофилакт, и, перекрестившись, позвал в трапезную — к столу. На широких скобленных сосновых плахах стояли глиняная плошка с моченой брусникой и берестяной туес с ржаными сухарями. Против каждого места было положено по сухой рыбинке. Прочитав застольную молитву и поклонившись образу Николы Чудотворца в правом углу старец пригласил всех к трапезе, весьма довольный тем, что офицеры поддерживали его молитву и крестились истово. Пока едоки раздирали вяленых лещей и грызли сухари, заедая их моченой брусникой, игумен открыл ветхую книгу в телячьем переплете и стал читать вслух, как это водится на монастырских трапезах. Грессер, увлеченный поначалу отдиранием от хребтины длинных жирных волокон, слушал монаха рассеянно, как и все, отметив, впрочем, что читает он Послание апостола Павла к римлянам. Но, вслушиваясь мало-помалу в древние слова, он вдруг понял, что скитоначальник выбрал страницы из Святого писания неспроста, с умыслом, и что речь идет по сути дела о них — белых и красных:

«...как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, как написано: «нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их; уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их».

Последнюю фразу он повторил с такой горечью, что все невольно потупили глаза, а кавторанг Грессер отложил недогрызенный сухарь.

После чая, заваренного на брусничных листьях, офицеры разбрелись по кельям. Лишь лейтенанты Демидов и Твердоземов оставались за водой на озерцо к проруби.

«Они не знают пути мира, — повторял про себя Николай Михайлович, лежа на меховой подстилке. — Ноги их скоры на кровопролитие...» Из всех смертей, пережитых им на гражданской, две будоражили душу особой болью — Акинфьев и Наденька. Его не раз терзала окаянная мысль: гибель дочери — это возмездие за выстрел в Акинфьева. Здесь, под осиновой кровлей скита, душа впервые чуть выпросталась из-под нещадного гнета тайной вины. «Скажу старцу, покаюсь — снимет грех... Пусть любую епитимью наложит. Но снимет...»

Три дня «непенинцы» приходили в себя, отогреваясь и подкрепляясь пусть скудными, но все же харчами. Утром 10 марта 1920 года над озерцом, близ которого приткнулся скит, пророкотал низколетящий аэроплан с красными звездами на крыльях. Самолет ушел в сторону Медвежьей горы. Это событие не на шутку встревожило обитателей скита, и братская трапезная превратилась на время в весьма бурную кают-компанию. Обсуждалось одно — как быть дальше. Старший лейтенант Миклашевский твердо стоял на своем:

— Надо немедленно уходить дальше. К финнам... Нагрянут красные, господа, и перебьют нас, как куропаток. Пока лежит наст, пока не началась распутица, надо уходить. Три-четыре перехода — и мы в безопасности.

Безусловно, штурман был прав. Но отправляться в студеную глухомань могли не все. У Лемана распухли помороженные ступни. Грессер понимал, что ночевки в снегу ему уже не по возрасту. В конце концов решили разбиться на две группы. Миклашевский, Любимов, Ильютович, Демидов и Твердоземов уходят за кордон и там готовят выручку тем, кто остается пока в скиту: Леману и Грессеру. Им оставили по револьверу.

В последнюю минуту, когда группа Миклашевского уже готова была тронуться в путь, лейтенант Демидов, поймав прощальный взгляд Николая Михайловича, снял мешок с провизией, отдал его Твердоземову:

— Господа, я остаюсь. Должен же кто-то охранять командира. Возражать ему никто не стал. Старец благословил лыжников.

Так они и остались втроем — Леман, Грессер и Демидов, не считая игумена.

На следующее утро отец Феофилакт вынес им охапку старых подрясников и прочего монашеского платья:

— Облачайтесь! Неровен час, нагрянут ваши недруги... За братию сойдете. Ишь как бородами обросли.

Посоветовавшись, офицеры спрятали шинели, кители и кортики на чердаке баньки и переоделись в черное.

— Вы хоть крещенные? — спросил игумен.

— Православные, — ответил за всех Грессер, зная, что обрусевший Леман такой же немец, как и он — швед. Во всяком случае, в училищном храме Павла Исповедника на молебнах всегда стояли рядом.

Март двадцатого года выдался в здешних местах лютый. На третий день после ухода группы Миклашевского запуржило. С неделю почти безвылазно сидели в кельях, выбираясь ненадолго разве что за водой да дровами. Отсыпались за все бессонные ночи вахт, дежурств и тревог. Ходили с игуменом в часовню и молились за ушедших в безвестие путников, за тех, кто еще бился на белых фронтах и кораблях под Андреевским флагом, молились за свои заскорузлые души и поруганную Россию...

В келье брата Георгия Леман обнаружил краски, кисти и загрунтованные под будущие иконы доски. Неплохой рисовальщик, он скрашивал зимние вечера тем, что копировал образа. И заслужил похвалу отца Феофилакта:

— Вот ведь вас как Господь сподобил. Вам бы иконы писать, а не с оружием ходить...

Грессер убивал время за чтением Святого писания и Четьи Минеи — иных книг в скиту не было. Демидов сидел над дневником, описывая последний бой «Адмирала Непенина» и исход уцелевшей команды.

Так прожили они в скиту три месяца, и ушли в Финляндию в начале июня. Игумен Феофилакт одарил их на дорогу крестиками из карельской березы, освященными на Валааме. На память о семерых постояльцах остались у него семь икон, написанных Леманом: два Николы, Димитрий-воин, Георгий Победоносец и прочие святые, чьи имена носили его сотоварищи. Иконы, впрочем, неканонического письма. Но игумен Феофилакт хранил их в часовне до 1924 года, пока скит не закрыли и не разорили новые власти. До тридцатого года в избушках-кельях жилали охотники, промышлявшие лис и волка в тайге. Потом и они сгорели от забытого огня. Иконы же вместе с прочей нехитрой утварью разошлись по окрестным деревням...

Москва. Зима 1986 года

Леман, Леман... Впервые эту фамилию я услышал в Средиземном море, где наша подводная лодка вела слежение за американским ударным авианосцем «Нимиц». Новехонький корабль выходил на первое свое боевое патрулирование в Средиземноморье, и мы получили из Москвы шифровку, что проход «Нимица» к берегам Ливана

ождается как раз через позицию, нарезанную нашей «Б-409-й», и, по правилам большой военно-морской игры, мы должны были вовремя заметить авианосец, соблюдая при этом свою скрытность, а затем условно выпустить по суперкораблю ядерные торпеды. Посему в кают-компаниях то и дело склоняли имя американского адмирала, прославившегося во вторую мировую войну. Судачили о том, что его-де родной брат — контр-адмирал русского флота возглавлял после Колчака Черноморский флот, а потом и весь Красный при Ленине. И тут один из прикомандированных офицеров-штабистов заметил, что и у нынешнего военно-морского министра США Джорджа Лемана близкие родственники служили в Русском флоте, а один из них — полный тезка — Георгий (Джордж) Леман защищал Порт-Артур.

Тот давний праздный спор-разговор вдруг всплыл в памяти, когда я начал собирать материалы о судьбе морского бронепоезда «Адмирал Непенин» и на глаза случайно попала заметка из «Советской России» №200 за 1986 год. Речь в ней шла о крупных военно-морских маневрах НАТО под кодовым названием «Нозерн уэддинг-86» — «Северная свадьба», которые разворачивались близ берегов Норвежского и Балтийского морей. Поражало мистическое сплетение двух имен, принадлежавших четырем людям: морской министр Джордж Леман с американским обозревателем Джорджем Миклашевски (Георгием Миклашевским — в русской интерпретации) — и командир бронепоезда Леман с его штурманом Миклашевским, которые за 66 лет до «Нозерн уэддинга» едва не справили свадьбу со смертью в этом же самом скандинавском регионе.

Эта газетная вырезка, словно маленький магнитик, выудила из памяти почти забытый эпизод студенческой жизни. Зимой 1966 года мы, лыжники турклуба МГУ, шли по карельской тайге, проверяя свою выносливость перед более суровым походом по горной тундре Кольского полуострова, где-то за Медвежьей горой в пургу сбились с маршрута и из последних сил доползли до затерянной в лесах деревушки со странным, должно быть, финским, названием Лилимгумзь. Так что январскую стужу перемогали не в палатке, а в крестьянской избе, расстелив спальные мешки на широченных половицах близ русской печи.

Висели в горнице иконы. После только что прочитанных солоухинских «Черных досок» все мы были очень равнодушны к иконам и тут же азартно принялись оценивать хозяйскую божницу. Спорили о странной иконе — «Никола с корабликом». Святитель-чудотворец, вопреки канону, держал в руке не Божью книгу, а трехмачтовый кораблик. Вполне понятно, что ликописец напоминал этим корабликом о покровительстве Николая мореходам. Но наши знатоки с истфака уверяли своих оппонентов в том, что

кораблик приписан в более поздние времена, так как в семнадцатом веке монастырский богомаз не мог видеть трехмачтовых кораблей, а то, что икона древняя и относится именно к этому столетию, говорят и ковчег, и крокеллюры левкаса, и...

Хозяин избы, который долго прислушивался к мудреному спору и которого, видимо, насмерть сразили «крокеллюры левкаса», крикнул и молвил свое непросвещенное слово, что-де «Николу с корабликом» написал его отцу один моряк-постоялец, пехом шедший на запад с Онеги...

А теперь представьте коллаж: атомный авианосец «Нимиц» среди карельских валунов, белый бронепоезд, идущий сквозь скит, и две дуликие фигуры — русского штурмана Миклашевского вкупе с американским политологом и морского министра Лемана с его сиаемским братом, капитаном 2-го ранга Российского Императорского флота, сжимающего в руках икону «Никола с корабликом».

Петроград. Сумерки, вечер и ночь 25 октября 1917 года

Весь день глаза у Ирины Васильевны Грессер были на мокром месте. Прочитав записку, придавленную обручальным кольцом, наслушавшись Стешиных рассказов про то, как Николай Михайлович прятал в карман «левольверт», наконец, потеряв голову от собственных предположений и догадок — свежи были еще и кронштадские страхи — Ирина Васильевна, перед самым полдником опустила на полусобранные дорожные баулы.

— Саша, Сашенька, — беги за доктором, крикнула Надин, выискивая в аптечке флакон с нюхательной солью.

— Вы ей в лицо пырснете! — уговаривала Саша. — Вы ей водой пырсните, она отойдет.

— Да, беги же ты за Марк Исаичем! — умоляла Надин, расшвыривая склянки. — Он дома сейчас. Пожалуйста.

— Нету их дома. — Упорствовала Саша. — У них свет в окнах не горит.

— Тогда вызови скорую карету!

— Не надо скорую, — слабо помахала рукой Ирина Васильевна.

— Наденька, голубчик, сбегай за папой на службу. Чует мое сердце — он там. Позови его... Скажи, чтобы оставил все свои фантазии и шел домой. Умоляю. Он послушает только тебя.

Надин накинула приготовленный в дорогу сак-манто с дождевой пелеринкой и бросилась к дверям.

— Ради Бога — будь осторожна, — крикнула в догонку мать, приподнимаясь с пухлого портплекда. — Возьми извозчика сколько бы не заломил. У тебя есть деньги?! — Есть! — донеслось уже с лестницы.

«Какой там, извозчик! — Думала Надин, стремясь по Английской набережной. — Тут до адмиралтейства — рукой подать...

От ветра с моросью сразу же развились и прилипли к вискам накрученные перед обедом пряди-спиральки.

С казенных пристаней, громоздившихся по левое плечо, — кричали ей что-то задиристо-ухарское подгулявшие матросы. Благо ветер сносил их крики, Надин слов не разбирала, держась подальше от парапета, полубежала навстречу золоченому шпицу.

В Адмиралтейство ее не впустили, матросы с красными повязками, перекрывшие парадный вход и без того взбудораженные, при виде барышни оживились еще больше.

— Вы, мамзель, лучше к нам на пароход приходите!.. А тут делать нечего... Закрыто заведение... Кто тут у вас, женишок что ль? Ах, папенька... Домой, домой идите!.. А то у нас тут женихи горячие... Без попа окрутят...

Надин отошла в садик к памятнику Пржевальскому и, глядя на мокро блестящие горбы бронзовых верблюдов — старых добрых знакомцев еще по детским прогулкам, — стала думать, как быть дальше.

— Господи, Надин! Что вы тут делаете? — Окликнул ее офицер в черном дождевике. — Да, вы меня забыли! Дитерихс Иван Иванович. Мы с вашим папенькой коллеги.

— А где он? Я за ним пришла. Там мама слегла...

Дитерихс стряхнул с козырька натекшие капли.

— Полагаю, что Николай Михайлович сейчас в Зимнем... Он искал Вердеревского, а он сейчас там, на заседании Правительства... Идемте, я вас провожу... Скорее всего он там... Мне к министру надо, и Николая Михайловича найдем... У нас тут ужас что творится. Адмиралтейство захватили. Еле выбрался...

Так под скороговорку своего провожатого Надин вышла к Дворцовой площади. С поленниц, сложенных перед Дворцом, густо веяло сырой берестой.

— Куда? — заступили им путь трое юнкеров в волглых тяжелых шинелях.

— К морскому министру на доклад. — Дитерихс показал адмиралтейский пропуск.

— А барышня? — Хмуρο осведомился портупей-юнкер.

— Дочь! — Коротко бросил офицер и ввел Надин в подъезд, оставив юнкеров гадать, чья именно она дочь — морского министра или кавторанга.

В подъезде их остановил еще один караул — из ударниц венского батальона. Надин только слышала о женщинах-солдатах, но видела их впервые и потому, пока Дитерихс объяснялся со стар-

шей, во все глаза разглядывала странных бойцов. Как не огрубляло, не кургузило их солдатское платье, все выдавало в них сестер по полу: и нежные щеки, и проколотые для серег уши, и пышные волосы, хоть и коротко стриженные, но так и не подмятые папачками... Она смотрела на них изумленно: «Как вы решились? Как можно? Женщина и винтовка? Женщина и погоны? Женщина и война?»

— Что, в пополнение нам? — кивнула ей на прощание начальница караула — рослая деваха с унтер-офицерскими лычками на измятых погонах.

Надин, стесняясь своего праздно-нарядного облачения, на фоне их суровых рубищ, не нашлась, что ответить, и пожала плечами так, как будто и в самом деле собиралась поступить в батальон да только не уверена — примут ли?

Она поспешила за Дитерихсом по лестнице, подальше от прочих расспросов и вскоре растворилась в общей суете дворцового муравейника. Она впервые попала в Зимний и хотя посещала балы в других столичных дворцах, была захвачена его великолепием. Впрочем, и Дитерихс бывал тут не часто — сбился, заблудился и стал просить какого-то прапорщика отвести их в Белый зал, где, как выяснилось по расспросам, находилось Правительство, а значит и контр-адмирал Вердеревский со своим морским окружением.

Краснощекий юнкер с красными же погонами стоял на посту перед бело-золотыми нарядными дверями.

— Простите, но туда нельзя, — вежливо, преградил он дорогу. — Идет заседание.

— Давно? — Спросил Дитерихс.

— Давно.

— И сколько еще продлится?

— Кто ж это знает? — Пожал плечами юнкер. — Простите, но мне нельзя с вами говорить. Я — на посту. Вы пройдите в покои — там на банкетках и ждите.

Ничего другого не оставалось...

А вокруг творилось великое мельтешение военных людей, умноженное зеркалами. Сновали по коридорам лощеные, в обтяжку юнкера, мешковатые стриженные ударницы, сбегали и взбегали по лестницам, не теряя выправки, придерживая шашки, офицеры. Все они мчались куда-то что-то выяснять, сообщать, требовать... Все они путались в мраморном лабиринте дворца. Все спешили с одной и той же маской горестной заботы на лице...

Ах, как странно было видеть букеты штыков, составленных в козлы винтовок под бронзовыми округлостями нимфы, или коробку с пулеметными лентами у мохнатых ног резного сатира,

поддерживающего затейливую столешницу; солдатские тюфяки под драгоценными гобеленами... Это нелепое смешение дворцового искусства и неказистого быта, суеты и вечности наполняло душу тоскливым ожиданием вплотную надвинувшегося конца света. И еще страшно дуло, потому что некоторые окна были распахнуты и по коридорам плохо топленного дворца гуляли сквозняки. Надин поплотнее запахла пальто.

— Мерзнете? — не укрылось от Дитерихса. — Хорошо бы чего-нибудь горяченького выпить... Эй, голубушка, — окликнул он ударницу с медным чайником. Нет ли у вас тут где-нибудь буфета или что-то в этом роде?

— Какой сейчас буфет?! Чаю хотите — идемте со мной... Воду, черти отключили! Вот еле набрать успела.

Дитерихс взял у художавой девицы в солдатских обмотках тяжелый чайник, и они пошли втроем.

В Портретной галерее строился взвод женского батальона.

— Смирно! Глаза направо! — зычно командовала высокая блондинка в офицерских ремнях.

Герои Отечественной войны изумленно взирали из своих рам на небывалое воинство. Казалось, что и они вот-вот начнут отпускать гусарские шуточки... Лихие уланы и драгуны, молодые полковники и генералы выглядывали из-за женских спин, обтянутых солдатскими рубашками, будто стояли в третьей шеренге, будто и некому было прикрыть их славные тени, кроме как этим отчаянным россиянкам.

Надин смотрела на них со смешанным чувством жалости, недоумения и неприятия. Все это походило на нелепую игру женщин в мужчин.

Все это было так же странно, или если бы мужчины переоделись вдруг в платья сестры милосердия и стали бы носиться с суднами, корпией, бельевыми корзинами...

Наконец, они спустились в первый этаж и там в какой-то низко-сводчатой длинной зале, где расположилась на постой одна из рот батальона смерти, нашли себе место на железных койках, сдвинутых поближе к огненному зеву камина. В камине пылали принесенные с площади березовые плахи. Прямо на них, прикрываясь фуражкой от жара, Дитерихс и водрузил чайник с водой.

— Давайте знакомиться пока чай не вскипел. — Предложила ударница. — Я Таня Синицына родом из Опочек. Смешно, правда? Как будто синица почки клюет.

Все улынулись.

— А что означает эта полоска? — показала Надин на узенькую красную нашивку над манжетой Таниной гимнастерки.

— Нашивка за ранение. — Пояснил Дитерихс. — И куда же вас, голубушка, угораздило? — Спросил он, не чувствуя бестактности вопроса. Однако Таня ничуть не стусивалась:

— Газы. Хлора под Барановичами наглоталась... Говорят, вертушки легких сожжены. Теперь вот покашливаю, как чахоточная... Ой, чай кипит.

Разлили дегтярный настой. Надин грела озябшие пальцы о железные бока кружки, закутав ее в носовой платок. Стало вдруг хорошо и уютно — от ароматного парка над кружкой, от запаха горячей бересты, от красных отблесков камина на не затоптанном еще паркете. А за спиной кто-то вздыхал.

— Эх, к этому бы чаю да корзиночки с заварным кремом... Помните в кондитерской «Конрада» к кофе подавали?

— Я бы от миндальных трубочек не отказалась.

— А какие птифуры были в «Вене» на Малой Морской!..

— Хватит, девочки, а то я расскажу про маковки на меду, которые моя мама делает!

Вдруг погасли все лампы разом.

— Ого. Это уже второй раз... Теперь, кажется, всерьез и надолго.

— Неужели на приступ пойдут?!

— У кого свечи? Зажгите свечи!

— Не надо! От камина света довольно. Дитерихс поднялся:

— Пойду, выясню в чем дело. Ждите меня здесь, Надин. Заодно узнаю, не кончилось ли заседание.

В камине бабахнуло сырое полено — разлетелись искры с угольками. Ударницы взвизгнули, засмеялись.

— Ну, вот, — покачала Таня головой, — а если «Аврора» пальнет...

— Вы думаете до этого дело дойдет? — обеспокоилась Надин. — Мне кажется моряки ни за что не станут стрелять. Папа говорил, что...

— Господи, какая у вас коса красивая! — Вздохнула Таня, проведя по своим стриженным кудрям. — Можно потрогать. А я свою срезала, когда Виктора убило. Он в Карпатах погиб. Подпоручик полевой артиллерии... Пейте чай. Остынет.

— Там столько пьяных... — кивнула Надин в сторону площади. — Мы еле прошли... А вы покажете как стрелять?

— Покажу. Дело нехитрое. — Усмехнулась Таня. — Нам бы только до утра продержаться... Только до утра! А там подойдут войска и разгонят эту шваль. Уже высланы нарочные... Там знают... Генерал Алексеев их приведет. Этот потверже Корнилова будет...

С широкого подоконника мрачно откликнулась немолодая пулеметчица:

— Генерал Алексеев арестован своими писарями. И даже погоны содрали.

— С-сволочи...

Вбежал взъерошенный юнкер:

— Господа, замечательная новость! Только что телефонировали... К нам движется народное шествие во главе с отцами города и духовенством. Они сломают блокаду.

— Ура! Да здравствует Россия!

— Господи, да свершится воля твоя!..

— Это будет поразительно красиво!

Надин подседа поближе к Синицыной и восторженно зашептала:

— Как это похоже на оборону белогорской крепости! Пушкин будто предвидел... Он все зашифровал. Белогорск — это Зимний... Понимаете, там все зимой происходит... И тот же ужас отчаяния и та же надежда отбить супостата.

— Похоже, похоже... — вздохнула Таня, — только Швабриных у нас тут слишком много...

В углу на три голоса тихо затанули:

И-извела-а меня кручина,
По-одколо-одная змея...

Таня негромко подхватила, глядя в пляшущее пламя.

Догорай, гори моя лучина.
Догорю с тобой и я...

Песню оборвал истошный крик:

— Вторая рота — в ружье!

Таня схватила винтовку и метнулась к окну.

— Стань здесь, — крикнула она растерявшейся Надин. — В угол, в угол... Туда не попадут.

Вдруг с мелким звоном разлетелось стекло в полукруглом окне и фукнуло пламя в камине от ветра, плеснувшего в зал. Надин вжалась в свой угол. Тени ударниц — большие, ломаные — плясали по стенам... С грохотом рухнула картина в массивном багете. Вспорхнула каменная пыль... Тут только до нее дошло, что это пули клюют стену, и ей стадо страшно, но не за себя и не за Таню, а за мраморную амазонку на палисандровой подставке, за напольную китайскую вазу, за полотно с «Чесменским боем...» Все это могло быть в любой миг расколото, разбито, продырявлено...

— Не стрелять без команды! — крикнул высокий женский голос. — Подпускать поближе!

— Да они с верхних этажей валят! — Истошно заорали с лестницы. — С чердака идут. Потолок проломили!

— Первый взвод — к бою! За мной!

Ударницы бросились от окон к выходу.

«Господи, а как же папа?» — ужаснулась Надин и побежала за бойчихами. Но в дверях ее отшвырнули: спиной вперед влетела Синицына, она так и поехала на спине по паркету — винтовка в одну сторону, папаха — в другую. Вслед за ней сильные руки выпихнули еще кого-то, и в зал с матюгами ввалились разъяренные бородатые солдаты. Надин едва успела проشمыгнуть за портьеру.

Вспыхнул свет — будто нарочно, будто в помощь нападавшим... Свет был беспощаден, как и озверевшие мужики. Он выдавал всех, кто хотел укрыться, затаиться, спастись...

Рыжий детина не дал Тане подняться — придавил ее к полу.

— У, стервозина... Я те покажу, как с винтом баловать... Васька, ноги ей держи... Вяжи, вяжи... Обмотки распусти.

Васька, мозглявый парнишка с приказчицкими усиками, обмоточными лентами привязал танины ноги — одну к львиной лапе напольного канделябра, другую — к каминной решетке.

— Вы не смеете! У меня муж офицер... Он в Карпатах погиб... Господи! Мамочка!!! Что вы де... А-а-а!

Яростный крик звериного отчаяния... Крик стыда, боли и ужаса задохнулся под чьей-то безжалостной ладонью.

И рычащие стоны самца в безумстве похоти...

И заросшие черным волосом тощие ягодицы сновали в машинном ритме меж разваленных колен.

— Вреж ей! Вреж! Вреж! Так! Так! — распаленно выдыхал в такт его толчкам тот, кто держал заломленные над головой руки.

— Кончил что ль? — Тербил насильника матрос в бескозырке со траусиным пером. — Слазь давай... Будя... Другим оставь... Другие тоже хотят...

— Эй, флотский, в очередь!

— Вон, зырь, кака цитра! Моя будет!

Надин с ужасом увидела, что матрос с раскорябанной щекой тычет пальцем в ее сторону. Запоздалый страх ударил в ноги, и она бросилась в распахнутые двери.

За ней бежали.

Она летела.

Коридор был пуст.

Погоня отставала.

На повороте в угловом зеркале отразился только матрос.

Куда дальше?

Вот дверь. Лестница. Коридор. Зал. Анфилада комнат.

Боже, мертвец на полу! Лицом в красную лужицу.

В сторону! Сюда. Здесь тоже дверь.

Гонится?

Догоняет.

Она бежала до кровавого надрыва в легких.

Толкнула последнюю на пути дверь — полукруглую, в арабесках и без сил ввалилась в высокую мраморную комнату всю в восточных орнаментах, арабских арках, зеркалах в мавританских оправках. Откуда ей было знать, что это ванная императрицы? Она успела только понять, что отсюда выхода нет, а дверь с витражным верхом не запереть, не удержать... Господи, спаси!..

Она бросила молящий взгляд вверх и увидела звезды, густо нарисованные на широком — во весь потолок — овальном синем плафоне. Из огромной в двенадцать лучей звезды спускалась цепь магометанской люстры...

Он ударился в дверь с разбега, и Надин отлетела на ковер перед овальной мраморной ванной, которая померещилась ей в эту секунду белым саркофагом. Бронзовый маскарон Нептуна, из распахнутого рта которого долженствовала литься вода в ванну, ухмылялся злорадно и похотливо. Но два дельфина по бокам его внушали надежду на спасение.

— Ну, ты здорова, девка, бегать! — Отрывисто продышал сивухой и луком матрос; пышное перо воткнутое за ленту бескозырки придавало ему маскарадный, клоунский вид. Надин смотрела на него с надеждой, что все это балаганная шутка, буфф, что все обойдется, кончится смехом...

— Надо ж, прямо в баню угодили! — радостно удивился матрос и, разопревший от бега, скинул бушлат, а на него — бескозырку с пером. — Давай раздеваться! Я те спинку потру.

Надин вцепилась ему зубами в жилистое запястье.

— Ы-а, стерва! — Взревел насильник и с размаху ткнул ее головой о мраморный край. В этом и случилось спасение. Отлетевшая под нарисованные звезды душа Надин не узнала позора насилия. Пьяному самцу досталось лишь ее бездыханное тело...

...Утолив в себе зверя, матрос бросил тело в ванну, и Надин распласталась в ней, точно в мраморном саркофаге.

Он открыл зачем-то краны. — Нептун всхлипнул и выпустил холодную струюку. Воду в Зимнем перекрыли с полудня...

В парижском журнале, бывших русских офицеров «Военная быль», мне удалось отыскать воспоминания полковника Отто фон Прюссинга, начальника Школы прапорщиков Северного фронта о защите Зимнего дворца. 25 октября 1917 года он оборонял со своими юнкерами осажденный дворец.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. Нападавшие, которые оказались пьяной толпой, покинули дворец и мы несколько, вздохнули. Где-то нашелся ящик со свечами, и я стал обходить наши баррикады. Что представилось нашим глазам при тусклом свете мерцающих свечей, трудно описать. Пьяная ватага, почуяв женщин за баррикадами, старалась вытаскивать их на свою сторону. Юнкера их защищали. Большинство ударниц все же попали в лапы разъярившихся бандитов. Всего, что они с ними сотворили, — я описать не могу — бумага не выдержит. Большинство были раздеты, изнасилованы, и, при посредстве воткнутого в них штыков, посажены вертикально на баррикады. Обходя весь наш внутренний фронт, мы наткнулись в коридоре, у входа в Георгиевский зал на жуткую кучу: при свете огарков, мы увидели человеческую ногу, привязанную к стенному канделябру, груды внутренностей, вывалившаяся из живота, из-под которого вытягивалась другая нога, прижатая мертвым телом солдата; по другую сторону, вытянулся красногвардеец, держа в зубах мертвой хваткой, левую руку жертвы, а в руках оборванную юбку. Голову жертвы покрывала нога матроса, который лежал поверх. Чтобы разглядеть лицо женщины, нам пришлось оттянуть труп матроса, но это было нелегко, так как она, в борьбе, зубами вцепилась в ногу матроса, а правой рукой вогнала кинжал ему в сердце. Все четверо уже окоченели. Оттащив матроса, мы узнали командиршу ударниц.

Брат Федора Раскольников Александр Ильин-Женевский, будучи красным комиссаром в октябрьские дни, безапелляционно утверждал: «Буржуазная печать впоследствии писала, что пленные ударницы подверглись всякого рода истязанием, а часть их была изнасилована. Все это, конечно, совершеннейший вздор».

Антонов-Овсеенко: «В Питере наши потери при захвате Зимнего были невелики. Пять матросов и один солдат убиты, много легко раненных; на стороне защитников правительства никто сколь-нибудь серьезно не пострадал».

Из авторских приложений Джона Рида к своей книге «10 дней, которые потрясли мир»:

«...Член комиссии — д-р Мандельбаум сухо засвидетельствовал, что из окон Зимнего дворца не было выброшено ни одной женщины, что изнасилованы были трое и что самоубийством покончила одна...»

Лариса Рейснер: «Толпа искала Керенского — и нашла на своем пути фарфор, бронзу, картины, статуи и все это разбила. Если заяц бежит от охотников в хрустальный магазин, он ведет за собой свору, которая придет по его следам и все перебьет. Тут ничего неожиданного нет».

Из призывов ЦК и Военной комиссии партии социалистов-революционеров: «...Грабежи и насилия, сопровождавшие взятие Зимнего дворца, еще более раздражают значительную часть матросов и солдат. Центрофлот призывает к неповиновению большевикам».

Даже у самих большевистских лидеров — даже в самых наиотредактированнейших юбилейных изданиях прорывались намеки на замолченное злодейство.

Первый комиссар Зимнего дворца Григорий Чудновский: ...Раз они (ударницы. — *Н.Ч.*) не сдаются, значит, сами желают кровопролития, и будет же им жарко! Матросы давно говорят, что устроят им всем жаркую баню, а весь бабий батальон отвезут в Кронштадт на усиление гарнизона: «Там мол, они нам послужат до победного конца...»

Его соратник, член полевого штаба Военно-революционного комитета по захвату Зимнего Константин Еремеев вспоминал: «Когда я вышел на площадь и подошел к воротам, они уже были открыты, и толпа женщин в солдатских фуражках, гимнастерках и штанах высыпала на площадь». Тут скопилось много моряков и солдат. Шел разговор и даже спор: отпустить или отвести куда-нибудь, и, кажется, матросы хотели их конвоировать в казармы 2-го Балтийского экипажа, считая своей военной добычей. Но павловцы настаивали, что они отведут их туда же, куда отвели юнкеров...

Женщин-солдат окружили и повели.

— Пошли-поехали! Павловские невесты! — кричали вслед ударницам матросы.

— Сегодня павловцы жениться будут. Павловцы, зовите на крестины. Невесты, веселей, с песней!

Поручик Александр Синегуб, один из организаторов обороны Зимнего дворца:

«...Теперь пулеметы стучали громче. Местами щелкали винтовки...

— Расстреливают. — Прервал молчание солдат.

— Кого? — Справился я.

— Ударниц! — И помолчав, добавил: — Ну и бабы, бедовые. Одна полроты выдержала. Ребята и натешились! Она у нас. А вот, что отказывается, или больна которая, ту сволочь сейчас к стенке».

Семьдесят лет и три года маршировали мимо стен Зимнего колонны демонстрантов. Семьдесят лет и три года мимо дворцовых окон проходили люди, не ведая, не задумываясь, не желая знать, какую победу заставляли их праздновать 7 ноября по новому стилю, 25 октября — по старому.

Три четверти века в умах и душах поколений жил партийный миф, возведенный в ранг государственного праздника, о героической штурме «петроградской Бастилии». И только за девять лет до окончания столетия «великой ломки» кто-то догадался принести на Дворцовую площадь траурные Знамена.

И в тишине, не затоптанной маршем колонн, не взорванной криками здравниц и громом оркестров, донеслись вдруг стенания поруганных женщин, вставших, как встарь, на пути обезумевших орд.

ПАССАЖИР ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Станция «Ерофей Павлович». 20 февраля 1941 года

...Труп пассажира, умершего в мягком вагоне поезда Владивосток—Москва, снесли на носилках в пустую камеру линейного отдела НКВД и оставили там до утра, когда до станции «Ерофей Павлович», названной так в честь землепроходца Хабарова, должна была добраться единственная в пристанционном городке карета «скорой помощи». Документы покойного и его багаж, состоявший из одного старомодного выюк-конверта, обшитого по краинам брезента кожей, отнесли в кабинет начальника линейного отделения, и тот, полистав мало что сообщивший ему паспорт — Грессер Николай Михайлович, русский, 1880 года рождения Санкт-Петербургской губернии, прописанного в Ленинграде, вдовца — открыл медный замочек выюк-конверта таким же медным ключиком, найденном на шее мертвеца вместе с серебряным нательным крестиком, украшенным старославянской надписью: «Спаси и Сохрани!».

Щелкнул замочек, и пожилой лейтенант НКВД открыл дорожную сумку. Первое, к чему потянулась его рука, был увесистый замшевый футлярчик из-под театрального бинокля. Расстегнув кнопку, он извлек изящный дамский револьверчик, который будучи еще меньшим, чем карманный «бульдог», именовался в до-революционные времена «щенком» или «паппи», о чем лейтенант в силу рабоче-крестьянского происхождения не знал. Но он очень взволновался, обнаружив, что в снаряженном барабане револьверчика отсутствовали два патрона. Эта находка возбудила особый интерес начальника ЛОМа к остальным вещам во выюк-конверте. Отложив в сторону сверток мужского белья — кальсоны, рубашка, носки, полотенце, — он извлек из-под него толстую тетрадь в черной клеенчатой обложке с аккуратно надписанной этикеткой «Ослепление подводных лодок», и вторую — потоньше, без этикетки. Пролистав первую тетрадь, лейтенант понял, что это

научный труд и речь в нем идет о каких-то новых способах борьбы с подводными лодками. Там были непонятные расчеты, формулы, схемы. Зато другая — без этикетки — была совершенно понятной: что-то вроде дневника. Между страниц были вклеены использованные железнодорожные билеты «Москва—Владивосток» и обратно. Их было много — более полусотни. Если верить пробитым на них датам, этот странный старик последние три года только и делал, что ездил из Москвы во Владивосток и, проделав немалый двухнедельный маршрут, почти тут же возвращался обратно! Выходило так, что в вагонах курьерского поезда он провел без малого три года!

Револьвер, секретный трактат о подводных лодках и эти странные челночные рейсы — все наводило на мысль, что на глухой сибирской станции нашел свой последний приют матерый агент японского — какого же еще, если Владивосток? — империализма.

Лейтенант НКВД вытер взмокший лоб и снял телефонную трубку...

Петроград-Ленинград. 1922—1938 годы

Капитан 2-го ранга Николай Михайлович Грессер объявился в Петрограде в конце 1922 года со справкой о демобилизации из РККФ и прочими удостоверительными советскими документами, приобретенными за массивное обручальное кольцо червонного золота, которое когда-то в гарнизонном храме Порт-Артура надела ему на безымянный палец незабвенная Ирен.

Он рискнул позвонить в свою квартиру, где не был ровно пять лет — с того дня, как ушел готовить торпедный залп по «Авроре». Дверь открыла Стеша и это было единственное, что напоминало прежнюю жизнь. В шестикомнатной квартире, перенаселенной после многочисленных уплотнений, жили теперь пять семейств, не считая самой Стешы. Гостиную занимал лудильщик-татарин с женой-прачкой и кучей ребятишек. В спальне обитала подозрительная парочка — нерасписанная, как сообщила Стеша, — явно злоупотребляющая кокаином и добывающая зелье вместе с хлебом насущным в каком-то ультрасовременном пролетарском театре. Столовая отошла чете совслужащих банка. В комнате Надин квартировала телефонная барышня чахоточного вида. В покоях Ирен хозяйничала решительная революционная дама в кожанке и в кожаной же юбке — секретарь какого-то флотского трибунала. Вместе с ней жила и ее мамаша — черноусая старуха-еврейка, разбитая болезнью Паркинсона. Стеша же на правах старожилки, а также представительницы угнетенного класса бывшей прислуги и председателя квартирному совету, выбрала себе кабинет Нико-

лая Михайловича с видом на Неву и Васильевский остров, а главное очень удобной буржуйкой, чья жестяная труба выходила не в окно, как в остальных комнатах, а в каминный дымоход, для чего и была водружена посреди старинного очага с еще не выломанным бронзовым убранством. На тех же правах предкварсовета она заставила жильцов разобрать свою рухлядь из бывшей прикухонной каморки, и поселила туда «ветерана Красного Флота» — как было объявлено для всех — Николая Михайловича Грессера.

Как и пять лет назад — все тем же маршрутом по Английской, а ныне набережной Красного Флота, под шпиз Адмиралтейства — Грессер снова стал ходить на службу. Правда, на сей раз куда как скромную — в типографию Морского ведомства и «Морского сборника». Должность его называлась — линейный корректор. В шутку Грессер называл себя «линкором». Порой так и представлялся: — Линкор Грессер, если угодно!..

Впрочем, особенно представляться было некому. Новых знакомств бывший кавторанг не заводил, а старых — войны, голод и ВЧК резко поубавили.

Типографией заведовал выдвиженец из участников штурма Зимнего — бывший экипажный фельдшер с непереносимой для корректорского уха и глаза фамилией Авсяников, человек столь же безграмотный в типографском деле, сколь и его фамилия, однако напористый и сверх всякой меры революционно бдительный. С ним у Николая Михайловича сразу же не заладилось. И дело даже не в том, что Авсяников отстаивал новое — советское — написание стариннейшего мореходного инструмента, которого-то и в руках не держал — «секстант», когда любой уважающий себя моряк напишет и скажет — «секстан». Авсяников сразу же «классовым чутьем» почуял в подначальном ему сотруднике «белую контру». Ну, разве станет сочувствующий делу освобождения мирового пролетариата человек приходить на советскую службу в старорежимном офицерском кителе даром что без погон? Разве станет он подчеркивать свое эксплуататорское прошлое пробормотом, расчесанным на дореволюционный манер? Разве станет он избегать пролетарского слова «товарищ», и обращаться к сотрудникам по корректорской не иначе, как «коллега», а к женщинам — «друг любезный» или «сударыня»?

Грессер пережил обе чистки — в 24-м и 28-м. Правда, оба раза, видимо, не без содействия завтипографией, арестовывался и месяца по три отсиживал на Шпалерной. Причем, очередной отпуск Авсяников засчитывал в срок проверочной отсидки. В остальном жизнь ему омрачали только три вещи: застарелое — с подводниц-

ких времен еще — люмбаго, мизерное жалованье «линкора» да еще то, что кавалеры телефонной барышни в поисках туалета всегда набредали на его дверь, распахивали, изумленно матюгались, что надо было понимать как своего рода извинения, и исчезали в коридорном полумраке. Пришлось завести крючок и запирается изнутри, что было весьма противно его натуре: жизнь взаперти так напоминала его камерные отсидки.

Столовался Николай Михайлович довольно дешево и безвкусно — по обеденному билету, выданному ему, как малооплачиваемому служащему, профсоюзом печатников. Единственное роскошество, которое он мог позволить себе в день зарплаты, — это покупка стограммового пакетика кофейных зерен в бывшем Елисеевском магазине на Невском. Всякий раз по такому случаю, он накрывал столик в своей каморке белой салфеткой с вышивными монограммами Ирен, ставил китайскую фарфоровую чашечку, милостиво выданную ему Стешей из его любимого сервиза с драконами (подарок боевого друга по Порт-Артуру — адмирала Непенина), а потом усаживался с ручной мельницей и не спеша молот поджаренные пахучие зерна. Созерцать, как они прыгают, мечутся, мельтешат перед тем, как попасть под стальной жернов-винт было весьма успокоительно для души, ибо на ум сразу же приходило грустное философическое сравнение этих зерен — лошенок, пузатеньких, маслянистых, мчащихся по гибельному для них в конце концов кругу — с тщетой человеческой суеты, взлетов, провалов, интриг, побед, а в итоге — праха, подобному тому, что скапливался в ящичке кофемолки.

Потом он горделиво шел на кухню, распространяя вокруг себя божественный аромат свежемолотого «мокко», столь крепкий, что подавлял на время керосиновую вонь примусов, ставил старый кофейничек с оббитой эмалью на свою керосинку, поджигал фитиль и долго — пока не зашумит вода — предвкушал скорое блаженство.

Кофейная церемония устраивалась обычно в первое после зарплаты воскресенье. Закрывшись на крючок, Николай Михайлович облачался в белый флотский китель (спасибо Стеше — сохранила), садился за столик, накрытый на кают-компанийский манер, даром что без вестовых, раскрывал новый номер «Морского сборника» или выпрошенный в редакционной библиотеке экземпляр американского военно-морского журнала «Proceeding», и, не спеша, смакуя каждый глоточек, попивал «горячий, крепкий и сладкий, как поцелуй мулатки», кофе. Потом, сменив белый китель на синий, он производил малую приборку и усаживался за главный труд жизни — тактическое пособие для командиров —

«Ослепление подводных лодок». Несколько глав из будущей книги он прочитал в Военно-морской академии как лекции по новым методам противолодочной борьбы, и, хотя успех у слушателей был несомненный (в качестве гонора Грессеру была выдана пара хромовых комсоставовских ботинок), тем не менее штатного места ему в академии не нашлось. И к счастью, потому что очень скоро «академиков» начали сажать. Кажется, именно тогда Николаю Михайловичу снова стали сниться кронштадтские сны: стук в дверь, расхристанные матросы на лестничной площадке, беспощадный прищур рябого минера — «ща мы тебя вылечим!» И тот бег, прыжки, метанья загнанного зверя — в любую дверь, потом — спасительный рывок в незапертое окно — на крышу сарая — чайкой, бег по льду Финского мимо фортов, бег в подворотнях на Малой Подъяческой, бег на лыжах под Медвежьей Горой...

Странное дело, ему никогда не снились минные катера японцев, шедшие один за другим на «Сторожевой», прикрывший своим бортом безходный линкор «Севастополь» в бухте Белого Волка. И тот страшный взрыв, разворотивший миноносцу бак вместе со всеми, кто вел огонь из бакового орудия. Ему никогда не снились германские эсминцы, мчавшиеся на таран всплывшей «Тигрицы». Но стук в дверь, услышанный однажды сквозь сон, заставлял его обливаться холодным потом.

Он с ледяным спокойствием пережил первый арест и «Крес-ты» в октябре семнадцатого. Не дрогнул и тогда, когда его увели из корректорской на Шпалерную в 27-м. Следователя-чекиста интересовало, где находился и чем занимался военмор Грессер с 17-го по 19-й годы, прежде чем попал, согласно справке, выданной строевым отделом Онежской флотилии, на Красный флот. Николай Михайлович заявил, что после смерти жены и гибели дочери, ушел из мира в монастырь, в Свято-Никольский скит к игумну Феофилакту искать душевного утешения. И это было почти правдой, если не считать его службы на бронепоезде «Адмирал Непенин». Проверка «монастырской версии» заняла почти три месяца. Из Петрозаводского ГубЧека пришло информационное письмо, подтверждавшее наличие такого скита, возглавляемого игуменом Феофилактом, но после смерти последнего и закрытия скита, не представлялось возможным уточнить имена и фамилии всех его насельников. Эта полуопределенность и спасла Грессера от репрессий. Однако всему есть предел, и он твердо знал, что третьего ареста его сердце не выдержит.

Мысль о том, чтобы уйти прежде чем, постучат или войдут в дверь без стука, отметалась им по двум соображениям: во-первых, под рукой не было нагана, а травиться, как затяжелевшая

институтка, или вешаться, как проворовавшийся конторщик ему, офицеру императорского флота, никак не пристало, а во-вторых, на память в минуты мрачных размышлений всегда приходило поучение карельского старца о том, что Христос сам нес свой крест на Голгофу, негоже и нам сбегать от испытаний, сколь ужасны бы они ни были для духа и плоти. «Господь, самоубийцу не приветит».

«А если офицер стреляется в бою, чтобы не попасть в руки врагу?» — спрашивал старца Грессер. «И тогда не можно» — твердо отвечал игумен. — «Пусть враг тебя поразит. А сам себя — не смей. Слабодушие сие есть».

Перед Пасхой 37-го года, Стеша, убирая комнату к первомайским праздникам, попросила Николая Михайловича забрать ненужный ей киот с иконой Казанской Божьей Матери. Когда-то этой иконой его с рабой Божьей Ириной благословили на счастливое супружество...

Грессер осторожно принял из Стешиных рук реликвию и перенес ее в свои пределы. Вешая икону на стену, он вдруг услышал, как внутри киота что-то глухо стукнуло. Попытка открыть палисандровый резной футляр не удалась — нужен был ключик для внутреннего замочка, хитро сработанного старыми мастерами из морской бронзы. Ключик всегда хранился у Ирен в особой связочке вместе с ключами от шкатулки с драгоценностями, картоньера с личным архивом и аптечным шкафчиком. После того, как в роковую октябрьскую ночь Ирен скончалась от разрыва сердца, и связочка ключей, и шкатулка с драгоценностями, и картоньер с его порт-артурскими письмами — все исчезло. Николай Михайлович грешил на родственников жены, которые взяли на себя похоронные хлопоты, пока его держали в «Крестах». Но как открылось теперь, сестер Ирен винить было не в чем. Выставив аккуратно стекло, Грессер обнаружил за иконой замшевый футляр из-под театрального бинокля, а в нем — миниатюрный револьверчик «щенок»¹, дамская разновидность «Бульдога», подаренный Ирен на Рождество — 1917-го года. Под револьверчиком же блеснула россыпь золотых вещей: перстень-печатка деда Ирины по материнской линии капитан-лейтенанта Тыркова, оборонявшего Севастополь, бабушкин еще медальон с детским локоном Надин и прядка Вадима, обручальное кольцо отца, погибшего под Рушуком на Дунае в Освободительный поход, его же золотые наградные часы на стружчатой цепочке — от императора Александра II, Иринины «бриолезы» — серьги-подвески с брил-

¹ «Щенок» — бельгийский 7-зарядный револьвер «Пеппи-Линкольн».

лиантиками, подаренные ей свекровью на рождение первенца, кольцо с изумрудом-кабошоном¹ — это его подарок в день свадьбы, старинный брелок в виде штаб-офицерского эполета с первоалександровским еще вензелем, преподнесенный прадеду по матери полковнику Ратькову от офицеров полка в годовщину Бородинского сражения... Весь этот фамильный реликварий, надо было полагать, Ирен упрятала под охрану Божьей Матери, получив его записку о срочном отъезде из дома в день покушения на «Аврору».

Больше всего он обрадовался «щенку». Все семь патрончиков тускло поблескивали из барабанчика тупыми пулями, обещая смертоносную дозу свинца — наверняка.

Драгоценности Николай Михайлович уложил в замшевый футляр и спрятал в киоте, а револьверчик засунул в кожаный очешник. С ним он и отправился наутро в корректорскую, ощущая в левом кармане брюк бодрящую тяжесть оружия. Весь день он строил планы вокруг счастливой находки.

Арест не казался теперь таким безысходным. В любом случае он успевал поднести руку к виску... «Из дамской игрушки? Фи, господин, кавторанг!» — останавливал себя Николай Михайлович. «Пусть враг тебя поразит».

Пусть... Это тоже выход. Надо только стрелять первым. Тогда отрикошетят, будьте благонадежны. И стрелять, конечно же, надо мимо... Ведь свои же придут брать, русские люди. Не ведают, что творят. Не своей волей посланы... Нет, нет — ни в кого он стрелять не будет. Баста! Одного лейтенанта Акинфьева до конца дней не замолить. Стрелять только на провокацию, только ради ответных выстрелов.

От этого решения на душе стало легко и ясно, как бывает в солнечный день январской стужи.

Весь май прошел в ожидании ареста, в ежеутреннем и ежевечернем прощании с жизнью. Право, и в пятьдесят пять грессеровских лет встречать каждый день как последний было опустошающе тяжело. Тем паче, что майские дни переходили в ночи цвета белой сирени, а уж сирень в ту весну буйствовала по всему Ленинграду — от Марсова поля до самой Стрельни.

Однажды на Караванной он остановился у витрины торгсина. Мужской перст на указателе «Скупка золота» повелевал открыть тяжелую, оббитую бронзой дверь под навесом ажурно-чугунного козырька. Но человек в белом флотском кителе без погон и нашивок так и не подчинился персту указующему — прошел мимо. За

¹ Кабошон — камень, отшлифованный только с одной стороны.

все это время после находки семейного клада, мысль о золоте возникла только однажды и то весьма отстраненно: де от судьбы не откупиться никакими сокровищами. Да и торговаться с ним никто не будет. Придут и возьмут. Да еще в вину поставят, что не сдал добровольно. Отдать Стеше? А может, Божья Матерь и в самом деле сохранит замшевый футляр под своим покровом? Но для кого?

В Михайловском саду меж фонтанных струй носились в поисках прохлады ласточки. Он брел наугад, прощаясь с городом, давшим ему жизнь и теперь грозящим отнять ее. Нет, конечно же, не Питер собирался отнять ее. Это — о н и, захватившие Зимний и Смольный, Петропавловку и Адмиралтейство, о н и придут за ним, чтобы принести еще одну кровавую жертву своим красным богам. Город же просто не в силах спасти его, прикрыть, защитить... Но ведь спасал же, прятал в своих дворах и домах.

Грессер перешел через Троицкий мост, хотя ему казалось, что он бежит, как обезумевший Евгений от Медного Всадника... Который год, который день слышал он за своей спиной топот Железного Всадника в островерхом буденновском шлеме.

Сзади и в самом деле топали. Он обернулся: двое красноармейцев с малиновыми петлицами громыхали сапожищами ему в след. Рука нащупала «шенок» в кармане кителя и тут же разжалась. Оба бойца сосредоточенно поглощали мороженое, зажатое меж вафельных кружков. Оба свернули с моста на Петровскую набережную.

Грессер промокнул платком охолодевший лоб.

«Господи, Царю Небесный, укрепи дух мой и дай достойно встретить погибель», — прошептал он, поворотившись к крестам и куполам Иоанновского монастыря.

Грозная тень Медного Всадника поотстала, и тут он увидел Медный Ковчег. Слева в купинах сирени купоросно зеленел клепаный борт в виде креста с иллюминатором и две матросские фигуры возле кингстонного вентиля. «Стерегающий»! «Сторожевой»! Порт-Артур! Он и сам не знал, зачем сами собой привели ноги к этому памятнику. Но от медной картины обреченного тонущего корабля вдруг повеяло спасением. Он еще не знал, как и что, но уже родилось предчувствие — есть исход!

«Стерегающий»... Там, в Порт-Артуре, ему дважды довелось выходить на нем в море, подменяя не надолго заболевшего старшего офицера. Так что памятник был воздвигнут отчасти и в его честь, в честь Макарова и Эссена, Непенина и Колчака, Дудорова и Черкасского — всех порт-артурцев... И разве сейчас он не сам «Стерегающий», готовый открыть кингстоны, чтобы не попасть в руки неприятеля?!

Весь день не выходил из головы Порт-Артур... А ночью было ему видение, а может просто очень ясный сон из давней офицерской младости: возвращается он лейтенантом из японского плена, поезд тащится из Владивостока через немеряные сибирские пространства вторую неделю, а он блаженно спит себе на верхней полке и видит сон — сон во сне — видит все наперед, что будет: и «Тигрицу», и «Кронштадт», и «Аврору», и разбитый парящий бронепоезд, и рубленую часовенку на валуне, и даже завкорректорской товарища Авсяникова, который пришел в его прикухонную каморку как понятой вместе с чекистами, хитро подмигивает, кивая на киот, мол знаю, знаю, что там запрячено, оттягивает удовольствие раскрыть его последнюю тайну, а пока грозит пальцем и приговаривает: «Вам бы все по старой орфографии «секстан» писать. Уж больно вы, ваше высокоблагородие, к старорежимным буквам привержены. Ужо пропишем мы вам ижицу с фитой...»

В полночь загрохотала крюком входная дверь, и спавший на сундуке татарин-лудильщик впустил в прихожую трех военных в длинных шинелях. Звенья шпорами, цокая стальными набойками на каблуках, продефилировали они мимо грессеровской двери и обмершего за ней Николая Михайловича в ночной рубашке, и только затем выяснилось из радостных восклицаний Стеши и обрывков разговоров, долетевших в кухаркину комнату, что приехал с Дальнего Востока ее брат-пограничник с двумя товарищами и теперь все трое заночуют до завтрашнего поезда в Петрозаводск...

Сердце колыхнулось, словно льдина на воде. Держась за левую половину груди, Николай Михайлович добрал до кровати, но ложиться не стал — долго стоял с опущенной головой перед иконой...

Под утро все решилось — бежать! Бежать, пока не пришли. Хватит искушать судьбу, она и так послала ему немало предупреждений... Он собирался, как по экстренному вызову на корабль. Уложил в чемоданчик футляр с драгоценностями, накрыв его смежной белья, папку с рукописью недописанного труда «Ослепление подводных лодок», бритвенный прибор, складень-триптих, подарок старца Феофилакта, портмоне с фотокарточками Ирен, Вадима и Надин, жестянку с намототым кофе, томик карманного атласа, шерстяной набрюшник, игольницу с пуговицами и коробку дорожных шахмат тонкой японской работы. Затем облачился в пальто, перешитое из флотской шинели, и, присев на краешек стула, набросал Стеше: «Многоуважаемая Степанида Викентьевна! Завербовался в плавание на Черное море. Вернусь не скоро. Присмотрите, пожалуйста, за комнатой. Н.Г.» Записку оставил на ручке • Стешиной двери, за которой похрапывали бравые пограничники,

и, открыв по-ночному задвинутые засовы, легко и молодо сбежал по лестнице. Трамвай еще не ходили, и Грессер тем же путем, каким однажды уже пробирался в Графский переулок, носивший теперь имя Марии Ульяновой, двинулся в сторону Николаевско-го вокзала. Белая ночь должна была вот-вот озариться всплывшим из-за Лавры солнцем. Редкие дворники в холщовых фартуках провожали полусонными взглядами торопливого не по годам прохожего с чемоданчиком. И столь же недоуменно смотрели ему вслед бронзовые львы с висячего мостика...

Всей наличности едва хватало на билет до Москвы. В столице же, поплутав по Каланчевским переулкам и убедившись, что слежки нет, направился в ближайший Торгсин, где обменял золотой брелок-эполет на изрядную пачку червонцев. Снова вернулся к вокзалам и на Ярославском, все также озираясь по сторонам, купил билет в купейный вагон до Владивостока. Потом до самого отправления прохаживался по крытому перрону, вглядываясь в лица пассажиров, носильщиков, проводников. Нет, никто его не выслеживал. В это можно было верить.

Он вошел в свой вагон за три минуты до того, как поезд дернулся и за окном поплыли невзрачные московские задворки, сокольнические березняки и дубравки, уже изрядно оперенные клейкой зеленью мая. Чтобы и вовсе сбить сыщиков с толку, если они все же пробрались за ним в экспресс, он доплатил бригадир-у и переселился в мягкий вагон. По счастью, в купе никого больше не было, и Грессер, привалившись в угол мягкого дивана, обтянутого малиновым плюшем, мгновенно уснул, обхватив чемоданчик. Уснул блаженно от одной только мысли, что ни одна душа в мире не знает и не узнает, где, в какой точке бескрайнего российского пространства находится некий гражданин Грессер Николай Михайлович, 1880 года рождения, русский, беспартийный, совслужащий с ленинградской пропиской по набережной Красного флота.

Вид при этом у него был столь измученный и счастливый, что заглянувший в Мытищах проводник, не решился его будить, а осторожно положил рядом стопку постельного белья.

Проснулся Николай Михайлович в Ярославле, когда в купе пришли двое попутчиков, — пожилая семейная пара, едущая в Новосибирск. Он перебрался на верхнюю полку, застелил ее и после вечернего чая под досужий дорожный разговор, устроился на ночь основательно. Спал, как давно уже не удавалось, — беспробудным сном пьяного боцмана. Очнулся утром, когда за кремовыми шторами бежали уже вятские версты. Он вдруг вспомнил, как удивлялся в детстве: душа, витавшая во сне где-то далеко

от тела, не отставала от поезда, а отлетев в ночной час где-нибудь на белгородщине, находила его уже в Таврической губернии.

Проводник разбрасывал по стаканам ложечки, и тоненькая стеклянная музыка неслась из служебного купе по всему вагону.

После тщательного бритья с горячим компрессом Грессер, застегнув ворот кителя на крючки и выправив манжеты, отправился в ресторан, где имел почти английский завтрак: тарелку овсяной каши, яичницу с ветчиной и стакан весьма крепкого и недурного чая. Официант тоже остался доволен взыскательным гостем и обещал придерживать ему место у окна по ходу поезда, если господин хороший надумает отобедать. Назвать Грессера товарищем у официанта, помнившего иные времена, язык не повернулся; чем вверх Николая Михайловича на весь день в тоскливые размышления на счет того, что официант, наверняка, агент ГПУ, раскусил вот в нем господина и теперь будет присматриваться к нему всю дорогу. Успокоился он лишь тогда, когда поезд перепетлял уральские горы, и все самое страшное — Шпалерная и Лубянка, агенты, доносчики, сыщики, соглядатаи, товарищ Авсянников и соседи по коммуналке, первомайские толпы и зафлаженный кумачом, как волчье логовище родной Питер — все это осталось там, за еловыми горбами уральского хребта и никакого касательства к нему уже не имело. Тем не менее в вагон-ресторан он ходить перестал, а покупал теперь на станциях шаньги с черникой, ватрушки с творогом, кедровое молоко и прочую сибирскую снедь. За окном мелькали старинные русские ныне мясопустные города — те самые, через которые он уже однажды ехал осенью 1905 года, возвращаясь из Мацуямского лагеря. Тут мало что изменилось с тех пор, хотя минула треть века. С каждым дорожным днем, чем ближе становился Дальний Восток, тем явственнее оживало его порт-артурское мичманство; так веет Океаном за сотни верст от побережья. Порой Николаю Михайловичу и вовсе казалось, что лента времени побежала вспять, разматываясь вместе с дорожным полотном. И стоит только выйти на владивостокском вокзале, как в Золотом Роге откроются высокотрубные силуэты «России», «Богатыря» и «Рюрика»...

В Иркутске меняли паровоз и поезд стоял долго. Грессер заглянул в вокзальный ресторан, где, конечно же, все было по-иному, чем в ноябре пятого года, но все же он отыскал тот подоконник, на котором их славная мацуямская тройца — лейтенанты Ларионов, Павлинов и Грессер 2-й, — отмечали День Морского корпуса. Ресторан был забит эшелонной публикой, и они едва пробивались сюда, к окну, выходящему на перрон, с бутылкой смиренки и малосольным омулем... Павлинов читал стихи:

Но Спасу на Водах молитву сотворя,
Да исцелит он Русь от тяжкого недуга, —
Мы чарку флотскую поднимем друг за друга
И все, чем свято нам Шестое ноября.

Во Владивостоке Николай Михайлович первым делом купил обратный билет до Москвы. Так что, если агент-официант сообщил о его приезде в местное НКВД, полагал Грессер, все их сыщики с ног сойдутся, отыскивая его в городе. Кому придет в голову, что человек, проделавший двухнедельный путь через всю Россию, прибыл во Владивосток на несколько часов и уже катит обратно? Оставшееся до отправления поезда время он провел с толком. Отыскал действующий храм — для этого пришлось ехать в предместье, куда-то за Четвертую речку — и там в маленькой рубленой из ливневницы церквушке горячо поблагодарил Спасителя за свой счастливый исход.

Там же на Речке, он купил роскошный дубовый веник — в Ленинграде подобное приобретение всегда наносило ощутимую брешь в его бюджете — и отправился в баню, где с наслаждением смыл полумесечную грязь вместе с дорожной усталостью. Вечером, отужинав в «Золотом Роге» скобянкой из трепангов, китайскими позами, приправленными маринованным папоротником-орлятником, он вошел в мягкий вагон московского экспресса. Всю обратную дорогу грела прежняя мысль: никто, никто в этом мире не в силах угадать, где, в какой день и даже час, в какой точке СССР он сейчас пребывает, и не пребывает вовсе, а несется с курьерской скоростью от всех тех, кто тайно ищет его. Освобожденный от тягостного страха — «придут и арестуют» — он прекрасно спал, блестяще обыгрывал в шахматы попутчиков, а самое главное — снова смог работать над заветным трудом, раскладывая в тихий час листки рукописи на столике, застеленной вагонной салфеткой. Соседи, чтобы не мешать ученым занятиям благообразного старика — не то профессора, не то изобретателя, — уходили в коридор, в курительный тамбур или ресторан, оставляя его наедине с настольной лампочкой под шелковым малиновым колпаком. В такие минуты Николаю Михайловичу казалось, что он снова уединен в своей офицерской каютке на «Сторожевом» или «Тигрице», что уютное углое жилище его сотрясает бортовая качка осеннего шторма и что вот-вот постучит вестовой и поставит на столик стакан в тяжелом корабельном подстаканнике: «Ваше высокоблагородие, откушайте чайку пока самовар под парами...» В дверь и в самом деле стучали, и вестовой в обличье вагонного проводника, почтительно ставил на краешек стола тонкий стакан, окованный начищенной медью, и дразнящий аромат свежесваренного чая отрывал взгляд ученого пассажира от мудреных бумаг...

...В Москве Николай Михайлович переночевал в Решиковом переулке на квартире бывшего порт-артурца, некогда капитана 2-го ранга инженер-механика Лобача-Жученко, поутру сходил в Сандуновские бани, долго парился и кеифовал, потом отобедал в «Славянском базаре», где еще не разучились готовить старомосковскую похлебку с курником, и укатил в метро на Каланчевку к трем вокзалам. В каменном тереме-крепостце Ярославского вокзала купил билет до Владивостока в мягком вагоне, затем заглянул в ближайший торгсин и пополнил свой банк, сдав скупщику золота серьги-бриольезы. Полюбовавшись напоследок светорезной игрой бриллиантиков, с тяжелым вздохом переложил семейную реликвию в черновласые пальцы скупщика. Он покупал у него еще несколько недель своей беглой свободы. Все бабки, деды, прабабки и прочие пращуры, слитые в нем как продолжатели рода обеих линий — грессеровской (шведской) и тырковской (русской) — спасали его теперь, переводя свою родозащитную силу в силу фамильного золота. «Но зачем, зачем, — задавался он горестным вопросом, — такая жизнь с ее свободой непойманного зверя? Разве не прожита самая главная часть отмеренной ему юдоли? А этот жалкий остаток? Пусть приходят и берут, и казнят... Чего жалеть?» — спрашивал себя Николай Михайлович и слышал в ответ ласковую скороговорку отца Феофилакта: «Страшно впасть в руки Бога живаго, потому сторонись слуг его. И сам себя не предавай им. А надобно будет, Христос сам тебя на Голгофу призовет...»

Оставив за спиной десять тысяч верст, он повторил во Владивостоке всю программу прошлого приезда. Добавил лишь посещение Морского кладбища, где долго стоял у гранитного крестомонумента нижним чином крейсера «Варяг», а потом, бродя по дорожкам, нашел на крестах несколько знакомых по службе в Сибирской флотилии имен.

Прикупив у корейцев в дорогу земляных орехов, маринованного папоротника-орлятника, туесок кедровых орешков и банку сока лимонника, сел в поезд, точно прибыл на родной корабль. И снова две недели без сосущего по ночам страха...

В Москве, переведя дух в Решиковом переулке, посетив повышенный разряд Сандунов и помолившись потом в Солдатской церкви, что рядом с лефортовским военным госпиталем, он снова двинулся на вокзал за билетом...

Так прошел остаток года... А на Рождество тридцать девятого по пути во Владивосток Николай Михайлович влюбился в дорожную спутницу и едва не сделал ей предложение.

Она вошла поздней ночью в Ярославле — закутанная в заснеженную шубу и шаль, с двумя объемистыми баулами. Николай Михайлович, даже не разглядев толком попутчицу, уступил ей нижнюю полку, уместив под ней ее тяжеленные баулы, помог раздеться. Женщине было лет тридцать пять, она ехала во Владивосток к маме и столь долгий путь, который она проделывала впервые, пугал ее не на шутку. Утром они окончательно познакомились и назвали свои имена. Ее имя ему сразу понравилось — Ольга Константиновна. Он сказал, что знал только одну Ольгу Константиновну, королеву эллинов.

— Вы бывали в Греции? — спросила женщина.

— Три раза. И не только там. Бывал в Китае и Японии, Германии и Швеции, Франции и Италии... — разоткровенничался он вдруг, сам того не желая. — Королева эллинов Ольга Константиновна, урожденная Романова, охотно привечала русских моряков в Пирее и часто посещала наши корабли...

В свою очередь Ольга Константиновна, не королева, рассказала, что она родилась в Шлиссельбурге, детство прошло в Питере, она успела три года проучиться в гимназии имени принца Ольденбургского. В тридцатом году вышла замуж за выпускника Технологички, уехала с ним в Ярославль, где муж служил главным инженером на лакокрасочном заводе. Но три месяца назад он получил смертельное отравление на производстве и вот теперь она едет к маме, чтобы обрести душевное равновесие.

Только тут Николай Михайлович обратил внимание, что Ольга Константиновна одета во все черное.

— А дети у вас есть? — осторожно поинтересовался он, после того, как были сказаны все приличествующие скорбному случаю слова.

— Детей у нас не было... — Задумчиво призналась она. — Впрочем, дети меня окружали везде и всегда. Я ведь преподаю в школе английский язык.

Грессер сразу же перешел на английский и обнаружил у ярославской учительницы весьма недурное знание языка. Семейная пара, которая ехала вместе с ними в купе — степенный бухгалтер военного завода, толстяк в круглых черных очках и его жена, дама забальзаковского возраста — насторожились, а потом глава семьи вполголоса посоветовал им перейти на родную речь.

— Знаете, сейчас такое время... Иностранный язык не в почете. — Мясся работник счетного фронта, — могут не правильно понять. Вы, конечно, из бывших... У меня папа тоже был человеком с достатком, но... будьте осторожны, особенно при проведении... Ну, вы меня понимаете.

Да, Грессер и Ольга Константиновна его отлично поняли. Николай Михайлович пригласил спутницу отобедать в вагоне-ресторане, и уж там-то они дали волю воспоминаниям о родном городе. Тезка королевы эллинов держалась воистину с королевским достоинством и в тоже время просто, открыто... У нее были красивые гладко зачесанные на прямой пробор светло-русые волосы, чуть вздернутый носик, серо-голубые глаза — с чисто питерским шармом. Она немало помнила из той, дореволюционной жизни, и Грессер отводил душу в нескончаемых с ней беседах.

Это был лучший его рейс. Он не считал дорожных дней и ночей, он вообще забыл о своем вагонном прибежище.

Где-то за Уралом ночью под бешеный перестук колес Грессеру пришла мысль, что он мог бы сделать предложение этой милой вдове, и она вполне могла бы принять его, несмотря на то, что он старше ее на двадцать лет. «Подумаешь, пятьдесят пять, — хохорился он про себя, — раньше купцы в этом возрасте только впервые невест под венец вели...

Мысль была весьма соблазнительна — остаться бы на семейный постой в Ярославле. Может быть, даже и дети пошли. Он еще в силах... И никто бы его там не сыскал в губернской глуши. Но... Во-первых, он не купец, чтобы жениться на закате жизни. Во-вторых, и это самое главное, ему не хотелось подвергать ни малейшему риску жизнь этой чудесной женщины. Пришлось бы тянуть всю эту канитель с выписками, прописками, регистрациями... До него вполне могли добраться и в Ярославле (шепотом она рассказывала о тамошних чистках), и тогда бы ее судьба как жены «врага народа» была бы очень горька.

Во Владивостоке он не без сожаления распрощался с Ольгой Константиновной, прежде обменявшись с нею адресами. На всякий случай...

Так в сплошных переездах из Москвы во Владивосток и обратно прошел весь 1938 год, памятный, кроме дорожного романа с Ольгой Константиновной, и еще одним, воистину чрезвычайным происшествием...

Грессер в десятый, а, может быть, и в пятнадцатый раз возвращался из Владивостока в Москву. В Хабаровске свободное место в их купе, где, кроме Николая Михайловича, ехали какой-то чин из Приморского крайторга и очень довольный собой тип с петлицами таможенника высокого ранга, занял тучный и шумный майор НКВД. Голова его с коротким и придавленным носом, маленькими прижатыми ушами, походила на боксерскую грушу. В лице майора не было ничего лишнего, все в нем было

подчинено жестокой необходимости — принимать удары с наименьшей болью и огрызаться хищно, беспощадно. Несмотря на звероватую внешность, он оказался весьма компанейским человеком, и вскоре все, кроме Грессера, — тот сослался на недомогание — принялись отмечать отпуск майора, выбравшегося из таежной глухомани не куда-нибудь, а на Запад, в Москву. Николай Михайлович сморщился, как от зубной боли, при мысли, что еще десять дней ему придется слушать этот громогласный и бесцеремонный басок:

— Кончайте, папаша, дамскими болезнями хворать, — кричал он Грессеру на верхнюю полку, — все эти мигрени-фигрени после первого же стакана улетучатся! А рыбец знатный какой, да вы такого рыбаца... — подносил он хвост малосольной нельмы под нос каждому из попутчиков, но с верхним соседом этот номер не прошел. Встретив ледяной взгляд, веселый отпускник досадливо крикнул:

— Эх, была бы честь предложена... Ну, что, братцы, хряпнем для разгону! Это ни какое-нибудь там плодovskyгодное или «Слезы Мичурина». Это только у нас, на Кербинских приисках, варганят... Я человек простой, уж простите, семь классов вместе с коридором... Да к тому же из глухомани... Эх, глухомань — много Вань и мало Мань. А у нас, как раз наоборот, — повествовал он сотрапезникам, — одни Мани сидят. Такие я вам скажу штучки-сучки...

Майор захмелел быстро и стал угощать слушателей пикантными историями из жизни женского лагеря под копченое сало дикого кабана. Ему вторил торговый начальник:

— А вот у нас бухгалтерия, я вам скажу, такая бюстгалтерия...

Однако его байки меркли на фоне тех картин, которые смачно живописал начальник лагеря.

Николай Михайлович придавил подушкой ухо, но гогот честной компании донимал его и сквозь эту защиту. Он ворочался, выразительно побряхтывал, даже погасил верхний свет, делал вид, что спит, но никого это не трогало. В полумраке при синем ночнике лагерный декамерон становился все забористей и похабней...

После известия о том, какой смертью погибла Надин в Зимнем, он на дух не переносил похабщины. Теперь же, когда ему вдруг пришла мысль, что вот такое же животное, как этот энкаведешник, терзало его дочь, ему неудержимо захотелось достать из очешника револьверчик и всадить в лоснящегося от кабаньего сала весь барабан.

Заполночь, когда торгаш и таможенник уже клевали носами, майор собрался в туалет. Он нашарил вагонное полотенце, долго и тупо вглядывался в метки и вдруг радостно захохотал:

— Да это же наша продукция! — Помахивал он вафельным полотенцем перед лицами собутыльников. — Это же наши Мани шьют. У нас есть цех бельевой. Так я однажды туда после обеда зашел.... Ну, ладно, а то обос....тесь от смеха. Завтра расскажу!

Он лязгнул дверью и скрылся в коридоре. Скрипнув зубами, Грессер спустился с верхней полки, натянул китель, застегнулся на все пуговицы и вышел следом.

Майор стоял в неkotловом — дальнем — тамбуре в белой нательной рубашке, и, распахнув дверь вагона, курил, остужая распаренное тело дорожным ветерком.

— Не спится, папаша? — Осведомился он, почесывая шерстистую жирную грудь. Грессер подумал, что дамская пулька «щенка», пожалуй, не возьмет этого борова — застрянет в сале. В немой ярости, распивавшей его душу, умолкли все человеколюбивые поучения отца Феофилакта. Отчаянная решимость притекала в сердце от правой руки, сжимавшей в кармане брюк револьверчик. Эх, куда бы сейчас его добрый верный наган!

Он выбросил карающую десницу:

— А теперь молись, сволочь, если умеешь!

Начальник лагеря отшатнулся к грохочущему проему:

— Ты, что, дед, спятил?

— Молись, скотина... Ну?! Повторяй за мной: «Отче наш, иже еси на небеси...»

Майор попытался загородиться дверью, но тут вагон резко качнуло вправо и тело в синем галифе и белой рубашке с воплем исчезло в полосе смазанного скоростью пространства — экспресс шел под горку с бешеным перестуком колес.

Грессер перекрестился, спрятал оружие, возблагодарив судьбу, что не пришлось нажимать на спуск и брать на душу еще один смертный грех, закрыл дверь и вернулся в купе. Торговый чин и таможенник уже спали, приткнувшись нераздетыми на смятые подушки. Под их залиvistый носовой дуэт Николай Михайлович забрался на свое место и уснул сном праведника.

Майора хватились не сразу — только к полудню, когда оба его бывших компаньона окончательно протрезвели и стали строить всевозможные догадки, куда он подевался. Один считал, что он «нашел себе Маню в соседнем вагоне», другой полагал, что отстал от поезда в Биробиджане. Только в Благовещенске, когда в их купе постучал милицейский старший лейтенант и назвался следователем линейного отдела, стало ясно, что с майо-

ром что-то стряслось. Опросив всех и записав в протокол, что никто с пострадавшим не ссорился, удостоверившись у проводника, что выпавший из вагона пассажир был «шибко выпивши», следователь сошел в Куйбышевке-Восточной. На том все и кончилось...

Вагон в России больше, чем вагон...

Поезд дальнего следования для русского человека много больше, чем транспортное средство. Это некий град на колесах, гуляй-город, в котором он не просто перемещается в пространстве, а проживает часть своей жизни: спит, ест, бражничает с добрыми попутчиками, завязывает дружбы, флиртует, кутит в вагоне-ресторане, грустит у окна, влюбляется порой всерьез, так что иной раз и подругу жизни находит, а случается и смерть принимает под зыбким вагонным кровом. Так что вагон — это движимая часть его жилища, а купе — это особая комната-келья, пристроенная к его дому или квартире для дорожных размышлений о жизни, ибо только в дороге и находится у нас время подумать о вечном, оглянуться на прожитое...

У англичанина — паб, у француза — кафе, у немца — бирштуббе, у русского человека — купе. Особое место для особо душевного общения.

Кто у нас из писателей лучше всех живописал железную дорогу? — Задавался вопросом Грессер, — Некрасов? Толстой с его душераздирающей сценой гибели Анны Карениной на рельсах? Гаршин — в «Сигнале»?.. Наверное, можно назвать еще с полдюжины громких имен, и все же пальму первенства в этом жанре надо бы присудить Ивану Бунину. Иван Алексеевич, вечный странник, многоезжий пассажир, дал великолепные картины вагонного быта и того душевного состояния, в котором человек пребывает только в пути и только на железной дороге. Грессер знал Бунинские рассказы почти наизусть: «Я стоял возле черного окна, из невидимых отверстий которого остро и свежо дуло, и, загородив лицо от света руками, напряженно вглядывался в ночь, в леса. Тысячи красных пчел неслись, развевались там, иногда, вместе с зимней свежестью, пахло ладаном, горящими в паровозе дровами... О, как сказочно мрачна, строга, величава была эта лесная ночь! Бесконечная, узкая, глубокая просека лесного пути, великие, темные призраки вековых сосен, тесным, дремучим строем шли вдоль него.

Светлые четырехугольники окон косо бежали по белым сугробам и подножья леса, иногда мелькал телеграфный столб, — выше и дальше все тонуло во тьме и тайне».

Вот и Николай Михайлович теперь подолгу стоял у такого же ночного окна — с немытыми должно быть с бунинских времен стеклами и вглядывался во все ту же темень лесной дорожной ночи. Разве что в глаза лезло то, что не мешало Бунину любоваться русскими пейзажами: стальные мачты-раскоряки, толстые трубопроводы непонятного назначения, бегущие вдоль полотна, свалки металлолома, облезлые громады элеваторов, стойбища холодных паровозов да станционные вывески вроде «Красноармейская» или «Отпор». Всюду следы поспешного и небрежного хозяйствования — хлам ржавого металла, покосившиеся, выщербленные заборы...

Стоя у окна, он привычно поражался глубине российской глухомани и тому, что и здесь люди живут и гложут их все те же мысли и сомнения, заботы и страсти, что и столичных жителей. И дорисовывал себе эту жуткую в своей свинцовой дремучести жизнь и оттого своя, питерская, представлялась на минуту значительной, возвышенной, осмысленной, что, конечно же, было вовсе не так...

... Рождество сорокового года он встречал в поезде на перегоне Иркутск — Улан-Удэ. И Пасху, и Николу Весеннего, и все двенадцатые праздники тоже. Томила ли его эта нескончаемая дорожная жизнь? Он находил ее очень похожей на ту, какой жил в офицерской молодости, когда под ногами беспрестанно сотрясалась палуба от работы судовых машин, когда пошвыривала его в корабельной койке крутая зыбь, когда целый год стучали под подушкой колеса бронепоезда на стыках.

Проводники дальневосточных экспрессов уже узнавали его, даже когда он ехал не в мягких, а в жестких вагонах. Такая популярность ничуть не радовала Грессера, тревожила. Он оттрастил седую эспаньолку, а неизменный выюк-конверт стал прятать в дерматиновый чехол. Но все равно ловил сочувственные взгляды проводников: «Эк, мотается дед на старости лет!». «Видать важная птица, — судачили меж собой проводники, мужики живалые, сами не первой молодости. — Должно быть, секретный курьер какой или морской инженер засекреченный».

А он корпел над трудом своим, если купе пустовало или попадались тихие малоразговорчивые попутчики. Потом, когда рукопись после долгих злключения в чужих шкафах и сейфах ляжет на стол кому надо и академик-адмирал Аксель Иванович Берг, светило морской радиоэлектроники, ходивший одно время на подлодке Грессера штурманом, напишет восторженное предисловие к монографии своего безвестно сгинувшего командира. И назовет

его «основоположником фундаментальных идей радиоэлектронной борьбы с подводными лодками», и выдвинет книгу на соискание посмертной Сталинской премии. Но автор ее, Николай Михайлович Грессер 2-й никогда о том не узнает...

Он умер ночью, когда скорый поезд Владивосток—Москва вошел в один из длинных даурских тоннелей. Пока душа его летела к свету в тоннеле астральном, тело с остановившимся сердцем, несло под прокопченными паровозным дымом сводами тоннеля Верхне-Шилкинский. Оно подрагивало на верхней полке в такт качкам вместе с телами спящих спутников и потому не казалось безжизненным. Лишь голова застыла в последнем повороте на подушке, припорошенной черной антрацитовой крошкой, точно-точно, как после угольных авралов на «Авроре».

«ФЛАГ НЕ БУДЕТ СПУЩЕН! К БОЮ!...»

Большому кораблю — большое плавание. А малому? Вопреки присловью и Морскому регистру маленький «Китобой» проделал большой и опасный одиночный поход, оставив за кормой воды Балтики, Северного моря. Атлантического океана, Средиземноморья, наконец, Черного моря...

Это небольшое китобойное судно было построено в Норвегии в 1915 году и сразу же было куплено русским правительством для пополнения тральных сил Балтийского флота. Через три года «Китобой» ушел с кораблями Балтийского флота из Кронштадта, приняв участие в легендарном ледовом походе. Его включили в состав действующего отряда Красного Балтийского флота.

Тактико-технические качества «Китобоя» были весьма скромны: 310 тонн водоизмещения, 12-узловой ход. Тридцатиметровое суденышко несло на себе две 75-миллиметровые пушки и один пулемет.

Свою воспетую потом в стихах одиссею «Китобой» начал 13 июня 1919 года, когда под брейд-вымпелом начальника дивизиона, бывшего лейтенанта Николая Моисеева, нес дозорную службу на подходах к Кронштадту между маяками Толбухиным и Шепелевым. Командовал «Китобоем» бывший мицман Российского флота, а тогда военмор Владимир Сперанский.

Воодушевленные успешным наступлением русской Северо-Западной армии на Петроград, бывшие офицеры без особого труда убедили команду перейти на сторону белых. И «Китобой» рванул самым полным навстречу трем английским кораблям, входившим в бухту. Вопреки ожиданиям Моисеева, англичане встретили «Китобой» отнюдь не самым лучшим образом.

Историк белого флота Николай Кадесников свидетельствовал: «Англичане буквально ограбили сдавшийся им корабль, причем не были оставлены даже личные вещи офицеров и команды, и через несколько дней передали тральщик, как судно, не имеющее бое-

вого значения, — распоряжение Морского управления Северо-Западной армии...»

Морское управление, во главе которого стоял герой Порт-Артура молодой контр-адмирал Владимир Пилкин, находилось в Нарве. Помимо танкового батальона, дивизиона бронепоездов и полка Андреевского флага, оно располагало крошечной флотилией из четырех быстроходных моторных катеров, приведенных капитаном 1-го ранга Вилькеном из Финляндии. «Китобой» стал ее флагманом. На нем поднял свой брейд-вымпел командующий речной флотилией участник Цусимского сражения капитан 1-го ранга Дмитрий Тыртов.

Весь экипаж тральщика, за исключением механика и нескольких специалистов, перевели в полк Андреевского флага, куда списывали всех неблагонадежных, в том числе и тех, кто служил когда-то у красных. Туда же попал и лейтенант Моисеев. Мичмана Сперанского отправили в Ревель в так называемый 5-й отдел Морского управления, который занимался разгрузкой пароходов, доставлявших Северо-Западной Армии оружие, боеприпасы и обмундирование из Англии.

Судьба же лейтенанта Моисеева печальна. Часть полка Андреевского флага перебежала к красным, захватив с собой офицеров. Моисеев вместе с лейтенантом Вильгельмом Боком был выдан ЧК. «Труп Моисеева, — пишет Кадесников, — был вскоре найден белыми. Погоны на его плечах были прибиты гвоздями — по числу звездочек». В момент гибели ему не исполнилось и 33 лет.

Судьба мичмана Владимира Ивановича Сперанского тоже печальна. В 1945 году он был насильно репатриирован из Чехословакии в СССР, арестован, и спустя пять лет умер в Казанской тюрьме.

Самый интересный период жизни «Китобоя» связан с его новым командиром — лейтенантом Оскаром Ферсманом, выпускником Морского корпуса 1910 года.

К концу 1919 года явственно обозначился крах Северо-Западной армии. Эстонцы, с территории которых действовали полки Юденича, стали прибирать к рукам войсковое имущество белых. Судьба «Китобоя» тоже была предрешена: день-другой, и над ним взвьется новый флаг — черно-сине-белый, и новая команда поднимется на его палубу. Чтобы не допустить захвата единственного сколь-нибудь ценного судна Морского управления, адмирал В. Пилкин приказал лейтенанту Ферсману уходить из Ревеля в Архангельск к генералу Миллеру. Экипаж «Китобоя», почти весь состоявший из офицеров русского флота, был полон решимости

совершить этот непростой переход. Для многих из них это утлое, совсем не военное суденышко было осколком флота, которому они присягали и мечтали служить верой и правдой всю жизнь. К тому же в то смутное время они были рады убогим каютам и кубрикам несостоявшегося китобоя как последнему пристанищу с гарантированным кровом над головой.

Итак, «Китобой» стал тайно готовиться к походу в полярные моря. Самая острая проблема, с которой столкнулся Ферсман, — уголь. Угольная яма судна была давно и безнадежно пуста. Тогда адмирал Пилкин купил на свои деньги воз дров — сырых, обледеленных, но все-таки это был выход. Подсчитали, что до Копенгагена этого топлива должно хватить. А там — Бог не без милости, моряк не без удачи.

«Около полудня 15 февраля, — сообщает мичман Николай Боголюбов в своей статье, — обманув внимание эстонских часовых с помощью случайно подошедших английских офицеров, «Китобой» по личному приказу адмирала Пилкина отдал швартовы и вышел на полузамерзший Ревельский рейд, приготовив к бою свои две 75-мм пушки и подав к ним весь свой боевой запас, состоявший из 30 снарядов». Это был скорее побег, чем уход.

«Китобой» шел через непротраленные минные заграждения. Офицеры-кочегары швыряли в топку тяжеленные поленья. Машина с трудом развивала четырехузловой ход. Сказывалось некачественное топливо. Тем не менее беглец добрался до Либавы в надежде там получить уголь. Но прежде чем это произошло, латвийские власти изрядно попортили нервы лейтенанту Ферсману — сначала настырными предложениями купить судно, а потом откровенными угрозами захватить его. Уголь дали англичане, и «Китобой», разведя пары, поспешно ринулся в проливную зону, нашпигованную немецкими минами.

27 февраля маленький корабль вышел на внешний рейд Копенгагена. О том, что произошло дальше, лучше всех рассказал поэт русского зарубежья Арсений Несмелов:

...И с волною невысокой спора,
С черной лентой дыма за трубой, —
Из-за мола каменного, с моря
Входит в гавань тральщик «Китобой».
И сигнал приказывает строго:
«Русский флаг спустить». Якорь отдан.
Но, простой и строгий,
Синий крест сияет с полотна;
Суматоха боевой тревоги
У орудий тральщика видна.
И уже над зыбью голубою
Мчит ответ на дерзость, на сигнал:

«Флаг не будет спущен.
Точка. К бою! Приготовьтесь!» —
Вздрыгнул адмирал.

На рейде Копенгагена в то время стояла 2-я бригада крейсеров английского флота под флагом контр-адмирала сэра Кована: три легких крейсера и пять эскадренных миноносцев. Хорошо известно, что именно сказал адмирал Кован лейтенанту Ферсмону:

«Я надеюсь, что каждый английский морской офицер в подобном положении поступил бы столь же доблестно, как это сделали вы!»

Конечно, в жизни все было не так просто и эффектно, как в поэме стихотворца. В конфликт «Китобоя» с англичанами вмешалась вдовствующая Государыня Императрица Мария Федоровна, жившая в то время в Копенгагене.

Англичане стояли на том, что «Китобой» их законный приз, захваченный в июне 1919 года. Британское адмиралтейство требовало от Ферсмана, чтобы «Китобой» шел в Англию с английским экипажем и под английским флагом. Русские моряки могут находиться на борту судна только в качестве пассажиров.

В конце концов, благодаря моральной поддержке датских властей, французов и дипкорпуса славянских стран британское адмиралтейство отказалось от притязаний на «безотечественный» русский корабль. «Китобой» был снабжен углем и провизией для дальнейшего следования.

В Копенгагене они узнали, что Северный фронт генерала Миллера пал, так что необходимость идти в Архангельск отпала. Поскольку у Ферсмана было право действовать сообразно обстоятельствам, он принимает решение идти в Севастополь на соединение с Белым флотом Вооруженных сил Юга России.

Германия, не желая осложнять отношения с советским правительством, запретила «Китобою» переходить в Северное море Кильским каналом. Пришлось огибать Ютландский полуостров, прокладывая курс по невытраленным минным полям; минные заграждения выставляли и немцы, и англичане, но «Китобой», даром что тральщик, шел без карт и без тралов, играя со смертью в «русскую рулетку». Точно так же — вслепую — прошли и Ла-Манш, всего лишь два года назад считавшийся «каналом смерти» для немецких подлодок.

Частые поломки заставляли ремонтироваться то в Лиссабоне, то в Бизерте... В Севастополь «Китобой» добрался только 12 ноября 1920 года, тогда, когда впору было ложиться на обратный курс. В Крыму начиналась эвакуация Белой армии, а вместе с ней и

гражданского люда, начинавшего свой бег в никуда. В любом случае лишнее плавсредство в Севастополе было весьма кстати, и «китобойцы» деятельно включились в общий аврал.

С командой и 150 пассажирами лейтенант Ферсман двинулся в Константинополь. Под его же начало определили еще два тральщика: трудяга «Китобой» тащил на буксире и потерявший ход эскадренный миноносец «Звонкий».

Из Константинополя Ферсман повел свои тральщики в Бизерту, где через три года «Китобой» закончил свое существование как русский военный корабль. Его продали итальянцам. С новым флагом и новым именем «Итало» он начал свою службу портовым буксиром в Специи и, похоже, счастливо пережил вторую мировую войну.

Что же касается лейтенанта Оскара Оскаровича Ферсмана, то о нем известно, что из Бизерты он перебрался в Копенгаген. Там он и прожил остаток жизни вплоть до 1948 года, когда, уже будучи больным, отправился на пароходе в Аргентину, чтобы повидаться с братом. Там и умер, аргентинская земля приняла прах отважного морехода.

Тогда, в 1920 году, тральщик «Китобой» был последним русским кораблем, над которым развевался Андреевский флаг в европейских водах Атлантики. Спустя 76 лет синекрестное белое полотнище принес сюда первый российский авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Н. Кузнецов».

АВАНТЮРЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

АЛИБИ ПАНА КОМАНДОРА **(Казус белли)**

Теперь, когда бывшие «братская Польша» и «Советская Эстония» так рьяно рвутся в НАТО, а мы обиженно удивляемся, не худо бы вспомнить события не столь давно минувших лет, свидетели которых еще могут давать показания на суде Истории...

Вместо пролога или польская гаррота

Варшава. Петр Ярошевич, премьер-министр Польши с 1970 по 1980 год, ортодоксальный коммунист, всегда был озабочен собственной безопасностью. Его вилла, расположенная в фешенебельном пригороде Варшавы, была огорожена двухметровым глухим забором с колючей проволокой. Соседи рассказывают, что когда вечером он выходил погулять со своим ротвейлером, то обязательно имел при себе пистолет.

Первого сентября неизвестные проникли на виллу, усыпили собаку и убили 83-летнего Ярошевича и его жену Алисию Сольскую. Окровавленное тело Ярошевича было найдено в его кабинете на втором этаже. Его били по голове, а потом задушили кожаным ремнем. Ремень затачивали на шее с помощью антикварного топорика из его коллекции старинного оружия.

Там же, в кабинете, лежало и тело его жены со связанными за спиной руками и простреленной головой — стреляли из охотничьего ружья с близкого расстояния. Следователей особенно озадачило то, что раны на голове Ярошевича были перевязаны.

Спустя два месяца после начала следствия, в ходе которого было заслушано более 100 свидетелей, польские власти признают, что следственная бригада даже не приблизилась к разгадке этого преступления. «Мы находимся в каком-то лабиринте», говорил Петр Франковски, один из трех прокуроров следственной бригады.

Его убили 1 сентября — в годовщину нападения Германии на Польшу, в день начала второй мировой войны.

Нам не дано предугадать как отзовется не только наше слово, но и чувство...

Ни президент Эстонской республики Константин Пятс, ни Предсовнаркома СССР Молотов, ни министр иностранных дел Германии Риббентроп, ни одна из заинтересованных разведок — польская, германская, советская, эстонская, равно как и историки новейшего времени, — не подозревали и не подозревают, что нить рокового запального шнура, по которому пламя войны перебежало в тихую уютную Балтию, завязалась в фешенебельном пансионе на Гданьской косе, где варшавский бомонд любил проводить время летних вакаций.

Гдыня. Август 1939 года

В табльдот-зале пансионата «Поможже» («Поморье») все обернулись, когда метрдотель провел к столику у окна высокого офицера в белом флотском мундире. Моряк, не удостоив никого взглядом, кивнул лишь соседу — пожилому улану:

— Прошу разрешения, пан полковник!

— Ради Бога! — отложил газету сотрапезник и представился: — Полковник Завгелло-Белыньски.

— Командор-подпоручник¹ Клочковский. Хенрик Клочковский, если пану угодно.

Через минуту всем пансионерам, в том числе и гордецу-моряку, пришлось обернуться еще раз: метрдотель ввел в зал супружескую пару — ошеломительно красивую шатенку в сопровождении уверенного в себе лысоватого господина. Золотая цепочка обегала намечавшийся животик, словно пунктир экватора.

Чета разместилась за соседним столиком, причем муж сел спиной к спинке стула улана-полковника, а очаровательная пани — лицом к Клочковскому. Он сначала невольно, а затем намеренно стал ловить ее взгляд поверх плеча полковника, но она ни разу не подняла глаза на своего нечаянного визави.

Пан Завгелло ворчал на немцев, которые совсем обнаглели, пытался втянуть сотрапезника в типично стариковскую политическую дискуссию, но Клочковский отвечал рассеянно и односложно, исподволь бросая взгляды на соседку.

Право, как хорош этот пушистый завиток, прикрывающий уголок красивого рта! Правда, он мешал прикладываться к фужеру, и

¹ Чин в польском флоте, равнозначный капитану 2-го ранга.

пани либо отбрасывала его, встряхивая головой, либо незаметным движением тонких пальцев отводила его в сторону.

— Позвольте полюбопытствовать, пан командор, на каком судне вы плаваете?

Клочковский подавил улыбку, такой вопрос мог задать только сугубо сухопутный человек: во-первых, плавают цветы в проруби, а моряки служат; во-вторых, на военном флоте есть только корабли, а суда — у всех прочих, кто ходит под гражданским флагом.

Впрочем и Хенрик это понимал, окажись он в конюшнях уланского полка, его вопросы звучали бы столь же нелепо.

— Я командир подводного крейсера «Орел».

— Это очень хорошо, — удовлетворенно крикнул полковник, всем видом показывая, что он весьма польщен тем, что сидит за одним столом с почти национальным героем. Флот Речи Посполитой располагал пятью субмаринами, и имена их командиров знала вся Польша, за исключением разве что некоторых уланских полковников.

К концу обеда Хенрику Клочковскому удалось-таки перехватить взгляд красавицы незнакомки. Она показала ему язык и удалилась, ведомая солидным мужем под локоток.

Бравый моряк был обрадован: она почувствовала его пламенные взоры. В самом начале ужина гордая незнакомка метнула в него быстрый взгляд, пытаясь, видимо, понять, какие результаты принесла ее давешняя выходка, и наткнулась на все тот же восхищенный запах голубых глаз. Она нахмурилась и старательно, слишком старательно изобразила на лице безразличие к нахалу в морском мундире.

«Ну уж нет, ясновельможная пани, — отмечал про себя бывалый волокита, — если вам так противны мои взгляды, вы вполне могли бы поменяться местами со своим мужем».

Однако на следующее утро она этого не сделала. Зато Клочковский узнал имя своей соседки: муж окликнул ее — Марина.

За ужином Завгелло-Бельньски развернул было «Варшавский курьер», чтобы, как всегда, прочесть вслух какую-нибудь политическую сентенцию, но Хенрик упредил его вопросом:

— Пан полковник, вы здесь дольше меня. Что за парочка сидит за вашей спиной?

— А-а! — оживился старый улан. — К вопросу о пользе газет! Надо иногда заглядывать и в светскую хронику!

Он отыскал нужный столбец и прочитал рубленным командным голосом (благо соседи уже покинули столик): «В пансионате «Поморье» отдыхают также и торговый советник Польши в Эстонии пан Крыжановский и его супруга Марина, урожденная Яроше-

вич»... До своего второго брака Марина Ярошевич была женой морского летчика лейтенанта Павлова, погибшего в Испании в воздушном бою против авиации наемников Коминтерна... Так вот я и говорю вам, если сравнить наши воздушные силы с германскими и посмотреть, как они прикрывают Данцигский коридор...»

Хенрик невольно улыбнулся.

Сегодня утром Марина ответила на его приветственный кивок чуть заметным взмахом ресниц: «День добрый!»

— Нет, нет, пан командор, — витийствовал полковник Завгелло-Белыньски. — Я старый брюзга и, возможно, пораженец, но немцы дадут нам прикурить, если министерство обороны не увеличит фуражные нормы для легкой кавалерии. А впрочем к черту политику! — отбросил полковник любимую «Польску збройну». — Будете в Варшаве — я с удовольствием вас приму. Мой дом на углу Иерусалимской аллеи и Ново-Святской. Там, где министерство железных дорог. А еще у меня небольшой фольварк под Маримонтом. Это сразу за Позвонковскими казармами. Вы не бывали в Позвонковских казармах?

— Нет, не имел случая, — ликовал Клочковский: Марина, подая столик, одарила его прощальным кивком.

Теперь каждое утро, занимая свои столики, они обменивались тайными приветствиями. Возможность видеть ее представлялась ему только в табльдот-зале, так как супруги почти не покидали свой номер или уезжали в Цоппот на двухместном белом «Рено». Хенрик ждал завтраков, обедов и ужинов с таким нетерпением, что сосед-полковник вполне мог заподозрить в нем человека, единственную радость которого составляет хорошо накрытый стол. К счастью, ни он, ни муж Марины не догадывались, что значили для него эти уныло-размеренные трапезы. Поначалу все походило на азартную игру — поймай взгляд. Всякий раз, когда она вскидывала свои длинные на черненные ресницы в сторону его столика, ее встречал горящий пристальный взгляд. Она поспешно опускала глаза и покусывала губы. Но как? Раздраженно? Досадливо? Недоуменно? Впрочем, чего уж тут досадовать, недоумевать? Разве она не привыкла, влача крест своей красоты, к таким взглядам, к более откровенным — алчно снедающим, дерзко раздевающим? Командор-подпоручик и сам не знал, чего больше в его чувстве — обычного мужского вожделения, искреннего поклонения или тоски от сознания неисполнимости желаемого? Но одно стало для него открытием: не новичок в амурных делах, он вдруг впервые ощутил, что соприкосновение взглядов может быть подобно соитию тел и даже более острым, порой и восхитительным. Эти секундные вспышки их сомкнувшихся взоров заставляли сердце от-

плясывать бешеную румбу, а в глазах еще долго кружились радужные пятна, подобно солнечному ослеплению.

То был древний прачеловеческий язык взглядов и жестов, на котором они к концу второй недели понимали друг друга во сто крат лучше, чем если бы объяснялись на польском ли, французском или русском. Двумя-тремя ее взглядами, перехваченными им случайно или подаренными ему ею, он жил потом весь день. И, просыпаясь утром, уже предчувствовал, предвкушал этот сладостный ожог души, как жаждет наркоман привычного зелья.

В тот день она уезжала. Супруги в последний час прогуливались по дорожкам терренкура. Хенрик почти безотчетно следовал за ними, держась впрочем на таком расстоянии, что никому в голову не могла прийти мысль о каком-либо преследовании. Только однажды они вышли навстречу друг другу, чопорно раскланялись как соседи по табльдоту — не более того — и, не имея никаких светских поводов для вступления в беседу, Витольду так и не удалось найти человека, который бы смог представить его пану торговому советнику, разошлись по прихотливо петлявшим песчаным дорожкам.

Потом он увидел их еще раз. Они шли вдоль самой кромки моря по плотно сбитому волнами песку. При мысли, что он никогда больше не увидит мотыльково легкую фигурку этой женщины, командор-подполковник, забыв обо всех правилах приличия, ринулся вслед за Крыжановскими. Он еще не знал, что скажет и как все будет выглядеть в глазах пана торгового советника, как вдруг из рукава брошенной на плечи Марины легкой тальмы вылетела белая бумажка и запорхала на свежем ветру. Дразня его, бумажка улетела в воду, а отхлынувшая волна утащила ее за собой. Не пожалев парадных штиблет, Хенрик вошел в мокрый песок по шиколотку и выловил-таки из плоской накатной волны круглую дамскую визитную карточку.

«Марина Крыжановская-Ярошевич. Референт-переводчик. Таллин. Ул. Суур-Карья, д. 7, телефон»

Он бережно спрятал эту белую метку, брошенную ветреной фортуной, в удостоверение командира подводной лодки...

«ОРЕЛ» УХОДИТ ПОД ВОДУ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. Командор-подпоручник Хенрик Ключковский. Родился в 1902 году в Российской империи. Женат. Двое детей. Один из опытейших командиров-подводников польского военно-морского флота. С 1932 года командовал подводной лодкой «Жбик».

В 1938 году вступил в командование одной из самых современных подводных лодок Польши — по польской классификации — подводного крейсера «Орел», построенного на голландской верфи.

Хенрик Клочковский... Одна из самых загадочных фигур польского флота. Его считали предателем, русофилом, чуть ли не агентом НКВД. Для других он был отчаянным чудаком и дамским угодником.

Племянник известного в Российском императорском флоте моряка — командира подводной бригады Черноморского флота контр-адмирала Вячеслава Евгеньевича Клочковского (ставшего после гражданской войны адмиралом польского флота), Хенрик с гимназических лет бредил боевыми подвигами дяди (тот ходил к Босфору на первом в мире подводном минном заградителе «Краб») и даже поступал в Морской корпус в Петрограде. Семнадцатый год развеял все планы прекраснодушного юноши, но тем не менее Хенрик, собрав осколки своей мечты, добился своего: стал офицером-подводником и на 36-м году жизни получил в командование подводный «крейсер» «Орел».

Вторая мировая война, вспыхнувшая как региональный германо-польский вооруженный конфликт, началась, как известно, катастрофично для Польши в целом и весьма неудачно лично для командора-подпоручника Клочковского.

В самый канун германского удара Клочковский пережил семейную драму. И если бы Католическая церковь разрешала разводы, Хенрику пришлось бы жить одному, расставшись и с двумя маленькими дочерьми. В состоянии глубочайшей депрессии он встретил весть о войне. Она не грянула как гром с ясного неба. Войну ждали. И экипажи всех кораблей в Гдыне почти весь август жили по боевой готовности № 1. Тем не менее, вопреки запрету ночевать на берегу, Клочковский в ночь на 1-е сентября отпустил двух подофицеров к молодым женам. Из-за чего потом на час задержался с выходом в море. И когда на гавань обрушились пикирующие бомбардировщики, «Орел» благополучно отошел и погрузился, заняв боевую позицию против устья Вислы.

По оплошности радиотелеграфиста «Орел» не принял приказ об атаке германского линкора «Шлезвиг-Гольштейн». И эта оплошность тоже легла черным пятном на честь командора. Но самое главное, что поставили ему потом на вид, — это самовольное покидание позиции и несанкционированный переход на север, под остров Готланд. Правда, через день-другой все находившиеся в море польские подлодки получили кодированный сигнал «Пекин», что означало — уходить в порты нейтральных стран и там интернироваться. План «Пекин» предусматривал укрытие в гаванях Швеции или прорыв

через проливы Скагеррак и Каттегат в Англию. Ключковский же вопреки всякой логике (шведский порт Бисби был в нескольких часах неспешного хода) повел подводный крейсер в Эстонию. Впрочем, логика в его поступке была, но она не поддавалась штабному анализу, ибо Ключковского, а вместе с ним и весь корабль влек в Таллин не штурманский расчет, а порыв влюбленного сердца.

Прежде чем осуждать его за это, попробуем представить себе человека в интерьере его обстоятельств.

Дни, к которым Ключковский готовил себя всю сознательную жизнь, судьбоносные для Польши часы командор-подпоручик встретил там, где и должен был встретить, — в центральном посту «подводного крейсера». Но как часто проза жизни низводит патетику момента до посконного быта! Ключковскому же и вовсе торжественно-мрачные минуты его подводной боевой страды отравила заурядная физиология: на четвертый день войны он свалился с высоким жаром и дикой болью в животе. Есть ли более унижительный для воина в бою недуг, чем рези в кишечнике? Врача на лодке не было. Санитар Барвинский ставил диагнозы в разбросе от аппендицита до брюшного тифа. Как бы там ни было, но Ключковский лежал пластом в жилом отсеке за шторкой крохотной гробоподобной каютки. Время от времени сюда навещался его заместитель (старпом) капитан Грудзинский и докладывал обстановку. Командор-подпоручик отдавал распоряжения и снова корчился в жестоких приступах брюшной боли. Иногда, собрав все силы и волю, он выбирался к перископу, а на ночных всплываниях поднимался на мостик. За эти победы командирского духа над брэнной плотью он расплавился потом часами полной прострации. Хорошо еще, что «Орлу» подобно своему командиру приходилось большую часть суток отлеживаться на грунте, чем действовать.

Подводная жизнь, ирреальная сама по себе, в тифозном бреду казалась и вовсе фантасмагоричной. И кто знает, может быть, белый кружок дамской визитки грезился ему кружком света в конце кошмарного тоннеля. С каждым днем Ключковский чах и ник. Любой вид тифа сопровождается не только чудовищной общей слабостью, но и галлюцинациями, бредом, полной безучастностью к своей жизни и окружающему миру. Как он еще управлял своим подводным кораблем — одному Богу известно.

8 сентября Грудзинский доложил о болезни командира радиogramмой в штаб флота и получил на выбор два варианта действий: либо ночью осторожно подойти к полуострову Хелла и высадить Ключковского в Гдыне, либо отправить его в шведский порт на Готланде. Но Ключковский отверг и то, и другое. Он «первый после Бога» на корабле повелел идти в Таллин. Белый кружок дам-

кой визитки обладал для него в те горячечные дни непреложностью самого наисекретнейшего приказа. Рыцарь, погонявший морского коня навстречу даме сердца, искренне полагал, что и остальным его пятидесяти девяти оруженосцам будет в Таллине гораздо лучше, чем у суровых шведов или надменных англичан.

Итак, изумив всех — от командующего польским флотом адмирала Унруга до командующего эстонских ВМС капитана Мери, озадачив главу кригсмарине адмирала Редера и Главкома МВФ СССР адмирала Кузнецова, — подводная лодка «Орел» на рассвете 15 сентября вошла в Таллинский порт.

Командора-подпоручика Ключковского отнесли с корабля на носилках и на военной карете «скорой помощи» незамедлительно отправили в Морской госпиталь. Вслед за ним отвезли и еще одного больного — лодочного санитаря Барвиньского.

Как и обещал Ключковский своему экипажу, эстонцы приняли поляков довольно радушно: приготовили весьма сносное жилье в одном из корпусов Морского госпиталя, истопили сауну, прислали свежих продуктов. И все было бы хорошо, если бы воскресным утром 17 сентября в Торговую гавань, где стоял «Орел», не пришел вместе с толпами любопытствующих горожан некий русский эмигрант, назовем его пока господин РЭМ — по первым буквам его печального статуса. Именно ему и суждено было стать тем роковым вестником, который неосторожным словом пустил в действие пружину большой истории, закрученную европейскими политиками и отданную на спуск лишь воле случая. Случая ли, Провидению, Богу было угодно, чтобы на пусковую кнопку нечаянно нажал — себе на погибель, на беду народам и странам — этот самый господин РЭМ, который заговорил с капитаном Грудзинским, курившим на причальной стенке, о своих однокашниках по Морскому корпусу. Грудзинский был немало удивлен, что его прямой начальник, командир дивизиона подводных лодок командор-поручик Александр Могучий учился вместе с этим пожилым бородачом, одетым столь непрезентабельно. Но он был потрясен до глубины души, когда господин РЭМ между прочим обронил, что сегодня утром, как передали по радио, советские войска вторглись в восточные районы Польши и начали движение навстречу германским войскам. Грудзинский попросил повторить это сообщение перед офицерами «Орла». Те выслушали его в мрачном молчании. Теперь ни у кого не оставалось сомнений: капитан Грудзинский прав — надо уходить в Англию и драться за Польшу там. Никаких интернирований! Пока отчизна между молотом и наковальней, бесчестно военным людям благоденствовать за кордоном.

Легко сказать — уходить в Англию, когда на причале и по палубе топчутся чужие часовые, когда выгружены снаряды, сняты с орудий замки и прицелы, изъяты из штурманской рубки все карты и половина торпед лишена запальных стаканов. Легко сказать — уходить в Англию, когда балтийские проливы перекрыты немецкими и шведскими сторожевиками, засыпаны минами, осветительными авиабомбами.

Мысль о побеге из Таллина зародилась в офицерских головах едва ли не сразу, как на палубу «Орла» вступили эстонские жандармы, а в отсеках стали хозяйничать моряки с подводной лодки «Лембит», доставленные на борт польской субмарины, чтобы привести ее в негодность к самостоятельному движению и к бою. Работы им было немало: эстонские офицеры заявили, что им поручено рассоединить гребные валы с электромоторами и дизелями, демонтировать радиостанцию и гирокомпас, выгрузить атрбозапас, вывинтить взрыватели из торпед, изъять штурманские карты. Поляки охотно принялись «помогать» своим иностранным коллегам. О том, как они это делали поведал польский журналист Ежи Пертек в своей книге об «Орле», но об этом чуть позже. А пока важно заметить то, о чем не упомянул Пертек. Все колебания и сомнения насчет побега отпали разом, как только моряки узнали новость, принесенную им господином РЭМом: сегодня утром 17 сентября Сталин напамя Польшу с востока. Страна в тисках меж двух армاد. Благодействовать в тихом Таллине — измена! Надо действовать. И они действовали, «помогая» эстонцам разоружать корабль.

Результатов этой «помощи» не понадобилось долго ждать. В условленную минуту поручник Пясецкий позвал из кормового отсека на палубу эстонского офицера, помогавшего разряжать торпеды. Как только эстонец вышел, матросы Пшондак и Гелдонь перепилили стальной трос, на котором надо было вытаскивать торпеды через люк, и таким образом возникла вынужденная пауза в работе. В порту нужного троса не оказалось. Поиски в других местах затягивали выгрузку до вечера. Не забудем, что дело происходило в воскресенье. Поэтому выгрузку кормовых торпед перенесли на понедельник.

Точно так же и в других отсеках команда саботировала демонтаж агрегатов, но делала это так, чтобы не возбудить подозрений эстонских моряков. Старшина команды радиотелеграфистов боцман Котецкий, вынужденный разбирать гирокомпас под надзором эстонского радиотехника, трудился довольно споро, а когда эстонец перестал его сторожить, ушел в другой отсек, быстро собрал агрегат и запустил его, чтобы ввести в меридиан к моменту

бегства. Эстонскому офицеру, который находился в отсеке и спросил, что это там шумит, он ответил, что включил электромотор дополнительной вентиляции.

Точно так же удалось оттянуть и рассоединение гребных валов, когда хозяин дизельного отсека старший боцман Фотерек категорично заявил эстонцам: «Прежде чем производить демонтаж, необходимо все тщательно вычистить и смазать». Эстонцы не сориентировались и не стали настаивать на ускорении работ. Можно с полной уверенностью сказать, что никто из них не заподозрил команду в замысле побега. Итак, с госпитализацией Ключковского в командование «Орлом» вступил его заместитель Грудзинский.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Капитан флота Ян Грудзинский, воспитанник Львовского кадетского корпуса. 32 года. Невысокий щуплый брюнет. Холостяк. Скромный, тихий, даже робкий, отчего заслужил среди матросов кличку «Паненка» («Девница»). Однако спокойный, упрямый, сильный духом моряк.*

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. *Поручник флота Анджей Пясецкий. 28 лет. Полная противоположность Грудзинскому — рослый, уверенный в себе офицер. Минер. Любимец команды. Кличка — «Пабло». Единственный, кроме Ключковского, женатый офицер на корабле. Родом из Станиславского воеводства. Окончил Гдыньскую школу подхорунжих флота в 1932 году.*

Больше всего Грудзинского и Пясецкого беспокоило то, что «Орел» стоит кормой к выходу из портовых ворот. Но эту проблему неожиданно помогли решить сами эстонцы. Чтобы облегчить выгрузку торпед из кормовых аппаратов, буксир развернул подводную лодку носом на выход. Фортуна сама шла навстречу смельчакам. Список ее благодеяний, пожалуй, завершил план гавани с нанесенными на нее мелями и подводными скалами, который принес после обеда на лодку их утренний герольд — престранный господин РЭМ. Он передал Пясецкому иконку Владимирской богородицы, завернутую в самодельную карту.

— Хоть вы и католики, но Матка Боска у нас одна. Она и может! — пожал он руку на прощание.

Ближе к вечеру двое матросов подрезали швартовые канаты, перекинутые с «Орла» на палы причальной стенки, и кнехты эстонской канонерки «Лайне», стоявшей по корме. Комендоры под водительством матроса Шуберта приготовили германскому торговцу «Талатта», стоявшему неподалеку, прощальный «презент» — связку гранат, которую намеривались бросить на палубу судна.

Рывок от стенки наметили в полночь. Тем временем предстояло подумать, как обезвредить эстонских стражников. Поручник

Пясецкий взял это на себя. Он лично подобрал самых отчаянных матросов и строго-настрого предупредил: снимать часовых так, чтобы не пролилось ни капли эстонской крови.

Вечером в положенный час команда улеглась в койки, ожидая заветной минуты. Только на центральном посту, где подремывал у полевого телефона эстонский унтер-офицер Роланд Кирикмаа, нес вахту у колонок воздуха высокого давления боцманмат Пегза, единственный из команды, кто не сдал свой пистолет. Теперь он надеялся припугнуть им стражника. Второго часового, который топтался по палубе надстройки, должны были снять матросы Олейник и Шведоцкий. Они ждали лишь сигнала поручника Пясецкого.

Около полуночи погасли в порту фонари и лампионы. Причалы погрузились в темноту. Капитан Грудзинский уже хотел было подать сигнал к действиям, как со стороны пирса послышались шаги. Кто-то приближался к подводной лодке. Вглядевшись с мостика в темень осенней ночи, Грудзинский скорее догадался, чем увидел: офицер эстонского флота пришел проверять посты на «Орле».

Время спасительной темноты таяло с каждой минутой. Стиснув зубы, Грудзинский слушал пустую болтовню ночного инспектора по телефону.

Однако проверяющий не был слишком придирчив и вполне удовлетворился дружным храпом спящих в койках подводников. Но через пять минут после его ухода картина резко изменилась.

По знаку поручника Пясецкого, заглянувшего в центральный пост, боцманмат Пегза выхватил пистолет и наставил его на оторопевшего унтер-офицера. В одну минуту тот был скручен, связан и с кляпом во рту унесен в кормовые отсеки. Та же участь постигла и верхнего часового — матроса Бориса Мальштейна. Правда, с ним было сложнее. Стражник прогуливался по причалу возле трапа. При любом неосторожном движении он мог поднять крик, выстрелить в воздух... А по корме «Орла», не забудем, стояла эстонская канонерка...

— Хэй, пойсс! — окликнул его матрос Олейник и жестом показал, что нужны спички раскурить папиросу. Спички нашлись. Завязался разговор на странной смеси польских, эстонских и русских слов. Мальштейн понял, что поляки хотят показать ему лодку, весьма не похожую на ту, на которой он служит. Профессиональный интерес взял верх над долгом часового, и едва Борис вступил за ограждение носового орудия, как две бесшумные тени набросили на него бушлаты, и, даже не охнув, Мальштейн исчез в торпедном люке.

Матрос Покрывка осторожно вынес на мол полевой телефон и поставил его на набережную. Его напарник, старший матрос Хоец-

кий, одним ударом топора перерубил силовой кабель, связывавший лодку с портовой электросетью. «Орел» перешел на питание от собственных аккумуляторных батарей, плотность которых — и это весьма беспокоило Грудзинского — оставляла желать лучшего. Он посмотрел на циферблат — второй час ночи! — и нажал на тангенту ревуна:

— Аларм!

Матросы и подофицеры, которые, казалось, были погружены в беспробудный сон, ожили в долю секунды и тут же разбежались по боевым постам.

— Оба мотора — средний вперед!

«Орел» вздрогнул, дернулся, и в ту же минуту лопнули швартовые канаты, подпиленные накануне. Путь на свободу открыт!

Но радоваться было рано. В порту заметили неладное, и на эстонских канонерках вспыхнули прожекторы. По рубке уходящей субмарины секанули пулеметные очереди. Тихо спавший доселе порт огласился какофонией пальбы, звонков, криков.

Грудзинский, пригибаясь от пуль, велел поворачивать вправо, чтобы обойти вежи, отмечавшие мель: до выхода из каменной коробки порта оставались десятки метров, как вдруг впередсмотрящий, вглядывавшийся в темень моря и ночи с носа, истошно заорал:

— Волнолом по курсу!

Но было поздно. Грудзинский с ужасом услышал скрежет металла по бетону. Нос «Орла» вылез на полметра из воды, и лодка замерла.

— Влипли, пся крев!

Над портовым бассейном злорадно взывала сирена.

Теперь конец. Теперь всех под суд и в лагерь. Напрасно оба винта бурунили за кормой воду: скала цепко держала нос у самого выхода из портовых ворот.

Пулеметные очереди решетили ограждение мостика. Грудзинский, едва сдерживая злые слезы досады, прокричал в раструб переговорной трубы:

— Принять кормовой балласт!

Вся надежда была на то, что, осев на корму, лодка приподнимет нос с проклятого камня. Слава Богу, что в носовом отсеке не было течи.

Похоже, и в самом деле силы небесные были на их стороне — ведь не корысть и не страх гнали их в море, их всех подняла судьба несчастной родины. И тот, кто держал в своей руке нити их жизни, должен был это учесть. И он учел и смиловился. Он послал свежий бриз. Ветер поднял клубы дизельного дыма и скрыл лодку от пулеметчиков неожиданной завесой. А тут и нос корабля — сантиметр за сантиметром — стал сползать с волноломного

камня. «Орел» наконец почувал под собой вольную воду и ринулся в ворота. Напрасно вслед ему били лучи прожекторов и пулеметные трассы. Легкий ветер развешивал за его кормой спасительную пелену выхлопных газов.

Однако удача могла изменить в любую минуту: справа и слева их подстерегали камни и отмели, которыми изобиловала таллинская бухта; надо было ожидать погони канонерок, атак с воздуха. Да и тяжелые береговые батареи уже поводили своими стволами в поисках цели.

Не дожидаясь залпа с острова Нарген, где еще с первой мировой войны стояли башенные батареи дальнобойных орудий, Грудзинский велел погружаться. Благо глубины здесь приближались к двадцатиметровой отметке. Маловато, но укрыться можно. «Орел» исчез с поверхности ночного моря под первые всполошные залпы. Пройдя пару миль под водой, Грудзинский положил субмарину на грунт: аккумуляторные батареи разрядились «почти до воды». Приказ «по койкам!» команда выполнила с большим удовольствием. Изнуренные ночными тревожностями люди засыпали мгновенно, не озабочаясь своим ближайшим будущим.

Остаток ночи прошел спокойно, а поутру, когда на поверхности рассвело, те, кого не сморил мертвый сон, услышали далекие подводные взрывы. Это эстонские корабли сбрасывали запоздалые глубинные бомбы. Несколько раз их винты взбивали воду над самой рубкой затаившегося «Орла», но богиня удачи миловала их и на этот раз.

Дождавшись темноты, Грудзинский велел всплывать. Всплыли. И тут же начали зарядку батарей на виду у низких лесистых берегов Наргена, которые в любую минуту могли озариться вспышками беспощадного кинжального залпа.

Мало-помалу грозный остров уходил за корму. Впереди было открытое море.

ПОЛЕТ «ОРЛА» ВСЛЕПУЮ

Избежав многих опасностей в таллинской бухте, «Орел» шел навстречу множеству других. Балтика была уже не просто морем, а театром военных действий, на котором безраздельно господствовали корабли германского флота. Немцы, прекрасно осведомленные о бегстве «Орла», готовы были начать, если уже не начали, охоту за почти безоружной подводной лодкой.

Конечно, можно было бы уже на следующие сутки интернировать в Швеции, как это сделали командиры «Рыси» или «Вил-

ка». Но Грудзинский решил, и все его поддержали — прорываться в Англию.

Потом даже англичане признают, что это была одна из самых героических авантур второй мировой войны. «Орел» пустился в тысячемильное плавание вслепую: в штурманской рубке не было ни одной карты! Весь походный комплект был изъят эстонскими властями. Не надо быть моряком, чтобы понять, что поджидало подводную лодку в тесных извилистых проливах Скагеррак и Каттегат, плавание по которым даже в мирное время, в спокойное море, ясную погоду считалось своего рода «морским слаломом», где, не дай Бог, собьешься с рекомендованного курса и пойдешь считать форштевнем банки, бары, мели, подводные скалы, островки. А минные поля, которыми немцы успели перекрыть Зунд? А патрульные сторожевики, которые дежурили днем и ночью в теснинах балтийских сцилл и харибд? А самолеты «Люфтваффе», барражировавшие над проливной зоной? Тут и с самыми точными картами куда как рискованно было соваться в «лабиринт смерти».

Но не зря ведь говорят: голь на выдумки хитра. Штурман «Орла» подпоручник Мариан Мокрский по памяти начертил абрис балтийских берегов. То же сделали и все офицеры подлодки. Потом Мокрский выполнил сводный чертеж. Разумеется, с такой «картой» можно было наскочить на любую подводную скалу, как и без нее. Но, на великое счастье, Мокрский нашел в штурманском ящике томик, который остался там по недосмотру эстонского чина. Это были изданные в Германии «Список маяков Балтийского моря». Вот по ним-то от маяка к маяку, как слепой перебирает фонарные столбы, и вел Грудзинский подводную лодку. Благо по ночам «Орел» всегда шел в надводном положении.

В Таллине наутро после бегства недоинтернированного «Орла» разразился грандиозный скандал. Особенно злорадствовали берлинские газеты из ведомства господина Геббельса, первыми пустившие «утку» о замученных коварными поляками эстонских часовых, захваченных и утопленных в море. Однако, спустя три дня незадачливые стражники объявились живыми и невредимыми в Швеции. Налетевшим репортерам они поведали подробности своей нечаянной подводной одиссеи. Поляки после столь неджентльменского приглашения к вояжу обращались с ними в высшей степени корректно. И только на третий день похода вынуждены были предложить весьма неуютное и рисковое плавание в надувной лодчонке к берегам острова Готланд. После отчаянной гребли Кирикмаа и Малыштейн поставили рекорд Балтии по заезду на резиновых шлюпках, преодолев восьмимильную дистанцию за считанные часы. Разумеется, на родине их примерно наказали.

Но оба героя поневоле до конца дней хранили газеты со своими портретами на первых полосах и память о самом необычном приключении в жизни.

Тем временем «Орел», обогнув Готланд с востока, а Борнхольм с севера, приближался к «балтийскому Босфору» — проливу Зунд. В течение трех суток, то всплывая, то погружаясь, то ложась на грунт и снова подвсплывая, чтобы определиться по очередному шведскому маяку, польская субмарина пробиралась смертельно опасным коридором в Северное море. Было все, отчего сердце замирало, казалось, в последний раз: и луч прожектора немецкого эсминца упирался прямо в боевую рубку, и ледящий душу скрежет минрепа, задетого рулем глубины и потянувшего к борту мину. Но фортуна осталась верной смельчакам до конца отчаянного предприятия.

14 октября 1939 года около 11 часов утра «Орел» привлек внимание британского эсминца «Валорус», который, опять-таки по счастью, не принял польскую субмарину за немецкую подлодку, и после недолгих выяснений, привел ее в военно-морскую базу Розайт.

Самодельная карта «орловцев» до сих пор хранится в Лондоне — в Польском музее, повергая хладнокровных сынов «владычицы морей» в немалое изумление. Как тут не вспомнить злополучный инцидент со «шведским комсомольцем» — подводной лодкой С-???, которая при всех нужных картах и навигационной электроники, выскочила на мель в шведском фиорде, спустя сорок лет после прорыва вслепую своей однотипной сестры...

Итак, «Орел» счастливо достиг берегов туманного Альбиона. Этот микроскопический эпизод в общей панораме уже завязавшейся второй мировой войны приобрел вдруг роль того рокового камешка, который увлекает за собой грозные горные обвалы.

Едва первые утренние газеты сообщили о бегстве польской подводной лодки из таллинской гавани, как в тот же день в Москве разразился грандиозный военно-дипломатический скандал. Точнее спектакль, где все действие было давно расписано по ролям и пунктам. Ждали лишь рывка за шнур, поднимающий занавес. Шнур этот нечаянно потянул за собой «Орел».

О, если бы президент Эстонии Константин Пятс знал, что с этого момента шнур этот станет затягиваться на его шее и утащит его в нквдэшный изолятор города Калинина, где жизненные силы и покинут брренное тело.

Если бы господин РЭМ мог догадаться, что, послужив неосторожным вестником командиру «Орла», он в тот же миг предрек и себе затяжную гибель в недрах ГУЛАГа.

О, если бы пани Марина почувствовала, что, легкомысленно обнадежив Ключковского, она по мановению рока перенесется вдруг из уютной квартиры на Суур-Нарья в глинобитную хижину прииртышского айла.

Из дневника командующего эстонскими ВМС капитана Мери:
«Ночью мне позвонил домой мой адъютант и сообщил, что интернированная польская подводная лодка обратилась в бегство, и главнокомандующий дал приказ начальнику Морской крепости открыть по ней огонь. Одновременно адъютант сообщил по указанию главнокомандующего, что мне нет необходимости являться в штаб, так как оперативному отделу не дано поручения в связи с бегством подводной лодки. В то же время с моря слышались глухие звуки артиллерийской стрельбы. Они доносились со стороны Морской крепости, которая открыла огонь по уходящей польской подводной лодке. Для получения более подробной информации позвонил начальнику Морской крепости полковнику К. Фрейману, который пояснил, что с Аэгна и Найсоара была замечена подводная лодка, двигавшаяся в подводном положении. После первых выстрелов, преградивших путь лодке, она остановилась. В Морской крепости решили, что подлодка отказалась от попытки бегства, и прекратили огонь. Вскоре было замечено, что лодка погружается. Морская крепость вновь открыла огонь, однако подлодка быстро скрылась под водой. Бегство интернированной подводной лодки вызвало острую критику. Ответственные должностные лица обвинялись даже в пособничестве бегству. Следствием не было установлено, что с нашей стороны бегству было оказано прямое содействие. В то же время в Эстонии говорили, что бегству подлодки способствовала эстонско-польская дружба, и в этом была частичка правды. Польша относилась к Эстонии дружески, и наш народ также глубоко сочувствовал польскому народу, ставшему жертвой агрессии.

Руководство Военно-морскими силами при выполнении своих функций также не намеревалось проявлять жестокость по отношению к своим братьям по оружию — польским морякам.

Когда поляки в субботу попросили разрешения сходить в баню, а затем еще раз переночевать на лодке, то руководству по-человечески было тяжело отказать в этой просьбе. Организованная охрана интернированного судна в виде двух постов не отвечала требованиям момента. Два дежурных поста не в состоянии воспрепятствовать побегу лодки с полным комплектом команды на борту, если не приняты другие меры предосторожности. Можно было откачать топливо с корабля, однако на это не было указания на-

чества Военно-морских сил. У нас было распространено мнение, что поляки пришли к нам добровольно, что им хорошо у нас, что у них никаких причин к бегству нет. Поэтому надзору за ними должного внимания не уделялось.

Возможно, что и сами поляки придерживались того же мнения, однако позже возникло новое обстоятельство, которое изменило положение. Дело в том, что рано утром 17 сентября им стало известно, что Советский Союз напал на Польшу.

Польским подводникам и в голову не могло прийти, какой бурный шлейф из всевозможных политических событий потянется за кормой «Орла». Еще меньше они могли подозревать, какую роскошную услугу оказали сталинскому МИДу своим побегом.

В сентябре 1939-го в Прибалтике начался тот процесс, который провидчески предсказала за двадцать лет до этого пифия российской смуты Зинаида Гиппиус: «Начинаются «мирные» переговоры с прибалтийскими пуговицами¹. Знаю, что будет, — одного не знаю: сроков, времен. Сроки не подвластны логике. Будет же: большевики с места начнут вертеть перед бедными пуговицами «признанием полной независимости». Против этой конфетки ни одна современная пуговица устоять не может. Слепнет и берет, хотя все зрячие видят, что в руках большевиков эта конфетка с мышьяком. Развязанными руками большевики обработают данную «независимую» пуговицу в «советскую», о, тоже самостоятельную и независимую!»

Все так и вышло. После пакта Молотова—Риббентропа большевики принялись обрабатывать независимую эстонскую «пуговицу» в советскую.

«Держат в одной руке заманчивую конфетку «независимости», — утверждала Гиппиус, — другой протягивают петлю и зовут: «Этот, поди в петельку. Латвийка уже протянула шейку». Перед далекими великими и глупыми (оглупевшими) державами они будут бряцать краденым золотом и поманивать мифическими «товарами».

Застегивание прибалтийских «пуговиц» на имперском мундире Сталин начал с Эстонии. Как раз в сентябре и решалась ее судьба. Официально переговоры в Кремле посвящались заключению договора о взаимной помощи между СССР и Эстонской республикой, но ни президент Пятс, ни посланный им в Москву ми-

¹ «Прибалтийскими пуговицами» Гиппиус называла Литву, Латвию, Эстонию. При этом оговаривалась, что при всей своей симпатии к народам этих стран под определением «пуговицы» она имеет в виду их историческую функциональность: «Когда надо — отстегнут, когда надо — пристегнут».

нистр иностранных дел Карл Сельтер, ни сопровождавшие его председатель Государственной думы профессор Улуотс и профессор Пийп не строили иллюзий: договор навязывался как ультиматум и самым скорым, самым первым следствием его будет вторжение Красной армии.

Проблема ввода войск в Эстонию (а затем и в остальную Прибалтику) была решена в Кремле сразу же, как только Молотов и Риббентроп подписали секретные дополнительные протоколы. Вопрос «когда?» был риторическим — немедленно. Но повод? Нужен был веский предлог для перехода эстонской границы, равно убедительный как для своего — советского народа, так и для эстонского, для всей Прибалтики, Европы, наконец, для мирового сообщества.

Можно только представить, как довольно хмыкал Сталин, раскуривая трубку над газетой с сообщением о бегстве польской субмарины из Таллина. Чем не повод? Надо только вбить всем в мозги, что это очень опасное бегство. На подлодке торпеды. И поляки, уязвленные вступлением СССР в Восточную Польшу, всенепременно должны отомстить Советскому Союзу. Они должны, нет, просто обязаны напасть на советские суда. Должны быть жертвы. И они обязательно будут. Достаточно снять телефонную трубку, и жертвы польских пиратов появятся в самом скором времени. Молотову было поручено объяснить эстонской делегации, как опасно то, что натворил Таллин, — бросил в море зубастую щуку. Ну а поиском «жертв» займется НКВД. Не теряя времени, нарком иностранных дел вызвал к себе эстонского посланника к часу дня 19 сентября 1939 года.

«Молотов просил предостеречь правительство Эстонии, — общал посланник А. Рей своему министру в Таллин, — самым серьезным образом и сообщить, что правительство СССР разрешит своему флоту предпринять поиски польской подводной лодки также в ближайших окрестностях Таллина, так как оно не может позволить оставаться лодке в море, поскольку она вооружена торпедами».

На следующий день «вся королевская рать», эскадра Краснознаменного Балтийского флота во главе с новейшим крейсером «Киров», вышла в ближайшие окрестности Таллина.

Взбужденные обыватели, не искушенные в тонкостях протокола, провидчески предрекали: это морская блокада. Это надолго!

Но что за охота без выстрелов? 25 сентября начальник таллинского отделения пограничной охраны доносил главе своего ведомства: «В 13.20 минут с кордона Пяриспеа Локсаского района были замечены двигавшиеся курсом с северо-востока на запад два советских миноносца. Один из них уменьшил ход и произвел в 13.30

3—4 выстрела из носовых орудий в направлении залива Эру. После стрельбы миноносец повернул курсом на северо-запад и сделал две очереди из пулемета в неизвестном направлении. Полковник А. Лююс».

Страсти нагнетались в соответствии со сценарием, соавторство которого принадлежит по крайней мере представителям четырех наркоматов: НКВД, Наркоминдел, НКВМФ и ведомство гражданского флота СССР.

В эти же дни, когда советские эсминцы палили вдогон «польским подводным пиратам», Молотов выговаривал министру иностранных дел Эстонии Карлу Сельтеру, приглашенному в Москву, совсем по другому поводу.

Молотов: «Побег интернированной польской подводной лодки из Таллина показывает, что правительство Эстонии не очень заботится о безопасности Советского Союза. Правительство Эстонии или не хочет, или не может поддерживать порядок в своей стране и тем самым ставит под угрозу безопасность Советского Союза. Письменное разъяснение эстонского правительства по этому вопросу, переданное посланником А. Реем, неубедительно. Вы же признаете, что механизмы подводной лодки имели определенные неисправности. Следовательно, и, впрочем, это подтверждает и наша информация, что подводная лодка была отремонтирована в Таллине, снабжена топливом, ей были оставлены 6 торпед и дана возможность уйти. Разъяснение эстонского правительства не опровергает это сомнение. Таким образом, в море оказалась подлодка, представляющая угрозу для советского флота. Советский Союз, у которого на Балтийском море значительные интересы: большой порт в Ленинграде, большие военные и торговые флоты, ничем не защищен от подобных неожиданностей и в будущем. Выход из Финского залива находится в руках других государств, и Советский Союз вынужден мириться с тем, что они делают в устье этого залива. Так дальше не может продолжаться. Необходимо дать Советскому Союзу действенные гарантии для укрепления его безопасности. Политбюро партии и правительство Советского Союза решили потребовать от правительства Эстонии таких гарантий и для этого предложить заключить военный союз или договор о взаимной помощи».

Сельтер слабо сопротивлялся:

«По правилам нейтралитета заход подводной лодки одной из воюющих сторон в порты Эстонии как нейтрального государства запрещен, за исключением некоторых частных случаев.

В нашем разъяснении указано, что подводная лодка обосновывала заход именно аварией и потому требовала потом своего осво-

бождения. Однако правительство Эстонии нашло, что поломки механизмов не препятствовали движению лодки и поэтому не подпадали под понятие аварии. Только тот факт, что подводная лодка имела способность двигаться, дал нам право интернировать ее. Если бы лодка не могла двигаться из-за неисправности механизмов, то мы не смогли бы ее интернировать. Поэтому обвинение в том, что будто бы интернированная подводная лодка была приведена в порядок Эстонией, необоснованно. Мы не знаем, устранены ли обнаруженные в механизмах неисправности к настоящему моменту.

Что касается побега польской подводной лодки, то могу еще раз подтвердить, что в этой истории нет оснований подозревать эстонское правительство ни в содействии побегу, ни в небрежности. Напротив, правительство Эстонии и официальные власти согласно своим возможностям приложили все силы для того, чтобы задержать подводную лодку. Если ей все же удалось бежать, то это в значительной мере несчастный случай, о котором мы сами больше всего сожалеем.

Наивный, он еще надеялся отспорить отсрочку вторжения. Но Молотов был непреклонен:

— Мы считаем этот инцидент с подводной лодкой очень серьезным, а также рассматриваем его как симптом. Эта лодка может нанести большой ущерб судоходству Советского Союза.

Раз может, значит, нанесет. «Аннушка уже пролила подсолнечное масло». Из Ленинграда уже вышел обреченный пароход. За ним — другой. А в ведомстве Берии перебирали фотографии балтийских подводных лодок: какая из них силуэтом своим больше всего похожа на польского «Орла». А спустя несколько дней ТАСС был «уполномочен заявить»: «Нападение неизвестной подводной лодки на советский пароход «Пионер».

Дипломатический скандал, вызванный бегством подводной лодки «Орел» из таллинского порта, приобретает новую окраску: Сталин, используя формальный повод, начинает разыгрывать «прибалтийскую карту». Правительство Эстонии, по сути, ставится перед фактом оккупации частями Красной армии независимого государства.

«ЗА ЗДОРОВЬЕ ПРЕЗИДЕНТА ЭСТОНИИ»

«Ленинград, 28 сентября (ТАСС). По радиосообщению капитана советского парохода «Пионер», 28 сентября около 2 часов ночи при входе в Нарвский залив он был атакован неизвестной подводной лодкой и был вынужден выброситься на камни в районе банки

«Бигрунд». К месту аварии парохода ЭПРОНом высланы спасательные партии. Команда парохода находится вне опасности».

Несколько раньше, но только в радионовостях появилась информация о торпедировании неизвестной подводной лодкой в Финском заливе советского парохода «Металлист». Сообщалось о жертвах.

Теперь разговор с Сельтером шел на других тонах. Молотов объявил ему и членам делегации новые условия советского присутствия в Эстонии: помимо морских и авиационных баз в Моонзунде в пределы республики должна была войти 35-тысячная Красная армия.

Сельтер отчаянно сопротивлялся.

— Это же ультиматум! Это вторжение! Вы хотите уготовить Эстонии судьбу Польши!

Молотов бесстрастно разглядывал его сквозь стекла пенсне, потом снял трубку внутреннего телефона:

— Товарищ Сталин, подойди. Господин Сельтер и другие эстонские господа возражают против наших новых предложений. Называют это «оккупацией» и другими страшными словами. Приходи помочь убедить их в необходимости нашего предложения.

Сталин возник в комнате так быстро, как будто стоял за дверью. Сельтер повторил вождю всех народов свои аргументы и добавил:

— Польская подводная лодка бежала в направлении Готланда, где она высадила двух наших матросов. Поэтому советский пароход был торпедирован совсем другой субмариной, и мы не можем нести за нее ответственность.

Сталин выдерживал паузу, достойную его международного сана. Вместо него отвечивал Молотов:

— События последних дней показывают, что у Советского Союза отсутствует какая-либо безопасность. И я могу сделать только такой вывод: где-то в Финском заливе имеется место, где чужие подводные лодки могут базироваться и снабжаться горючим. В море, на пороге Ленинграда, торпедируют и топят суда Советского Союза, тонут советские моряки! А мы разглагольствуем о том, кто куда каким курсом пошел! Я могу даже допустить, что это была английская подлодка. Факт тот, что Эстония не может обеспечить безопасность СССР в Финском заливе.

Сельтер недоуменно пожал плечами:

— Но, господин Молотов, современные подводные лодки не нуждаются пока ни в каких тайных промежуточных базах в Финском заливе. Они способны брать на борт более чем шестинедельный запас топлива. С начала же войны, позволю себе вам напо-

нить, прошло всего лишь четыре недели. После вашего намека, что Эстония тайно заправляет подлодки третьих государств, ваше предложение о вводе в нашу страну 35-тысячной армии я могу рассматривать лишь как наказание Эстонии за бегство польской подводной лодки!

Голос Сельтера дрожал от возмущения, но логика в его возражении была столь очевидной, что Сталин поспешил прийти на помощь своему наркому:

— Наше новое предложение не имело в виду наказание. Это средство защиты. Мы не знаем, кто помог побегу польской подводной лодки из Таллина. Мы во всяком случае не виноваты в этом, — усмехнулся вождь, давая понять глубину своего мрачного юмора. — Мы верим, что правительство Эстонии также не виновато. Однако в Эстонии, очевидно, гнездятся международные силы, которые занимаются подобными делами. Когда вы заключите с нами договор, то одним этого покажется мало. Другие же скажут, что нашу страну продали. Могут возникнуть распри и диверсии. Их надо избежать. Для этого и нужно разместить в Эстонии сильное соединение Красной армии. Тогда никто не осмелится предпринять подобное.

Сельтер на минуту воспрянул духом — сам Сталин снял обвинение с эстонского правительства в пособничестве побегу польской лодки. Еще не все потеряно. Остается только рассеять миф о «международных силах» и диверсиях.

— Уверяю вас, наш народ с удовлетворением примет договор о помощи, и никаких эксцессов, никаких диверсий не будет.

Сталин посмотрел на него, как гимназический инспектор на приготовишку.

— Народ везде хороший. Однако среди народа есть плохие деятели. Они имеют такие цели, о которых народ не знает и которые народу наносят вред. На этих днях вблизи Одессы произошло крушение военного железнодорожного поезда. Однако, смотрите, нашелся кто-то, кто организовал это крушение. Через Эстонию засылали в Советский Союз тысячи шпионов, которых мы ловили и многих, к сожалению, расстреляли.

Сталин вдруг поперхнулся трубочным дымом, закашлялся. Молотов подал ему бокал с минеральной водой.

Вождь отодвинул его в сторону.

— Я не люблю, — отчеканил он, в упор глядя на Сельтера, — сельтерскую воду.

После непродолжительных торгов о численности вводимых войск секретари положили на стол тексты Договора на русском и эстонском языках. Тяжело вздохнув, Сельтер поставил свою подпись.

На банкете по случаю подписания советско-эстонского договора Сталин поднял бокал с вином и, к удивлению присутствующих, произнес с трудом заученную фразу:

— Презеденди тэрвисек йя ээстимаа!¹

Таллин. Осень 1939 — весна 1940 года

Гюйсшток крейсера «Киров» створился с гранеными пиками таллинских кирх. Тяжело и раскатисто загрохотала якорь-цепь. Эстония молча надевала сталинские наручники. Все обещания не изменять государственный строй республики оказались такой же тактической ложью кремлевских большевиков, как и обещания собственному народу земли, мира и хлеба в 17-м году.

В назидание потомкам следует заметить, что вся эта военно-дипломатическая шумиха вокруг бежавшего «Орла» в конечном итоге не принесла большевистским стратегам ни грана пользы. Более того, таллинская бухта, куда им и так не терпелось ввести свои корабли, едва не стала для красного Балтфлота смертельной ловушкой. За выход из нее в августе 42-го они заплатили цену в тысячи жизней моряков и пассажиров, уходивших на караванах разношерстных судов по минным полям, под дождем авиабомб. Независимые историки называют кровавый таллинский переход «советской Цусимой». И в том есть большая доля правды...

И все-таки они встретились — Хенрик и Марина. Сначала она пришла навестить больного командора вместе с мужем — паном торговым советником Тадеушем Крыжановским. Они приехали в Морской госпиталь в посольском авто с красно-белым — в цвет польского флага — букетом гвоздик, коробкой пирожных и бутылкой «Старого Таллина».

Это был почти протокольный визит к почти национальному герою, к тому же вроде бы как к доброму знакомому.

Потом, когда национальный герой поправился, его тут же, в Морском госпитале, перевели на положение интернированного комбатанта. И опять его посетила пани Крыжановская, на сей раз без мужа, но с букетом бело-красных гвоздик. Вряд ли у кого могли возникнуть сомнения в истинных целях этого визита. Сотрудница польского посольства оказала моральную поддержку своему компатриоту, попавшему в почетную неволю. Должно быть, прекрасной пани льстило то, что весь этот страшный шум, который поднялся в Северной Европе по поводу захода «Орла» в Таллин, а

¹ За здоровье президента Эстонии! — (эст.)

потом его бегства из гавани, был учинен, в общем-то, из-за нее. Впрочем, об этом знали пока лишь двое — она и Хенрик.

Заключение Клочковского длилось не долгие месяца. Установив, что командир «Орла» ни коим образом не причастен к побегу своей субмарины, эстонские власти выпустили Клочковского на волю в конце октября. Чуть позже освободили из-под стражи и второго члена команды — санитаря Барвиньского.

Он бродил по улочкам Старого города: было о чем подумать — шутка ли заново начинать жизнь в 37 лет. Да еще на чужбине. Впрочем, Таллин был знаком ему по прежним визитам польских кораблей. Но тогда это был город уютнейших баров-погребков, фешенебельных магазинов, нарядных женщин с благосклонными взорами. А ныне нескончаемый осенний дождь с плеском резался об острые кровли пепельно-серых башен.

Одичавший без парусов морской ветер шатался по городу, словно списанный боцман-пьянчуга — ломился во все двери, крушил фонари, выл и стenal. Этот город был ловушкой для ветров. Влетев с моря в каменные лабиринты Тоомпеа лихие норд-осты и весты, быстро умеряли свой пыл в извивах тесных переулков.

Город брошенных капитанов и беглых кораблей.

Сняв дешевый гостиничный номер в Старом городе (гостиница «Балти» близ Монастырских ворот), Клочковский смог встретиться с Мариной уже без пригляда лишних глаз. Он дорого заплатил за это свидание: кораблем, командирством, добрым именем, судьбой эмигранта поневоле, наконец...

Бегство «Орла» он воспринял как измену старшего офицера Грузинского лично ему командору-подпоручнику Клочковскому. У них и до этого похода были довольно натянутые отношения. И вот теперь, полагал брошенный на берегу командир, тщеславный авантюрист, добился, наконец, безраздельной власти на корабле.

То, что его бросили в госпитале и ушли, он переживал как личный позор и тяжелый удар. Так в старину высаживали неугодного капитана на чужом берегу или пустынном острове...

Возможно, со временем, особенно после гибели «Орла», Клочковский и переменял свой взгляд, понял, что другого выхода у его офицеров не было, чтобы спасти честь флага и корабля, что он, его судьба, была принесена в жертву н е в о л ь н о

Ему оставалось утешаться только тем, что он всецело вознагражден любовью желанной женщины.

За то, что он швырнул к ее ногам свое командирство, за этот, отнюдь не воинский подвиг, но подвиг влюбленного сердца, fortuna — она ведь тоже женщина! — даровала ему жизнь. Он не по-

гиб в глубинах Северного моря. Он будет жить долго, быть может, терзаясь своим выбором, сделанным на десятый день войны. Он он будет жить...

А она? Они встретились в странном, если не сказать, страшном мире. Лежала в руинах Варшава. Их страна, их отчизна, в который раз была расчленена, поделена, стерта с карты Европы. У них ничего не было, кроме шального счастья их любви.

К декабрю Клочковский перебрался на жительство в Тарту. Сюда он выписал из Польши и свою чудом уцелевшую в огне войны семью. С Мариной же общался теперь только письмами. В последний раз Клочковский и Марина встретились в апреле 1940 года. Хенрик приехал в Таллин по делам и назначил встречу там, куда во все времена стремились влюбленные парочки — в Кадри-орге, в приморской дубраве старинного парка. Впрочем, вряд ли они догадывались, что это их последняя встреча. Кто мог сказать им тогда посреди моря цветущей сирени, что этим летом Эстония станет одной из советских республик и доблестные чекисты нанесут визит в квартиру пана торгового советника Крыжановского. Достаточно было того, что его фамилия значилась в списках посольства бывшей Речи Посполитой. Крыжановский загребел в лагерь для польских чиновников и офицеров под Осташковом, а его супруга, очаровательная пани Марина, была выслана в Сибирь, на Иртыш, в черную дыру под названием Черноречк. Именно таким должно было показаться ей после милого уютного Таллина это глухое степное селение, где среди глинобитных казахских хижин отбывали ссылку представители польской знати.

Клочковскому повезло. Его не тронули. Забыли. Потеряли. Бывали и в доблестных органах отдельные недоработки. Бывший командир «Орла», забрав семью и нехитрые пожитки, перебрался в Ленинград, оттуда в Москву. Еще через год судьба его решилась окончательно. Под Тулой началось формирование первого польского соединения в СССР — пехотной дивизии имени Костюшко. По договору с правительством Сикорского все польские летчики и моряки, находившиеся на территории Советского Союза, направлялись в Англию. В 1942 году Клочковский с группой польских авиаторов прибыл в Лондон и сразу же угодил под военный суд.

У каждого настоящего подводника любовь к женщине и любовь к своему кораблю сливаются в одно неразделимое чувство. Клочковский разделил его и выбрал женщину. Он принес ей в жертву свой шанс войти в историю флота Польши. Его место в ней занял его заместитель — капитан Ян Грудзинский. Он был награжден серебряным крестом высшего военного ордена Польши «Виртути Милитари», награжден британским орденом, о нем были

написаны стихи, песни, книги, снят фильм. Все это стоило ему половины непрожитой жизни. Клочковский пережил его почти вдвое. За это ему пришлось поплатиться офицерским чином, Родиной, добрым именем. Никто не знает его последних слов. Никто не знает, был ли он счастлив в конце концов...

Бывший матрос с «Орла» Томаш Пшондак¹ горячо защищал честь Клочковского в своих неопубликованных воспоминаниях. Но это уже было после войны. А тогда, в сорок втором, никто из его команды не смог выступить на суде в защиту бывшего командира, так как «Орел» уже с год как лежал на дне Северного моря. Обвинение во многом основывалось на предположениях и легендах, блуждавших вокруг имени командора-подпоручника. Так или иначе, но военно-морской суд разжаловал Клочковского в матросы и приговорил к тюремному заключению. Правда, на практике последняя мера применена не была. Клочковский нанялся матросом на американское торговое судно и даже сумел отличиться в одной из конвойных операций. В 1944 году прокурор Высшего военного суда внес представление на пересмотр приговора и снятие наказания с Клочковского. Но это представление положили под сукно. Клочковский на родину больше никогда не вернулся. Он умер в Америке в конце пятидесятых годов.

ВИД НА РАКЕТУ ИЗ ЮРТЫ

Байконур. Апрель 1985 года

Я никогда не думал, что финал романа Хенрика Клочковского и Марины Крыжановской дочитаю — и где! — на космодроме Байконур.

А получилось так. Где-то в конце 1984 года меня пригласили в отдел культуры ЦК КПСС, и куратор Союза писателей, бывший военный моряк Виктор Степанов сказал:

— Хватит писать о подводниках. Переключайся на космонавтов.

Короче говоря, мне был предложен государственный заказ на роман о космонавтах. Впрочем, не мне одному, а целой группе писателей. Благо сам тогдашний генсек Юрий Андропов высказал пожелание запечатлеть героический труд покорителей космоса в литературе крупномасштабного жанра. Предложение показалось не просто интересным, а лестным: шутка ли, получить космический «госзаказ» на втором году членства в Союзе писателей. Привлекала

¹ Т. Пшондак — единственный, кто уцелел из команды «Орла». По болезни он не смог пойти в последний поход подводной лодки, ставший роковым...

грандиозность техники, возможность интересных знакомств и, как недвусмысленно намекалось, возможность участия в одном из полетов в космос, если позволит, разумеется, медицина. Я почти не сомневался, что в свои тридцать семь смогу пройти врачебную комиссию... В общем, от перспектив слегка кружилась голова.

Роман о советских космонавтах я так и не написал. Во-первых, потому что к нам с Валентином Сафоновым, писателем из Рязани, которого, видимо, также прельстила возможность слетать в космос, сразу же приставили двух бравых подполковников из службы режима; они не отходили от нас ни на шаг даже в коридорах космодромной гостиницы, где мы жили в очень близком соседстве. А во-вторых, к своему счастью, я все же довольно быстро понял, что романы по заказу не пишут. А если пишут, то получается все что угодно, только не романы.

И все же я никогда не пожалею о том апреле, проведенном на Байконуре. Я видел своими глазами одно из величайших зрелищ на планете — старт космического корабля...

Помимо бравых и приятных во всех отношениях подполковников (право, очень толковые и даже остроумные ребята) нас сопровождал по стартовым площадкам еще один подполковник — начальник штаба полка, осуществлявшего запуски космических кораблей. Местный. Звали его Владислав Подгурский. Невысокий, светловолосый темпераментный крепыш — полная противоположность стражам космических гостайн. Показывая нам с Сафоновым свои многосложные объекты, он рассказывал как раз именно то, что, по мнению наших обаятельных конвоиров, было «не для печати». Живой, веселый, острый на язык, Подгурский нам очень понравился, и мы с коллегой даже побаивались за него — не нагорело бы ему потом от начальства за подобную откровенность.

Его пояснения, воспоминания, космодромные байки и засекреченные трагедии так и просились в будущий роман. Но это было бы совсем не то произведение, которое чаял высокий заказчик...

Ему нравилось удивлять нас, нравилось, что мы то и дело доставали свои блокноты и торопливо записывали за ним. Конечно же москвичу по рождению и духу весьма наскучила пятнадцатилетняя жизнь в казахской степи, в военном городке, который хоть и назывался главной космической гаванью страны, но (по сути дела) был призрачной армейской «гарнизой». Я видел, как хотелось ему пообщаться наедине, без соглядатаев, поделиться всем, что накопилось в душе за все эти годы. Но... Но случай вскоре представился.

...Огромная серо-зеленая ракета с оранжевым навершием, стояла над бетонным кратером, обожженным реактивным пламенем

всех предыдущих стартов. Над ней курился белый парок жидкого кислорода, отчего она походила на паровоз, готовый к отправлению. Однако старт по техническим, а может, еще по каким-то обстоятельствам перенесли на несколько часов. Торчать все время в командном бункере, откуда нам разрешили наблюдать запуск, не хотелось. Я углядел в километре от площадки чабанскую юрту, поразился близости ее от космического причала и вообще соседству столь немыслимо разных сооружений — юрты и ракеты.

— Можем съездить посмотреть, — предложил Владислав, и наши неизменные провожатые милостиво разрешили нам сгонять к юрте на дежурном газике — одним. Уж там-то, в юрте, полагали они, никаких космических тайн нам не выведать. Да мы с Сафоновым и не собирались ничего выведывать. Из принципа. Оба решили, что никаких романов писать не будем. Мог ли я тогда предполагать, что именно в этой юрте мне откроется финал совсем другого романа, который поведет и захватит меня спустя семь лет...

Хозяин юрты, чабан местного военного совхоза, встретил подполковника Подгурского как старого, доброго знакомого. Да и не мудрено. Владислав много лет обеспечивал безопасность стартов для местных жителей, удаляя из зоны всех посторонних. Но чабанов никогда не трогал.

Хозяйка, буролицая казашка, варила в казане творог. Хозяин, усадив нас на кошах, принес самовар, раздутый на кизяке, поставил миску с беремшой — вареным, а затем сушеным творогом, решето с сушками, пряниками и печеньем, явно местного, военноторговского, происхождения...

За пиалой зеленого чая я спросил у Владислава его отчество, и услышал: Вацлавович.

— Так ты поляк? — спросил я его (мы были с ним ровесники).

— Да, — усмехнулся он. — Мамаша моя отколола номер. Гордая пани из шляхетской семьи вышла замуж за хлопа...

— Он рассказывал историю мамыши, по привычке к острому словцу чуть ерничая, переводя ее на комичный лад. Сначала это походило на «укрощение строптивой»: советский летчик, белорусский поляк из крестьянской семьи взял в жены избалованную аристократку, долго и безуспешно перевоспитывал ее на советский манер. Было множество забавных моментов для современного Шекспира. Мы смеялись...

— А где же он ее нашел такую?

— А в Сибири. Мамашу мою выслали туда из Таллина, как жену буржуазного дипломата. А неподалеку от улуса или айла, где она жила во время войны, был перегонный аэродром. Папа-

ша мой перегонял лендлизовские самолеты, шедшие из Америки, и, не будь промах, углядел ясновельможную пани. Той терять было нечего — вышла за него замуж. Ну и, конечно, карьере ему подрезала. Дальше командира эскадрильи он не пошел. Да и мне тоже анкету подпортила. Я ведь, как батя, летчиком хотел быть. В военное училище не взяли из-за сомнительного происхождения. Поступил в МАИ. Правда, тут мамашинного кузена сделали премьер-министром братской Польши... Ярошевич, может слышали?

Съездила в тур на историческую родину. Не знаю, как там протекала у них встреча на высшем уровне, но только вскоре после ее визита вызывают меня куда надо и спрашивают, а не хочу ли я, такой-сякой, намазанный-сухой, стать первым польским космонавтом? Умела моя мамаша такие дела прокручивать... Н-да. Ну, я конечно — всегда готов, если партия прикажет и т.д. И перевели меня с третьего курса в Военно-инженерную академию имени опять же таки замечательного поляка Дзержинского. На ракетный факультет. Окончил путем. Получил диплом и офицерские погоны. Прошел полный курс подготовки в отряде космонавтов. Но... Вместо меня полетел, как известно, Мирослав Гермашевский. Там, в верхах, решили, что непатриотично посылать поляка с советским паспортом, и прислали настоящего — с Белым Орлом на обложке. Ну, а я обеспечивал его героический полет: проводил полную предстартовую проверку корабля из кабины. Потом уступил ему место...

Владислав болезненно сморщился и глотнул из пиалы.

— Ч-ерт, беремша с песочком. Тут такие песчаные бури бывают... У меня этот песочек уже в почках сидит. Мамаша моя, я еще старлеем был, подхватила меня как-то за руку и повезла в Трускавец на лечебные воды. А там у нее, у отца ее, моего деда, значит, имение было до войны. И кое-кто из бывшей obsługi маменьку мою вспомнил и ходили за ней, как за наследной принцессой. Поместили нас в отдельный коттедж. Утром ко мне в номер входит прекрасная паненка и вносит на блюде бюретку с лечебной водой. Ну, я, конечно, воду в раковину, бюретку «столичной» заправил, а паненке предложил развлечься на гусарский манер. Та в слезы. Прибежала маман: «Хлоп! Как можно! Что за манеры!»

Гуляем мы с ней по аллеям рука об руку, благородно, чинно, раскланиваемся со всеми, она свою водичку из бюретки потягивает, я свою... «Что-то у тебя глазки очень блестят?» — «А водичка трускавецкая хорошо воздействует...»

Владислав веселил нас байкой, но было ясно, что главную боль своей судьбы он уже высказал — вечный дублер.

Тут взвыла сирена. Подгурский распрощался с хозяином, и мы помчались на площадку.

За пятнадцать секунд до пусковой команды: «Ключ на старт!» — и сразу же после того, как динамики наружного оповещения проорали: «Сброс», — из-под бетонного ствола, освобожденной от всего земного ракеты вдруг вылетела стайка дикий голубей.

— Они эту команду четко усекли! — засмеялся Владислав. — Там еще под консолями гнездо соколов. Уже двадцатое поколение выводят...

С ракеты сыпались хлопья кислородного снега, словно клочья разорванных писем.

Старт начался с шипящего грохота. Ракета медленно приподнялась и поползла, пошла, полетела, убыстряя с каждой секундой свой вертикальный лет. Вот уже виден ее испод — под ним бушевало крестообразное пламя, крест очень скоро превратился в круглое солнышко, и, наконец, оставив за собой белый кометный след, ракета скрылась где-то за перистыми облаками.

Владислав первым выбрался на оплавленный бетон, сверху еще сыпался песок, поднятый вихрем старта. Он смотрел вслед огненному вознесению.

И эта ракета ушла без него.

Отозвав нас в сторону, Подгурский пригласил к себе на вечер — отметить по традиции успешный запуск.

— Только без этих друзей-архангелов, — кивнул он в сторону наших бессменных провожатых.

Весь оставшийся день и вечер мы с Сафоновым ломали головы, как нам уйти в город без «хвоста».

Сделали так. Отпросились спать пораньше, мол, устали от впечатлений на стартовой площадке, а сами через полчаса, как пожелали друг другу «спокойной ночи» — это уже было после программы «Время», тихо выбрались в коридор.

Сейчас это кажется смешным и нелепым: двое взрослых людей с писательскими билетами в карманах тайком от двух других таких же серьезных людей, своих соотечественников и, кстати, членов одной и той же партии, пробираются в гости к третьему соратнику по этой самой партии. Но такова была моральная атмосфера «режимного города».

Несмотря на поздний час, нас встретили радушно. Хозяйка дома — миловидная шатенка, преподавательница музыки, захлопотала вокруг чайного стола, а Владислав повел нас по комнатам — показывать, как живет несостоявшийся польский космонавт № 1. То был престранный быт строевого офицера и москвича-интеллектуала: на балконе, занавешенном куском тормозного

парашюта, висел сверхточный — до сотых долей градусов — космический термометр, зеленые армейские ящики из-под гранат и боеукладок, выполняющие роль домашних сундуков, соседствовали с собранием Библий и Евангелиев разных изданий, «Лунарием» и «Историей западного искусства».

Потом мы с Владиславом листали семейный альбом.

— Вот моя маман в молодости.

Трудно было поверить, что эту красавицу назвав «социально вредным элементом», этапировали в сибирские степи.

— А это один из ее поклонников — морской офицер. Она хранила его письма до самой смерти. И за неделю до кончины сожгла в самоваре.

— Почему в самоваре?

— А где еще в Москве на десятом этаже можно сжечь бумаги? Вынесла на балкон старинный самоварчик — она привезла его из Сибири, обменяла на золотой медальон — и растопила письмами. А зря. Там такие были шедевры. Она мне кое-что зачитывала. Кургуазный роман.

Только сейчас, листая старый байконурский блокнот, я понял, что речь шла о письмах Клочковского, которые тот писал Марине Крыжановской, урожденной Ярошевич, из Тарту в Таллин. Знать бы это тогда. Но голова была забита ракетами, спутниками, монтажными комплексами.

— А это фото ее первого мужа. Вот тут очень интересная история! — попробовал увлечь меня Подгурский. — Маман нашла своего первого мужа с помощью... картошки! Да-да, самой обыкновенной бульбы, то есть вовсе даже не обыкновенной, а сросшейся так, что получилась фигурка в виде олимпийского Мишки. Ее откопал на своем огороде первый муж маман — сотрудник еще довоенных посольства или консульства Польши в Таллине Крыжановский. Дело в том, что незадолго до высылки маман в Сибирь его арестовали и, как считала она все эти годы, — расстреляли. И вдруг, спустя сорок лет, как в романе, листая то ли «Огонек», то ли «Науку и жизнь», она натывается на фото этой забавной картофелины. А под снимком подпись: «Т. Крыжановский, Гродно». Все совпадало — и фамилия, и инициал, и город, из которого он был родом. Она тут же позвонила в редакцию журнала, разузнала адрес, дала телеграмму. Я как раз проводил в Москве отпуск. Сам вынул из почтового ящика ответ: «Выезжаю такого-то, вагон такой». Приехали мы с маман на Белорусский вокзал. Я в форме, она в каракулевом манто. Вышел из вагона дед в задрипанном кожаном, и оба зарыдали. Ну не буду говорить, что это была за встреча. Пошли мы в ресторанчик, посидели. Он-то так и не же-

нился. Все верил, что отыщет ее. Ну вот и отыскал. А у него такая история вышла. После ареста отправили его в лагерь для военнопленных поляков в Козельск. Ну а потом вместе со всеми — Катынский лес, Козьи горы.

Лежать бы пану торговому советнику под сосенками в Катынском лесу, если бы не дрогнула рука у палача из НКВД и пуля-дура не унеслась в лес, сорвав лишь клочок кожи с затылка. Оглушенный ударом пули, чиркнувшей по черепу, Крыжановский свалился в ров. Дело близилось к рассвету. Его бросили в верхний ряд, но засыпать не стали, так как ночью расстрельные работы должны были быть продолжены.

Придя в себя, он уполз в лес, а оттуда добрался до ближайшей смоленской деревни, где его перевязали, приютили и помогли собрать денег на билет до Гродно. Там он поселился в отцовском доме, пережил в нем и немецкую оккупацию, и освобождение Белоруссии в 44-м, и все последующие сталинские пятилетки, хрущевские семилетки, тихо, скромно, незаметно добывая хлеб насущный возчиком на табачной фабрике, и также возделывая приусадебный участок, на котором и произросла чудо-картофелина.

— Вот и скажи после этого, что любовь не картошка! — заключил свой рассказ Владислав. — Да, вот еще что! В лагере мой несостоявшийся отец вел подробнейший дневник. Блокнот с записями хранил вот в этой манерке, которую всегда носил на поясе.

Владислав снял с гвоздя необычного вида алюминиевую флягу. То была манерка польского солдата, выштампованная в форме удлиненного апельсина с тремя рельефными «дольками». В ее широкое горло и в самом деле было очень удобно просовывать свернутый в трубку блокнот.

— С этой флягой на боку он и выбрался из могилы, а потом, в Гродно, подробно описал все обстоятельства расстрела. Он так и передал свой блокнот маман прямо в манерке. На память. «Умру, — говорил, — все равно пропадет».

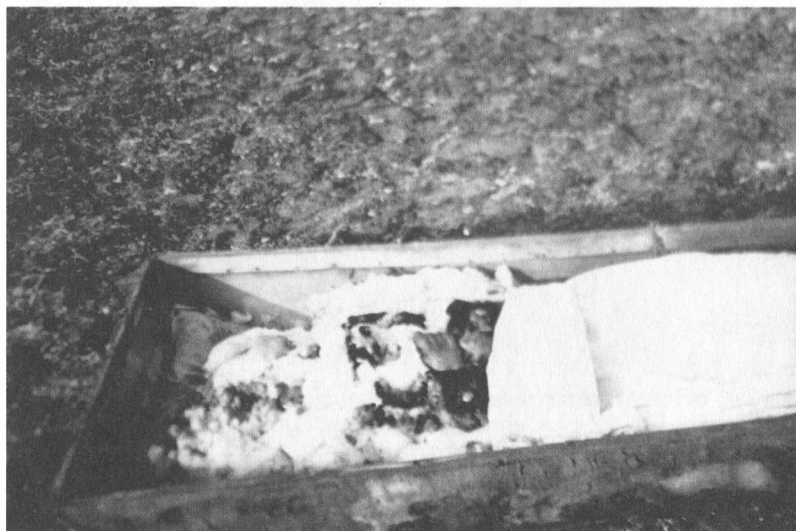
Я пробовал переводить со словарем. Но, увы, дело не пошло. Отец, как истинный коммунист, считал, что польский язык отмирает, что все языки сольются со временем в единый интерязык, и потому не велел забивать мне голову «всякой дурью». Но маман над дневником рыдала. И в очередную свою поездку в Польшу она блокнот захватила с собой и передала его Ярошевичу. Тот, правда, уже не был премьером, но мог предать «катынский дневник» довольно широкой огласке, на что маман по неистребимой своей наивности надеялась. Однако Ярошевичу не было никакого резона портить свои отношения с «партайгеноссами» из Москвы,



«Святая Анна» перед последним выходом.
Санкт-Петербург. 1912 год



Группа офицеров экспедиционного парохода «Вайгач».
 (В центре первого ряда) — Капитан 2-го ранга Александр Колчак.
 За ним (второй справа) лейтенант Георгий Брусилов. Гавр. 1909 год



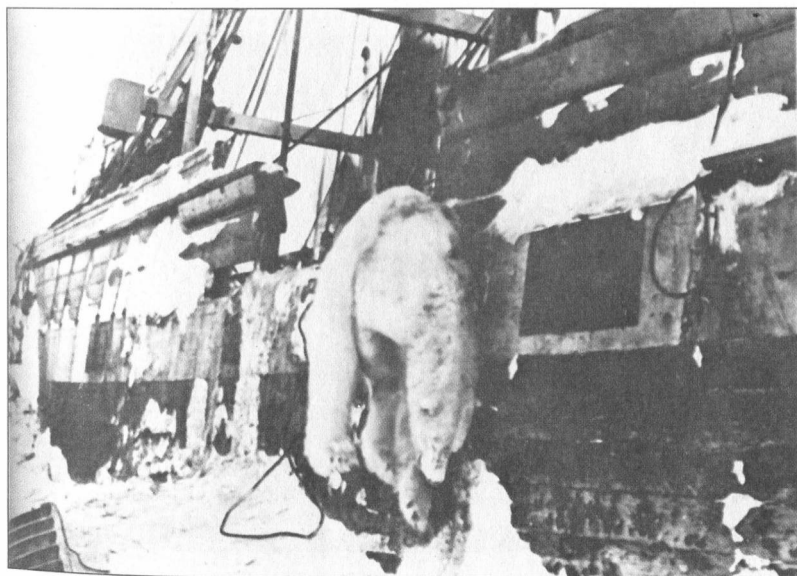
Лейтенант Алексей Жохов. Вечная мерзлота сохранила его черты. Снимок
 сделан во время перезахоронения в 1996 году. Мыс Могильный



Лейтенант Георгий Брусилов. Спустя три года он поведет сквозь льды шхуну «Святая Анна». 1909 год



Штурман «Святой Анны»
Валериан Альбанов



Полярный трофей



Ереминия Жданко — первая в мире женщина, совершившая
высокоширотное плавание



Елена Фомина — продолжила дело Ереминии Жданко в конце XX века.
Санкт-Петербург. 1998 год

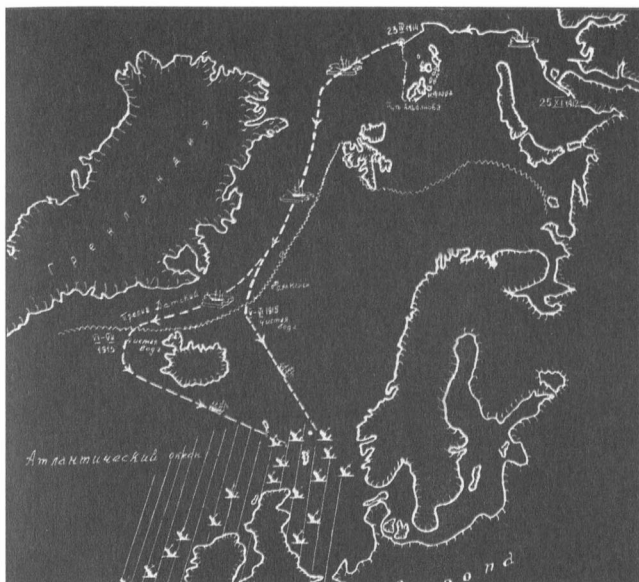


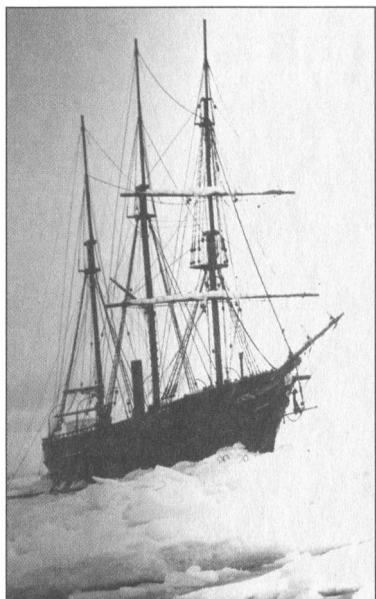
Схема плавания и дрейфа «Святой Анны». Пунктиром показан предполагаемый путь шхуны после ее исчезновения



«Дом капитана Татаринова» — так окрестили псковские краеведы этот дом на берегу реки Великой



Памятник литературным героям романа «Два капитана» в Пскове



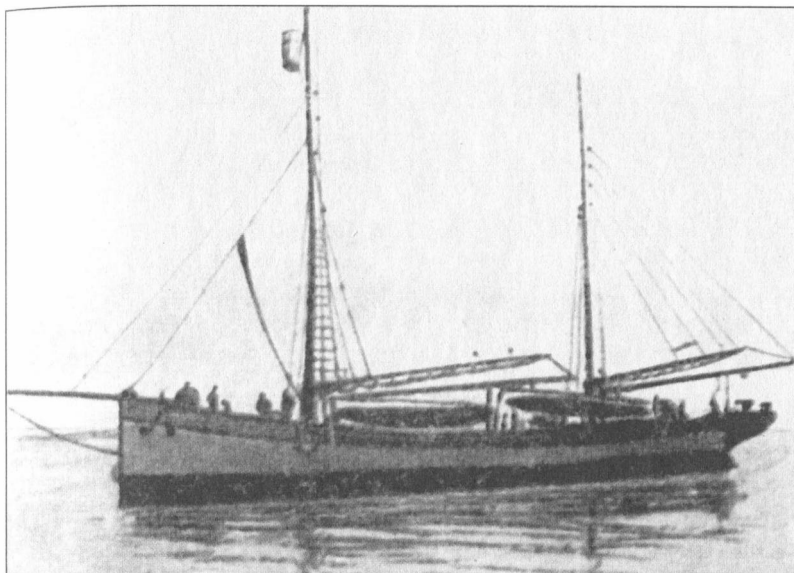
Шхуна, вмерзшая в арктические
льды. Увы — не «Святая Анна».
Этот корабль построили для
киносъемок, а потом оставили на
произвол судьбы и льдов.
1999 год



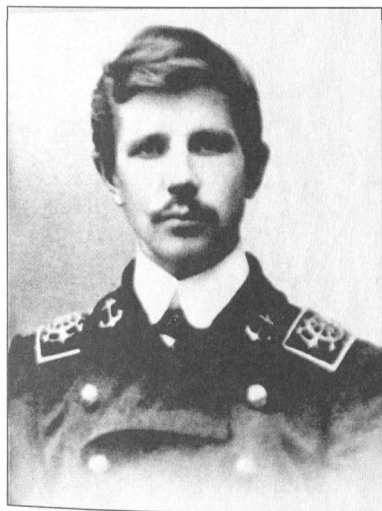
Начальник экспедиции на
«Геркулесе» геолог
Владимир Русанов



Председатель правления мурманской ассоциации капитанов дальнего
плавания Леонид Селиверстов (*справа*) и писатель Николай Черкашин у
карты Арктики. «Святая Анна» сгинула в этом районе...



«Геркулес» никак не оправдывал свое могучее имя.
Он не был приспособлен к ледовым походам



Капитан «Геркулеса» Александр
Кучин — молод и отважен



Ауслуг — норвежская невеста
Александра Кучина — так и не
дождалась своего суженого
из морей...



«Сторожевой» выходит в море...



Капитан 3-го ранга Валерий Саблин. «А он, мятежный, просит бури...»
Северная Атлантика. 1975 год



Братья Саблины: Валерий (в центре), Борис (слева),
Николай (справа). Горький. 1974 год



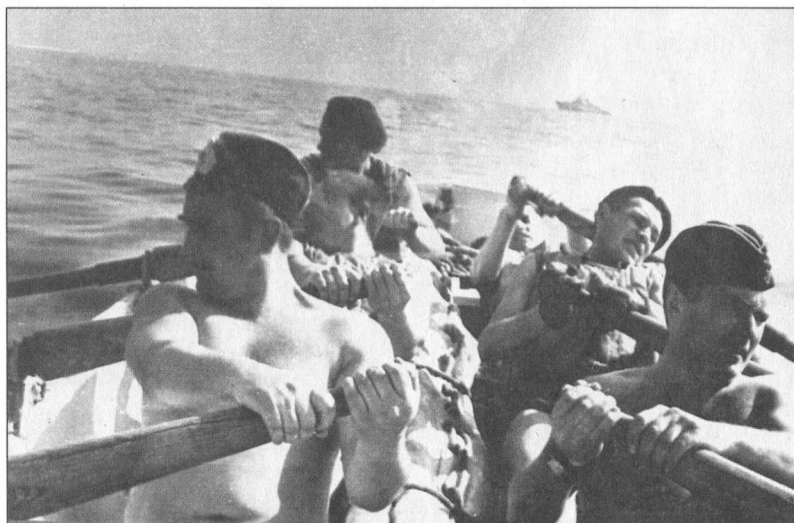
Курсант Валерий Саблин.
Высшее военно-морское училище
им. М. Фрунзе. 1956 год



На практике в Североморске



Лейтенант Саблин. Первый корабль — эсминец «Ожесточенный». 1960 год



Он всегда греб против течения... Валерий Саблин (слева)



Полярная сова сослепу попала в руки морякам.
(в центре) — Лейтенант Валерий Саблин



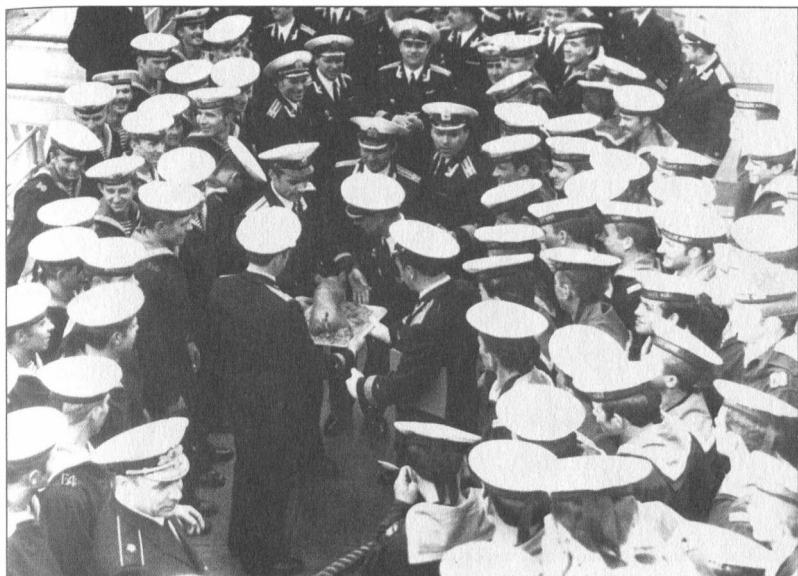
С сыном Мишей. Сыном гордился...



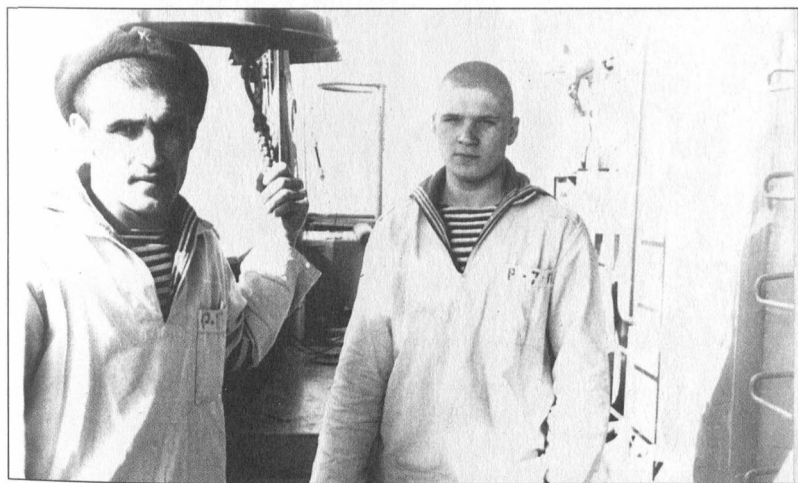
Бывший матрос Максименко. Невольный хроникер мятежа



Экипаж «Сторожевого». Здесь все — и кто поддержал Саблина, и кто был против. Балтийск. 1975 год



Накануне «Сторожевой» вернулся с Кубы. Встречали после дальнего похода с традиционным поросенком. Командир корабля А. Потульный и замполит В. Саблин — (справа от вручающих дар).
Балтийск. 1975 год



Судовой колокол «Сторожевого» — в него ударили в набат...



Семья Саблиных — Нина, Миша и Валерий



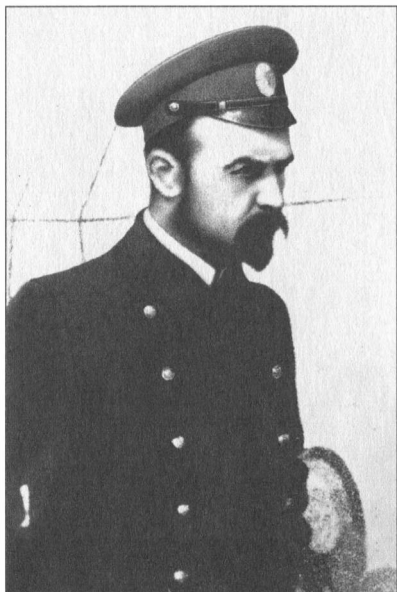
Нина Саблина с честью
несет свой тяжкий крест...
Санкт-Петербург. 1995 год



Пока они вместе — командир и замполит, капитан 2-го ранга Анатолий Потульный (*справа*) и капитан 3-го ранга Валерий Саблин...



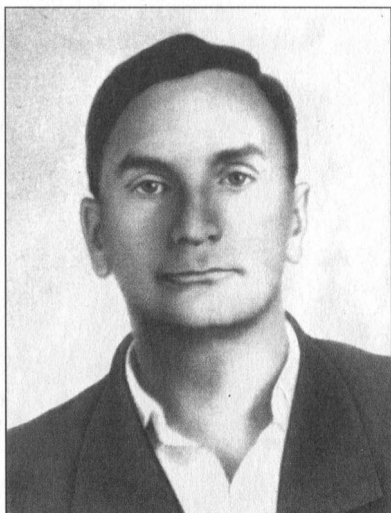
Фото из следственного дела. Валерий Саблин. Лефортово.
Ноябрь 1975 год



Флагман Балтийского флота
Алексей Щастный спас свои
корабли...



Жена Щастного — Антонина
Приемская. Это нерезкое фото, —
единственное, что осталось сыну
от матери



Лев Алексеевич Щастный
не стал менять «крамольную»
фамилию отца

и дневник, если не сжег, то припрятал у себя. Может быть, как компромат на кого-то из своих. Во всяком случае у нас осталась только эта манерка.

Хитро улыбаясь, Владислав наполнил ее какой-то настойкой и вручил мне.

— Презент от стартовиков космодрома. Выпьешь дома. Сам настаивал. На саксауловых почках.

Я пообещал вернуть ему семейную реликвию в Москве. Но Подгурский так ни разу в столице и не объявился. И не вспомнил бы я о своем ненаписанном романе о космонавтах, если бы не это сообщение в газете: «Медленный ход расследования убийства Ярошевича, а также отказ полиции подтвердить или опровергнуть хотя бы самые фантастические из всех догадок, публикуемых в прессе, породили в Варшаве огромное множество слухов.

Особые толки вызывает необычная картина преступления. Власти утверждают, что грабители, кто бы это ни был, не тронули ценной коллекции монет и произведений искусства, находившихся в доме. И хотя очевидно, что воры тщательно обыскали каждую комнату в доме, основной предмет кражи находился в хозяйском сейфе».

Одна из популярных версий состояла в том, что воры взяли из сейфа секретные документы, которые можно использовать для шантажа членов Солидарности, находящихся в руководстве страны.

«Мы уверены, — заявил прокурор, — что документы из сейфа, связанные с прошлым либо господина Ярошевича, либо госпожи Сольской, играют в этом деле важную роль».

Что бы там ни хранилось в сейфе бывшего премьера, но «ка- тынский дневник» Крыжановского там должен был лежать. Пока что от него осталась только внешняя — алюминиевая — оболочка: старая солдатская манерка. Вот она: у самой горловины выбито название города, где ее сделали, — «Мышкув» и дата — «1939 год».

Петра Ярошевича убили 1 сентября — в годовщину начала той войны, про которую нам так долго твердили, что она — чужая война, война «германского фашизма» и «польского милитаризма». Но то было началом нашей — самой большой и самой кровопролитной войны.

УЗНИКИ ЗАМКА ВЮРЦБУРГ

Неизвестная страница войны

Из записок интернированных моряков

Весной и в начале лета 1941 года Балтийское море было пустынно. Шла вторая мировая война, и с просторов Балтики исчезли флаги Польши и Норвегии, Эстонии, Дании, Латвии, Литвы... Море, омывавшее берега 14 государств, старинное торжище всей Европы, стало внутренним озером «Третьего рейха». Лишь шведские рудовозы пересекали его с севера на юг, везя сырье для крупяных сталеплавилен, да советские сухогрузы шли с востока на запад, доставляя в германские порты кубанскую пшеницу. Подписанный в августе 1939 года Договор о дружбе и ненападении между СССР и Германией обязывал обе стороны к взаимным поставкам сырья и оборудования. Не чуя беды, в Штеттин и Данциг направлялись пять советских теплоходов: «Хасан», «Потанин», «Волгалес», «Днепр», «Эльтон»... Уходили моряки в рейс на пару недель, вернулись — через четыре года, да и то не все...

Из записей капитана теплохода «Хасан» Х.А. Балицкого:

«Перед выходом из Ленинграда в фашистскую Германию мы не получили никаких официальных указаний или предупреждений на случай войны...

Шли в Штеттин с полным грузом зерна. Обратного должны были доставить оборудование для крейсера «Лютцов» (недостроенный крейсер был получен СССР из Германии в порядке взаиморасчетов за поставки продовольствия. Названный «Петропавловском», он так и не вступил в строй боевых кораблей до конца войны)».

Из записей моториста теплохода «Волгалес» Л. Мартюкова:

«Море ясное, солнечное, безмятежное... По всем горизонтам — ни дымка. Такое впечатление, что мы одни на всей Балтике... Вдруг — гул авиационных моторов. Над нами два истребителя с черными крестами. Облетели и ушли в сторону германского берега. Кто мог подумать, что это — прелюдия к предстоящим испытаниям?!

В устье Одера, где расположен Штеттинский порт, мы входили не в первый раз. Еще совсем недавно на берегах реки пестрели зонты баров и кафе, гремела музыка, играли духовые оркестры,

прогуливались парочки... Теперь же тут и там сновали военные грузовики, зонты и летние навесы ресторанов заменили маскировочные сети. Из-под них смотрели в сторону моря длинные хоботы дальнобойных башенных батарей...

Мимо проходили пароходы. Их палубы были загромождены военной техникой, битком набиты солдатами. Они с любопытством рассматривали наш красный флаг. Судя по всему рейсы этих транспортов были недолги. Они шли в сторону наших границ... Теперь страшно об этом подумать — мы сами шли в свой плен...

Хмурый и вопреки обыкновению неразговорчивый лоцман, привел наш теплоход к стенке портового элеватора.

Капитан Х. Балицкий:

«В Штеттине мы выгрузились довольно быстро. А вот с загрузкой металла начались необъяснимые проволочки. Задержку портовые власти объясняли нехваткой рабочих рук, вследствие войны. Неподалеку стояли другие советские суда. Я обменялся мнениями с их капитанами. Все они, как и я подозревали что-то недоброе.

В мою каюту постучался бригадир немецких грузчиков. Старый знакомец — мы звали его попросту Вилли — сказал мне встревоженно:

— Я коммунист и прошу мне верить. Гитлер скоро нападет на Советский Союз. Побystрее уходите домой.

Легко сказать — побystрее... Я установил круглосуточное наблюдение своих помощников за акваторией порта, и поручил им записывать название каждого уходящего в море немецкого судна, осадку его, палубный груз. Их доклады подтверждали самые худшие опасения: шла массированная переброска войны на восток.

Я обратился к представителю нашего торгового флота в Штеттине Иванову и просил его принять меры к скорейшему отзыванию «Хасана» из Штеттина.

— Не надо паники, — заявил он. — Никакой войны не будет!

Я сильно сомневался в его ответе, поэтому запечатал в пакет данные наблюдений и свои выводы, а пакет передал помполиту Купровичу, который возвращался на «Таллине» в Ленинград. Увы, этот теплоход был перехвачен немцами в Гдыне, и Купрович успел сжечь мое донесение...»

Старший механик т/х «Хасан» А.П. Устинов:

«Капитан Балицкий дал мне указание держать главный двигатель в 5-минутной готовности для экстренного выхода из порта.

А мимо нас шныряли катера с офицерами, которые внимательно осматривали наши суда. Была суббота 21 июня 1941 года...

Надо же такому случиться, что три моряка с «Волголеса» за несколько часов до начала войны отправились на прогулку в город.

Моторист Л. Мартюков:

«Мы заглянули в кинотеатр на документальный фильм «Победа на западе». В фойе рассматривали выставку, разговаривая, естественно по-русски. Немцы прислушивались и смотрели на нас с настороженным удивлением...

Фильм жестокий до откровения. Гибнет французский крейсер. Штормовое море разбросало спасающихся моряков по волнам. Но тут появляются немецкие катера-охотники и бьют из пулеметов по тем, кому удалось зацепиться за плавающие предметы. Поразил кадр — тела убитых моряков плавают, среди всплывшей глушенной рыбы. И стоя чаек над ними.

Жестоко. Бесчеловечно. Мы уходили с сеанса потрясенные. Кто из нас мог предполагать, что через несколько часов эта тупая бесчеловечность обрушится и на нас?!

В воскресенье 22 июня мы собирались отправиться в шлюпке на городской пляж...

С корабля, но не на бал...

Старший механик «Хасана» А. Устинов:

«22 июня 1941 года в 6 часов утра ко мне зашли соседи — капитан сошвартованного борт о борт с нашим пароходом «Эльтон» И. Филиппов и старший штурман Ю. Климченко. Они тайком от немецких патрулей пролезли через леера и оказались в кормовой надстройке, где расположена моя каюта. Оба очень встревожены — только что подслушали немецкое радио: Гитлер в своей речи обвиняет СССР в вероломстве и всячески угрожает. Я пригласил их пройти к нашему капитану — Балицкому. Но едва мы вышли на шлюпочную палубу, как патруль, шедший по причалу, потребовал, чтобы «эльтонцы» вернулись на свой пароход. Я же позвонил Балицкому в каюту...

Вскоре там состоялся «совет в Филях». Мы — первый помощник Гребенин, старший штурман Никитин и я получили распоряжение сжечь все секретные документы вместе с уставом ВМФ. «Секреты» жгли в гальюне, а стенгазеты, папки с протоколами всевозможных собраний — бросили в топку судового котла. Едва я швырнул последнюю охапку в пламя, как по решетчатым трапам машинного отделения загрохотали кованые сапоги. Это ворвались военные моряки, привлеченные бумажным пеплом, летящим из трубы...

Капитан «Хасана» Х. Балицкий:

«Едва я очистил свой сейф от «секретов», как ко мне постучался судовой радист Е. Рудаков:

— Товарищ капитан, я могу проникнуть в опечатанную радиорубку через запасную дверь и дать радио в Ленинград о нашем положении...

Я не успел ему ответить: в каюту ввалился немецкий солдат и потребовал, чтобы я вышел на палубу к его офицеру. Пришлось стать в позу:

— Здесь я капитан, и если офицер хочет меня видеть, пусть сам поднимется сюда! Тогда вошли еще двое солдат и под дулами автоматов вывели меня к офицеру. Тот потребовал, чтобы я спустил флаг. Я заявил, что это насилие и никто из моих моряков не станет этого делать. Немцы сами спустили наш флаг. Мы стояли, стиснув зубы. У нас не было сил противостоять им...

Моторист Л. Мартюков: «...Нас сгоняли с нашего «Волголеса» под рычащие крики «Раус унд раус!» На причале уже стояли крытые тюремные грузовики. А наш капитан Л. Новодворский подошел к гестаповскому офицеру, руководившему захватом теплохода и, как ни в чем не бывало, предложил:

— Господин офицер, у нас готов обед, разрешите команде принять пишу!

— Что-оо?! — Взъерился гестаповец. — Вас покормят там, куда привезут!

А привезли нас в штаттинскую тюрьму. С корабля да не на бал... Тюрьма особого разряда. В ней содержались пленные польские, французские, датские генералы и старшие офицеры. Нас поместили в общую камеру с зарешеченной стеной. Сникли было духом, да наш кок Миша Мудров умудрился прихватить с собой гитару. Ударил по струнам: «Эх, Андрюша, нам ли жить в печали!» А потом привезли ужин на дребезжащей тележке. Выдали по миске «зупе» — мучной баланды да по 150—200 граммов эрзац-хлеба... Эх, не раз мы еще вспоминали тот обед, который остался на родном «Эльтоне». Неужто, немцы слопали?»

Старший механик т/х «Хасан» А. Устинов:

«Экипажи всех захваченных судов — а это 250—270 человек — разместили в бараках лагеря Бланкенфельд. Сюда же вскоре доставили и большую группу евреев — владельцев меховых магазинов и фабрик. Почему-то у них были просроченные советские паспорта и еще какие-то беженские, вроде нансеновских.

Мы жили общей надеждой на то, что нас рано или поздно обменяют на немецких моряков, интернированных в СССР. (Их было гораздо меньше, чем советских в Германии. Только благодаря гражданскому мужеству начальника Рижского порта, запретившего немецким судам покидать Ригу 21 июня 1941 года, несколько экипажей попали в руки советских властей. — *Н. Ч.*) И вскоре — в начале августа первого года войны — 60 моряков, прибывших в Штеттин для приемки шаланд землечерпального каравана, были погружены в автофургоны и отправлены к болгаро-турецкой границе на об-

мен. С нетерпением ждали и мы своего часа. Но вместо нас отправили торговцев пушниной. Потом, уже на родине, выяснилось, что сработали большие деньги — дали кому надо и их приняли как мორяков. А нас повезли вглубь Германии — в Баварию».

Красный хлеб

В маленький баварский городок Вайсенбург осенью 41-го года доставили шесть экипажей с интернированных советских судов «Хасан», «Волгалес», «Днестр», «Магнитогорск», «Эльтон» и «Коганович». Их разместили в старинном замке Вюрцбург, расположенном на вершине горы. Он и сейчас там стоит, привлекая внимания туристов: высокие башни, отвесные стены, глубокие рвы, подъемный мост... Но интернированным морякам было не до экзотики. Из всех смертных моряки, привыкшие к постоянному движению, и необозримому пространству морей, хуже всего переносят заключение в камерах.

Капитан т/х «Хасан» Х. Балицкий:

«На этой почве у некоторых из нас стали проявляться своеобразные «заскоки». Одни совершенно по-детски мечтали: «Эх, была бы у меня шапка-невидимка да ковер-самолет!» Другие всерьез обсуждали побег с помощью воздушного шара.... Впрочем, вызревали и более серьезные проекты. Но об этом чуть позже».

Морально-психологические тяготы усугублялись муками голода. Кормили с расчетом на то, чтобы довести людей до животного состояния, когда за корку хлеба и лишнюю миску баланды человек пойдет на что угодно.

Старший механик т/х «Хасан» А. Устинов:

«Всю жизнь знал, что есть два вида хлеба — черный и белый. В Вюрцбурге мы все открыли для себя красный хлеб — он был испечен из свекольного жмыха. Очень скоро мы все превратились в жалких доходяг.

По международным законам интернированные граждане не должны привлекаться к принудительным работам. Совет капитанов сразу же заявил администрации тюрьмы: работать на фашистскую Германию не будем. Немцы, стараясь выдержать букву закона, стали принуждать нас к работам голодомором. Мы ели любую траву, почки с деревьев, кору... Появились первые покойники. Тогда пошли на компромисс: пойдем на работы, которые не носят прямого военного характера. Так нас стали водить вниз — в город, на лесопилку. Там мы сколачивали ящики для снарядов. Потом нас привлекли к изготовлению знаков различия — погон, эмблем, нашивок. Нет худа без добра. Наш радист, Женья Рудаков

смотал из нитей металлической канители несколько индукционных катушек и смастерил примитивный детекторный приемник. Тайком пронесли его в замок. Теперь мы могли слушать берлинское радио. Среди нас были моряки, которые знали немецкий. По подтексту сообщений Геббельса угадывали истинное положение на фронтах. А потом стали принимать и сводки Информбюро из Москвы. Распространяли новости в экипажах. Самое главное — наш Ленинград, где жили наши семьи, вовсе на захвачен, как нам тут внушали. Он держится! Держались и мы...»

«Мореходка замка Вюрцбург»

Капитан т/х «Хасан» Х. Балицкий:

«Кормить стали чуть лучше. Но все равно голод мучает по-прежнему... На мощеном дворе замка растут несколько деревьев, между проволочным ограждением пробивается зелень. Весной 42-го года голодные люди объели все почки на липах, ели одуванчики, крапиву... Чтобы отвлечь мысли о еде, поднять дух, занять людей, мы — мои коллеги-капитаны С. Дальк, М. Богданов, Л. Новодворский, И. Филиппов, С. Ермолаев и я — создали курсы штурманов. Капитаны и механики читают лекции по морским дисциплинам, а в перерывах получаем от курсантов трогательную «зарплату» — сигаретный окурочек величиной с ноготь, который тут же пускается по кругу...

Экзаменационная комиссия выдала успешно сдавшим испытания временные дипломы, которые потом, с возвращением на родину, были утверждены Министерством морского флота, и несколько выпускников «мореходки замка Вюрцбург» долгие годы водили свои суда в моря и океаны...

...Еще мы стали переводить английские книги на русский язык. Немецким — в знак протеста — никто не занимался, хотя это в чем-то и облегчало бы нашу жизнь. Так мы перевели бесценную для моряков и авиаторов «Последнюю экспедицию Уоткинса на Гренландию». Жаль, что в русском варианте она до сих пор не издана, а ведь рукопись сохранилась...

...В крепости кроме советских моряков, содержались отдельно от нас интернированные чехословаки. Однажды, когда наши камеры уже заперли на ночь, мы услышали необычный шум во дворе и выстрелы... Утром узнали — несколько чехов попытались бежать. Они спустились со стен, но не смогли выбраться из глубокого рва, окружавшего замок. Так их всех и расстреляли. Мы поняли, в одиночку и даже группами предпринимать какие-либо действия безнадёжно. Надо спланировать, серьёзно организовываться...»

Так возник подпольный комитет сопротивления. Кроме капитана Балицкого в него вошли старший механик Устинов, капитан Дальк, старпом Иконников, радист Рудаков и еще несколько человек. Сначала их акции носили чисто агитационный характер: распространяли среди моряков те новости с фронтов, которые удавалось перехватить из эфира. Уже за одно это всем комитетчикам грозила смертная казнь. Но они готовились к большему...

Старший механик т/х «Хасан» А. Устинов:

«В августе 42-го в замок были доставлены пленные генералы и старшие офицеры Советской Армии. Чтобы мы их не видели, нас загнали по камерам, затемнили окна, а общий коридор перегородили кирпичной стеной. Все же нам удалось выглянуть во двор. Уж на что мы были доходяги, а эти вообще походили на скелеты, обтянутые кожей. Мы просто ужаснулись их изможденному виду... Решили наладить с ними связь и слегка подкормить. По инициативе комитетчиков моряки стали урезать свои скудные хлебные пайки. Те, кто ходил в город на работы, мастерили деревянные портсигары, игрушки и обменивали их у бюргеров на хлеб, с риском быть замеченными охраной. Но как передать провизию пленным генералам и офицерам? Ведь нас разделяла глухая кирпичная стена. Никаких контактов. Полная изоляция. Однако уборная во дворе была общей. Сначала водили нас, потом выпускали их... Вот тут-то и нашли «канал передачи». Хлеб и картофелины укладывали в матерчатую сумку, а потом, просунув ее в «очко», подвешивали посылку на вбитый гвоздь. Тем же путем сумка возвращалась. Вместе с хлебом передавали и информацию радио Москвы.

Капитан Дальк вычеркнул по памяти карту Европы и наносил приблизительное расписание фронтов».

Шуба Бисмарка не согреет 6-ю армию

Старший механик А. Устинов:

«Гибель 6-й немецкой армии под Сталинградом резко отразилась на настроении немцев. По всей Германии начался сбор теплых вещей. Газеты сообщили, что на зимние нужды войне в России пожертвована историческая реликвия — шуба Бисмарка. Солдат из охраны мрачно сказал: «Эта шуба уже не согреет 6-ю армию». Даже по этой реплике ясно — победа будет за нами!

...Переписка с пленными генералами велась по весьма изощренной схеме. Бумажные полоски с необходимой информацией скручивались в трубочку и вставлялись в заранее просверленный деревянный клинышек, который вдавливался в землю под дере-

ванным писсуаром в углу внутреннего двора. Знающий офицер-связной извлекал «почту» и возвращал колышек с ответным посланием. Так мы узнали, что среди военнопленных был генерал-лейтенант М. Лукин, яростный противник предателя А. Власова. Лукин и его сотоварищи обрабатывали переданные им сводки, комментировали их как военспецы, и передавали обратно. Еще они писали воззвания ко всем советским военнопленным не вступать во власовские формирования ни под каким видом. А мы передавали их обращения в окрестные лагеря. Помогал нам в этом экипаж гозогенераторного грузовика, который периодически приезжал в Вюрцбург из Нюрнберга. За рулем сидел мобилизованный немецкий датчанин, а кочегаром, грузчиком и помощником у него был наш соотечественник расконвоированный инженер Маркин. Вот он-то и разводил послания генерала Лукина...

Побег? Побег! Побег...

Несколько раз узники замка Вюрцбург готовили побег моряков. Бежали Сысоев, Шанько, Круликовский. Им удалось выскользнуть из горной тюрьмы, подобно героям авантюрных романов, им удалось даже пересечь весьма неширокий в этих местах Дунай, но пройти незамеченными через густо населенную Баварию, без карт, без знания языка было невозможно. Всех беглецов изловили и отправили в лагеря с ужесточенным режимом. И все-таки они продолжали рваться к своим...

Старший механик т/х «Хасан» А. Устинов:

«Наши генералы попросили нас помочь бежать двум офицерам — подполковнику Н. Власову и А. Родных. Оба — летчика, оба Герои Советского Союза, ребята отчаянные и отважные. Такие до своих точно доберутся. И мы взялись за подготовку. Продумали все до мелочей. Наш боцман добыл на фабрике, где мы работали, сорок метров крепкого троса типа лаглиня, свернул в «бухточку» и спрятал в большой термос с брюквенным супом. Термос приносили из замка и уносили обратно двое моряков на крепкой палке. Охрана ничего не заметила. В одну из ночей боцман сплел на тросе муссинга — специальные узлы для удобного прихвата. По этому концу летчики должны были спуститься по высокой стене в ров. Чтобы их не постигла участь чехов, в ров надо было сбросить еще одну веревку. За это взялся наш третий механик, который заранее разобрал крышу на чердаке фабрики. В ночь побега он обязан был вытянуть летчиков изо рва и помочь им скрыться в перелеске. Штурман сумел скопировать карту Баварии. Из кладовой наших вещей незаметно похитили подходящие

по размерам костюмы, ботинки, шляпы, макинтоши. Собрали увесистую сумку с хлебом, картошкой и сигаретами. Самое сложное выполнили матросы Шулепников, Свиринов и Леонов. Они в течение двух месяцев незаметно разбирали в кирпичной стене лаз. Это в помещении, где почти постоянно пребывали люди! Мусор они горстями уносили за печку... Наконец, проход был готов, и мы назначили ночь побега. Последняя проверка у офицеров проводилась в 24.00. Как только она закончилась, Власов и Родных перебрались на нашу сторону. Но дверь из комнаты с проломом в стене оказалась запертой на ключ. Срочно изготовили отмычку и открыли ее. Обнялись на радостях. Ну, ребята — вперед!

Нервы у всех перенапряглись, ведь два месяца готовились! Летчики быстро переоделись в наши макинтоши. Вдруг раздался истошный крик — кричал врач-поляк с той, генеральской половины: «Алярм! Алярм! Советы побегли!» Через секунду-другую, взвыла сирена, вспыхнул прожектор, на стены бросились солдаты с овчарками, лягнули запоры на первом этаже нашего блокауза. Власов еще рвался бежать... «Успеем!» Потом сам понял, что все сорвалось. «Расходитесь все по своим койкам! Мы все возьмем на себя. Только звезду спрячьте!» И он сунул матросу Фесаку золотую звездочку Героя, завернутую в тряпицу. Ему удалось сохранить ее во время бесчисленных шмонов?! Тут ворвался унтер Вейфель с солдатами. Власова схватили, а Родных успел перебраться на свою половину.

Лишь спустя много лет, я узнал, что стало с отважным летчиком. В лагере смертников под Нюрнбергом Николай Власов попытался организовать с двумя военнопленными побег большой группы. Но дело не вышло, и подполковника живым сожгли в крематории...»

Лишь в апреле 1945 года, когда в Баварию вступили американские войска, закончилось затянувшееся «плавание» шести советских экипажей. Да, их несладкая жизнь в замке Вюрцбург была все же легче, чем в обычных лагерях для военнопленных. Под Новый год интернированным морякам выдавали хоть и плохонькое, но пиво. Возможно, именно это пиво и стало поперек горла следователям СМЕРША и НКВД: «Мы воевали, а вы там пиво пили»... И часть заложников большой политики отправилась в советский лагерь. Там пива на Новый год не давали. Да и вести записки у многих пропала охота.

Впрочем, это уже другая история.

Москва — Вюрцбург

ПОДВОДНЫЙ КАРЛИК ИЗ ВТОРОЙ МИРОВОЙ...

В марте 2002 года на рейде Амстердама вдруг всплыла немецкая подводная лодка типа «зеехунд», потопленная союзниками в 1945 году. Об этом почти фантастическом происшествии сообщили все ведущие телеграфные агентства планеты. Подлодка всплыла вместе с боевыми торпедами и потому представляла немалую опасность, поскольку за более чем полувековое пребывание под водой они могли прийти во взрывоопасное состояние. Тем не менее немецкая субмарина, всплывшая после смерти, будто из «черной дыры» во Времени, никому уже принести вреда не смогла. Ее мертвый экипаж «узнал», что вторая мировая война давно закончилась...

Погрузившись в последний год второй мировой, субмарина всплыла в ином — двадцать первом веке. Дурное предзнаменование? Или своевременное предупреждение? Ведь зачем-то она всплыла из своей второй мировой...

И как это ей удалось?

То, что погибшие подводные лодки могут всплывать сами по себе, не новость. Так к берегам Англии прибило однажды немецкую же подводную лодку времен первой мировой войны с экипажем из мертвецов. Корабль внимательно осмотрели, покойников вскрыли и пришли к выводу, что субмарина пережидала светлое время суток на грунте. Кто-то из моряков, подавая порцию кислорода в отсеки, не закрыл баллон и произошло массовое отравление кислородом. Команда уснула и никогда уже не проснулась. Лодка же лежала на грунте и год, и два, и три... За это время сжатый воздух поступал мало-помалу в балластные цистерны (через неплотности в арматуре) и постепенно выдавил из них воду. Незатопленная подлодка становилась все легче и легче, пока однажды не всплыла. Возможно именно так произошло и на амстердамском «зеехунде», тем более, что лодка карликовая, ее экипаж состоял всего из двух человек: командира и инженер-механика. Она бы давно всплыла, но, видимо, за что-то зацепилась, что-то держало ее на грунте, потом отпустило, может быть, какое-либо судно задело ее якорем. Короче, ничего невероятного в этом всплытии нет. И все же... Есть в том своя морская мистика, столь схожая с легендами о «Летучем голландце».

«Зеехунды» появились на театре боевых действий под самый занавес войны — в 1945 году. Они действовали из захваченных немцами голландских портов в Ла-Манше, охотясь за транспортом союзников на трассе устье реки Шельды и Темзы. Действовали довольно успешно, потопив в общей сложности 9 и повредив 3 англо-американских судов. Среди 35 невернувшихся в свои базы «зеехундов» был и тот, который всплыл нынешней весной.

Надо же такому случиться, что незадолго до этого происшествия я познакомился с одним из выживших командиров подобных карликов-«зеехундов».

...Англия — великая музейная держава. На любое человеческое дело, искусство или увлечение устроен свой музей. Музей железнодорожного транспорта и музей чая, музей королевской авиации и музей кукол, музей кино и, конечно же, королевский военно-морской музей подводных лодок... Последний расположен в одной из гаваней Портсмута, морского города на южном берегу Британии.

Здесь собрана редчайшая коллекция подводных кораблей: от океанской субмарины «Элиэнс» до сверхмалых подлодок времен второй мировой войны и человекоуправляемых торпед...

На сто репортерских дел такая удача выпадает лишь раз. Я попросил пожилого господина сфотографировать меня на фоне карликовой подводной лодки «Зеехунд». Он нажал на кнопку и, возвращая камеру, сказал:

— А ведь это мой корабль. Я воевал на нем в апреле 45-го.

Так я познакомился с бывшим лейтенантом кригсмарине Алвином Гуллманом. Рослый крепкий чернобровый он никак не тянул на свои семьдесят с гаком. Гуллман говорил по-английски так же плохо, как и я, поэтому мы прекрасно понимали друг друга. Кружка пива в примузейном буфете одобрила наш разговор.

На закате второй мировой, когда неограниченную подводную войну Германии против Англии резко ограничила противолодочная авиация, оснащенная радарами, немецкие конструкторы в кратчайшие сроки разработали проект двухместных подводных лодок «Зеехунд» («Тюлень»). Эти стальные «тюлени» оказались для англичан опаснее больших стальных «акул». И прежде всего потому, что испытанное и эффективное оружие — самолеты — оказалось бессильным против карликовых и очень юрких субмарин. С января по апрель 1945 года в составе немецких военно-морских сил действовало свыше ста «зеехундов». (Всего построено 250.)

Дебют этих утлых, но тем не менее грозных корабликов был печален: в декабре 1944 к берегам Англии отправилась флотилия из 18 «единичек». Вернулись только две субмарины, остальные сгинули

безвестно. Оставшиеся в живых подводники рассказали о жестоком зимнем шторме, который и погубил их товарищей. Это было немудрено, если учесть, что в длину «тюлень» не превышал двенадцати метров, а в ширину — полтора. Водоизмещение — 14,9 тонн. Одним из них таких «зеэхундов» и командовал мой новый знакомый.

— Главное преимущество сверхмалой лодки — в сверхбыстром погружении. Мы ныряли за шесть секунд. Рекорд — четыре. Обычные лодки уходили под воду при самых экстренных действиях каждого члена экипажа за 27—30 секунд. Чаще всего этого было недостаточно, чтобы укрыться от авиабомбы на глубине. Мы же могли подразнить летчиков, поиграть со смертью в кошки-мышки. А что вы хотите? Нам было по двадцать — чуть больше, чуть меньше — лет. Мальчишки, фенрихи...

Бывало так. Видишь, что английский самолет тебя засек и разворачивается, чтобы набрать высоту для атаки. Я не спешу, даю ему возможность слегка удалиться. Как только он становится размером со шмеля — сигарету за борт, соскальзываю в рубочный люк на свое сиденье, заdraиваю крышку над головой и ныряю прямо с работающим дизелем. На безопасной глубине стопорю его и перехожу на электродвижение...

— С работающим дизелем? А воздух откуда?

— Воздух цилиндры высасывали из самой лодки. Его и так там было не так уж много, но на несколько секунд подводного хода хватало. Конечно, ощущение не из приятных, когда из стальной бутылки выкачивают воздух — болят уши, круги перед глазами. Но на войне, как на войне...

Еще одно важное качество: в надводном положении крошечная рубка почти не отражала радиолокационных волн и потому мы были почти невидимы для самолетных радаров. Но самое главное преимущество наших «малюток» состояло в том, что взрывы глубинных бомб не причиняли ей особого вреда. Ударной — гидродинамической — волне просто не за что было зацепиться на куце корпуса. Она просто отшвыривала лодку, как мячик. Надо было только крепче держаться. В такие минуты мы натягивали на головы танковые шлемы, чтобы не разбить лбы. Я не раз попадал в такие переделки. Но больше всего досталось моему приятелю лейтенанту Ливониусу. Его «зеэхунд» выдержал удары 76 глубинных бомб. Некоторые взрывались в считанных метрах от борта. От сильных сотрясений корпуса вышла из строя аккумуляторная батарея, лодка лишилась подводного хода и недвижно опустилась на грунт. Погас свет. Над головами Ливониуса и его инженер-механика простиралась 60-ти метровая толща воды. Оба оказались заживо похороненными в темном стальном гробу. Воздуха им хватало всего на пару часов. Им оставалось уповать только на Бога. И Бог послал им спасение в виде сильного подводного тече-

ния. На его восходящем потоке они и всплыли ночью на поверхность моря, откачали воду, отремонтировали дизель, и на обратном пути еще сумели выдержать атаку шести английских канонерок.

— Но толк-то от вашего риска был?

— Да. По данным английских источников «зеехунды» потопили судов общим водоизмещением свыше 120 тысяч тонн. В том числе и английский эсминец «Хэлдон»... Мы не считали себя камикадзе, смертниками. У нас было право в случае безвыходного положения сдаваться в плен. Разумеется, мы пренебрегали этим правом. Мы были очень молоды и потому самоотверженны, считали, что воюем с исконным врагом Германии — англичанами. Многие из моих приятелей лежат вон там, — Гуллман показал кружкой в сторону сверкавшего под солнцем Ла-Манша. — Мне повезло. Я воевал всего один месяц — в апреле сорок пятого.

Лозунг нацистов «пушки вместо масла» престранно переиначили в последние дни войны: «масло вместо торпед». Так сняв боевые торпеды и подвесив вместо них емкости с растительным маслом и топленным салом, три «зеехунда» доставляли в осажденный англо-американцами Дюнкерк столь необходимые голодавшим солдатам жиры. Обратно вывозили письма. Участь этих корабликов была незавидна: в дни капитуляции их затопили под Дюнкерком. Правда, потом их подняли и распределили по морским музеям Франции и Британии.

Так получилось, что вскоре после беседы с бывшим командиром «зеехунда» я оказался в Кронштадте, где стоит уникальная карликовая подлодка российской разработки — «Пиранья». Обладая всеми достоинствами «зеехунда», наша сверхмалая субмарина приобрела множество новых качеств, которые поставили ее в ряд лучших в мире кораблей своего класса. Титановый корпус позволяет ей уходить на глубину до двухсот метров. Кроме трех членов экипажа, «Пиранья» может нести и 6 боевых пловцов. Она приспособлена также и для постановки морских мин.

На международной выставке вооружений в Абу-Даби «Пиранья», созданная в питерском СПМБМ «Малахит», получила высшие баллы. Но это не спасло уникальный корабль от печальной судьбы. Общая беда всего флота (да и всей России) — безденежье — поставила ее на мертвые якоря в углу кронштадтской гавани. По злой иронии рока, «Пиранье» выпало сниматься в кинокомедии «Особенности национальной рыбалки». Она блестяще сыграла свою роль. Но как хочется верить, что ей выпадет более серьезный шанс на морском театре.

Москва — Портсмут — Пассай

АВАНТЮРЫ ВО ЛЬДАХ

ДВА КАПИТАНА И «СВЯТАЯ АННА»

По следам героев жизни и книг

Этот рассказ я начинаю из Пскова, с того места, где когда-то стоял дом, в котором родился и вырос Вениамин Каверин, автор замечательного романа «Два капитана». Самого дома уже нет, есть мемориальная доска...

Быть может, надо было начать с гранитного причала города Полярного, что при входе в Кольский залив. Ведь именно отсюда отправилась «Святая Мария», шхуна капитана Татаринова, в гибельные льды Карского моря. Это по роману. Да и по жизни — прообраз главного героя — лейтенант Брусилов повел свою «Святую Анну» тоже отсюда, из Екатерининской гавани тогдашнего Александровска-на-Мурмане.

Но для меня эта волнующая история началась именно с каверинских страниц, поэтому и я начинаю свой розыск из Энска-Пскова, с берегов реки Великой.

СНАЧАЛА БЫЛ РОМАН...

Всякий раз, когда я простужался и заболел, мама приносила мне чашку препротивного горячего молока с медом и любимую книгу — роман «Два капитана». Тогда я пил молоко, убеждая себя, что такое снадобье вполне могло бы спасти обмороженного штурмана Климова с застывшей во льдах шхуны «Святая Мария».

Поразительно, как иные книги могут программировать жизнь. Знаю это по собственному опыту. Я не собирался подражать одному из капитанов, запавшей в душу книги. Мало ли хороших увлекательнейших вещей было прочитано в юные годы? И казалось бы, история поиска пропавшей шхуны капитана Татаринова, погребена под слоями иных впечатлений. Да

и каверинский роман я не открывал потом лет тридцать. И вдруг поймал себя на том, что все эти тридцать лет я искал своего капитана, вольно или невольно проделав путь главного героя. Даже служить судьба забросила меня в тот самый город Полярный, из которого по жизни, а не по роману уходила в свое роковое плавание шхуна «Святая Анна», она же — «Святая Мария» в книге. И над тем островом довелось побывать, который был открыт в Арктике, благодаря дрейфу «Анны — Марии» — островом Визе. И в «городе Энске», то бишь Пскове, живая приходилось и даже купаться в тех местах на слиянии рек «Тихой и Песчинки», рек Великой и Псковы, где ловил папаненком голубых раков Саня Григорьев и куда вынесло сумку утонувшего почтальона с письмами капитана Татаринова. Даже этот эпизод повторился, правда, не в Пскове, а в Москве и несколько в иной форме. Вместо подлинных писем капитана Татаринова я вынудил на великой толкучке «измайловского вернисажа» подлинное фото капитана Ивана Львовича Татаринова, точнее его прототипа — лейтенанта Георгия Львовича Брусилова.

Говорю об идентичности этих имен столь уверенно, поскольку знаю от самого автора — приходилось общаться с Вениамином Александровичем — что образ капитана Татаринова собирательный. Его романная биография вобрала по меньшей мере три реальных моряцких судьбы — старшего лейтенанта Георгия Седова, лейтенанта Георгия Брусилова и частично геолога-морехода Владимира Русанова. От Седова командиру «Святой Марии» досталось его азовское детство и начало морской карьеры. От Брусилова практически все остальное — идея экспедиции, ее подготовка, обстоятельства похода. Даже отчества у них совпали — оба Львовичи. Как и у Татаринова, у Брусилова был тоже брат, только не двоюродный, а родной — тоже офицер флота — Сергей Львович Брусилов. Преподававший в советские годы в Военно-морской академии в Ленинграде.

Легко понять волнение, с каким я держал старый снимок. На фотобумажной четвертушке остался след человека, исчезнувшего в белых просторах Арктики 85 лет тому назад. Старая фотография чудом пережила войны, революции, кражи, пожары, блокады, эвакуации, перестройки...

«ВИЛЬКИЦКИЙ... ОН НИ ЧЕРТА НЕ ОТКРЫЛ!»

Право не хочется вступать в полемику с любимым героем любимой книги, однако же, как говорили древние: «Платон мне друг, но истина дороже».

Валентин Каверин (так же, как и его летчик, Саня Григорьев) пребывал в полной уверенности, что восстанавливает историческую справедливость, утверждая устами литературного героя:

«Только теперь я вспомнил о его (капитана Татаринова) открытии. Что это за земля к северу от Таймырского полуострова?.. Что за черт! Это была Северная Земля, открытая в 1913 году лейтенантом Вилькицким (В 1913 году Б.А. Вилькицкий был в чине капитана 2-го ранга. — Н.Ч.) Очень странно!..

...Вилькицкий открыл Северную Землю осенью, не помню точно когда, но только осенью, в сентябре или октябре. Осенью, через полгода! Осенью, значит, он ни черта не открыл, потому что она была уже открыта...»

Эти строки писались тогда, когда еще был жив сам Вилькицкий. Могу представить, с какой горечью читал он роман в своем брюссельском изгнании.

Однако я далек от мысли обвинять Каверина в намеренном искажении фактов. В те годы, когда он работал над будущей книгой — а это были 1938 год и последующие за ним еще пять лет, — среди некоторых советских историков Арктики бытовало мнение, что первым на западное побережье Северной Земли высадился геолог Владимир Русанов, и, поскольку он бесследно сгинул, то никак не смог доказать своего первенства. А все лавры первооткрывателей достались экспедиции Вилькицкого, которая на несколько месяцев позже увидела неизвестную землю и высадилась на ее восточное побережье. И если бы Вилькицкий тщательно обследовал и западные берега, то, возможно, обнаружил бы, если не живых русановцев, то, по меньшей мере, их последнюю стоянку.

Легенда эта родилась в 1934 году, когда и была найдена первая стоянка, сгинувших двадцать с лишним лет назад моряков с «Геркулеса». Обследовав безымянный островок в Карском море, гидрографы с парусно-моторной шхуны «Сталинец» наткнулись на остатки одежды, детали фотоаппарата «Кодак» (Саня Григорьев у Каверина обнаружит на стоянке Татаринова целый аппарат с частично сохранившимися пленками), картонные гильзы, сломанный горный компас, бритву, монеты и другие вещи. Все

они и в самом деле принадлежали русановцам. Но дело в том, что Русанов, как установил его биограф и исследователь арктических земель Владислав Корякин, шел не сквозным путем в Тихий океан, а намеревался войти в устье Енисея. Следы его последней стоянки находились за 200 километров от поставленной цели, Енисейской губы, и за тысячу верст до ближайшего острова из архипелага Северной Земли. Как ни заманчива легенда о погибшем первооткрывателе, она остается лишь сюжетной версией романа. Северная Земля осталась за Борисом Вилькицким. И это научный, географический факт. Жаль, что сухой язык науки мало что изменит в массовом читательском сознании. Слишком уж велика сила художественного слова. Другое дело, что околичности наших арктических эпоей сегодня мало кого волнуют. Не всякий преподаватель географии скажет, кому принадлежит честь самого крупного географического открытия XX века. Но это отдельный разговор.

Итак, вещи экспедиции Русанова и даже деревянный брус с «Геркулеса» хранятся ныне в питерском музее Арктики и Антарктиды. Остов седовского «Святого Фоки» догнивает на отмели под Архангельском, а вот брусиловская шхуна «Святая Анна» как в воду канула. В воду? Все, кто хоть раз видел это крепкое, приспособленное к плаванию во льдах судно, были убеждены, что никакие сжатия ледовых полей не смогут раздавить яйцеобразный корпус, трижды обшитый дубом и оббитый по ватерлинию листовой медью.

Шхуна строилась для поиска пропавшей полярной экспедиции Франклина в конце XIX века. И сама разделила ее участь. В этом есть своя мрачная мистика...

Среди нескольких версий о судьбе брусиловской экспедиции, есть и такая достойная, на первый взгляд, фантастики Александра Беляева: шхуна «Святая Анна», вмерзшая в лед, продолжает свое неспешное движение по большому кругу, вовлеченная в так называемый центральноарктический циклический дрейф.

Известный полярный авиаштурман В. Аккуратов утверждал, что в 1937 году, пролетая в районе Земли Франца-Иосифа, видел под крылом вмерзший в лед безлюдный парусник с тремя мачтами и обломанными реями. По силуэту судно очень напоминало «Святую Анну». (Уж не Аккуратов ли прообраз летчика Саши Григорьева в «Двух капитанах»?) Полярники-профессионалы говорят — возможно. Брошенный в Арктике экспедицией Мак-Мора корабль дрейфовал во льдах 57 лет.

Может быть, и «Святая Анна», присыпанная снегом, в гирляндах инея на ряях все еще вершит свое тихое кружение вокруг земной оси? И какой-нибудь непридуманный пилот ли, рыбак, моряк однажды поднимется на ее палубу и распахнет примерзшую дверь обледелой рубки, где неистлевший в вечном холоде судовой журнал, как книга судеб, откроет участь тринадцати оставшихся на борту брусиловцев?

ИКОНА НА ШТУРВАЛЕ

Штральзунд. Октябрь 1988 года

В Штральзунд меня занесло безо всяких дел. Просто в один из воскресных дней мои берлинские друзья Петра и Манфред, у которых я гостил, решили показать мне старый ганзейский город-порт. Мы сели в скорый поезд, бегущий на северо-восток Германии и через три часа, как до Твери, докатили до Штральзунда.

Островерхий город с взъерошенной временем красной чешуей черепиц, весьма походил на Ригу, с той разницей, что вместо Даугавы Штральзунд рассекала неширокая протока между материком и островом Рюген, соединенным с портом железнодорожной дамбой.

Лютеранские петухи на шпицах смотрели в море. От остывшей Балтики веяло промозглой осенью, и мы отправились на поиски подходящего кабачка.

В средневековых припортовых улочках с не по-немецки облупленными обветшавшими домами (правительство ГДР почему-то не баловало Штральзунд дотациями) шныряли храбрые корабельные крысы, давно сменившие трюма пароходов на подвалы Хинтерланда¹).

Мы обогнули монастырь Святого Духа с госпиталем для престарелых матросов и нашли то, что искали: два фонаря — зеленый и красный зазывно светились в сумерках перед входом в бир-штуббе — пивной погребок — «У Ханзы».

Красные фонари не означали здесь ничего дурного. Их прочные рифленые стекла, способные выдержать удар штормовой волны, служили раньше на морских судах в качестве отличительных огней левого борта, зеленые же — правого. Они и при входе в погребки расположены именно так, как привычно морскому глазу: красный по левую руку, зеленый — по правую.

¹ Припортовый район.

Туристы сюда почти не заглядывают, опасаясь нарваться на не слишком вежливое замечание подвыпившего моремана. Но с бывальными берлинцами я чувствовал себя в этом простецком зале, завешенным старыми сетями и гравюрами парусников, в своей тарелке.

Рослый немолодой буфетчик в кольчужном фартучке на пивном брюшке и наколотой на предплечье розой ветров, кивнул нам на столик под деревянным рулевым колесом, украшавшем стену зала. К ступице штурвала была прикреплена русская икона, как мне сначала показалось — Божией Матери. Однако, приглядевшись, я разобрал церковнославянскую вязь — «Святая Анна Кашинская». Штурвал этот маячил прямо у меня перед глазами. На медной накладке проступали затертые латинские литеры — ...Andor...

Это все что оставалось от названия судна, которое когда-то управлялось этим штурвалом. «Андорра»? — Гадал я. — «Шандор»?

По моей просьбе Петра спросила у буфетчика, что за имя начертано на штурвале. Тот пожал плечами, и сказал, что эту реликвию добыл для бара его отец, бывший рыбак. Он вызвался позвонить ему и набрал номер. После недолгой беседы, пересказал нам, то, что услышал:

— После разгрома Гитлера Германия страшно голодала, и администрация союзных держав разрешила немецким рыбакам выходить в Балтийское и Северное моря. Но никому не хотелось вытягивать своими тралами морские мины, которыми оба моря были начинены, как хороший суп клецками, и все сейнеры забирались подальше на север. Отец ходил механиком на небольшом траулере. В ту пору по морям носило много всяких брошенных и полузатопленных посуды. Особенно часто встречались они в Северном море, куда течениями выносило остатки разгромленных арктических конвоев. Был случай, когда рыбаки пришвартовались к брошенному сухогрузу и привезли в Штральзунд замечательный улов в виде груды новеньких американских солдатских ботинок.

Однажды, это было осенью 1946 года, отцовский траулер едва не врезался в густом тумане в брошенную парусную шхуну. Высадившись на нее, рыбаки обнаружили много мясных консервов. Провиант перегрузили в трюм траулера, заодно сняли этот штурвал и эту икону. Забрали также и граммофон с пластинками.

— Чей это был парусник?

— Отец не знает. На нем не было ни флага, ни имени на борту. Вот и вся история.

Я покидал Штральзунд, даже не подозревая, что этот город таит ключ к тайне «Святой Анны». Точнее половинку ключа. Вторая его часть приоткрылась именно там, откуда шхуна лейтенанта Брусилова вышла в свой последний и, хочется верить, все еще неоконченный рейс — в Екатерининской гавани, на гранитных берегах которого стоит город Полярный. Во времена Седова и Русанова, он назывался Александровском-на-Мурмане, в честь последней российской императрицы — Александры Федоровны. Некогда рыбацкий поселок на выходе из Кольского залива, превратился за сто лет своего существования в большую по заполярным меркам город, в крупную военно-морскую базу Северного флота. Вот в этом ныне забытом Богом и минфином граде, выходит на невесть какие средства, — на энтузиазме любителей истории края — провинциальный журнал «Екатерининская гавань». Один из номеров подарил мне главный редактор этого уникального издания Игорь Опимах. Открываю и первым делом читаю статью на «местные темы» — «Экспедиция Брусилова». А в ней такие строчки:

...Шхуна вышла из Петербурга 10 августа (28 июля) 1912 года... Когда «Святая Анна» выходила в финский залив, произошел замечательный эпизод. Мимо проплыла яхта «Стрела», на борту которой находился будущий президент Франции Пуанкаре.

— Как прежде называлась яхта? — Поинтересовался он.

— «Пандора».

— Да, — задумчиво сказал будущий президент. — Пандора — богиня, которая неосторожно открыла сундучок с несчастьями.

И эти слова оказались пророческими». Стоп! «Пандора»! «Святая Анна» называлась раньше «Пандора». Нанести новое имя на борта — полдела. Но на штурвале и некоторых других важных деталях шхуны было выбито ее первородное имя «Пандора». На медной накладке рулевого колеса в штральзундском кабачке были вытравлены литеры «...andora...» А ведь это вполне могли быть остатки надписи «Pandora», которую суеверные моряки, попытались забить. Икона Святой Анны, — какую же еще могли вручить им перед походом?! Именно той святой, в честь которой и переименовали судно. Конечно же, это могла быть икона и Николы Морского, покровителя моряков, и Христа Спасителя. Но к штурвалу «...andor...» была прикреплена все же Святая Анна. Два совпадения... По двум точкам штурмана берут пеленг. Можно ли это маленькое открытие считать пеленгом на пропавшую шхуну? Что если именно брусиловскую «Аннушку» встретили в Северном море немецкие рыбаки? Разве не могла она со своим мощным противо-

ледовым корпусом продержаться на плаву с 1914 по 1946 год. Как бы там ни было, но и эта история лишь пополнит злосчастный сундучок Пандоры, и без того набитый версиями о судьбе «Святой Анны» и ее команды.

Псков. Ноябрь 1997 года

А в Пскове помнят, любят и чтят капитана Татаринова. Даже домик отважного капитана могут показать: старинный особнячок на Ольгинской набережной, что глядит своими окнами на реку Великую, на стены, купола и башни здешнего кремля. Впрочем, достоверность этого домика такая же, как и у подвальчика булгаковского Мастера на Арбате. Читательская фантазия щедра и неистощима. И все же с капитаном Татариновым в Пскове-Энске можно встретиться. Для этого надо прийти в старую часть древнего города к детской библиотеке, что на улице Некрасова. Там увидишь, как широко шагает в летных унтах и пилотском шлеме бронзовый Саня Григорьев, а за его спиной — то ли из глыбы льда, то ли из гребня волны, вырастает капитан Татаринов, упрямо подняв подбородком отросшую за зимовку бороду.

«Бороться и искать, найти и не сдаваться...» Ставить памятники любимым литературным героям — традиция давняя, охватившая многие страны, где «жили» Том Сойер или Дон Кихот, Тиль Уленшпигель или андерсеновская Русалочка... Теперь такой монумент есть и в Пскове, поставленный стараниями и терзаниями заведующей детской библиотекой Аллы Алексеевны Михеевой. Низкий поклон ей за это от всех читателей «Двух капитанов». Жаль только, что в нашей стране нет памятника невыдуманным героям этой истории, тем, кого слил в себе литературный образ — Георгия Седова, Георгия Брусилова, Владимира Русанова. Да и российскому колумбу Борису Вилькицкому тоже еще постамент не заготовлен.

Впрочем, в Полярном поставили на гранитный пьедестал старинный церковный колокол, под прощальный звон которого, уходили из Екатерининской гавани сгинувшие экспедиции. И имена Брусилова и Русанова выбиты на камне.

Правда, стало известно еще об одном памятнике. В честь отца и сына Вилькицких крымский астроном Николай Черных назвал открытый им астероид, зарегистрированный под номером 5314. Конечно, глыба космического льда, летящая в глубинах Вселенной, как нельзя лучше соответствует духу полярных предприятий. И космические реестры — это тоже скрижали истории. Но все это умозрительно, тогда как давно назрела необходимость поставить мемориал первопроходцам русской Арктики — в Питере ли, Ар-

хангельске, Мурманске...Теперь, когда вдоль Великого Северного морского пути России безденежье казны погасило маяки, так важно зажечь этот свет — огонь памяти.

Мир забыл. Что самые крупные географические открытия в веках нынешнем и минувшем совершили русские моряки: в 19-м они открыли целый континент — Антарктиду, в 20-м — гигантский архипелаг: Землю Императора Николая II (Северную Землю).

В те самые годы, когда в США интерес к Северу подстегнула золотая лихорадка на Аляске, российские энтузиасты устремились в Арктику отнюдь не ради «золотого тельца». И Бориса Вилькицкого, и Георгия Брусилова, и Владимира Русанова, и Петра Новопашенного, и Георгия Седова вела в гибельные пространства Ледовитого океана державная идея проторить для России морской путь великой стратегической и экономической важности, соединить регулярным транспортным сообщением Дальний Восток с Крайним Севером, проложить на карте планеты трассу, подобную Великому Шелковому Пути из Китая в Европу или исторической дороге «из варяг в греки». Собственно, это и был тот же самый военно-торговый путь только не в меридианальном, а в широтном направлении — «из варяг в китайцы», из России в Россию, из Архангельска во Владивосток. Прокладывая эту трассу, полярные экспедиции россиян пропадали вместе со своими кораблями: «Геркулес» Русанова, «Святая Анна» Брусилова.. То был, воистину, русский космос — льды да льды кругом. Это по нему тосковала душа: «А вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег...» Это туда, на поиски новых земель, уносили моих соотечественников поморские кочи, собачьи упряжки и парусные шхуны...

Потом, когда этот белоснежный космос обжили и обустроили, мы устремились к звездным мирам. Но тогда, в начале века, полярный круг манил к себе, как ворота Вселенной.

Гвоздь со «Святого Фоки»

Я искал своих капитанов. Их было не два, и даже не три: Брусилов, Русанов, Седов, Вилькицкий, Новопашенный... Я шел по их следам в северных морях и в эвенкийских стойбищах, в морских архивах и старых петербургских квартирах, а потом писал книги, как путевые дневники.

Я застал в живых женщину, которая подарила последний вальс капитану Татаринову, то бишь старшему лейтенанту Георгию Седову. Капитан «Святого Фоки» танцевал перед уходом в свой роковой рейс с дочерью архангельского инженера Ксенией Гемп.

Поразительно, но она и сейчас еще живет там же, близ Соборной пристани. Ксении Петровне давно за сто, но она помнит их всех, истинных рыцарей Арктики...

Мне удалось найти могилу Вилькицкого в Брюсселе. Она была обречена на снос, но благодаря стараниям многих энтузиастов, удалось перезахоронить прах российского командора на Родине — в Смоленском некрополе Санкт-Петербурга.

Пишу о том не хвалыбы ради, а в порядке самоотчета перед капитаном Татариновым и всеми, кого объединяет это имя. Горько, больно, обидно, что не только нет никакой государственной программы по увековечиванию полярных героев России, но и святое кровное дело их заброшено, предано забвению.

И вот недавно — не на Севере, в Севастополе — поднимаюсь на палубу четырехмачтового барка «Георгий Седов», который пришел на ремонт в Камышовую бухту. И капитан за стаканом чая рассказывает, как и чем зарабатывает ныне красавец-барк себе на паруса, команде на жизнь. Возит интуристов в северные моря. А те носят матросские робы, спят в подвесных койках, сбрасывают снег с палубы, живут в кубриках, во всю играют в полярных мореходов. Немцы играют, чехи, французы, итальянцы, швейцарцы, американцы... И песни матросские поют, и снасти какие-то им тянуть доверяют. В общем, играют в «двух капитанов», в Брусилова и Русанова, Норденшельда и Нансена...

Эх, были б деньги и я так поиграл! А парней бы наших, всех этих нынешних рокеров-брокеров-диллеров-маклеров-дистрибьютеров, провезти разок под северным сиянием меж заснеженных льдов!

Вот о том и толковали мы с капитаном, а потом спустились палубой ниже и прошли в судовой музей. Он здесь вроде судовой церкви — эдакое святилище памяти Георгия Седова. На маленьком стенде хранится под стеклом подлинный гвоздь из деревянного корпуса «Святого Фоки» — кованый ржавый нагель. Поодаль висят портреты Георгия Седова, его сотоварищей и музы полярных капитанов — Ксении Гемп. Они снова вместе, как тогда, в Архангельске, в последнем вальсе командора. Они и сейчас вальсируют, как тогда, когда «Георгий Седов» в белых парусах качается на крутой волне, и кружит по морям и океанам архангелгородскую прелестницу Ксению, затаив ее лик в недрах корабельной души. Так вершится поминальная мистерия и по Георгию Брусилову с его преданной Ерминией, по всем, для кого подвенечная фата обернулась снежным саваном Арктики.

Два капитана, два Георгия, одна книга, одна судьба...

ЗАГАДКА ПОЧТОВОЙ ОТКРЫТКИ

Первая и пока единственная в мире высокоширотная зимовица Ерминия Жданко, исчезнув во льдах Арктики в 1913 году, подала о себе весть в 1928.

Если бы за настоящие приключения давали бы «оскаров», то история с полярной шхуной «Святая Анна», наверное получила бы наград не меньше, чем нашумевший фильм о «Титанике». Тем более, что драматические события разворачивались примерно среди тех же льдов и айсбергов. Напомним, о чем идет речь.

В злосчастный год гибели крупнейшего лайнера мира отправилась на встречу льдам и неизвестности небольшая парусная шхуна, бывшее зверобойное судно, «Святая Анна». Перед ней стояла непростая даже для современного атомохода задача — пройти северным морским путем из Петербурга (потом из Александровска-на-Мурмане) во Владивосток. Опасный и тяжкий крест подобного предприятия взвалил на себя 28-летний офицер императорского флота — лейтенант Георгий Брусилов. Об Арктике он знал не понаслышке, судно было приспособлено к сжатию ледяных полей, запасов хватало на несколько зимовок. Может быть, поэтому Георгий Львович рискнул взять в этот поход свою дальнюю родственницу Ерминию Жданко. Впрочем, не все так просто...

Можно было бы смотреть на нее, как на сумасбродную генеральскую дочь, которая в силу каприза «увязалась» за экспедицией, если бы не знать характера этой 20-летней казачки. В четырнадцать лет она едва не укатила к отцу в Порт-Артур, чтобы защищать с ним крепость. Узнав, что дальний родственник семьи — Георгий Брусилов — затеял небывалое плавание со зверобойной охотой на всем пути через Ледовитый океан, Ерминия умолила Брусилова взять ее хотя бы вокруг Скандинавии до Александровска-на-Мурмане (ныне Полярного). В Екатерининской же гавани — последнем оплоте цивилизации на предстоявшем пути — выяснилось, что несколько членов экипажа сбежали с борта шхуны, предчувствуя гибельный рейс, а лейтенант Андреев, друг детства Брусилова в назначенный срок на «Святую Анну» не прибыл. Девушка в сердцах писала родителям: «Этого Андреева я видела на «Святой Анне» в Петербурге. И как-то сразу почувствовала недоверие и антипатию... С Андреевым должны были приехать в Александровск ученый Севастьянов и доктор... но вдруг накануне отхода оказалось, что ему «мамочка не позволи-

ла», а попросту он струсил... Между тем, когда об экспедиции знает чуть ли не вся Россия, нельзя же допустить, чтобы ничего не вышло... Аптечка у нас большая, но медицинской помощи, кроме матроса, который был когда-то ротным фельдшером, никакой. Все это произвело на меня такое удручающее впечатление, что я решила сделать, что могу, и вообще чувствовала, что если я тоже сбегу, как и все, то никогда себе этого не прощу». Такие вот мотивы, весьма далекие от порыва взбалмошной бабышны. Еремения окончила медицинские курсы (тогда они назывались «самаритянскими»), и потому считала своим профессиональным долгом сопровождать экипаж «Святой Анны» в качестве лекаря. К тому же она на столько вошла в курс всех дел экспедиции, что даже внесла в общий пай двести рублей из своих скромных личных средств. Тем не менее Брусилов весьма сомневался, брать ли девушку с собой. Все решила телеграмма, которая пришла от генерала Жданко в ответ на просьбу дочери разрешить ей поход на шхуне: «Путешествию Владивосток не сочувствую. Решай сама». Она и решила...

Знала ли Мимка, как ее звали дома, на что себя обрекает? Кое о чем догадывалась, прокачавшись месяц в полярных водах на деревянном парусном судне среди простых мужиков, не стеснявшихся, как и все матросы, в выражениях. Но могла ли она представить себе все тяготы зимовки в скованных льдах? Да еще не одной... Уже на первой кончился осветительный керосин. Жгли тюлений жир в плошках... Вечная сырость, неистребимый холод, нескончаемый мрак полярной ночи, плесень на всем — на подушке, одежде, продуктах, авитаминоз, болезни... «Заболевали, сдавали наиболее сильные мужчины, капризничали, ссорились, швыряли в сердцах тарелки с супом чуть ли не в голову «обидчику», выкрикивали непристойности, ввязывались в драки... А она терпела». Более того — утешала их, увещевала, лечила. И еще играла им на фортепиано в кают-компании. Брала нежнейшие аккорды под грохот ломающихся льдов и шорох инея, осыпающегося с обмерзших рей... Не представляю себе эти концерты среди торосов, среди белого безмолвия ледяной пустыни...

О том, каким добрым ангелом для команды была Еремения, мы знаем из дневника штурмана Валерия Альбанова. Ему да еще матросу Конраду посчастливилось вырваться из ледяного ада. После крупной ссоры с лейтенантом Брусиловым Альбанов вместе с несколькими добровольцами ушел по льду со шхуны на большую землю. Был шанс спастись вместе со штурманом и у

Ереминии Жданко. Но она, повинаясь своему врачебному долгу, да и выбору сердца, осталась с больным командором и больными матросами. Что бы о ней не судачили, а она исполнила клятву Гиппократов по самому высокому счету. Альбанов был последним, кто принес вести о «Святой Анне» в 1913 году... Что было потом? Шхуна навсегда ушла в область преданий, домыслов и легенд... Восемь десятилетий историки Арктики, ученые-гляциологи, полярные летчики и всевозможные аналитики ломали и ломают головы над тем, что могло случиться со вмерзшим во льды судном и людьми лейтенанта Брусилова. Десятки гипотез и теорий... Я тоже попытал счастья на этой зыбкой ниве... И вдруг (после публикации статьи «Два капитана и «Святая Анна» звонок из Санкт-Петербурга: « Приезжайте! Есть новости от Ереминии Жданко!» Выезжаю немедленно...

Человек, который назначил мне встречу в петербургском дворянском собрании, бывший геолог Анатолий Вадимович Доливо-Добровольский, меньше всего походил на искателя громких сенсаций. И тем не менее он просто ошарашил меня сообщением:

— Ереминия Александровна Жданко гостила у наших общих родственников в Риге в 1928 году...

— В 28-м?! Спустя пятнадцать лет после исчезновения в Карском море?

— Да, именно так... В Москву из Риги пришла открытка, которая извещала других наших родственников о приезде Ереминии вместе с десятилетним сыном. Она вышла замуж за Георгия Брусилова и жила вместе с ним во Франции.

— Позвольте, но как же это возможно?

— Вы знакомы с гипотезой П. Новокшенова и Д. Алексеева? Она получила широкую известность. По версии этих исследователей, «Святая Анна» попала в циклический дрейф приполярных льдов и весной 1915 года шхуну вынесло на чистую воду Северной Атлантики. У оставшейся на борту части команды были все шансы пережить вторую зимовку. Продовольствия хватало, да и на зверя могли добывать по ходу дрейфа. Но у моряков не было радио и они не знали, что в океане во всю шла мировая война. Германские подводные лодки не брезговали никакой добычей, в том числе и парусниками. Всплывали, забирали капитана с судовыми документами, давали команде возможность сесть в шлюпки и топили судно. Весьма вероятно, что именно так немцы поступили и со «Святой Анной», шедшей под флагом России. Только вместе с капитаном взяли и единственную женщину. Вряд ли измученные двумя зимовка-

ми «святоанненцы» смогли догresti до ближайшей земли. Любая штормовая волна могла казаться для них последней. А вот двух пленников подводники обязаны были доставить в базу. Брусилов, как офицер русского флота, подлежал содержанию в лагере. Ерминию должны были интернировать до окончания войны. Выходит, что обоих освободили только в ноябре 1918 года. Что оставалось им делать? Возвращаться в Красную Россию, где офицеров расстреливали налево и направо? Да и дочери генерала вряд ли поздоровилось в большевистской Москве... У них был вполне здравый житейский шанс: уехать во Францию, где еще до революции жил родной дядя Георгий Брусилова, тот самый, на чьи деньги была куплена и снаряжена «Святая Анна». И они, надо полагать, это сделали. Видимо, в том же 18-м году они и поженились. Мог и сын в это время родиться... Кстати говоря, к этому же состоятельному родственнику уехала из СССР после смерти мужа в 1926 году вдова Алексея Алексеевича Брусилова, бывшего царского генерала и инспектора кавалерии РККА.

Почему я вникаю во все эти дела и детали? Да потому что, Ерминия Александровна Жданко была дочерью Тамары Иосифовны урожденной Доливо-Добровольской, тогда как Георгий Львович Брусилов приходился родным братом Ксении Львовны Брусиловой, которая вышла замуж за высокопоставленного морского офицера — заместителя начальника Генерального Морского штаба России капитана 1-го ранга Бориса Иосифовича Доливо-Добровольского. Так все три дворянских рода — Жданко, Брусиловых и Доливо-Добровольских — оказались повязанными тесными семейными узами. Вот почему Ерминия дала о себе знать прежде всего самому доступному для нее клану рижских родственников.

— Та открытка сохранилась?

— Она не должна была сохраниться по той печальной причине, что в двадцатые годы ОГПУ не поощряло зарубежные связи бывших дворян. Я полагаю, что и ответа-то на ту открытку не было. Но о ней говорили все, кто уцелел в нашем роду. Такие новости не забываются...

— Почему же в эмигрантской среде ничего не было слышно о сенсационном возвращении лейтенанта Брусилова? Ведь зарубежная русская печать весьма оперативно реагировала и на куда менее значительные события...

— Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, имя генерала Брусилова в нашем зарубежье было предано анафеме за

службу большевикам и прежде всего за его Обращение к офицерам и бойцам белых армий в 1920 году. Сотни людей, доверившись честному слову Брусилова, возвращались домой и тут же попадали в застенки ЧК. Так что афишировать свое родство с «красным генералом» Георгий Львович не спешил, тем более, что и его сын, и его спутница жизни тоже носили теперь эту одиозную фамилию. Во-вторых, командир «Святой Анны» отнюдь не жаждал полярных лавров, так как имел все основания полагать свою экспедицию более, чем неудавшейся: во Владивосток не пробились, экипаж раскололся, шхуна погибла, люди на шлюпке не спаслись... А он, капитан, — жив, как ни в чем не бывало... Все эти обстоятельства могли вынуждать его к тихому замкнутому образу жизни где-нибудь на юге Франции, где никому не было дела до забытой русской экспедиции.

Откуда было Брусилову знать, что даже такой «неудавшийся» его поход, принес пользу отечественной науке. Так, изучая дрейф «Святой Анны», профессор В. Визе, предположил, что к северо-востоку от Новой Земли должен находится неизвестный остров, который отклоняет движение льдов. Гипотеза Визе блестяще подтвердилась в 1930 году, когда экспедиция на ледокольном пароходе «Седов» открыла остров именно в том месте, где предсказал профессор.

Я видел этот скалистый клочок суши на полпути к полюсу из-под крыла десантного самолета. На острове Визе замерзала рота дальнего воздушного наблюдения войск ПВО страны. Из-за крайне тяжелой ледовой обстановки на остров не смогли доставить в летнюю навигацию соляр. Министр обороны принял решение забросить бочки с топливом на парашютах. Караван тяжелогруженных «АНов» стартовал из Амдермы. Через несколько часов напряженнейшего полета над ночными пустынями Ледовитого океана, мы увидели «конверт» огней, выложенных замерзающими бойцами из пяти бочек с остатками соляра. На них и стали выходить воздушные машины. И тут мы узнали, что на острове среди полусотни солдат зимует и одна женщина — жена лейтенанта. Десантники, которые парашютировали грузы, тут же привязали к одной из бочек флакончик духов. Не знаю долетел ли он до отважной зимовщицы в целостности и сохранности, но знаю определенно — в этой женщине жила душа Ерминии Жданко.

Ничто не исчезает бесследно, даже такая эфемерная материя, как души прекрасные порывы. Вот и она, безвестная жена безвестного лейтенанта, двадцатилетняя девчонка, знать не зная ни о

какой Ерминии Жданко, совершила свой героический выбор — с любимым на край и даже за край света.

За несколько лет до гибели Георгий Седов написал брошюру «Право женщин на море». Ерминия Жданко делом подтвердила теоретические выкладки полярного первопроходца. Как бы не сложилась ее судьба, (а я благодарен своему собеседнику за счастливый финал в арктической трагедии), мы все изрядно задолжали героине этих строк. Задолжали улицы с ее именем в Москве, Петербурге, Полярном. Задолжали теплоход «Ерминия Жданко», именную стипендию в медицинских институтах, мемориальные доски, страницы в учебниках, почтовые марки, настольные медали... — все то, что называется увековечиванием памяти. Правда, в неприступных отрогах запретной Новой Земли есть мыс Ерминии и ледяной купол Брусилова. Но это скорее их заслуга, чем наша.

Ерминия и Георгий — да оттают наши сердца при звуках этих славных имен!

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАПИТАНА «ГЕРКУЛЕСА»

Он вернулся из небытия белого безмолвия первым. Спустя восемьдесят восемь лет после того, как его шхуну видели в последний раз с берегов Новой Земли...

Я держу в своих руках его пожелтевший череп, набитый сухим таймырским мхом. Это вы, капитан Кучин?

Есть только один человек, которому череп ответит на этот вопрос...

Три экспедиции ушли во льды Северного океана в 1912, и командоры всех трех сгинули безвестно: что старший лейтенант Георгий Седов на «Святом великомученике Фоке», что лейтенант Георгий Брусилов на «Святой Анне», что геолог Владимир Русанов с капитаном Александром Кучиным на «Геркулесе»... Норвежские и российские спасатели искали их, что называется по горячим следам — не нашли. Следы пропавших экспедиций искали в тридцатые годы и находили: то обломки судов, то меченые столбы, то чьи-то истлевшие останки. Искали полярных первопроходцев и в недавние времена — экспедиции Дмитрия Шпаро. Ищут и поныне.

И вот сенсационная новость: группа орловских энтузиастов во главе с Валерием Сальниковым обнаружила близ горы Минина, на Таймырском полуострове, человеческий череп и несколько костей. Поначалу решили, что это Владимир Русанов. Привезли останки в Москву в республиканский центр судебной медицины. Но авторитетный специалист доктор медицинских наук Виктор Звягин не подтвердил этой догадки. Тогда в чем же сенсация?

В кают-компания пропавших капитанов

Еду на Красную Пресню, где в глубине старого двора находится здание судебно-медицинского экспертного центра.

В кабинет Виктора Николаевича Звягина вхожу не впервые и всякий раз вздрагиваю при виде полок, уставленных черепами. А хозяин как ни в чем не бывало заваривает чаек... Никогда в жизни не приходилось пить чай в столь странной компании: с навесной полки на нас взирали пустые глазницы адмирала Ушакова и Витуса Беринга, северных первопроходцев XVIII века Василия и Татьяны Прончищевых, боцмана шхуны «Заря» Никифора Бегичева и череп моряка, только что доставленный с Таймыра.

Сразу оговорюсь, черепа Ушакова, Беринга и Прончищевых представлены здесь в виде гипсовых слепков, сделанных Звягиным с исторических подлинников. Дело в том, что Виктор Николаевич, ученик, восстанавливал прижизненный облик всех этих людей по методике, разработанной профессором Герасимовым. Участник многих поисковых экспедиций, он не понаслышке знает, что такое Арктика.

— Виктор Николаевич, почему вы так жестоко разочаровали орловских поисковиков?

— Во-первых, потому, что череп принадлежит явно молодому человеку, погибшему в возрасте до двадцати пяти лет, тогда как Русанову было 37. Во-вторых, не думаю, что я разочаровал их жестоко, поскольку найти останки капитана «Геркулеса» — это тоже событие.

— Так значит это череп Александра Кучина?

— Полагаю, что да, хотя для однозначного ответа необходимо провести экспертизу на молекулярно-генетическом уровне. К сожалению, для этого нужны деньги — около двух тысяч долларов, а наш Центр «лишними» средствами не располагает.

Кто вы, капитан Кучин?

Когда всматриваешься в фотопортрет Александра Кучина, невольно вспоминается жюль-верновский герой — пятнадцатилетний капитан. Капитан Кучин был ненамного его старше. Но сколько же он успел в свои двадцать пять, этот поморский паренек. Успел сходить со знаменитым Руалом Амундсеном в антарктические воды, успел составить русско-норвежский словарь, успел написать несколько литературных произведений, успел стать дипломированным капитаном и возглавить научно-исследовательское судно «Геркулес»...

Незадолго до рокового похода Александр Кучин объявил о своей помолвке с дочерью известного в Норвегии литературного критика Поульсона — Аслауг. Аслауг ждала своего нареченного всю жизнь, а умерла она относительно недавно...

Осенью 1912 года, обследовав архипелаг Шпицберген, «Геркулес» неожиданно для всех направился по Великому морскому пути и в 1913 году исчез вблизи берегов Таймыра. План Русанова — пройти на небольшой парусно-моторной шхуне с двигателем всего в 16 лошадиных сил вдоль берегов Сибири — многим казался безумным. Но Русанов свято верил в свою гипотезу — поскольку теплое течение Гольфстрим проходит много севернее сибирских берегов, то именно там, считал он, и надо искать чистую ото льдов воду, по которой можно беспрепятственно пройти на Дальний Восток. Этой верой Русанов сумел увлечь и капитана Кучина, и всех остальных немногочисленных участников предприятия — их было восемь, включая и невесту Русанова парижанку Жюльетту-Жан Сессин. Восемь живых душ и шестнадцать лошадиных сил против тысячи верст самого сурового на планете океана... Безумие? Но если бы гипотеза о «теплом проходе» севернее прибрежных льдов, оправдалась, «Геркулес» свершил бы подвиг, достойный своего мифического тезки.

«Располагая маленьким «Геркулесом», непригодным для плавания в тяжелых полярных льдах и неприспособленным для зимовки, В.А. Русанов, очевидно, не надеялся на сочувствие задуманному им столь ответственному и трудному плаванью. А между тем, являясь горячим поборником Северо-восточного прохода, он, несомненно, всей душой стремился к его исследованию и не хотел упускать представившейся возможности осуществить свою заветную мечту. Поэтому, тая про себя план далекого похода на восток, он решил открыть его только в самый последний момент, когда уже никто не мог помешать ему в его намерении. Весьма возможно, что в данном случае он решил действовать по примеру Амундсена, который точно так же, ни с кем не делаясь своими истинными планами, потом круто изменил их, направившись вместо Северного полюса к Южному». Так попытался объяснить «безумие» Русанова человек, который хорошо знал его — Павел Башмаков.

Следы стоянок русановцев были обнаружены еще в двадцатые годы в так называемых шхерах Минина. Но самая последняя неизвестна никому и поныне. Почему же останки капитана Кучина, если это Кучин, находились особняком, в стороне от лагеря?

Профессор Звягин отвечает на этот вопрос, держа в руках безмолвный череп:

— Судя по сохранившимся зубам, этот человек был болен парадонтозом. Более того, сильно застудив лицо, он заболел гайморитом, на лицевых костях хорошо видны следы этого недуга...

Звягин показывает небольшие проточки, ведущие в черепную коробку.

— Незалеченный гайморит мог вызвать воспаление мозговых оболочек — лептоменингит. При подобном заболевании человек становится крайне раздражителен, он становится способным на непредсказуемые поступки, он избегает общества...

— Вы хотите сказать, что капитан Кучин, заболев лептоменингитом, мог отбиться от своих спутников, уйти в тундру и там погибнуть?

— Мог бы... Но повторю еще раз, для того чтобы сказать со стопроцентной вероятностью, что это останки Кучина, необходима специальная экспертиза. Благо живы его ближайшие родственники.

Невольно вспоминаются страницы каверинского романа «Два капитана». Его герои все же нашли последний след капитана Татаринова и его «Святой Марии». Неужели только в книгах возможны такие открытия?

Звоню в Орел руководителю экспедиции Валерию Сальникову.

— Валерий Яковлевич, как вы совершили свою находку?

— Череп и кости нашли у подножья горы Минина. Именно в этом районе была обнаружена в свое время одна из стоянок русановцев. Неподалеку нашли чайную ложечку из так называемого «польского серебра», жестянку из-под табака или пороха... Все эти предметы сейчас исследуют специалисты. У нас в Орле открыт музеем Владимира Русанова. Надеемся пополнить его экспозицию нашими находками. Но главное сейчас — это молекулярно-генетическая экспертиза. Ищем необходимые средства. Если кто-то смог бы помочь идентифицировать личность полярника, я, думаю, этот человек вписал бы и свое имя в историю российской Арктики.

Как хотелось бы, чтобы из всех пропавших во льдах капитанов, вернулся домой хотя бы один.

АВАНТЮРЫ СОВЕТСКОГО ФЛОТА

БРАСЛЕТ АДМИРАЛА ЩАСТНОГО

Адмирал Алексей Михайлович Щастный... Немногим ныне скажет что-нибудь эта странная фамилия, столь похожая на слово «счастливый».

Был ли счастлив адмирал Щастный? До тридцати семи лет — наверное...

Детство — безусловно, счастливое, обеспеченное достатком генеральской семьи, согретое семейным теплом бабушек, мамы, нянек, братьев, сестры. Да и есть ли лучший город для мальчишества, чем тихий зеленый древний Житомир на реке Тетерев?

Он счастливо окончил киевский кадетский, а затем Морской корпус в Петербурге — по высшему разряду. Он пережил резню офицеров в марте 17-го в Гельсингфорсе. И октябрьский переворот обернулся ему неожиданным взлетом — матросы выбрали его за доброту и толковость командующим Балтийским флотом. Он был всего-навсего капитаном 2-го ранга, но народная молва и газетчики взвели его в адмиральский чин, упраздненный большевиками. Так и вошел в историю адмиралом...

Он был счастлив в семейном кругу. Милая выпускница Смольного института благородных девиц Антонина Приемская-Сердюкова подарила ему дочь Галю и сына Льва.

Он был счастлив в звездный час жизни, когда вывел из осажденного немцами Гельсингфорса, пробившись сквозь льды, в Кронштадт большую часть Балтийского флота. Двести вымпелов, двести боевых кораблей — линкоров, крейсеров, эсминцев, тральщиков, подводных лодок — спас он для России. Он был счастлив, когда 30 апреля 1918 года 3-й съезд моряков Балтийского флота стоя аплодировал ему, скромному военмору, совершившему титанический подвиг во славу Отечества. В любой другой стране офицера, спасшего свой флот, увековечили бы в памяти потомков. А его, Щастного, — расстреляли... Он был несчастлив всего один раз — в день ареста, 28 мая 1918 года...

Гельсингфорс. Кронштадт. Шлиссельбург. Весна 1918 года

Чтобы оценить, что свершил этот человек и чего стоил ему сей подвиг, нужно вспомнить, что Балтика — море замерзающее и некогда до того злополучного февраля боевые корабли во льдах не ходили, а пережидали зимы в гаванях. И прежде чем решиться на этот немалый риск — вести корабли, особенно тонкобортные эсминцы и хрупкие подводные лодки, меж острых ледяных глыб, — Щастный призвал себе на помощь капитана 1-го ранга Новопашенного и старшего лейтенанта Транзе, обладавших уникальным опытом плавания во льдах, да к тому же арктических. Впрочем, главным ледовым советником его был Николай Транзе, так как на Новопашенного Щастный возложил военно-дипломатическую миссию. Петр Алексеевич вел с немцами переговоры в Гангэ, выторговывая льготные условия эвакуации флота, оттягивая время ультиматума...

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. «Этой делегации, — писал бывший старший офицер эсминца «Новик» капитан 2-го ранга Г. Граф, — было передано требование, чтобы к 30 марта весь русский флот покинул Гельсингфорс; те же корабли, которые по своему состоянию принуждены будут остаться, должны в условленный час поднять флаг «Ш». Это значило, что на них осталось минимальное количество команды, необходимое лишь для охраны, и то, что они не примут никакого участия в борьбе немцев с финскими красными. В случае неисполнения этих требований германский адмирал угрожал принять активные меры.

По возвращении делегации капитан 1-го ранга Щастный решил во что бы то ни стало вывести все корабли в Кронштадт. Совершенно не считаясь ни с двусмысленными приказами Москвы, требовавшей то вывода, то оставления флота, ни с определенным давлением со стороны англичан, требовавших его уничтожения, Щастный приступил к выполнению такой трудной задачи.

Началась лихорадочная подготовка к предстоящему переходу. Лед еще был довольно прочный, в особенности от Гогланда до Кронштадта, а потому сильно опасались, что часть кораблей, не осилив его, затонет во время пути. Однако рассуждать не приходилось, затаих даже Центробалт. Было решено послать все суда, даже и те, которые стояли в ремонте, с разобранными машинами. Они должны были идти на буксире ледоколов.

Работа кипела. Команды, напуганные слухами, что немцы будут вешать матросов без суда и следствия, работали так, как не работали и в доброе старое время. Один за другим корабли быстро изготовлялись к выходу в море.

В порту творилось что-то невообразимое. День и ночь там грузились баржи и подводы; грузились провизией, углем и всем, что только

можно было захватить на корабли. Это делалось без всякой системы и учета — масса продуктов пропадала, многое раскрадывалось и под шумок продавалось на сторону частным лицам. Все думали только о том, как бы побольше захватить и наgrabить.

На многих кораблях всевозможным добром были завалены все каюты, каюты и коридоры. Между прочим, на одном из линейных кораблей возник вопрос, куда девать огромные запасы муки, чтобы она не подмокла. Думали недолго: решено было спрятать в ...орудийные башни. В результате многие механизмы оказались испорченными.

Первыми, еще задолго до прихода германцев, ушли дредноуты. Потом потянулись другие большие суда: линейные корабли, крейсеры, заградители и транспорты. Наконец, в последнюю очередь — миноносцы, тральщики, яхты «Штандарт» и «Полярная звезда» с членами Центробалта и посыльное судно «Кречет» с А.М. Щастным. Большие всех волновались и торопились члены Центробалта, которые боялись, что германцы не выпустят яхты из Гельсингфорса и всех их немедленно расстреляют.

В Гельсингфорсе осталось самое незначительное число судов, не имевших никакого боевого значения. Согласно условию, они в назначенный час подняли флаг «Ш».

30 марта германская эскадра вошла на Гельсингфорсский рейд и, одновременно с войсками, ее десант занял город.

Переход в Кронштадт был особенно труден маленьким кораблям. С большим трудом ломая лед, они страшно медленно продвигались вперед. При нормальных условиях этот переход занял бы всего 10—12 часов, теперь же многие миноносцы совершили его в 8—9 дней. Однако, несмотря на такие трудности, все корабли благополучно дошли до Кронштадта, и только несколько миноносцев оказались с сильно продавленными бортами. Некоторые корабли дошли, имея у себя весьма малое количество людей, едва достаточное, чтобы обслуживать котлы и машины на одну смену. Так же мало на многих кораблях было и офицеров — иные дошли только с одним командиром.

Это был исторический, но вместе с тем и глубоко трагический поход русского флота, так недавно мощного, в блестящем состоянии, а ныне разрушенного, не пригодного ни к какой борьбе. Во время этого последнего похода во флоте еще раз вспыхнула искра прежней энергии. Личный состав сумел привести его развалины в последнюю базу.

Главная заслуга в том, что флот был приведен в Кронштадт, без сомнения, принадлежит капитану 1-го ранга А.М. Щастному. Только благодаря его настойчивости он не был оставлен неприятелю или затоплен, как того хотели союзники.

Придя в Кронштадт, часть судов перешла в Петроград и расположилась там вдоль всей Невы, часть же миноносцев и траль-

щиков была поставлена в Шлиссельбург для охраны берегов Ладожского озера.

Теперь флот оказался вблизи от центра власти, под непосредственным влиянием и неусыпным наблюдением Смольного. Тем не менее далеко не все было спокойно, в особенности на Минной дивизии. На многотысячных митингах, где выступали и офицеры, там стали раздаваться речи против власти комиссаров и призывы к открытому восстанию. Наряду с этим готовился и план овладения Петроградом после переворота на флоте.

Смольному, конечно, сейчас же стало об этом известно. Немедленно начались аресты как среди офицеров, так и среди команд. Миноносцы, как ненадежные корабли, были переставлены значительно выше по течению Невы, вне черты города.

Одним из первых был арестован и затем отправлен в Москву А.М. Щастный, которому предъявили обвинение в измене. Депутация от команд, выезжавшая туда, чтобы требовать его освобождения, не была никуда допущена.

Обвинение, предъявленное А.М. Щастному, было сформулировано так:

«Щастный, совершая героический подвиг, тем самым создал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против советской власти».

Такая странная формулировка обвинения не может не поразить каждого здравомыслящего человека, тем более что на суде не было ни одного факта, ни одного свидетеля, показывавшего против А.М. Щастного. Наоборот, все показания в один голос говорили в его пользу.

Против Щастного выступил только один — Троцкий. У него не было фактов, он высказывал лишь предположения, но все же утверждал, что Щастный искал популярности, чтобы направить ее против советской власти.

А.М. Щастного защищал присяжный поверенный В.А. Жданов. Он произнес блестящую речь. Защищать было легко, так как за подсудимого говорил его подвиг.

Присутствовавшие ни одной минуты не сомневались, что будет вынесен оправдательный приговор.

Когда судьи наконец удалились в совещательную комнату, Троцкий, бывший только «свидетелем», тоже моментально шмыгнул туда: он боялся, что под влиянием речи защитника, судьи вынесут оправдательный приговор.

Суд вышел. Председатель Верховного революционного трибунала громко и раздельно прочитал смертный приговор. Все остолбенели, не хотели верить своим ушам. Кажется, привыкли уже ко всему, но такой явной и возмутительной несправедливости никто не ждал.

Защитник спросил: «Куда можно обжаловать приговор?» «Приговор революционного трибунала кассации не подлежит, хотя можно еще обратиться к Президиуму Центрального Исполнительного Комитета», — ответил ему, уходя, председатель.

По статусу Верховного трибунала приговор мог быть отменен только пленарным заседанием ЦИКа. Однако председатель последнего, Свердлов, заявил, что ранее 24 часов ЦИК созван быть не может, а по истечении этого срока созывать его бесполезно, так как Щастного уже расстреляют...»

РУКОЮ ИСТОРИКА¹. В своем последнем слове на суде Щастный, в частности, сказал: «С первого момента революции я работал во флоте у всех на виду и ни разу никогда никем не был заподозрен в контрреволюционных проявлениях, хотя занимал целый ряд ответственных постов, и в настоящий момент всеми силами своей души протестую против предъявленных мне обвинений».

Убедительных доказательств, которые бы заставили усомниться в искренности этих предсмертных слов Щастного, нет. Ведь судили его только за те действия (бездействия), которые охватываются временными рамками нахождения в должности командующего флотом. А это — немногим более месяца. Однако за этот небольшой срок он сделал совсем немало — спас Балтийский флот от уничтожения. Переход кораблей из Гельсингфорса проходил в крайне тяжелых условиях. Дело было не только в толщине льда (около 75 сантиметров) и ледяных торосах (по 3—5 метров). Корабли подверглись обстрелам с острова Лавенсари и других островов, захваченных финскими контрреволюционерами, команды кораблей были укомплектованы всего на 60—80 процентов. Но моряки, руководимые Алексеем Михайловичем Щастным, совершили невозможное.

Флот практически в полной сохранности прибыл в Кронштадт. Всего было спасено 236 кораблей, в том числе 6 новейших линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев и миноносцев, 12 подводных лодок. Все эти корабли сыграли в дальнейшем важную роль в разгроме интервентов, стали фундаментом строительства ВМС страны.

То, что возглавлял ледовый поход А. Щастный, а не Гельсингфорсский комитет РКП(б) или Совет комиссаров флота (совещательный орган при командующем), как утверждается в книге под редакцией И. Минца, установить нетрудно. «Известия» ВЦИК освещали те события подробно.

¹ В. Звягинцев, майор юстиции, помощник начальника Управления военных трибуналов.

Велик соблазн объяснить суть конфликта Щастного и Троцкого строфой Маяковского:

Офицерам —
Суворова,
Голенищева-Кутузова
благодаря политикам ловким
быть под началом Бронштейна бескартузого,
какого-то бесштанного Левки?!

Но дело не в «бесштанности» Льва Троцкого. Моряки, народ чрезвычайно щепетильный в отношении своей многосложной профессии, не всякого еще адмирала признают флагманом. А тут — провинциальный журналист, «политик ловкий», издавший море только с берега, встает в позу флотоводца.

«Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник». Троцкий в миллионный раз доказал эту истину, когда первая и последняя спланированная им вместе с Раскольниковым морская операция — разведка боем ревелевского рейда — окончилась позорным провалом: оба эсминца-разведчика, «Спартак» и «Автроил», попали в плен к англичанам, а сам Раскольников, прикрывшийся чужим паспортом и чужим бушлатом, был изобличен и отправлен в лондонскую тюрьму.

Разумеется, Щастный не выказывал восторгов по поводу «адмирала» Троцкого. Позволял себе обсуждать его приказы, отпускать колкие замечания... Все это становилось известно Троцкому — фискалов у нас всегда хватало. Их взаимная неприязнь росла от доноса к доносу. Последней каплей в чаше терпения наркома по военным делам стал отказ начальника Морских сил Балтики сменить комиссара Балтфлота Блохина на присланного Троцким Флеровского.

«За день до приезда Щастного в Москву, — комментировала арест командующего Балтийским флотом газета «Анархия», — прибыли из Петрограда в Морскую коллегию комиссар Балтийского флота Флеровский и член Морской коллегии Сакс. Прибывшие сделали доклад морскому комиссару Троцкому. В результате Щастный был вызван в Москву, в Морскую коллегию.

По приезде Щастный отправился в Военный комиссариат, где к тому времени собрались в кабинете Троцкого морской комиссар Троцкий, члены Морской коллегии Раскольников, Вахрамеев, адмирал Альтфатер, Сакс и Флеровский. Троцкий пригласил Щастного в кабинет, где в присутствии собравшихся предложил ему дать объяснения по поводу его образа действий в Балтийском флоте за последнее время. Троцкий говорил в повышенном тоне. Стал возвышать тон и Щастный.

После бурного непродолжительного объяснения Троцкий объявил Щастному, что он арестован по постановлению Морской коллегии и вызвал караул...»

Ход дальнейших событий легко проследить по тогдашним не прикрытым еще большевиками газетам «Великая Россия», «Заря России», «Возрождение», «Наш век» и другим:

«Вскоре после объявления приговора к А.М. Щастному был допущен его защитник В.А. Жданов. Они вместе составили жалобу в президиум ЦИК. В этой жалобе были указаны кассационные поводы и представлены возражения по существу дела. Из числа нарушений правил судебного процесса в жалобе были указаны следующие обстоятельства: отказ в вызове свидетелей защиты и отказ в отложении дела за неявкой свидетелей со стороны обвинения, предъявленные подсудимому следственного производства за 2 1/2 часа до начала дела, отказ в выдаче копий с документов обвинительного материала и много других.

Эта жалоба была подана лично В.А. Ждановым председателю ЦИК Свердлову, при этом никаких разговоров между ним и защитником не было.

В ночь на вчера А.М. Щастный был увезен из Кремля неизвестно куда. Вчера утром председатель трибунала при ЦИК Медведев на вопрос В.А. Жданова о судьбе его подзащитного ответил, что приговор приведен в исполнение.

Во время свидания с защитником А.М. Щастный не высказывал почти никакой надежды на изменение приговора и был очень опечален судьбой своей семьи, состоящей из жены и двух детей, которые остались без всяких средств к существованию.

Жена Щастного, как оказывается, не могла проститься с мужем: она находилась в это время в Петрограде, куда уехала хлопотать о том, чтобы все свидетели были извещены о процессе и явились в суд. Но так как дело было назначено к слушанию экстренно, то она не могла своевременно вернуться в Москву.

В беседе с представителем бюро журналистов председатель трибунала Медведев подтвердил факт расстрела Щастного.

По полученным нами сведениям, Щастный расстрелян в помещении Александровского военного училища. Даны были два залпа.

Приезд в Москву супруги А.М. Щастного

Сегодня в Москву приезжает из Петрограда супруга А.М. Щастного. Выезжая в Петроград, супруга А.М. Щастного надеялась вернуться в Москву до окончания разбора дела в трибунале, но не успела и узнала о состоявшемся приговоре в Петрограде.

Левые с.-р. о смертной казни

Левые с.-р. решили вести широкую агитацию среди провинциальных Советов за отмену смертной казни. Одни из лидеров партии левых с.-р. на вопрос о дальнейшей тактике партии в связи с создавшимся положением сказал:

— Мы поведем самую решительную кампанию на предстоящем Съезде Советов против восстановления смертной казни, которая была отменена Вторым съездом Советов. И вместе с тем с нашей стороны последует призыв к Советам на местах, чтобы они требовали от центральной власти исполнения вынесенного предыдущим съездом постановления об отмене смертной казни.

В СЕМЬЕ РАССТРЕЛЯННОГО (беседа с Н.Н. Щастной)

Сегодня наш сотрудник был принят Н.Н. Щастной. С покрасневшими, заплаканными глазами, с выражением муки и ужаса на побледневшем лице, она вся олицетворение горя... Говорит прерывающимся голосом и время от времени подносит к глазам платок: ее душиат рыдания...

Неделю назад после свидания с арестованным мужем Н.Н. выехала в Петроград, окрыленная надеждами: она достанет документы, проливающие новый свет на все это кошмарное дело, и А.М. будет спасен... Но она опоздала... Вернее, они поторопились — капитан Щастный уже расстрелян...

Выслушав мою просьбу сообщить некоторые подробности о ее так трагически погибшем муже, Нина Николаевна на мгновение задумалась. По ее лицу промелькнула какая-то тень. Она вспомнила прошлое, такое близкое и в то же время — такое далекое...

— Мой муж — уроженец Житомира, Волынской губернии. Он, как теперь говорят, — украинец. Его семья исключительно военная: так, например, отец А.М., умерший два месяца назад, был генерал-лейтенантом и служил все время в Киеве... А.М. выбрал себе морскую службу и провел на флоте 20 лет: участвовал в двух войнах и, между прочим, в первой из них, то есть русско-японской, во время блокады Порт-Артура прорвался на своем миноносце в нейтральную гавань.

Что касается его последних дней, то я знаю, что перед своим отъездом из Петербурга он получил от матросов совет — не ездить, так как в Москве его могут арестовать.

— За что? — недоумевал А.М. и поехал навстречу грозившей смерти. Он был твердо уверен, что его не в чем обвинить, так как свою роль на флоте он рассматривал только с точки зрения моряка-специалиста. В политическую сторону Балтийского флота он

не вмешивался, но в то же время можно ли теперь в русской жизни разграничить политику от неополитики? Теперь все переплетено... Он был сильно поражен, когда Троцкий отдал приказ об его аресте.

— За что, — говорил он мне, — я арестован? Если им необходимы доказательства, то я их представлю.

С этими словами он дал мне письмо на имя Зарубаева, его заместителя во флоте, с просьбой переслать в Москву на суд какие-то бумаги... Зарубаев мне обещал, но исполнил ли свое обещание — не знаю, так как теперь уже поздно...

Нина Николаевна закрыла лицо руками... Успокоившись, она продолжала:

— И теперь, насколько я знаю по газетам, не хотят даже выдать его тело... К чему этот новый ужас? Ведь если, с их точки зрения, он — контрреволюционер, то ведь он уже мертвый... Он уже не может ни агитировать, ни вредить... Я хочу теперь одного: пусть отдадут мне его тело! Пусть дадут в последний раз взглянуть на мертвого отца детям...

Галина и Лев — это их имена — говорят мне: «Мама! Когда же придет папа?» Что я могу ответить?!

У меня недостает сил сказать им, что их папу убили и что они теперь сироты. К тому же мы остались без средств, у нас ничего не имеется.

Если же я получу тело А.М., то увезу его в Житомир, где находится фамильный склеп Щастных и где будет покоем — первый выборный командир Балтийского флота... За что все это? За что?

Взволнованный и потрясенный, я простился с плачущей Н.Н. Щастной!..

К-ий.

Петербург. Октябрь 1993 года

После двух лет поисков дочери Щастного — Галины Алексеевны — в Таллине и Казани — вдруг, кружным путем и по стечению многих счастливых случайностей, узнаю питерский телефон и адрес сына опального героя — Льва Алексеевича, коротающего свой пенсионный век на Большой Охте. Вот и встреча назначена и попутные «Жигули» мчат по бесконечно унылому — в пустырях, новостройках, кладбищах, бетонных оградах «почтовых ящиков» — проспекту Энергетиков. Типовой блочно-панельный коммунально-ведомственный Ленинград, обложивший со всех сторон прекрасные стены Петербурга. И привычная тоска — сам в таком же райончике живу — забирается в душу, разве что развеселила на

минуту вывеска промелькнувшего прикладбищенского ресторана «Тихая жизнь». С юмором ребята...

Сын Щастного жил в придорожной длинной «хрущобе», по счастью для него и для его жены, Елены Петровны, только что перенесшей ампутацию обеих ног (гангрена) — на втором этаже.

Если бы адмирал Щастный заглянул из своего посмертного высока под крышу сына — что сказал бы он, что подумал бы о нынешнем житье-бытье своих потомков? С его дореволюционными житомирско-киевскими представлениями, что есть самый скромный достаток, он бы наверняка нашел положение сына — бедняцким, а может, и нищенским. Зная бы это наперед, повел ли он свои корабли в тот отчаянный Ледовый поход?

Думаю, что повел... Уж такая это страна Россия, где за любовь к Отечеству клеймят в газетах, как за постыдное извращение, где стреляют ее заступников из чекистских наганов и танковых пушек — в тайных подвалах и средь бела дня на честном миру. А доброхоты-донкихоты все не переводятся, и ведут они свои корабли сквозь безнадежные льды, льды, льды...

И была встреча — радостная, сумбурная и горестная, когда под прессом отпущенного делами и вокзальным расписанием часа мешалось все: светлые воспоминания детства и обида за отца, сыновья гордость и сиротская горечь, смущение за убогий пенсионерский быт и досада на новую помеху жизни — инвалидную коляску, слишком громоздкую для тесной комнатки, наконец, самое главное — стремление вместить в эти шестьдесят суматошных минут семьдесят лет, прожитых столь непросто, опасно и трудно. Увы, кончились те времена, когда в Питер можно было приезжать, чтобы не спеша обойти всех друзей и толковать, не глядя на часы... Из-за этих-то безжалостных часов разговор пошел так: вопрос — ответ, вопрос —

— Лев Алексеевич, вы хоть как-то отца помните?

Лев Алексеевич поплотнее прижал к уху слуховой аппарат. Расслышал. Горько усмехнулся:

— Когда отца расстреляли, мне было три года... Но в памяти осталось одно-единственное впечатление. Я реву, мама пытается меня успокоить. Тщетно. Тогда человек в чем-то черном с золотом снимает с полки модель парусника и ставит передо мной. Я сразу же перестаю плакать. Вот, собственно, и все воспоминания. Маму помню лучше. Беленькая такая... Она ведь не пережила гибели мужа и умерла в двадцать втором. Похоронили ее в склепике в Александро-Невской лавре. ...Нет, не сохранился. Сравнили с землей... Она ведь смолянка была — Нина Николаевна Приемская. Кончила институт в четырнадцатом и сразу же стала Щаст-

ной. Всего-то четыре года и прожили. Нас же с Галей взяла к себе мамаина сестра — Анна Николаевна. Тетя Аня и заменила нам всех родных, которых после взрыва заметно поубавилось.

— Какого взрыва?

— Расправа над отцом высшими лицами государства была для нас взрывом, который перекорезил все наши судьбы... Я окончил ФЗУ и стал фрезеровщиком. Однако ни на один ленинградский завод меня не брали. Фамилия «Щастный» была слишком памятна заводским кадровикам. К тому же в анкете мне приходилось писать — внук генерала, сын адмирала... Но фамилию менять не хотел, так как считал отца героем и верил, что справедливость восторжествует. После четвертой или пятой попытки поступить на работу кадровик «Арсенала», бывший матрос, сжалился надо мной и сказал: «Да пиши, что из рабочих». С его легкой руки я и определился в жизни.

Эту неверную запись в анкете бывший дворянин Лев Щастный подтвердил всей жизнью, большая часть которой прошла у станка. И женился на пролетарке — дочери нижегородского машиниста. И воевал рядовым стрелком, защищая родной город. И только в конце сороковых в силу природной одаренности сумел окончить конструкторские курсы и стать инженером — это без высшего-то образования! — в одном из оборонных НИИ, проектировавшем танки.

Одна беда — детей нет. Ни у него, ни у сестры Галины. Правда, та взяла приемного сына и вырастила его. Но все же пресекался род Щастных. И есть тут одно обстоятельство весьма мистического свойства. Дело в том, что по материнской линии Алексея Михайловича из поколения в поколение передавался некий заговоренный от бесплодия браслет. Адмирал верил в его магические свойства и потому за несколько часов до расстрела, составляя завещание, посвятил этому браслету целый пункт: «Браслет носить моей жене, затем дочери, когда женится мой сын Лев, то браслет передать его жене, согласно завещанию моего деда — Константина Николаевича Дубленко. Браслет хранится в футляре...»

Увы, браслет таинственно исчез, и род хранителей его пресекся. Старинной русской тоской из ямщицкой песни веет от этих строк: «...а жене скажи, что в степи замерз... Передай кольцо обручальное...»

А завещание Алексея Михайловича Щастного я держал в руках. Трудно представить себе, что эти ровные каллиграфические строки человек выводил перед лицом смерти. Надо было иметь мужество, чтобы, расставаясь с жизнью в 37, подумать о будущем каждого из своих многочисленных родственников:

«...Матери моей Александре Константиновне — 8 тысяч рублей. Брату моему Александру — ...Брату Георгию — ...Сестре Екатерине Михайловне — ...»

Родовую усадьбу — дедовский дом в Житомире (Театральная ул., 16) — завещал сыну Льву. Черта с два он ее получил, как не получила и вдова расстрелянного никакой пенсии, о которой писал Щастный в завещании, воистину не ведая, с кем имеет дело... «Жене моей я полагаю оставить свою пенсию, которая, я надеюсь, будет ей назначена».

Вспомнил и адвоката Жданова, но не в завещании, а в отдельном письме: «Дорогой Владимир Анатольевич, сегодня на суде я был до глубины души тронут Вашим... настойчивым желанием спасти мне жизнь... Пусть моя искренняя предсмертная благодарность будет Вам некоторым утешением».

Читаешь эти строки и видишь командира, уходящего в пучину вместе с гибнущим кораблем. Спокойно и четко отдает он свои последние распоряжения... Так уходили из жизни командиры цусимских и порт-артурских броненосцев...

Завещание помечено: «22 июня. 1918 год.

Москва — Кремль. 3 часа ночи».

А в шесть его расстреляли.

Расстреливать Щастного решили в самом надежном, с точки зрения Троцкого, месте — в Реввоенсовете, размещавшемся на Знаменке близ Арбата в здании бывшего Александровского училища. Расстреливали китайцы, не знавшие русского языка и потому очень удобные для сохранения тайны казни. Китайцы сделали свое дело молча. Но... проговорился их командир Андреевский, и мир узнал все подробности подлого дела.

РУКОЮ ОЧЕВИДЦА. *«Вижу — стоит одинокая фигура, — писал командир расстрельной команды в своих воспоминаниях. — В штатском, на голове белеет фуражка. Лицо симпатичное, взволнованное. Смотрит в глаза. Понравился он мне. Я говорю:*

— Адмирал! У меня маузер. Видите — инструмент надежный. Хотите, я застрелю вас сам?

Видимо, от слов моих ему стало жарко. Снял фуражку, отер платком лоб. Молчит и только мнет свою белую фуражку...

— Нет! Ваша рука может дрогнуть, и вы только раните меня. Лучше пусть расстреливают китайцы. А так как тут темно, я буду держать фуражку у сердца, чтобы целились в нее.

Китайцы зарядили ружья. Подошли поближе. Щастный прижал фуражку к сердцу. Видна была только его тень да белое пятно фуражки... Грянул залп. Щастный, как птица, взмахнул руками, фуражка отлетела, и он тяжело рухнул на землю. Китайцы всунули его

в мешок... Послал помощника в Кремль, доложить. Привозит ответ: «Зарыть в училище, но так, чтобы невозможно было найти».

Начали искать место. Пока искали, послышался шум автомобиля, и во двор, с потушенными фарами, въехал лимузин. Прибыло «само» начальство. (Уж не Троцкий ли? — Н.Ч.) Стали искать общими усилиями. Нужно было спешить — начинало светать...

Вошли внутрь — училище пустое. В одной из комнат, где стоял один-единственный стол, остановились и решили закопать здесь, если под полом нет подвала. Оказалось, что нет. Раздобыли плотничьи инструменты, вскрыли паркет. Вырыли яму, опустили мешок, зарыли, заделали паркет. Так и лежит он там, под полом...»

Только одно и скажешь — уголовщина. Махровая политическая уголовщина...

Троцкий преподавал молодому Сталину — тогда еще уполномоченному ВЦИК по вывозу хлеба с Северного Кавказа — предметный урок: как надо расправляться с личными противниками. «Процесс» Щастного — это пролог тех судилищ, которые прокатятся по стране в двадцатые — тридцатые годы в буйном цвете революционно-трибунальной казуистики. В одном из них сгинет и главный обвинитель балтийского флага — Крыленко.

Отблеск печальной судьбы Щастного падет и на главного свидетеля (читай — инквизитора) Троцкого. Падет в тот день, когда на череп витии мировой революции обрушится ледоруб убийцы.

Адмирал рубил лед форштевнями своих кораблей...

Вместе с завещательным документом, не документом — припечатанным к бумаге криком души тридцатисемилетнего человека, выталкиваемого из жизни, насильно рвущего кровные нити с молодой женой и малыми детьми — вместе с этим нежелтеющим листком добротной, надо полагать, из старых кремлевских запасов, «слоновой» бумаги, Лев Алексеевич Щастный хранит и детское письмо отца, киевского пригостишки: «1895 год. 25 ноября.

Дорогая мама, целую тебя крепко!

Мы все живы и здоровы, чего и вам желаем от Бога. Милая моя мама, поцелуй от меня бабушку и пожелай ей всего хорошего. Целую тебя крепко и Сашу. Дома все хорошо и благополучно. Александр Иванович был у нас вчера утром. Анна кланяется тебе. Дорогой папа, кланяюсь тебе и желаю тебе всего хорошего. Приезжай скорее. Мы скучаем за тобой.

Остаюсь твой сын Алексей Щастный».

Случай или нечто большее сохранили для Льва Алексеевича эти два рукописных следа отца в сей юдоли: первые гимназические каракули и последние предсмертные строки. Он бережно уп-

рытал их вместе с тремя уцелевшими фотографиями в потертую папочку, и я с ужасом понял, что это незамысловатое картонное изделие для него нечто вроде символического гроба отца, чей прах покоится невесть где, эдакая карточка-заместитель изъятых из жизни человека.

О, несобранное братство сынов и дочерей, чьи отцы были заланы во имя лучезарной утопии — Лев Щастный, Иван Ризнич, Галина Гернет, Борис Черкасский, Ростислав Колчак, Ирина Новопашенная — несть числа вам в блаженном сиротстве вашем.

А что же Троцкий? Летом 1918 года «Еврейская газета», выходявшая в Петрограде, опубликовала заметку о том, что отец пред-реввоенсовета Давид Бронштейн проклял сына Лейбу в синагоге и отрекся от него за ослушание и безбожие.

Арест Щастного и скоропалительная расправа над ним под прикрытием судебного фарса потрясли Россию, которая хоть и называлась советской, но еще хорошо помнила процедуру суда присяжных. Имя несчастного адмирала мелькало в газетных шапках. Обозреватели оппозиционных изданий поражались вздорности обвинений — все они тянули на дисциплинарное, на административное наказание, но никак не на расстрел. Современники Щастного и нынешние историки недоумевали и недоумевают, почему столь беспощадно был уничтожен моряк, спасший для страны целый флот. В любом другом государстве имя его было бы увековечено на бортах кораблей... И все-таки — почему?

Еженедельник «Совершенно секретно» выдвинул версию: у Щастного при аресте обнаружили в портфеле фотокопии документов, изобличающих Ленина и Троцкого в связях с германским генеральным штабом. Этими документами Щастного снабдили англичане еще в Гельсингфорсе, дабы подорвать его доверие к правительству большевиков.

Сомнительно, что это были копии подлинников. Германия еще не была разгромлена, а немецкие генштабисты умели хранить секретные бумаги. Но даже если это и были копии достоверных документов, то в случае публикации их в газетах ничего не стоило объявить, что желтая пресса-де не брезгует никакими фальшивками, что все это провокация контрреволюционеров и т.п.

Разгадка гибели Щастного в другом, и ее подсказала одна из газет, опубликовавшая в подбор к сообщению об аресте Щастного заметку о том, что в тот же самый день из Москвы выехал в Новороссийск член Морской коллегии И.И. Вахрамеев с особо секретным пакетом, врученным ему лично Троцким. Там, на Юге, решалась судьба второго мощного флота России — Черноморско-

го, и командовавший им адмирал Саблин так же, как и его коллега на Балтике, весьма скептически относился к большевистскому наварху. И чтобы приструнить строптивых военспецов, Троцкому нужна была показательная казнь. Щастному-то и выпала роль жертвенного тельца. Саблин не захотел разделить его участь и, получив зловещий вызов в Москву, отправился в белый Крым. Боевое же ядро Черноморского флота спасет от потопления — как Щастный спас балтийские корабли — капитан 1-го ранга Тихменев, за что и проклинали его большевистские историки все семьдесят три года партийной диктатуры. Они вычеркивали имя Щастного из всех энциклопедий, справочников, учебников...

Все-таки странное, мягко говоря, отношение к флоту у первого советского военного наркома — взрывать его, топить, а тех, кто противится «мудрым» приказам, — под расстрел. Впрочем, вполне объяснимое отношение: флот чужой, царский, его не жалко, не большевиками строен, не ими выпестован: надо будет — свой построим, Россия богатая, и руды для корабельной стали хватит, и командиров из своих напасемся. А пока слишком много хлопот с моряками: сегодня они «краса и гордость революции», а завтра, того и гляди, повернут стволы линкоров против «освободителей России и всего угнетенного человечества». И ведь как в воду смотрел товарищ Троцкий. Сначала черноморские дредноуты развернули орудийные башни против большевиков — в двадцатом, а спустя год и балтийские в Кронштадте ошерились — «Петропавловск» с «Севастополем». Те самые, что привел из Гельсингфорса Щастный, те самые, что обороняли потом Ленинград в Великую Отечественную...

Брожение на Балтийском флоте, и главным образом на миноносцах, продолжалось еще до начала июля. После целого ряда арестов среди офицеров и команд, а также бегства от почти неминуемого расстрела одного из главных инициаторов возмущений лейтенанта Г.Н. Лисановича флот окончательно замер, то есть стал только сборищем кораблей, без руководителей и личного состава. Кронштадт и Петроград превратились в кладбище его прошлой мощи и славы, а сами корабли — в живые трупы...

Не стал дожидаться ареста с расстрелом и старший лейтенант Транзе. А угрожал он ему вне всякого сомнения. Вместе с Лисановичем и другими офицерами он горячо протестовал против ареста Щастного, выступая на антибольшевистских митингах в Минной дивизии... Судьба его была предreshена. Декретом Совнаркома он в списке других неугодных офицеров был объявлен «уволненным от службы во флоте».

Белой июньской ночью на катере шведского контрабандиста тридцатидвухлетний моряк вместе с молодой женой отправился в

опасное свадебное путешествие. Перед тем в шлиссельбургском Благовещенском соборе они поставили свечу Николе Морскому... Чудотворец явил чудо — утлая посудинка не попала ни под пулеметы пограничной стражи, ни под штормовую волну. Они высадились на шведские скалы. И вовремя.

Спустя полтора месяца грянет выстрел Каннегисера в Урицкого и полетят офицерские головы, вздымется первая кровавая волна красного террора... А эти двое — ускользнули.

СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ. Николай Транзе и молодая элегантная дама с седой прядью красиво уложенных волос — жена, Елена Борисовна. Все позади — ледовые походы, войны, революции, аресты... Спокойная, сыто-деловитая Америка. Они нашли в ней свое место. И белый воротничок, и модный галстук — кто узнает в респектабельном члене Географического общества США мечтательного юношу в белом мичманском кителе или камбузного посудомойщика? А в глазах у обоих — светлая грусть, грусть людей, знающих истинную цену своему счастью.

Но сердце, как бы ты хотело,
Чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
И весь в черемухе овраг.

Там, в штате Огайо, Николай Транзе посадил перед своей «русской избой» две черные березы...

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД

Хроника антибрежневского мятежа

Все было за почти вековую историю советского флота; и корабли взрывались и тонули, и чудовищные пожары полыхали на атомных ракетноносцах, и арсеналы на воздух взлетали, и перебежчики в офицерских погонах, забыв про честь и долг, устремлялись на катерах в сопредельные страны... Все было. Т а к о г о не было...

Пятьдесят четвертую годовщину Октября в Риге отмечали так же, как и в других приморских городах, — морским парадом. Неожиданно для всех большой противолодочный корабль «Сторожевой» поднял якорь и вышел из парадного строя.

Это случилось на второй день празднования, 8 ноября, в 23 часа 10 минут.

Набирая скорость, военный корабль, оснащенный пушками и ракетными установками, ринулся в открытое море.

За час до этого события на корабль позвонил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Косов; вместо голоса командира он услышал голос его заместителя капитана 3-го ранга Саблина, который доложил, что на борту полный порядок.

Тем не менее никто не знал, куда и зачем устремился корабль.

В 23 часа 40 минут офицер, сбежавший со «Сторожевого» по швартову, сообщил, что на корабле бунт.

Балтийский флот был поднят по боевой тревоге.

Вице-адмирал Косов приказал кораблям, стоявшим на Рижском рейде, догнать мятежника и доложил о ЧП в Москву.

Тревожный звонок застал Главнокомандующего ВМФ СССР Адмирала Флота Советского Союза Горшкова на даче; по дороге в Москву он связался из машины с министром обороны страны маршалом Гречко.

Приказ министра был краток: «Догнать и уничтожить!»

Корабль держал курс в ворота открытой Балтики — в Ирбенский пролив.

Косов: «Пограничники просили разрешить снести ходовую рубку вместе с Саблиным из пулеметов. Я не разрешил».

Брежнев еще спал, когда вице-адмирал Косов поднял в воздух полк истребителей-бомбардировщиков Су-24.

Вслед за ними по приказу маршала Гречко взлетел полк стратегической авиации — ракетноносцев дальнего действия Ту-16.

«Сторожевой» предупредили: при пересечении 20-го меридиана будет нанесен ракетный удар на уничтожение.

Девятого ноября в 10 часов утра адмирал Горшков передал по радио на «Сторожевой» приказ: «Застопорить ход!»

Капитан 3-го ранга Саблин ответил отказом.

Маршал Гречко повторил приказ от своего имени.

Вместо ответа Саблин передал в эфир антибрежневское Обращение: «Всем! Всем! Всем!...»

Корабельный радист в конце текста добавил от себя: «Прощайте, братишки!»

Ирбенский пролив, как всегда, был забит торговыми судами; из тумана выступали только верхушки мачт.

Чтобы найти среди них «Сторожевой», летчики снижались и читали на бортах номера.

В 10 часов 25 минут истребитель-бомбардировщик Су-24 пересек курс корабля очередью из авиапушек.

Осколки бомб со следующего самолета прошили борт «Сторожевого».

Корабль застопорил ход; на его палубу высадились абордажная группа; Саблин был арестован.

«Сторожевой» вернули в Ригу; началось следствие...

...День своего выступления он приурочил к семидесятилетию подвига лейтенанта Шмидта.

Своему сыну он завещал портрет мятежного лейтенанта, который написал сам.

Но, право, у Шмидта выступать против самодержавия было гораздо меньше оснований, чем у Саблина — против брежневской порнокрапии. Достаточно сравнить, как их судили: Шмидта — гласно, Саблина — тайно — и как их расстреляли: Шмидта — на морском просторе, под солнцем, исполнив последнюю волю его до конца; Саблина — выстрелом в затылок под тяжкими сводами тюремных подвалов.

И все же История поставила эти имена рядом, хотя они и были очень разные люди — Петр Шмидт и Валерий Саблин...

Глава первая ЗВЕЗДОПАД

...Приезжая в Беловежскую пушу, бровастый охотник усаживался в уазик со снятым лобовым стеклом, выставляя вперед карабин, принимал стаканчик любимой перцовки и включал зажигание. Долго потом егеря находили на лесных дорогах расстрелянных или задавленных оленей, косуль, кабанов...» — так поведал в «Собеседнике» о «королевской» (генсековской) охоте секретарь Украинской экологической ассоциации Владимир Борейко.

В тот год им вручали награды почти одновременно: Маршалу Советского Союза Брежневу и капитану 3-го ранга Саблину. Первому — украшенную бриллиантами «Маршальскую звезду», второму — томпаковую офицерскую звезду «За службу Родине в ВС СССР» III степени: Родине он служил в океане на большом противолодочном корабле «Сторожевой».

Этим двум звездам суждено было разное: одной — бриллиантовой — бесславный закат, другой — медно-цинковой — долгое затмение...

А пока Брежневу прилежно рукоплескали. В гуле хорошо организованных оваций потонул гневный грохот железа. То стучали костылями по батареям водяного отопления безногие фронтовики в московском госпитале инвалидов войны, что на Преображенской заставе.

По «Маяку» только что передали сообщение о награждении Брежнева высшим полководческим орденом Победы.

Сначала стала бить одна палата, к ней присоединилась другая, третья, и вот уже все этажи зашлись от грохота. Били в гулкий металл от обиды и возмущения те, чьи боевые ордена вобрали в себя цвет крови своих кавалеров... Набатный бой этого протеста не донесся до слуха четырежды звездоносного, зато был услышан в высоких инстанциях. Госпиталь на Преображенке расформировали в считанные дни...

Нет, в те безгласные годы молчали не все. И Валерий Саблин явно из породы гневных фронтовиков, даром что в 1941-м ему было всего три года...

В 1975-м он служил на Балтике, я — на Севере. Мы были коллегами, корабельными замполитами: он — на сторожевом корабле, я — на подводной лодке. В морях мы не встречались, на берегу тоже.

Фамилию его я услышал поздней осенью. Командир мой вполголоса рассказал о невероятном.

...На второй день ноябрьских праздников из парадного строя военных кораблей в Риге самовольно вышел ВПК «Сторожевой»

и двинулся в открытое море. Замполит арестовал командира, занял его место на мостике и повел корабль в нейтральные воды. Там он обратился по радио к руководителям страны с неким революционным воззванием. Поднятые в воздух самолеты остановили «Сторожевой» предупредительными залпами. А когда командиру удалось освободиться, он, поднявшись на мостик, тяжело ранил из пистолета своего заместителя по политической части — Саблина — и вернул корабль в базу.

Трудно было поверить, что вся эта история разыгралась в наше время, на нашем флоте.

Потом в кают-компаниях толковали разное. Мол, содейл это душевнобольной, которого вовремя не распознали. «Никак нет, — утверждали другие, — Саблин — внук того самого белогвардейского адмирала, что отказался в восемнадцатом выполнить приказ Ленина о затоплении Черноморского флота под Новороссийском; его завербовала шведская разведка, и потому он пытался угнать корабль в Стокгольм». Третьи уверяли, что, де, сделал он это на зло командованию, так как служба у него не пошла; задержали звание, не давали квартиру — вот и решил сразу всем отомстить.

Впрочем, нашли тогда для себя довольно удобное объяснение — авантюра. Ломать голову над смыслом происшедшего было некогда: мы собирались на боевую службу — в океан, далеко и надолго. Да мало ли авантюристов на белом свете...

И все же зарубка в памяти осталась — «Саблин». Не забылось это имя и на флоте. Время от времени оно всплывало в досужих разговорах, в узком и доверительном кругу, оно обрастало подробностями, вероятными и невероятными, и с каждым годом «эпохи застоя» произносилось со все более сочувственными нотками. При этом все знали, что Саблин расстрелян, экипаж расформирован, корабль сослан в моря, от Балтики весьма отдаленные, и толковать на эту тему весьма не рекомендуется.

Я вглядываюсь в старое фото: иллюминированные корабли стоят друг за другом в парадном строю; сквозь вечернюю мглу проступают силуэты башен Старой Риги. Снимок сделан 7 ноября 1975 года... Головным стоит, как новейший и наисовременнейший, большой противолодочный корабль Балтийского флота «Сторожевой». Свое имя он унаследовал от порт-артурского еще миноносца, которым блестяще командовал будущий адмирал Непенин, последний командующий дореволюционным Балтийским флотом...

Я всматриваюсь в силуэт «Сторожевого» так долго, что корабль начинает чуть покачиваться на даугавской волне и стоп-кадр оживает, будто пущенная кинолента.

Глава вторая ШЕСТЬ ВИСЯЧИХ ЗАМКОВ

Октябрь 1975 года. В тот пасмурный день покупатели посудохозяйственного магазина в Калининграде недовольно толкали высокого офицера в черной флотской шинели, застывшего над прилавочной витриной. Чего тут думать-то?! Был бы выбор, а то одни висячие замки...

Знал бы кто-нибудь, для чего они понадобились этому нерешительному «кап-три».

Он выбил чек на шесть висячих замков и уложил их на дно черного «дипломата».

Он решился...

Это был первый практический шаг к тому, что обдумывалось, взвешивалось, решалось все последние годы...

8 ноября 1975 года. БПК «Сторожевой»

Из показаний командира БПК «Сторожевой» капитана 2-го ранга А. Потульного на закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР:

«Утром 8 ноября 1975 года Саблин мне предложил погулять по городу, но я отказался. В 19 часов я находился в своей каюте, зашел Саблин и предложил мне пройти во 2-й пост РТС (выгородка гидроакустиков. — Н. Ч.). Это на 2-й платформе в носу корабля. Я подумал, что, возможно, там пьянствуют матросы («Это случилось не однажды». — *Примеч. генерал-майора юстиции А. Борискина*), и решил пойти. Я шел впереди, а Саблин за мной...»

В Ленинграде (тогда еще Ленинграде) я позвонил Анатолию Васильевичу Потульному на работу без особой надежды на то, что он согласится встретиться и рассказать о самом страшном дне своей жизни. Но он согласился. Мы договорились узнать друг друга у входа в Дом журналиста, что на Невском проспекте.

Честно говоря, я ожидал увидеть эдакого заскорузлого службиста, который разразится потоком брани по адресу Саблина, оставившего в его судьбе столь тяжкий след: Потульный после ноябрьского ЧП уже никогда больше не взошел на мостик корабля, был понижен в звании, исключен из партии (правда, после восстановления, но какой ценой...).

Меня встретил подтянутый, худощавый, очень сдержанный ленинградец, по лицу которого, несмотря на всю его выдержку, пробежала нервическая волна, едва мы заговорили о «Сторожевом». Во всем остальном он прекрасно владел собой, и только время от времени лицо его трогала мучительная гримаса, которую он тут же сгонял.

— Мы сидели за столиком в домжуровском ресторанчике, походившем разухабистым весельем своим на портовый кабачок. Совместная трапеза и традиционный перебор общих флотских знаковых несколько сгладили настороженность, и Потульный стал рассказывать... Гремел ресторанный оркестр, извивались пары в сигаретном дыму... Порой ему приходилось почти что кричать. Но никто, кроме меня, расслышать его не мог...

Очень скоро я почувствовал, что имею дело с человеком столь же цельным и порядочным, что и герой его рассказа. Их вынужденное столкновение придавало и без того драматической истории особый трагизм. Потульный родился в глухой карельской деревушке, куда забросила служба отца — офицера-пограничника. Вырос в Ленинграде. В ВВМУ имени М.В. Фрунзе учился вместе с Саблиным, только тремя курсами старше. Потом — трудное и честное командирское восхождение: командир малого противолодочного, командир эсминца, старпом, затем командир большого противолодочного корабля «Сторожевой».

За сдержанность в общении с подчиненными, суховатость, может быть, даже некоторое высокомерие заслужил в экипаже прозвище Граф.

У Саблина с командиром сложились довольно ровные отношения, и он не хотел подвергать его унижительной, но все же неизбежной процедуре ареста. Поэтому и попробовал уговорить Потульного провести праздничный день на берегу. Но командир — кремень, с корабля ни шагу; в праздники служба правится еще круче, чем в будни, — неписаный закон военной жизни.

«Вечером восьмого ноября семьдесят пятого года, — рассказывал Анатолий Васильевич, — ко мне в каюту без стука вошел замполит. Был он очень взволнован, бледен... «Товарищ командир — ЧП!»

Я вскочил: «Что случилось? Где?» — «Там, в носу, в гидроакустической выгородке, групповая пьянка...»

Я бросился по трапам, Саблин за мной. Люк за люком, палуба за палубой — вниз, вниз, вниз... «Здесь?» — «Ниже...» — «Здесь?» — «Ниже...» Спустились в самые низы, на семь метров ниже ватерлинии. Едва пролез в носовую выгородку, где вибраторы, как над моей головой захлопнулась стальная крышка, лягнули задрайки. Я не сразу понял, что произошло. Огляделся — увидел конверт с надписью «Потульному А.В.» и несколько книг из корабельной библиотеки. Письмо, в котором Саблин объяснял мотивы своих действий, ошеломило меня. Я хотел выхватить из зажимов телефонную трубку — но вместо нее торчал обрезанный провод...»

— Были ли на корабле тогда ракеты, ядерное оружие?

— Нет. После парада мы должны были идти в ремонт, поэтому ракеты и боезапас выгрузили еще в Балтийске. Правда, в артпогребах были снаряды, а в арсенале — автоматы. Но ключи Саблину не дали.

Часть офицеров я выгнал в отпуск. Поэтому на корабле отсутствовали и старпом, и механик, и штурман. Зато на борту находился прикомандированный особист, который сам оказался вахперти. Вот такая ирония судьбы...

Я нашел в выгородке какие-то железки — обломки электродов — и стал ковырять ими задрайки.

Вдруг слышу: водичка за бортом зажурчала. Значит, все-таки пошли...

Отчаяние, гнев, обида были такими, что я — откуда силы столько взялось! — одними руками выдавил крышку люка. Выбрался в верхнее помещение, но и оно было наглухо задраено. Я стал биться в новый люк. Матрос Шеин, охранявший меня, прижал крышку раздвижным упором. Но я все равно молотил в нее.

Шеин кричал мне: «Товарищ командир, не надо! Товарищ командир, буду стрелять!..

Но я все же расшатал упор. Он упал. Тогда люк прижали аварийным брусом. Тут ясно понял — не открыть. Против лома нет приема...

Из показаний В. Саблина 5 и 6 января 1976 года следователю КГБ:

«Матрос Буров (имени и отчества не помню) проходит службу на корабле «Сторожевой» в должности радиометриста-наблюдателя с июня 1974 года... Восьмого ноября 1975 года около 17 часов я позвонил в кубрик РТС и приказал дневальному разыскать и направить ко мне матроса Букова. Приказал Букову открыть посты № 1—3 и № 4—6, снять в них с телефонных аппаратов трубки, обеспечить постелью пост № 2, где собирался закрыть Потульного. Затем сам проверил, как Буров выполнил приказ, оставив во втором посту конверт — «Потульному А.В.».

Матрос Аверин (имени и отчества не помню) служит на корабле «Сторожевой» с ноября 1973 года в должности минера... Восьмого ноября 1975 года я видел Аверина только в момент, когда разговаривал с Потульным через люк третьего поста. В это время Аверин стоял у трапа в тамбур № 1, слышал наш разговор и наблюдал за происходящим. Здесь же был и Шеин. После разговора с Потульным я приказал Шеину и Аверину поставить на люк поста № 3 металлический раздвижной упор. Если не ошибаюсь, Аверин принес упор. Когда я уходил, то видел, что Аверин и Шеин ставят этот упор на люк поста, где находился Потульный...

Да, Саблин хитростью заманил Потульного в ловушку.

Он выбрал наименьшее зло, которое мог причинить в этой ситуации командиру. Единственно, чем он мог оправдаться перед самим собой — вынужденно бесчестный поступок, — это мыслью, высказанной Чернышевским (она записана в саблинском конспекте): «Революционеру ради достижения его целей часто приходится становиться в такие положения, до каких никогда не может допустить себя честный человек, преследующий чисто личные задачи».

Сомнительная, конечно, сентенция, ибо каковы средства, такова и цель в своем реальном воплощении...

И все же это не был захват корабля в духе пиратских романов, когда всех неугодных, сомневающихся выбрасывают за борт или вздергивают на рее...

Собрав офицеров и мичманов в кают-компанию, Саблин объявил о своем решении «превратить корабль в центр политической активности» и предложил каждому сделать выбор.

Команда еще ничего не знала. Матросы смотрели в столовой фильм.

Официальная версия дальнейших событий (в изложении начальника управления Главной военной прокуратуры по надзору за использованием законов органами предварительного следствия КГБ СССР генерал-майора А. Борискина): «Обманул он и тех, кто не согласился поддержать его. Перед голосованием, которое, впрочем, воспринималось большинством как очередная развлекательная затея, он предупредил, что все не согласные с ним смогут разойтись по своим каютам, ну а после, почувствовав определенную поддержку, подверг их, как и командира, аресту. Причем делалось это под угрозой применения оружия. Готовясь к выступлению, Саблин, по его же словам, имел в кармане заряженный, с патроном в стволе, пистолет».

И здесь же, на той же самой странице Военно-исторического журнала, откуда взята эта выдержка, Борискин, сам себе в невольное опровержение, приводит фрагмент из показаний Саблина: «Я попросил офицеров и мичманов взять по одной белой и по одной черной шашке. Со смехом и шутками они разобрали эти шашки.

...Десять офицеров и мичманов, в числе которых были офицеры Овчаров, Гиндин, Смирнов, Виноградов, Садков, Кузьмин, Боганец, мичманы Хохлов, Житенев и Грица, вышли из кают-компания и под моим наблюдением спустились в пост № 4, расположенный в трех метрах от двери кают-компания мичманов. В этот момент я увидел недалеко матроса Шеина, наблюдавшего за происходящим. Я закрыл дверь поста ключом, а люк этого же поста — навесным замком и вернулся в кают-компанию».

Дата этого протокола — 14 ноября 1975 года — заставила сердце тихо занять. В это время я приехал в Москву с Севера в отпуск. Саблин находился неподалеку от моего дома — в Лефортовской спецтюрьме. Беспечно предаваясь радостям отпускника, я не догадывался, что он рядом.

Собственно, винить мне себя особенно не в чем: ведь о существовании Саблина, о его выступлении я узнал только тогда, когда вернулся из отпуска в Полярный. Командир сообщил мне, что местный особист выпрашивал у наших матросов, о чем я с ними беседую на политзанятиях и в свободное время. «Пришло негласное указание, — пояснил командир, — проверить всех замов. Надеюсь, ты меня арестовывать не будешь?» — мрачно пошутил он.

Но вернемся на «Сторожевой». Вот как воспринял саблинский «обман» офицеров мичман Виктор Бородай: ...Пришел Саблин и обратился к собравшимся с речью. Четкой, неспонтанной, аргументированной, искренней. Говорил о том, что тогдашнее руководство поставило страну и ее народ на путь в пропасть. Далее подобное терпеть невозможно — речь не только о флоте. Конкретно — «Сторожевой» идет в Ленинград, где обратится с призывом к рабочим заводов города трех революций.

«А кронштадтцы? — спокойно уточнил кто-то. — Ленинградская база нас поддержит?»

Саблин отвечал утвердительно. Речь шла о военной организации, о выступлении против режима, но не против советской власти, сигналом становился «Сторожевой». Саблин подчеркнул строгую добровольность выбора... Никого не хватал ни за гюйс, ни за лацканы, не шептал заговорщицки. Это из разряда карикатуры, неумного анекдота, дешевого примитива».

Давайте, господин Борискин, называть вещи своими именами. Не «под угрозой применения оружия» взмошел Саблин на ходовой мостик. Просто офицеры и мичманы (даже те, кто не был согласен с Саблиным во всем и до конца) разрешили Саблину захватить корабль. Разрешили своим непротивлением, своим самоустранением из хода событий, своим самоарестом. Замок на двери охранял не Саблина от их вмешательства, а самих офицеров от обвинений в соучастии. «Мы были арестованы, изолированы и закрыты».

И всё. И взятки с них гладки.

Ведь даже сам Борискин признает, что Саблин фактически был одиночкой. Помогал ему, подстраховывал его лишь один человек — матрос Шеин.

Глава третья МАТРОС ШЕИН

О Шеине я знал только одну подробность: на флот он призывался из города Тольятти. Но даже с такими скудными сведениями удалось его разыскать. Телефонный звонок первому из девяти Шеиных, которых назвала тольяттинская горсправка, попал что называется в цель. Трубку сняла мама Александра Шеина. Она же и сообщила, что сын только что уехал в Москву искать штаб-квартиру общества «Мемориал».

— Каким поездом? Номер вагона? Как Саша выглядит? Я его встречу!

— Круглое лицо, самое обычное... Клетчатая рубашка... Короткая стрижка.

На другой день я встречал тольяттинский поезд на Казанском вокзале. В потоке выходящих пассажиров я остановил парня в клетчатой рубашке, круглолицего, коротко стриженного.

— Вы Александр Шеин?

Парень изменился в лице. Мне показалось, он даже отшатнулся...

— Да, я...

Только в эту минуту я понял, как ужасающе прозвучал для него мой оклик. Да он и сам потом подтвердил, что принял меня за оперативника КГБ, который должен был арестовать его прямо на вокзале, поскольку он, Шеин, нарушил подписку о неразглашении сведений о «событиях в Риге 8 ноября».

— Ведь я вез письмо в «Мемориал», в котором рассказал все, что мне пришлось пережить на «Сторожевом», на допросах, в лагере». Я рассказывал в нем о Валерии Михайловиче и очень боялся, что кто-то пронюхает об этом и перехватит меня в Москве.

В глазах его стоял неистаявший за пятнадцать лет страх. Я показал ему писательский билет, извинился за неловкое знакомство и увез его к себе передохнуть с дороги.

Генерал-майор юстиции А. Борискин:

«Закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, на котором слушалось дело Валерия Михайловича Саблина и его ближайшего подручного Александра Николаевича Шеина, открылось в Москве 6 июля 1976 года.

Первый заслушивался подсудимый Шеин. О себе он говорил так:

«Я, Шеин Александр Николаевич, родился 7 марта 1955 года в городе Рубцовске Алтайского края... 6 октября 1973 года до ареста проходил военную службу на большом противолодочном корабле

«Сторожевой» в должности и звании матроса. В 1973 году до призыва в Советскую Армию был осужден за хищение государственного и общественного имущества к 1 году исправительных работ».

По существу дела Шеин, который вопреки штатному корабельному списку «внештатно» всецело подчинялся Саблину, считаясь, опять же «внештатно», корабельным художником и руководителем ансамбля, показал следующее:

«5 ноября 1975 года Саблин вызвал меня в каюту... усадил меня на диван и заявил, что разговор будет серьезным. Он стал рассказывать свою биографию... В разговоре он уделял много внимания недостаткам, имеющимся в нашей стране...

Я спросил Саблина, как он собирается ликвидировать существующий режим?.. Он ответил... Потом я встретился с матросом Буровым. Я хотел узнать, как Буров отнесется к программе Саблина. Буров выслушал мой рассказ и заявил: «Люблю такие заварухи». Я Бурову сказал, что сам не знаю, прав ли Саблин, не является ли он шпионом. Тогда Буров испугался и сказал, что он пока подождет принимать свое решение до выявления реакции других членов экипажа корабля. Если другие поддержат Саблина, то и он это сделает».

В тот же вечер Шеин прослушал автобиографию и будущее выступление Саблина перед офицерами и мичманами, записанные на магнитную ленту. У него снова возникли сомнения. Он собрался поделиться ими с комсоргом минно-торпедной боевой части членом КПСС Авериным. Но прежде решил заинтриговать его, спросив, как он смотрит на то, чтобы «поработать на органы Комитета государственной безопасности». Аверина это заинтересовало, и он ответил, что согласился бы «поработать». Вместе с тем довольно терпимо и даже с пониманием отнесся к тому, что возможна попытка «одного из офицеров захватить и угнать, корабль». На это он ответил, что не стал бы «закладывать» этого офицера. Тогда Шеин более подробно изложил план и программу Саблина, и Аверин согласился поддержать их. Матросу Саливончику Шеин сообщил лишь то, что 8 ноября на корабле произойдут крупные события, и посоветовал держаться около него, Шеина. Потом был разговор с Манько и Лапенко. Причем последний безапелляционно заявил, что такие, как Саблин, — просто ненужные люди. Правда, тут же смутился и даже как будто испугался. Шеин успокоил его, сказав, что этот разговор останется между ними.

«Восьмого ноября 1975 года ко мне в каюту, — показывал Шеин, имея в виду ленинскую каюту, где считался хозяином, — пришли Буров и Манько. Манько сказал, что он не будет поддерживать программу Саблина. Я с ним поссорился, стал доказывать, что программа Саблина правильная...»

Затем Шеин зашел к Саблину и сообщил, что посвятил в его планы четырех матросов. Саблин огорчился и упрекнул Шеина в том, что тот не выполнил его указание держать все до поры до времени в тайне. В ответ на это Шеин уже на правах сообщника Саблину пояснил, что пускай будет ударная группа».

Саблин дает Шеину одно из самых ответственных на том этапе поручений — подготовить помещения для предстоящей изоляции командира корабля, а также офицеров и мичманов, которые не согласятся с намечаемой преступной программой. Об этом Шеин так рассказывал:

«В связи с тем, что боевые посты № 1—3, а также № 4—6 были соединены между собой и с другими постами связью, Саблин приказал мне в первую очередь отсоединить трубки от телефонных аппаратов всех шести постов РТС, чтобы изолированные лица в названных помещениях не имели возможности связаться по телефону с кем-либо на корабле».

Вскоре Шеин доложил Саблину по телефону о выполнении задания. После ужина явился к нему на очередное совещание. Саблин вручил ему пистолет без патронов. Поначалу Шеин растерялся, а затем спрятал оружие под рубашу. Между тем Саблин объяснил, что вскоре состоится встреча с офицерами и мичманами в мичманской кают-компании, где будет провозглашена «революционная коммунистическая программа». И как же намеревался новый «вождь», борец за «новую демократию» приобщить к своей программе будущих единомышленников? Очень просто — если не поможет слово, окажет содействие «товарищ маузер».

«Саблин попросил меня, — комментировал на суде этот эпизод Шеин, — во время его выступления перед офицерами и мичманами находиться в киноаппаратной мичманской кают-компании, с тем чтобы наблюдать за присутствующими на собрании и пресечь при необходимости их попытки оказать ему какое-либо противодействие, а также во время проводимых Саблиным мероприятий на корабле охранять командира корабля и не допускать освобождения его из поста РТС № 2».

Дальше события разворачивались следующим образом. Примерно в 19.30 8 ноября 1975 года по корабельной трансляции объявили о начале просмотра кинофильма для личного состава в столовой команды. Вслед за этим прозвучало приглашение офицеров и мичманам собраться в мичманской кают-компании. Для Шеина это был условный сигнал для активных действий.

«Я надел бушлат и, переложив пистолет в карман бушлата, — продолжал свои показания на суде Шеин, — вышел из ленкаюты и направился на бак (носовая часть палубы корабля. — *Ред.*). Проходя мимо

люка поста № 3, ведущего в пост № 2, где был изолирован Потульный, я увидел, что указанный люк закрыт на навесной замок.

Встретив на баке матроса Уткина, попросил его сходить за Авериным, чтобы тот помог мне охранять командира корабля Потульного, так как я должен был во время собрания офицеров и мичманов находиться в киноаппаратной мичманской кают-компании и наблюдать за происходящим. Аверин пришел, и я его попросил во время моего отсутствия наблюдать за тем, чтобы никто не предпринял попыток освободить Потульного».

Аверин заступил на «революционный пост» охранять попавшего обманном путем в ловушку командира, а Шеин направился на «наблюдательный пункт» в киноаппаратной мичманской кают-компании. Приоткрыв задвижку на одном из двух окошек, выходящих в каюту, стал наблюдать за происходящим.

Когда все расселись, Саблин, по словам Шеина, стал им рассказывать автобиографию. Основное внимание он уделял неравенству, которое сложилось в обществе и которое он, сын привилегированных родителей, мог наблюдать с раннего детства и безнравственно пользоваться этими привилегиями, все время мучаясь оттого, что не мог от них отказаться. «Постепенно развивая мысль, он остановился на наших недостатках, — писал Шеин. — По его утверждению, люди в нашей стране утратили всякие идеалы, пропала у них и вера в партию, так как среди коммунистов появилось много приспособленцев, ловкачей, бюрократов, которые ставят свои интересы, свое личное благополучие выше интересов народа...»

Кто бы сегодня попробовал опровергнуть эти слова или поставить пресловутое следовательские «якобы»? Увы, тогда, в 1976-м, эти слова звучали чудовищной крамолой, и, чтобы они не прорвались в эфир, брежневская (читай и сталинская, хрущевская, андроповская, черненкоовская) клика готова была отправить на дно морское корабль с сотнями душ... Но это, как говорится, эмоции.

Письмо же, которое Шеин вез в «Мемориал», — документ души и сердца. Могу удостоверить его искренность, ибо прежде чем прочитать строки письма, я услышал их в живом рассказе. А чтобы оценить нечто, сказанное тебе, важно знать не только, что тебе говорят, но и как говорят.

Александр Шеин:

«Мне очень жаль, что на моем месте не оказался человек с безупречной биографией. В семнадцать лет у меня было немало правонарушений, но это были мои семнадцать лет, со своим отношением к жизни и понятием о достоинстве и чести. Я ничем не отличался от многих моих сверстников, и, наверное, действительно в

обществе, где все друг другу врут, трудно быть молодым, но я ни о чем не жалею — это был мой опыт жизни. Не надо только меня выставлять отпетым уголовником, срока я нигде не отбывал, и в армию меня призвали, не спрашивая на то моего желания. В Морфлот я, конечно, напросился сам. И дело, наверное, все-таки не во мне. Были и другие лица, с лучшими анкетными данными. Никто никого не принуждал, и корабль был остановлен только перед угрозой потопления.

Чисто по-человечески мне очень жаль, что Саблину не удалось прорваться в сферу гласности в те застойные времена. Он оказал, конечно, очень большое влияние на меня. Сейчас я на многое смотрю другими глазами. Вижу многие его ошибки. Для него самого гораздо легче было бы остановиться на письме, написанном в ЦК КПСС еще при Хрущеве. Именно эта позиция устраивала многих, и не из-за того, что кто-то лучше или кто-то хуже. Всякая борьба казалась бессмысленной, была и вера в руководящую роль советского правительства и в тот социализм, который был построен. Пятого ноября корабль утром снялся с якоря для перехода в Ригу, куда направлялся на праздничный парад. Я находился в ленкауте, а чем занимался — не помню. Где-то в одиннадцатом часу позвонил Саблин и попросил зайти к нему в каюту замполита.

В самом звонке ничего странного не было. Чисто из служебных отношений я и сам приходил к нему по какому-либо вопросу. Канун праздника, что-нибудь насчет стенгазеты — примерно с этой мыслью я и пошел в каюту замполита (в силу небольших способностей был корабельным художником).

В последнее время я где-то чувствовал, что в душе у него совсем другое. Я мог что-то предположить на его счет, но, конечно, не настолько глубоко.

Разговор по времени был примерно около часа. Начинался он с биографии, и я долгое время не мог понять, к чему все идет. Заволновался я с того момента, когда он уже стал излагать свои планы. В конце разговора Саблин дал мне магнитофонную пленку с записью его выступления, чтобы я послал ее кому-нибудь из своих друзей и она распространялась дальше.

Уходя от Саблина, на трапе я столкнулся со своим другом Бузовым Михаилом. Я был потрясен, даже слабость появилась. Он заметил мое состояние, но здесь, на трапе, я не стал с ним объясняться. Вечером того же дня я всем с ним поделился. Мы прослушали пленку. Договорились, что к восьмому числу он достанет ключи от постов РТС № 1, 2, 3, постов РТС, куда по плану Саблина предполагалось изолировать командира корабля и офицеров.

При переходе из Балтийска в Ригу Саблин находился на ходовом мостике вместе с командиром, запоминал путь следования.

Утром 6 ноября, около 10 часов, корабль встал на якорь в устье реки Даугавы в Риге. Впереди на бочках стояла подводная лодка, сзади — СКР.

Днем 6 ноября я написал письма и запечатал пленку в бандероль. Письма написал сестре и одному товарищу по работе, оказавшему в свое время тоже на меня большое влияние. Все это было потом изъято еще на почте.

Саблин старался исходить из того, чтобы как можно меньше нарушить существующее законодательство. Особенно в части государственных преступлений, именно как заговора с целью захвата власти. Он уже был на учете в Комитете госбезопасности. Все это мешало, видимо, предварительно организовать в какое-то ядро или группу. Основное, что могло помешать ему в этой предварительной организации, — его внутренняя порядочность и ответственность за возможные последствия в случае неудачи. Почему и получилось все очень неожиданно и многие оказались просто неподготовленными, особенно офицерский состав. Нам было легче, и терять нам было еще нечего.

Может быть, не совсем зрело и осмысленно, но где-то я все это подсознательно понимал, что и побудило меня посвятить во все еще четырех человек.

Это сегодня нам, в принципе, всем ясно, что было построено не то общество, о котором говорилось, тогда же было еще сложно определиться, и я тоже где-то сомневался. Больше всего боялся, что вдруг этот человек окажется коварным агентом иностранной разведки. Эти четверо ребят были: Буров Михаил, товарищ из одной боевой части Виктор Манько, Аверин Владимир — единственный человек из личного состава — кандидат в члены КПСС — и еще один человек из БЧ-4, фамилию которого уже не помню.

Седьмое ноября — праздничный день. Был парад. Из штаба округа на катере обошли строй кораблей с поздравлениями. После обеда были увольнения. Саблин записал мою фамилию в общий список. Вместе со всеми я сошел на берег. Мне надо было отправить письма и бандероль.

Восьмого ноября ближе к вечеру Буров принес ключи от постов. Мы снимали телефонные трубки, оставили письмо для командира, написанное ему Саблиным. Я отнес ключи и должен был находиться в ленкауте.

Перед ужином Саблин заходит в рубку дежурного офицера. Под каким-то предлогом забирает у него незаряженный пистолет. После чего заходит к командиру корабля и под видом того, что в од-

ном из постов организована пьянка, приглашает его пройти за ним. А когда командир спустился в пост, закрыл крышку люка на замок. В возникшем некотором замешательстве Саблин предлагает прочесть письмо, в котором изложил причины, побудившие его пойти на эти крайние меры. Для командира это, конечно, был удар, но не думаю, чтобы кто-то из них от этого испытывал удовольствие. Закрыв обе крышки люка постов № 1 и 2, Саблин заходит в ленкаюту и отдает мне пистолет, предупредив, что он не заряжен, на случай если кто-нибудь попытается открыть командира.

Вслед за этим по кораблю дается команда: «Личному составу собраться для просмотра кинофильма, а офицерам и мичманам — в кают-компанию мичманов». Когда офицерский и мичманский составы были в сборе (снят был даже дежурный по кораблю), Саблин выступает перед ними со своей программой и в конце предлагает проголосовать. Все это время я находился в соседнем помещении — кинобудке, откуда наблюдал за происходящим.

В случае каких-либо противодействий в сторону Саблина я должен был оказать ему психологическую поддержку.

Проголосовавшим «против» Саблин предложил встать и проследовать в пост № 3, объяснив свои действия как необходимость временной изоляции. Никто не возмущался. В числе проголосовавших «за» была большая часть мичманов и три офицера, среди которых оказался уклонившийся от голосования старший лейтенант, который потом и сбежал с корабля.

Около 21 часа фильм закончился. Не случайно был выбран «Броненосец “Потемкин”». Мы все помнили — в мае 1975-го, при возвращении с Кубы, на обед были выданы сухари с мучным червем: Мы возмущались, а помощник командира по снабжению уверял нас, что мучной червь безвреден и сухари доброкачественные. Но есть никто не стал. Спустя полгода — 8 ноября — вспомнили и эти сухари.

Сыграли «Большой сбор». Команда построилась на юте по одному борту.

Все это время я находился у поста, где был изолирован командир. В ярости ему удалось сорвать замок нижнего люка, и теперь он уже пытался взломать верхний, приказывая освободить его. Здесь как раз появился старшина и еще один матрос. Оба не пошли на построение и были немного выпивши. Отозвались на крики командира, назвали себя, тот приказал им освободить его, сказал, что на корабле заговор и измена. Оба они предприняли попытку освободить командира, завязалась драка, в горячке я разбил старшине голову рукояткой пистолета. Вмешались два мичмана, после чего он успокоился и ушел в свой

кубрик. Позже я извинился перед ним без особых симпатий, но мы разошлись мирно».

Этот печальный эпизод мало в чем рознится в пересказе самого пострадавшего — *старшины 2-й статьи Копылова* (старшины команды радиометристов).

«Восьмого ноября 1975 года, — рассказывал он на суде, — после ужина личный состав смотрел сначала один фильм, а затем сразу же стали показывать второй фильм... После окончания второго фильма, примерно в 22 часа, мы с Набиевым пошли перекурить на бак. Чтобы туда попасть, надо было подняться по трапу через 2-й тамбур. Как только я стал подниматься по трапу, матрос Шеин, находившийся во 2-м тамбуре, сказал, что во 2-й тамбур идти нельзя. Рука у него была в кармане. Но я продолжал идти. Шеин отступил, и я вошел во 2-й тамбур. Набиев находился сзади. Здесь я услышал стук в нижнюю часть люка и голос командира корабля Потульного. Он сказал: «Саблин и Шеин — изменники Родины». Я хотел открыть люк, но Шеин вынул пистолет и, направив на меня, сказал: «Буду стрелять». Я понял, что этот человек способен на все, и отступил на один шаг, а Набиев в это время ударил по руке Шеина поручнем от трапа и выбил пистолет. В тамбур вошли мичманы Калиничев, Величко, Гоменчук и Бородай. Они схватили меня. Шеин поднял пистолет. Набиев куда-то исчез. В это время Шеин ударил меня рукояткой по голове. Я схватился за голову, пошла кровь. Началась драка с мичманами. Потом я от них вырвался и пошел в кубрик умываться. В это время был объявлен «Большой сбор». Я пошел на ют. Там уже был собран личный состав. Перед матросами выступал Саблин. Увидев меня, он прервал речь и сказал: «Вот Копылов тоже ничего не понял... и получил за это». Саблин предложил мне остаться. Я не остался и пошел во 2-й тамбур. Там стояли Саитов и Шеин. Люк во 2-й тамбур был закрыт на замок. Шеин попросил у меня извинения за нанесенные удары. Потом подошли Гоменчук и Кутейников. Они спросили меня, доволен ли я жизнью. Я ответил, что всем доволен. Они ушли. Зашел Фирсов и ушел на бак. Я пошел в кубрик...»

Глава четвертая БРАТЬЯ САБЛИНЫ

Для меня, как, наверное, и для многих других, в этой истории важно не то, как Саблин захватывал корабль, но как он пришел к такой мысли, что заставило его швырнуть свою жизнь в расстрельный подвал? Да и кто он вообще таков — Валерий Саблин?

Поиск мой начался с посещения Омска, где в областной газете работала двоюродная сестра Валерия — Тамара Леонидовна Саблина. Летел с опаской: как-то еще встретит? Тамара Леонидовна, резкая, решительная, боевая, встретила так, будто ждала подобного визита долгие годы. Она ничуть не сомневалась в правоте двоюродного брата и выложила на стол те немногие фотографии, которые ей удалось сохранить. Я впервые увидел лицо этого человека — красивое, смелое, открытое — и поверил ему сразу.

Тамара окончила ленинградский журфак. Она училась в те самые годы, что и Валерий в своем училище Фрунзе.

— Мы нередко встречались, — рассказывала Тамара Леонидовна, — благо университет находится в двух шагах от его училища... Конечно, он, как и большинство курсантов, был очень наивен и смотрел на жизнь комсомольскими глазами. Мы, студенты, были менее зашорены, и я, как могла, объясняла ему, что действительность в Стране Советов гораздо сложнее, противоречивее, чем внушают ему на политзанятиях.

Только что закончился Международный фестиваль молодежи и студентов, потрясший наши нетронутые умы. Впервые приподнялся не так называемый, а самый настоящий железный занавес, отгораживавший нас от всего остального мира четыре десятилетия. Начиналась хрущевская «оттепель». В университете ходили по рукам запрещенные рукописи, дерзкие стихи... Кое-что я давала читать и Валерию. Он рос на глазах, жадно впитывая дух университетской волиницы...

Из Омска я улетел с фотографией Саблина и тремя адресами, которыми снабдила меня Тамара: адресом младшего брата — Николая — в Горьком, старшего — Бориса — в Белоруссии и вдовы — Нины Саблиной, жившей с сыном в Ленинграде.

Не было белого адмирала в родословной Валерия Саблина. Прадед по матери кондуктор-балтиец Федор Савельевич Тюкин погиб в октябре 1914 года вместе со всем экипажем крейсера «Паллада». Дед, Василий Петрович Бучнев, родом из Великого Устюга, тоже морячил на Балтике — боцманматом в Кронштадте. Дед по отцу, вятич Петр Иванович Саблин, воевал в первую мировую на коне, а затем в гражданскую; трижды краснознаменец. В семье его сына, капитана 1-го ранга Михаила Петровича Саблина, росло трое парней: Борис, Валерий, Николай. Отцом братья гордились, знали наперечет его боевые награды: орден Красного Знамени, два Красной Звезды, обе степени «Отечественной войны»...

Встретил войну и закончил ее Саблин-старший на Северном флоте. Его высоко ценил и уважал тогдашний комфлота адмирал

Арсений Головки. Уважал за знание дела, за скромность, за высокое чувство личной чести...

Выйдя в отставку, Михаил Петрович перебрался в Горький, где еще долгие годы учил курсантов речного училища военному делу.

Братья, разумеется, готовились в моряки. Но одного подвело здоровье, другой на юношеском распутье выбрал стезю военного инженера. Так что их общую и отцовскую мечту осуществил лишь Валерий. В 1956 году он поступил в Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе — старейшее и славнейшее в стране учебное заведение, унаследовавшее стены, книги и в какой-то мере традиции знаменитого Морского кадетского корпуса.

Выбор помогли сделать не только гены, но и надежда вырваться на просторы морей — стихию свободы. «Насмотревшись на затхлую, мерзкую жизнь горьковских горожан, — объяснял он потом в своей последней речи перед микрофоном магнитофона, — я отшатнулся от всякого варианта идти в институт».

Мама провожала его со слезами на глазах. Моряцкая жизнь мужа давала ей точное представление о судьбе, выбранной сыном.

Сохранилось письмо Саблина-второкурсника, вернувшегося из учебного похода:

«Сегодня только что пришли к стенке, уже полмесяца были в море. На берег еще не ходил. Эти 15 дней пролетели мгновенно. Смешалось все: где день, где ночь, где понедельник, а где суббота. Чем больше здесь (на новом эсминце) нахожусь, тем больше убеждаюсь, что не зря пошел в ВМУ, не ошибся в выборе. Здесь сильнее ощущаешь, что ты на корабле, что ты боевая единица, что командир корабля — это ответственное лицо, которое одним словом заставляет корабль мчаться вперед, палить из всех орудий, которое отвечает за корабль, за людей. На крейсере это как-то не ощущаешь. Там все добротное, прочное, это крепость на воде, даже качается он вдумчиво, важно. А эсминец носится, что птица, качается, что лодка; если делает поворот, то от всей души, ласково касаясь щекой-бортом волны-подушки...

Я уже изучил 3 специальности, могу заменить старшину. Люблю разговаривать с матросами об их жизни до флота, они с удовольствием вспоминают об этом, и перед тобой сразу раскрывается душа человека 25. 05. 58 г.».

Пройдут годы, приутихнет юношеская восторженность, но навсегда вплетутся в его жизнь любовь к морю и это искреннее внимание к матросу, к его личности, к его душе. Потом оно пере-

растет в острый интерес к человеку вообще, к положению дел в стране, в обществе.

«Служба идет хорошо. Очень привык к кораблю и матросам. Даже жалко расставаться. У нас хорошие отношения, это даже замполит заметил. Я люблю беседовать с матросами об их прежней жизни. Они любят вспоминать, и я уже знаю о многих — об одних больше, о других меньше. Интересно!

Вот вчера с одним, Смирновым, сидели, штопали обвес и беседовали. Он из деревни в Калининской области, был младшим конюхом. Его слушаешь — и как будто книгу о крестьянской жизни читаешь... До чего они интересные, эти матросы! Вот приеду — расскажу. Зря тогда Тамара (двоюродная сестра. — Н. Ч.) ахала по поводу невежества в деревне. Они, правда, в большинстве имеют по 4 класса образования и не знают многих вещей, но по ряду качеств они лучше городской интеллигенции».

«Беседа о Ленине прошла хорошо. Стыдно признаться, но только на 21-м году жизни, кажется, по-настоящему понял величие Ленина. Раньше это было как-то бессознательно и поверхностно...

«Примерно год я не думал о политике, жизнь была сплошным комком переплетения служебных и учебных вопросов, личного ничего не было. Второй и третий курс — поиск справедливости и истины по ряду мелких вопросов...» («Ну а вопросы были, к примеру, такие, — комментирует этот отрывок из письма в «Военно-историческом журнале» генерал-майор Борискин, — о равенстве родителей курсантов — выступление на партийном собрании; о непозволительности растить из нахимовцев барчат — письмо в ЦК ВЛКСМ; о том, что крейсера — плавающие гробы, до тех пор пока на них все-таки служат люди, — письмо Н.С. Хрущеву».)

По признанию Саблина, на него многие, особенно начальники, смотрели как на чумного. Сам же он называл эти поступки «мелочной детской борьбой за справедливость».

Все мы родом из детства. Детство Валерия пришлось на четыре города с именами мужскими и мужественными: Архангельск, Полярный, Североморск и Горький. Что ни город, то дядька-воспитатель в матросской робе, в рабочей блузе; каждый оставил свой чекан в мальчишеской душе. И, наверное, больше всего — Полярный. В Полярном он узнал, что такое война. Может быть, потому они и играли с братом в Робинзона, а не в «войнуху», что Полярный был фронтовым городом, главной базой действующего флота; здесь выли сирены, ревели «юнкеры» и гладь Екатерининской гавани вздымали не попавшие в корабли бомбы. А жена капитана 1-го ранга Саблина не раз и не два, схватив сыновей за руки, бежала из Циркульного дома в убежище под скалами.

«Мама отдавала нам весь хлеб, а чтобы заглушить голод, стала курить, — вспоминает старший из братьев Саблиных Борис. — Однажды я обнаружил в карманах Валерки множество окурков. Хотел надавать ему по шее, думал, потягивать начал».

Борис Михайлович Саблин, высокий, моложавый, пышноволосый подполковник-инженер в отставке, окончил Горьковский политех. На флот не прошел по здоровью. Но служил в тех же местах, что и Валерий. Пятнадцать лет на Севере. Был посвящен в высшие военные секреты страны, имел дело с ядерным оружием. И служил на этом опасном и ответственном поприще долго и честно, до последней капли крови — это в прямом смысле: однажды пришлось перенести полное переливание облученной крови.

После ноября 1975-го его высокую должность «неожиданно» сократили. И начались хождения по мукам, то бишь по инстанциям. Все кончилось благополучно... Сейчас он ремонтирует колхозные радиостанции в белорусской глубинке и на жизнь не жалуется. Может быть, потому, что действительно счастлив, может быть, потому, что ныть и унывать — не в породе Саблиных.

«В училище, — вспоминает бывший однокашник Саблина А.И. Лялин, — Валерия называли совестью курса. Не подумайте, что он был занудой из породы завзятых отличников. Нет, он был очень веселым и в то же время умел быть твердым в принципах. Не вилял.

Голос у него был не очень сильным, ближе к тенору. Но брал он не голосом, а логикой, убежденностью. Много читал. Порой ухитрялся это делать даже в нарядах, но не маскируя обязанностями, а улучив свободную минуту.

Училищное начальство его ценило. Он быстро стал командиром отделения, одним из первых из нашего потока вступил в партию — на четвертом курсе еще. Мы выбрали его секретарем факультетского комитета ВЛКСМ.

Разгильдяям от него доставалось. Он вообще был требовательным к товарищам. Но, повторяю, это шло у него не от патентованной идейности комсомольского карьериста, а от глубокой внутренней порядочности.

Был такой случай. Появился у нас вор. Начали пропадать деньги из бушлатов, из тумбочек. Ну, стали мы поосторожнее. А Саблин завелся и нашел-таки способ уличить вора. Курсантишку этого отчислили. Понимаете, Валерий даже мысли не мог допустить, что будущий офицер флота может быть вором! (Не говоря уже о главе государства.) Он считал позором для себя ходить в одном строю, жить под одной крышей с карманником.

Простите мне громкие слова, но я считаю его идеалом советского человека».

«Очень хочется, Валера, чтобы твои светлые взгляды на жизнь сохранились навсегда. Г. Родыгин».

«Борцу за справедливость. Г. Каневский».

Одно из пожеланий, шутивное, в стихах, оказалось, на мой взгляд, пророческим: «Желаю стать героем мира, чтобы тебя воспела лира, как гордость русских моряков в течение будущих веков!»

Итак, в декабре 1960 года лейтенант Саблин начал свою офицерскую службу в Севастополе, на эскадренном миноносце «Ожесточенный», который очень скоро перевели на Северный флот. На корабле он командовал группой управления артиллерийским огнем, затем — дивизионом... Как командовал, видно из письма, которое командир эсминца направил его отцу 22 января 1965 года: «Уважаемый Михаил Петрович!

Командование корабля, где служит Ваш сын старший лейтенант Валерий Михайлович Саблин, благодарит Вас, как отца, за то, что Вы воспитали для Родины хорошего сына, для партии — преданного коммуниста, для флота — примерного командира.

За период службы на корабле Ваш сын имел 8 поощрений от командования корабля и флота.

Мы гордимся Валерием, с которого берут пример все командиры подразделений. Он много отдает сил и своей молодой, кипучей энергии в деле повышения боевой готовности корабля и укреплении воинской дисциплины среди всего личного состава...

Командир корабля капитан 3-го ранга Малаховский».

Эти «громкие слова» произносил в адрес Саблина не один Ялин. После выпуска новоиспеченные лейтенанты дарили друг другу свои курсантские фото, надписывая их от души.

«Валера, будь таким, каким ты был с нами. Ю. Михайлов».

«Наивыдержаннейшему, наипринципиальнейшему Валерию — Коленов».

«Что мне всегда в тебе нравилось, это твои принципиальность и прямота. Будь таким всегда. А. Матюшин».

Энергия у него и в самом деле была кипучая.

«Из нас троих, — вспоминает Николай Михайлович Саблин, младший брат, — он был самый жизнерадостный. Душа любой компании, пел под гитару, хоть и без голоса, но с отвагой. Турист. Лыжник. Волейболист. И все с азартом, с удалью. Неплохо рисо-

вал. Курсантом еще написал портреты Маркса и Ленина. Заядлый фотограф. С «ФЭДом» не расставался. Вон сколько снимков осталось... Это вот Эльбрус, «Северный приют», Терскол... Это в дюнах на Балтике, это Куба — крокодилий питомник, Росток, Варнемюнде, Севастополь. Заполярье...

На лето родители снимали избу в деревне Бельны, что на берегу Горьковского моря. Если у Валеры случался в это время отпуск, он навещался к ним с женой и сыном. Уезжая, раскладывал всюду шуточные записки, которые отец с матерью находили, порой и спустя неделю после отъезда сына, и конечно же очень радовались и веселились. Зайдет отец в сарай, а там к лопате бумажка привязана: «Не увлекайся! Почаще отдыхай». Мама возьмет книгу, а там закладка с надписью: «Не забудь надеть очки!» И три веселых человечка вместо подписи: Валерий, Нина и Миша.

С женой, Ниной, ему повезло. Познакомились они в училище на танцах. Вроде бы обычный роман морского курсанта и ленинградской студентки. А вот нашли друг друга сразу и на всю жизнь. Вместе и на край света, то бишь на Крайний Север, и на Эльбрус — в одной связке поднимались и все кавказские перевалы облазили».

В свадебное путешествие молодая чета отправилась на пароходе «Адмирал Нахимов». Злосчастное судно! Уж не оно ли накликало вечную разлуку?!

Я слушаю рассказ младшего брата в горьковской квартире Саблиных, что в Холодном переулке, в былом родовом гнезде, где прошла юность Валерия. Николай перехватил мой взгляд. На верхней крышке фортепиано стоял латунный якорь, обвитый черной матросской лентой. Память о брате.

Помолчали...

«Родился он в Ленинграде на Васильевском острове в тридцать девятом. Детство же прошло в Горьком. Отсюда и в училище уходил, опять же в Ленинград. Ну, а кто он больше — волжанин или ленинградец, балтиец или се́вероморец, — сказать не могу. Да он и сам наверное бы не сказал... Жизнь его швыряла, дай Боже! За пятнадцать лет службы сменил двенадцать мест жительства и три флота... В Североморске жил в такой хибаре, что одна стена то и дело отваливалась. Мы не слышали от него ни одной жалобы. Никогда не унывал и не давал падать духом другим».

Любительский снимок с белыми пятнами по углам. В крохотной североморской комнатухе весь немудреный лейтенантский быт: стул с наброшенным кителем, допотопная радиола, Валерий в офицерской ушанке с охапкой дров, Нина с малышом. Три веселых человечка. Миг счастья. Какой-никакой, а свой угол...

Фото из Геленджика. Купался в шторм. И подпись: «Волна не сбила с ног».

Я долго вглядывался в мокрое и счастливое лицо отважного купальщика. Было в его улыбке что-то широкое, гагаринское. Улыбка сильного и доброго человека.

Еще один снимок. Мостик эсминца. Лейтенант Саблин с повязкой вахтенного офицера задумался у рукоятей машинного телеграфа. «Товсь! Стоп! Малый назад! Полный вперед!..

Так стоят на распутье перед дорожным камнем: «Направо поедешь — коня потеряешь, прямо поедешь — убитому быть...

Он выбрал — прямо.

Несмотря на блестящие аттестации, лейтенант Саблин очень не скоро стал старшим лейтенантом. Звание ему задержали почти на год. За что? Написал письмо Н.С. Хрущеву.

В. Саблин (из показаний на суде):

...В нем я наряду с изложением ряда вопросов теоретического плана писал, что партию надо очистить от подхалимов и взяточников. После этого я был приглашен в Мурманский обком партии, где меня крепко отругали».

Смысл внушения разгадать нетрудно: «Сиди и не вякай, без тебя разберутся. А будешь лезть через головы начальства, не видать больших звезд».

Кажется, Саблин урок понял и с головой ушел в корабельную службу. Почетная грамота: «Старшему лейтенанту В. Саблину за достигнутые успехи при выполнении заданий командования в период дальнего перехода Североморск — Севастополь. Командир части контр-адмирал Беляков».

Когда молодой офицер переводился на другой корабль, в кают-компании эсминца ему вручили адрес на бланке командующего Черноморским флотом:

«Уважаемый товарищ старший лейтенант Саблин Валерий Михайлович!

Командование части, офицеры и личный состав с глубокой благодарностью будут вспоминать Вас как грамотного и умелого специалиста, душевного, чуткого и требовательного офицера-воспитателя, образцово исполнявшего свой воинский и гражданский долг. Пусть Ваше мужество и тепло Вашего сердца всегда будут согревать и вдохновлять людей! Выражаем уверенность, что, уходя из в/ч 13041, Вы и впредь будете служить образцом честности и преданности нашему великому делу — построению светлого коммунистического общества.

Севастополь, 21 декабря 1965 года».

Флот всегда был скуп на похвалы, тем более молодым офицерам. Это напутствие тоже оказалось пророческим: «...Вы ... будете служить образцом честности и преданности...»

Еще одна Почетная грамота: «Капитан-лейтенанту В.М. Саблину. За инициативу и настойчивость в обеспечении испытаний нового оружия и техники в 1968 году. Командующий Краснознаменным Северным флотом адмирал Лобов».

Можно долго перебирать пожелтевшие грамоты: «За высокие показатели спортивной работы на корабле», «За активное участие в пропагандистской работе», «...в военно-научной работе», «За пересечение экватора», — но и без того ясно: офицер служил не за страх, а за совесть.

Его прочили в командиры корабля, предлагали учебу на Классах. А он удивил всех, отпросившись поступать в Военно-политическую академию имени В.И. Ленина.

Иные проделывали подобный курбет, чтобы сменить лямку строевой службы на не столь обременительную политработу, выведившую порой к большим звездам куда быстрее, чем крутой трап корабельной карьеры. Выбор же Саблина определялся одной из важнейших черт его характера: «Во всем мне хочется дойти до самой сути...»

В. Саблин (из Обращения к экипажу, записанного на магнитную ленту¹):

«В этот момент мысли у меня клокотали в голове, и все искал я причину, почему так, а не иначе, у нас складываются отношения в стране... Что-то, я чувствую, надо было делать, но не хватало знаний. Забивали меня цитатами и давали понять, что серый я в вопросах политики. Пишу в Ленинградский университет с просьбой разрешить учиться если не заочно, то экстерном. Дали отказ, экстерном, говорят, нельзя, а заочно не положено. Остается один выход — это Военно-политическая академия. Пишу туда. Это было в шестьдесят четвертом году. Присылают правила приема. Оказывается, надо с должности капитан-лейтенанта и надо два года прослужить в этой должности. В Севастополе такие должности не валяются, и надо ждать минимум два года. Созревает решение — все-таки поступать в академию. Решение серьезное, сложное... Пишу рапорт о переводе на Север. Переводят, предлагают должность помощника командира на СКР — на сторожевой корабль. При назначении предупреждаю комбрига капитана 1-го ранга Крылова, что через два года — по

¹ Магнитная лента приобщена к следственным материалам и хранится в Главной военной прокуратуре.

положению, как я сказал, надо два года служить в должности, — что через два года буду уходить в политическую академию. Он воспринял это как шутку и легко согласился. <...> Служить надо было хорошо, чтобы отпустили в академию. Политику пришлось отставить на второй план. Обходился лишь тем, что собирал факты, обличающие нашу действительность, и читал классиков марксизма-ленинизма».

Глава пятая «Я ДОЛГО БЫЛ ЛИБЕРАЛОМ...»

О, если бы те, кто его судил, видели саблинские конспекты трудов Ленина, Маркса, Плеханова... Как разительно не похожи они на обычные, школярски, бездумно переписанные у соседа с одной лишь целью — предъявить на экзаменах. По этим выпискам хорошо видно, как вызревала саблинская мысль, его решимость...

Из К. Маркса: «Нравственное государство предполагает в своих членах государственный образ мыслей, если даже они выступают в оппозиции; карающий за образ мыслей не есть закон, изданный государством для его граждан. Это закон одной партии против другой».

Из Ф. Дзержинского: «Мы, коммунисты, должны жить так, чтобы широчайшие массы трудящихся видели, что мы слуги народа, что победой революции и властью мы пользуемся не для себя, а для блага и счастья народа».

Из А. Блока: «Жить стоит только так, чтобы предъявить безмерные требования к жизни... верить не в то, чего нет на свете, а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она прекрасна».

Он изучал марксизм без поводья-конвоира. Он общался с классиками напрямую — без наемных толкователей и высокооплачиваемых интерпретаторов. Он вошел в зону запретной мысли и читал то, чего не было в программе. Его Поэт вздыхал в те годы:

Маркс, Энгельс, Ленин, знать бы вам
В посмертном вашем чине,
Каким ученым головам
Мы вас препоручили.
Вам вкупе слава и почет
Да и поодиночке,
А что писали — на учет
И под контроль до строчки.

Валерий не только штудировал книги но и жадно расспрашивал о жизни всякого нового человека, с кем сводили его дела, служба, дорога, — будь то старый школьный товарищ, сосед по купе или водитель столичного такси.

— Не доведут тебя эти разговоры до добра! — печалилась жена. И как в воду смотрела.

Незадолго до поступления в академию, летом 1968 года, Саблин встретил в Горьком старого школьного друга Сергея Родионова. Посидели в ресторане. Поговорили. Пospорили. Валерий разоткровенничался. Объяснил приятелю, зачем поступает в политическую академию.

Мог ли он подумать, что однокашник не погнушается взять в руки перо и настрочить донос в политуправление Северного флота! Но именно так все и вышло. За двенадцать дней до отъезда в академию капитана 3-го ранга Саблина вызвал к себе член военного совета и долго задавал всякие каверзные вопросы. «Затем достал из ящика стола письмо, — как повествует о том Борискин, — и сказал, что, дескать, некий друг из Горького заявляет о подготовке Саблина к государственному перевороту».

Легко представить себе, что пережил в эти минуты Саблин. Но времена все же были иные, и 37-й год отстоял на тридцать лет в прошлом. Да и репутация у Родионова в КГБ была подмочена, поэтому особый отдел Северного флота отправил письмо на усмотрение контр-адмирала Сизова. Надо отдать должное члену военного совета. Он оказался человеком широких взглядов и большой смелости. Донос списал в архив, и капитан 3-го ранга Саблин отбыл в Москву на учебу.

Могу представить себе, какой выговор вкатили потом Сизову по партийной линии — «за утрату политической бдительности».

В. Саблин (из Обращения к экипажу, записанного на магнитную ленту):

«Я никогда не был высокого мнения о политработниках послевоенного времени, так как они, как правило, очень недалекие в рассуждениях, много думают о личном благе и мало о деле, бездельники и болтуны, иногда очень красивые болтуны, и они, как правило, не пользуются авторитетом среди личного состава. Учеба в академии утвердила меня, мое мнение в том. Окружение было очень плохое. Постоянные интриги, споры между собой, стремление выслужиться перед начальниками, склоки. Это — в основе. Хотя человек десять были порядочными, в определенных пределах, товарищами. Начальник факультета адмирал Горелкин поощрял такую обстановку среди слушателей, не терпел противоречащих, но умел очень возвышенно говорить о партийной принци-

пиальности... Я, естественно, побаивался выходить на беседы с такими вопросами, так как можно было далеко зайти в споре и в итоге выйти из академии... К сожалению, в Москве я не видел щели хотя бы, в которую можно было высунуть голову, чтобы подышать свежим воздухом свободной мысли, чтобы где-то можно было высказать свои мысли, поговорить. Были попытки найти мыслящих людей вне академии. Год я вел группу партшколы на заводе «Динамо», пытался вызвать на откровенность некоторых рабочих. Но кто они — критикуют начальство заводское, порядки, но не более. Стал членом общества «Знание» от Краснопресненского райкома партии, ездил с лекциями по Москве... Чувствовал, когда читал лекции, отчуждение аудитории, когда говорил о цифрах пятилетки, призывах партии... Была встреча у меня с начальником цеха завода «Динамо» в домашней обстановке. Оказался мелким человеком... Пытался встретиться с поэтом Евтушенко. Мне нравится его гражданственная стихия. Но он уклонился от встречи, так как собирался улетать в Японию...»

Военно-политическую академию Саблин окончил с отличием, имя его было выбито на белом мраморе в ряду тех, кем гордилась академия. В ноябре 1975 года его поспешно вырубили зубилом. Те, кто отдавал этот приказ, думали, что история — это мраморная доска, навечно отданная им в цензуру...

Мы всё видели, всё понимали, посмеивались анекдотам о густых бровях Брежнева — усах Сталина, поднятых на должную высоту, о том, что в Москве-реке начаты промеры для крейсера «Аврора», — и ждали, когда нам объявят перестройку, а вместе с ней и эпоху гласности. Он ждать не захотел.

Мы ждали, ибо каждый из нас считал себя ничтожной силой для того, чтобы что-то изменить.

Он так не считал.

«Эпохе застоя» — очередной наш эвфемизм. Слишком мягко обозначено то время. То был не просто застой, то было гниение заживо, распад государства, растрение душ. Я хорошо знаю, как корежила флот эта ползучая, сродни СПИДу, социальная болезнь — брежневщина: синдром приобретенного идейного дефицита.

Флот — тонкая и сложная структура, на которой сразу же отзывается любое нездоровье общественного организма, будь то взяточничество, наркомания или засилье бумаг. Корабль — модель государства в миниатюре. Лихорадит страну — трясет и корабль. В те недоброй памяти годы флот лихорадило как никогда. Именно тогда начался расцвет махровой «дедовщины», повалил чер-

ный дым аварийности. Корабли горели, сталкивались, тонули. В 1974 году загорелся, взорвался и затонул большой противолодочный корабль «Отважный». Спустя год забушевало пламя на огромном вертолетоносце «Москва», гибли подводные лодки...

В грозных приказах причиной всех несчастий чаще всего называлась «халатность должностных лиц». Но у этой «халатности» были длинные и разветвленные корни, уходившие в «идейный дефицит»: политическая апатия, показуха, пресловутый вал, только в военно-морском варианте, ледяное равнодушие начальства к быту и судьбам подчиненных, наконец, как следствие всего этого, — дикое, повальное пьянство.

Ровесник Саблина Владимир Высоцкий выбрасывал в магнитофонный эфир горькие слова:

И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз,
Мы тоже дети страшных лет России —
Безвременье вливало водку в нас...

Капитан 3-го ранга Саблин посмел поднять глаза, посмел вскинуть голову, посмел возвысить свой протестующий голос...

Мог ли он выбрать иной путь? Легальный. Скажем, выступить на партийной конференции части. Но кто бы его выпустил к микрофону, просмотрев, как тогда это водилось, тезисы выступления? Далеко бы его услышали, если бы ему все-таки дали слово? Да и был у него уже печальный опыт — письмо к Хрущеву...

Увы, единственная трибуна, с которой военный моряк может быть услышан своим народом, — это мостик мятежного корабля. Он поднялся на эту трибуну, прекрасно сознавая, что поднимается вместе с тем и на эшафот...

В. Саблин (из Обращения к экипажу, записанного на магнитную ленту):

«Напряженно и долго думал о дальнейших действиях, принял решение кончать с теорией и становиться практиком. Понял, что нужна какая-то трибуна, с которой можно было бы начать высказывать свободные мысли о необходимости изменения существующего положения дел... Лучше надводного корабля, я думаю, такой трибуны не найдешь, а из морей лучше всего Балтийское, так как в центре Европы. <...>

Никто в Советском Союзе не имеет и не может иметь такую возможность, как мы, потребовать от правительства разрешения выступить по телевидению с критикой внутреннего положения. Это позволяет изолированная территория, подвижность и вооруженность корабля, автономность и вооруженность связью...

В день тридцатипятилетия старший брат прислал ему в пожелание четверостишие Расула Гамзатова:

И не дай тебе Бог
Век печалиться целый
От сознания, что мог,
Но свершить не успел.

Будущие историки определят, когда именно, с какого года шестидесятых ли, семидесятых страна стала погружаться в мертвящий сон «застоя». На мой взгляд, конец «оттепели» настал в 1968-м, когда под гитарный набат Поэт пропел-прокричал: «Граждане, Отечество в опасности! Наши танки — на чужой земле».

Дальше с каждым годом летаргия «застоя» цепенила страну все глуше и крепче. Дурман фимиама, который курили Брежневу, словно опиум, отравлял общественную мораль, право, совесть и память народа. Культ-штамповальная программа, заложенная Сталиным и его клеветами в пропагандистскую машину, разблокированная при Брежневе, начала воздавать сталинские почести человеку с густыми бровями исправно и столь же слепо и неумоимо, как и любой автомат, которому совершенно безразлично, что люди, на чьих глазах он вершит свою нелепую работу, — смеются, негодуют, разуверятся...

Если поступок Саблина еще кем-то оспаривается, то это только потому, что пока не сказана вся правда о Брежневе и брежневщине, о времени упущенных возможностей, времени чудовищных и почти неоплатных долгов перед природой, перед народами страны, перед будущими поколениями.

Нужен был взрыв, залп, удар в колокол, чтобы страна проснулась, огляделась, прозрела, устыдилась, вознегодовала. Нужны были новые броненосец «Потемкин» и крейсер «Аврора». Вот тогда-то БПК «Сторожевой» стал поднимать якоря...

«Я долго был либералом, — писал Саблин в своем прощальном письме жене, — уверенным, что что-то надо чуть-чуть подправить в нашем обществе, что надо написать одну-две обличительные статьи, что-то надо сменить... Это было примерно до 1971 года. Учеба в академии окончательно убедила меня в том, что стальная государственно-партийная машина настолько стальная, что любые удары в лоб будут превращаться в пустые звуки...

Надо сломать эту машину изнутри, используя ее же броню. С 1972 года я стал мечтать о свободной пропагандистской территории корабля. К сожалению, обстановка складывалась так, что только в ноябре 75-го возникла реальная возможность выступить... Что меня толкнуло на это? Любовь к жизни. Причем я имею в виду не жизнь сытого мещанина, а жизнь светлую, честную, которая вы-

зывает искреннюю радость у всех честных людей. Я убежден, что в народе нашем, как и 58 лет назад, вспыхнет революционное сознание и он добьется коммунистических отношений в нашей стране. А сейчас наше общество погрязло в политическом болоте, все больше и больше будут ощущаться экономические трудности и социальные потрясения. Честные люди видят это, но не видят выхода из создавшегося положения...»

Он увидел свой выход... Привести корабль в Ленинград и — как в семнадцатом — шарахнуть в эфир: «Всем! Всем!! Всем!!! Говорит свободный корабль “Сторожевой”...» И дальше — правду-матку о положении в стране: «Граждане, Отечество в опасности! Его подтачивают казнокрадство и демагогия, показуха и ложь... Вернуться к демократии и социальной справедливости... Уважать честь, жизнь и достоинство личности...» О, сколько всего надо было прокричать в эфир!..

В том же 1975-м его Поэт умолял под гитару: «Дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке!»

Саблин прекрасно понимал, что ему никто не позволит выкрикнуть то, чем изболелась душа...

Заветная тетрадь Валерия обрывается последней записью: «И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение!»

Его мгновение пришло 8 ноября 1975 года. В тот день страна праздновала не только 58-ю годовщину Октября, но и семидесятилетие первой русской революции: «Потемкин», «Очаков», лейтенант Шмидт... Шмидт был его кумиром. В каюте Саблина висел портрет мятежного лейтенанта. Валерий написал его сам (он неплохо рисовал) и завешал портрет сыну. Лучшего дня для выступления было не придумать. Уверенности в успехе придавало еще и то, что корабль недавно вернулся из Атлантики, где нес боевую службу, вернулся с хорошо спланным экипажем, который верил в своего замполита и готов был идти за ним.

Итак, 7 ноября 1975 года Саблин писал в своей каюте под мокрый свист балтийской осени прощальное письмо родителям.

Весной он поздравил их с тридцатилетием Великой Победы:

«Дорогие, хорошие мои мамочка и папочка,
с днем Великой Победы!!!

Нет такого ордена, который был бы равноценен подвигу нашего народа! Народ голодал, народ истекал кровью, народ побеждал и народ победил!!

Я крепко целую вас обоих за то, что вы тоже были этим народом! И сердцем, и умом понимаю, что вы не просто мама и

папа, а родители, испытывавшие войну и вложившие свой вклад в Победу, сделавшие все, чтобы в суровые годы войны растить сыновей!

Спасибо! Крепко целую. Валерий».

Теперь он писал иное письмо. Поймут ли? Простят?..

Мама поняла одно: сын решился на верную гибель. Тут же отбила из Горького в Балтийск срочную телеграмму: «Получили письмо Валерия. Удивлены, возмущены, умоляем образумиться. Мама. Папа».

Телеграмма пришла 12 ноября, когда все было кончено...

Отец не сразу понял, во имя чего Валерий поставил свою жизнь на карту. Лишь потом, когда на свидании в Лефортовской тюрьме у них состоится разговор, отставной капитан 1-го ранга Саблин, кажется, поймет своего среднего. Во всяком случае, осуждать его не станет, как бы ни настаивали советчики-доброхоты.

Из протокола обыска:

«На предложение выдать разыскиваемые предметы и документы Саблин М.П. добровольно выдал:

1. Письмо на 4-х листах белой нелинованной бумаги, начинающееся словами: «Дорогие, любимые...» и заканчивающееся словами: «Любящий вас Валерий», и конверт, адресованный Саблиным, с почтовым штемпелем

«Рига. 8.11.75». По заявлению Саблина М.П., это письмо написано его сыном Валерием. <...>

При обыске ничего не обнаружено и не изъято. Обыск производился в 3-комнатной квартире, коридоре, кухне, ванной и туалете. Обыск произвел следователь по особо важным делам УКГБ по Горьковской области полковник Кукушкин. Следователь — старший лейтенант Гусев. 12 ноября 1975 года».

Изъятые письмо бесследно исчезло вместе с другими документами по саблинскому делу — бланками семафоров, радиограмм, допросов. По распоряжению Брежнева многие материалы были уничтожены, дабы никто не посмел поставить в истории имя капитана 3-го ранга Саблина рядом с именем лейтенанта Шмидта. По крайней мере, так сообщил мне бывший командующий Балтийским флотом адмирал Михайлин.

По счастливой случайности сохранилось письмо Саблина, посланное жене и сыну. Перед самым обыском Нина бросила его под ванну за банки с краской.

В вещах и бумагах рылись без особого энтузиазма — лишь по долгу службы. Видимо, те, кто обыскивал, испытывали неловкость и перед этой миловидной, убитой горем женщиной, и перед маль-

чишкой-школьником, с недетской серьезностью следившим, как хозяйничают в их комнате чужие люди.

А тут еще кошка вздумала рожать котят, превратив суровую процедуру и вовсе в фарс.

— Золото есть!

— Серьги и кольцо, — Нина показала то, что было не ней.

Имущество конфисковывать не стали. Не нашли в доме ничего лишнего: казенная мебель и книги, книги, книги... Унесли с собой саблинский орден, кортик да вырезанные из дневников страницы.

А письмо осталось:

«Милая, любимая!

Мне даже трудно представить, как ты встретишь сообщение, что я встал на путь революционной борьбы. Возможно, ты проклянешь меня как человека, который испортил тебе всю жизнь. Возможно, ты назовешь меня черствым человеком, не думающим о семье. Возможно, глубоко обидишься за то, что я скрывал от тебя свои планы. А возможно, просто печально скажешь: «Чудаком ты был, чудачком и остался!»

Это будет лучшее, что я могу ожидать. Не суди слишком строго и постарайся объяснить Мише, что я не злодей, не авантюрист, не анархист, а просто человек, любящий свою Родину свободной и не видящий иного пути к счастью своего народа, как борьба. Я очень люблю и люблю тебя и конечно же Мишу. Эта любовь помогала мне быть честным в жизни...

Назовут меня «агентом империализма» — не верь. Империализм — это далекое прошлое по сравнению с социализмом... Найду ли я единомышленников в борьбе? Думаю, что они будут. А если нет, то даже в этом одиночестве я буду честен.

Настоящий шаг — это моя внутренняя потребность. Если бы я отказался от борьбы, я бы перестал существовать как человек, перестал бы уважать себя, я бы звал себя скотиной...

Не знаю, как в письме передать свои мысли наиболее убедительно, и очень жалею, что не мог рассказать их раньше. Я не хочу, чтобы после моего выступления к тебе со стороны властей были хоть какие-нибудь претензии как к моей сообщнице. Вот почему я был нем, хотя очень хотел раскрыть тебе свои помыслы. Примерно такое же письмо я написал своим родителям. Я тебя очень прошу — не забывай их и помогай всячески. Как-то они вынесут сообщение о моем выступлении?! Очень беспокоюсь об их здоровье.

Как отнесется Миша к сообщению?! Постарайся ему объяснить, что я не такой плохой, как меня будут представлять официальные органы и пресса.

Возможно, кто-то из знакомых и товарищей отвернется от нашей семьи как опасной для знакомства. Не переживай — такие и не могут быть достойны твоего внимания.

Я оптимист и не смотрю на выступление трагически, хотя шансов на успех приблизительно сорок процентов. Я уверен, что даже сам факт выступления — уже дань революционному движению. Но я приложу всю энергию, все силы, чтобы довести дело до конца, то есть до создания центра политической активности в нашей стране, на базе которого будет создана новая партия.

Это не прощальное письмо, но все же я хочу сказать, что я очень хочу, чтобы вы с Мишей были счастливы, и не буду осуждать ни одного из твоих поступков, если ты будешь счастлива.

*Не весь я твой — меня зовут
Иная жизнь, иные грезы...
От них меня не оторвут
Ни ласки жаркие, ни слезы.
Любя тебя, я не забыл,
Что жизни цель — не наслажденье
В душе своей не заглушил
К сиянию истины стремленье.
Не двинул к пристани свой челн
Я малодушною рукою
И смело мчусь по гребням волн
На грозный бой с глубокой мглою¹.*

И еще — из письма Инессы Арманд своей дочери «Ни в коем случае не будь из тех людей, которые, критикуя окружающее, постоянно брюзжа на окружающих» не проводят своих идей в жизни и продолжают жить совершенно так же, как все те, которых они ругают. Подобные люди или лицемеры, или слабые и ничтожные люди, которые не в силах согласовать свою жизнь со своими убеждениями».

Я не хочу быть ни лицемером, ни ничтожным человеком. О радость битвы!!

Больше бодрости, моя родная, больше веры, что жизнь прекрасна, что прогрессивное, революционное всегда победит!

*Целую тебя крепко.
До свидания!*

Твой Валера.

8.11.75 г.».

¹ Стихотворение С.Я. Надсона.

Глава шестая

«МЫ ДОЛЖНЫ ПРИЗВАТЬ К ЗАКОНУ ВЕРХИ!..»

8 ноября 1975 года. Борт БПК «Сторожевой»

После голосования в мичманской кают-компании стало ясно: офицеры мешать выступлению не будут. И на том спасибо. Половина всех мичманов — за поход в Питер. Теперь самое главное — матросы, основная часть экипажа. Что скажут они? За кем пойдут?

По кораблю разнеслись звонки «Большого сбора». Строились на юте — в шинелях, в бушлатах... Ежились на холодном ветру.

— Чо будет?

— А хрен его знает.

— И в праздник не отдохнешь...

— Зам речь держать будет.

— Настобрыдло... Одна хренотень.

— Дурак. Он щас такое скажет... Командира арестовал.

— Не знал, что ль? Смотри — с пистолетом.

— Иди ты!

На юте врубили палубное освещение. Саблин вышел перед строем с пистолетом за пазухой.

Матрос Прейнбергс:

«Он был спокойный, выдержанный. Был скрытный. Ничто в его политбеседах не предвещало будущего мятежника. Обычный замполит, который верно разъяснял политику партии.

...Мы построились на юте. Появился Саблин. Мы удивились, что из офицеров, кроме него, никто не вышел. Нет, кто-то один был... То, что он говорил, не укладывалось в сознании. Совершенно невероятные вещи для политработника. Он говорил о том, что так дальше продолжаться не может, что страна движется к пропасти. Что, декларируя постоянно равенство, руководство пользуется недоступными для народа благами. Конкретно КПСС, Октябрьскую революцию он не винил. Считал, что во всем виноваты конкретные люди, из-за которых творится развал в стране. Под конец речи Саблин призвал всех следовать за ним и идти в Ленинград, там требовать выступления по телевидению».

Матрос Максименко:

«Саблин говорил, что нас поддержат в сорока восьми воинских частях, что в СССР много честных офицеров, которые не согласны с курсом и политикой наших руководителей. Народ не имеет никаких прав, страна разоряется, народ полунищий, кругом несправедливость, мы должны призвать к закону верхи, продающие, разбазаривающие национальные богатства России,

одурачивающие нас и плюющие на свой народ. Должны выступить по телевидению. Великая Россия должна стать передовым демократическим и правовым государством мира, а не голодной страной, отсталой, руководит которой ЦК вместе с Брежневым. Руководить страной должны люди, выбранные демократическим путем: честные, верные народу патриоты, а не ставленники политических семейных династий.

Саблин спросил: «Все согласны со мной?» Мы понимали, что дело пахло порохом, но за великие цели... Он прошел вдоль строя, останавливался против каждого и спрашивал: «А ты?» В ответ слышалось: «Да» или «Согласен».

Матрос Шеин:

«После его выступления на юте началось всеобщее воодушевление. То, о чем мы толковали меж собой в курилках, вдруг прозвучало во всеуслышание. Официально. Перед строем. Это было как праздник. Чувство достоинства — оно пробудилось в каждом. Мы людьми себя почувствовали. Впервые!»

Старшина 1-й статьи Соловьев:

«Саблин заявил, что его выступления ждут на Северном флоте, ТОФ¹ и Камчатке, а также в Москве».

Матрос Аверин:

«На юте Саблин говорил, что у него есть единомышленники и друзья. Он уже написал письма, и нас поддержат на Северном, Тихоокеанском и других флотах».

Скорее всего, Саблин блефовал, называя цифру в сорок восемь частей. Но в то, что, если «Сторожевой» поднимет в Питере политическую бурю, его могут поддержать и в Кронштадте, и на Севере, и на Тихом океане хотя бы одиночные корабли, Саблин верил, ибо хорошо знал умонастроения в офицерской среде: они были не в пользу «бровеносца в потемках». Поддержать могли. И письма своим единомышленникам Саблин тоже мог отправить.

В те минуты, ловя сотни горящих взглядов, не мальчишеских уже — враз повзрослевших глаз, — он верил в успех. И вера эта заставляла верить ему.

— Боевая тревога! Корабль к бою и походу экстренно готовить!.. По местам стоять, с якоря и бочки сниматься!

Матрос Шеин:

«Там, на юте, воздержался только один человек. Все остальные полтора матросов были «за».

Саблин и еще несколько ребят спустились в носовую выгородку. Командир все еще пытался сорвать замок. Услышав голос Саб-

¹ ТОФ — Тихоокеанский флот.

лина, стал требовать, чтобы его выпустили. Саблин пообещал, что, как только все закончится, его обязательно выпустят. А пока мы с Авериным установили упор на крышку люка. Саблин забрал у меня пистолет и отправил отдыхать. Честно говоря, меня колотила сильная нервная дрожь.

На корабле тем временем расставлялись матросские посты: у арсенала, у каюты замполита, на верхней палубе. Но я уже в этом участия не принимал. Упал на койку и попытался забыться...»

Итак, первые три часа все шло так, как было задумано. Но за час до полуночи...

Матрос Шеин:

«У каждого Моцарта есть свой Сальери, у каждого Шмидта — свой Ставраки. У капитана 3-го ранга Саблина их оказалось по меньшей мере трое...»

Капитан 3-го ранга В. Саблин (из показаний на следствии):

«Матрос Сахневич¹ подошел ко мне и сообщил, что в каюте Саитова собрались офицеры и мичманы и что-то, как он выразился, замышляют против меня. Я видел, что в конце коридора офицерского состава находилась группа матросов БЧ-5. Вместе с Сахневичем я подошел к каюте Саитова и, стоя на пороге этой каюты (в ней находилось несколько человек), разговаривал с Саитовым... На мой вопрос, где Фирсов, Саитов ответил, что все необходимо прекратить, так как Фирсов уже на берегу, все там стало известно и, очевидно, к нам будут предприняты какие-то меры. Я ответил, что раз они меня больше не поддерживают, то я должен их изолировать. В этот момент Степанов через порог каюты схватил меня за руку и потащил в каюту, а мичман Ковальченков толкал в спину. Пытаясь толкнуть меня в каюту, Степанов и Ковальченков хотели вытащить у меня из внутреннего кармана офицерской тужурки пистолет, оборвав при этом пуговицы на тужурке.

Когда я уже наполовину был в каюте Саитова, подбежали матросы БЧ-5 и вместе с Сахневичем освободили меня из рук Степанова и Ковальченкова. Сахневич мне запомнился в этот момент потому, что он кричал: «На помощь! Спасайте Саблина!», а также тем, что позже задавал мне вопросы, что мы будем делать с офицерами и мичманами, находящимися в каюте Саитова.

Я был взбешен поведением находящихся в каюте Саитова лиц и сказал, что они предатели, что предали дело и будут изолированы. При этом я держал в руке пистолет—я вытащил его, так как мне оборвали пуговицы, тужурка распахнулась и я боялся, что кто-нибудь вытащит этот пистолет из кармана...»

¹ Электрик из БЧ-5, в декабре 1975 года должен был уволиться в запас.

«Это был один из тех опасных моментов, — утверждает генерал-майор юстиции Борискин, — когда на корабле могла начаться перестрелка, так как члены корабельного экипажа были спровоцированы воинственностью и озлобленностью Саблина. Ведь в стволе пистолета Саблина уже находился патрон... Но это не все. Пистолеты с патронами имели в то время и другие офицеры, к примеру, Степанов. Добыто было оружие сразу же после прослушивания речи Саблина. Вот что по этому поводу показал на суде уже упоминавшийся старший лейтенант Фирсов. Он поначалу голосовал за план Саблина, почему и не был изолирован. «Я пошел в кормовую часть корабля, — рассказывал Фирсов, — встретил там лейтенанта Степанова. Мы стали искать командира, но не нашли. На баке мы увидели Саитова. Решили поговорить с Саитовым и разобраться в обстановке из корабля. Первым делом мы решили достать оружие. С Саитовым достали второй экземпляр ключей от арсенала в каюте командира БЧ-2 и вместе, отключив сигнализацию, открыли арсенал, взяли 5 пистолетов. Но патронов там не было. Они находились в 4-м погребе. Саитов вызвал Сметанина — заведующего погребом, и у него взяли патроны».

Лейтенант Степанов подтвердил эти показания, заявив: «У меня был пистолет, но я его не применил...»

Почему не применил? Пожалел Саблина? Побоялся?

Ведь их по меньшей мере было пятеро против одного Саблина: Саитов, Степанов, Фирсов, Ковальченков плюс арсенальщик Сметанин, и все вооружены. Пять заряженных пистолетов против одного.

Не посмели? Испугались матросов?

Скорее всего. Только этим можно объяснить, что старший лейтенант Фирсов, он же секретарь партийной организации «Сторожевого», тайком пробрался на бак (носовую часть корабля) и оттуда соскользнул по швартову на якорную бочку. С соседней, стоявшей в парадном строю подводной лодки его заметили и прислали за ним катер, как сообщает генерал Борискин. Откуда на подводной лодке катер? Скорее всего, надувную шлюпку.

Командир подводной лодки не сразу поверил в рассказ перепуганного старлея. Бунт?! Мятеж?! Новый лейтенант Шмидт?! Это все не из нашей оперы, такое может быть только на царском флоте. Уж здоров ли старший лейтенант со «Сторожевого»?

Подводники поверили рассказу, когда увидели, что ВПК снимается со швартовых... Лишь тогда ушел доклад на берег.

Я не знаю, где служит сейчас Фирсов. Но знаю одно доподлинно: на том, на старом, царском русском флоте, руки бы ему не

подали, в кают-компании бы не приняли, да и не задержался бы долго на флоте офицер, совершивший подобный «подвиг».

Узнав о бегстве Фирсова, Саблин не мог не понять, что теперь, с потерей внезапности, никаких шансов на благополучный приход в Ленинград нет. Оставалось одно — в открытое море, в нейтральные воды, и бросить свой клич в эфир оттуда.

«Саблин сказал, — показывал на суде старший лейтенант Фирсов, — что корабль сильно вооружен, находится на Балтике, которая славится боевыми традициями флота, и с нашими требованиями не должны не посчитаться. Как всякий рвущийся к власти авантюрист, не очень-то надеющийся на поддержку внутри страны, Саблин возлагал большие надежды на границу. Для этого он предварительно составил текст соответствующей радиোগранмы. Чтобы передать ее, шел даже на разглашение военной тайны. Он приказывал радиотелеграфистам передавать свое воззвание открытым текстом, но в этом ему отказывались повиноваться даже те матросы, которые из страха или по недомыслию поначалу поддерживали его». «Передав один абзац, — показывал на суде матрос Виноградов, — я пошел к Саблину. Он приказал передать это Обращение открытым текстом. Я ему сказал, что передавать открытым текстом нельзя, так как это является грубым нарушением правил связи, об этом будет известно за рубежом, будут расшифрованы наши коды. Саблин, несмотря на такие убедительные доводы, настаивал на своем. «Передавая радиогранму: «Всем! Всем! Всем!», я имел в виду, — объяснял он свое упрямство — что будет какая-то поддержка из-за рубежа...

Вряд ли он всерьез верил в такую поддержку. Но если не услышит страна, пусть узнает мир. Весть о его выходе из парадного строя радиоэоом вернется к народу. И если не поднимутся, так хоть узнают...

Глава седьмая

КУРС — В ОТКРЫТОЕ МОРЕ!

Съемкой с якоря и бочки руководил боцман — мичман Житнев.

Развернуть махину большого противолодочного корабля в узкости реки на быстрине, да к тому же в тесной близости с другими кораблями, — дело непростое и опасное. Любая ошибка — и «Сто-рожевой» на мели, носом в борт или в берег.

Саблин развернул корабль носом к морю. В одиночку такой маневр не совершить. На всех боевых постах десятки матросов

четко выполняли все приказания ГКП — главного командного пункта. Выполняли как никогда быстро и слаженно.

Олег Максименко, матрос-первогодок, спустя много лет описал события той ночи в пространным письме-дневнике, адресованном автору этих строк. Паренек из интеллигентной семьи (мама — преподаватель немецкого языка) пережил все с обостренностью юной души.

В ночь на 9 ноября он был в наряде на камбузе и ночевал в одном из подсобных помещений...

Матрос Максименко:

«Девятое ноября! Где-то в половине второго ночи нас с трудом разбудили ударами ног в дверь. Валайтис (кок. — *Н. Ч.*) нехотя открыл, крикнули: «Максименко, на бак!» Я даже не разобрал, кто меня звал, — свет в коридоре не горел, споткнулся о комингс (порог. — *Н. Ч.*), в темноте растянулся, через меня — еще пара человек. Я взлетел по трапу офицерского коридора наверх, зашмякнулся, получил под зад, обежал надстройку, через волнорез перелез сверху и опять растянулся на палубе — крепкие ручки Некреаша не дали мне испортить себе физиономию и поставили меня на ноги.

Слышались крики: «Срочно сниматься! Рубить швартовы! Рулевого Соловьева на ходовой мостик!»

Боцман рубил канаты, но они были крепкие, он провозился с ними минут пять. Кто-то держал ручной пулемет, направленный на подводную лодку. Подняли якоря, корабль дал задний, потом передний ход, меня отправили с бака. Удар, корабль как бы дернулся. Кто-то влетел на камбуз, света нет, а у меня котлеты просыпались со сковороды, на ощупь нашел, дал в руки: «Ешь». В ответ: «Спасибо! Подводникам в корму влепили, вот те, наверное, кайф поймали, трусы всем придется менять». Зашел Валайтис, он все слышал и прошипел: «Нам самим придется штаны скоро менять». Потом мне рассказывали, лодка от удара накренилась так, что половина подводников едва не рехнулась.

Смотрю в иллюминатор, несемся по Даугаве примерно узлов 30, вел БПК старшина 1-й статьи Соловьев — мастер. Ход — 30 узлов, корабль, развив скорость примерно 55 километров в час, поднял в реке высоченную волну. Ох, и понаделала она беды, не хуже цунами, ее долго будут помнить на Даугаве. В Рижской базе тоже.

Корабль выходит к устью. Валайтис радуется на камбузе — «Свобода!» и рассказывает про мятеж в Каунасе (по-моему, в 1972 году). Я ему отвечаю: «Дурак, нас потопят». Он мне в ответ: «Надевай три жилета и сиди на верхней палубе». Потом передумал: «Выйдем через запасный трап наверх».

Перед выходом в залив мы вылезли на торпедную площадку, слева по борту проплывала Рижская военно-морская база, справа — редкие огни Мангалис. Ночь, как назло, была с яркой луной. По нам прошелся луч прожектора, запросили с берегового поста, мы четко ответили. Я стоял и любовался звездным небом — может быть, в последний раз. Тишина, свист турбин и легкое дрожание корпуса боевого корабля, идущего в неизвестность. Что думал Саблин в эти минуты? А может быть, и его единомышленники там, на берегу, не спали, ожидая в радиорубках сигнал о выступлении в танках и бэтээрах, ожидая, ожидая...

Мы спустились вниз, было где-то начало четвертого. В столовой шли дебаты, были слышны споры, выкрики: «В Ленинград! Выступить по телевидению... Обратиться к народу по радио... Поймут все». — «Нет, в нейтральные воды!» — «Потопят». — «Будем держаться». — «Отобьемся». — «Не надо крови». — «Не посмеют». — «Влепить бы первыми!..» — «Главное, прорваться через Ирбенский пролив»...

Никто не заикнулся, чтобы сдать корабль какой-то стране, а самим покинуть его, нет, этого не было и не могло быть. Саблин сказал одно: «В случае угрозы обратимся на весь мир открытым текстом. Будем решать в зависимости от обстоятельств».

Крики, шумы постепенно примолкли, стали задумываться: надо или сматываться, или отбиваться, или сдаваться, что меньше всего прельщает. Еще как там решит Горшков, может, решит уничтожить всех — и концы в воду, но не должен — слишком сильная будет «ударная волна», может дойти до Москвы.

Шум, гам — решайте, решайте, не медлите. Время, время, время! Шестой час!»

О чем думал Саблин в те недолгие часы своего вольного командирства?

Матрос Шеин:

«Больше всего Саблин и все, кто находились на мостике, опасались, что выход из Даугавы перегородят какой-нибудь баржей или выгонят на берега танки.

Саблин стоял на мостике и отдавал рулевому команды. Старшина 2-й статьи Скиданов выполнял обязанности вахтенного офицера, то есть отдавал по корабельной трансляции все необходимые для похода распоряжения. А старшина из штурманских электриков вел прокладку, брал пеленги. Курс до выхода из Ирбенского пролива остался на старой прокладке.

На мостике стояли сигнальщики (был среди них матрос из Москвы Виноградов), работал локатор, несли вахту метристы и

радиотелеграфисты. А главное — машинисты сумели сами запустить турбины и дать ход на любом режиме.

Мы шли вдоль берегов Даугавы, гадая — перегородили нам выход или нет? Устье реки уже хорошо отбивалось на экране, как вдруг посреди него засветилась отметка. Баржа! Но вскоре выяснилось, что это помеха, ложная засветка. Путь в Рижский залив был открыт!

Похоже, начальство еще не чухнулось после праздничного возлияния».

Чухнулось.

Бывший дежурный по Центральному командному пункту ВМФ (ЦКП ВМФ) капитан 1-го ранга В. Сивков:

«В ту праздничную ночь дежурство в Главном штабе ВМФ нес я. Все шло спокойно, «без замечаний», как мы говорим. Около четырех часов утра позвонили из КГБ и спросили: «Что у вас там на Балтике происходит?» — «Разберемся, — говорю, — доложу».

Позвонил оперативному дежурному по Балтийскому флоту, хотя он первый должен был мне доложить о ЧП.

«Ну что у вас там стряслось?». — «Да вот, зам, прохвост, корабль в Швецию угоняет».

Через несколько минут позвонил с подмосковной дачи главком, Горшков Сергей Георгиевич. Доложил.

«Кому еще докладывали?» — «Никому». — «Следить за обстановкой!» — «Есть!»

Вот и вся динамика. Все остальные вопросы погони, подъема авиации они решали с Гречко напрямую, без меня. Мне больше никто не звонил и ничего не сообщал.

Самолеты поднимал маршал Гречко. Это была не флотская — армейская авиация. Когда через три дня снова заступил на дежурство и попробовал узнать подробности, на меня зашикали. Интересоваться этим делом было запрещено».

В Калининграде, в штабе дважды Краснознаменного Балтийского флота экстренно решали, как остановить «Сторожевой».

Начальник политуправления контр-адмирал Шабликов предложил поднять авиацию и топить корабль бомбами.

Имя Шабликова было выбито на том же белом мраморе, что и фамилия Саблина, — в ряду лучших выпускников Военно-политической академии имени В.И. Ленина...

Капитан 1-го ранга А. Бобраков (в 1975 году — командир корабельной ударной группировки, брошенной в погоню):

«Девятого ноября 1975 года в 4 часа утра я получил приказ догнать и остановить «Сторожевой», а в случае неповиновения —

уничтожить... Я, конечно, знал все командование корабля, поскольку мы служили в одном соединении.

Тогда, 15 лет назад, у меня не было точной информации, что происходит на корабле, кто ведет «Сторожевой», каков его замысел. Но, давая команду на предстартовую подготовку ракет, был убежден (да и сейчас уверен в правильности своих действий), что сдать «Сторожевой» с шифрограммами, аппаратурой опознавания и засекречивания связи, с литерами ракет любому другому государству — это преступление. И никакие благие намерения не могут оправдать нарушение заповитом В. Саблиным присяги и законности.

Знакомая позиция: «Ничего не знал, но был убежден...» Был убежден, что корабль идет в Швецию. Об истоках «шведской версии», зародившейся в дальнзорких головах близорукого начальства, чуть позже. Но «шведский синдром», столь удобный в объяснении ЧП (перебежчик, предатель, изменник Родины), охватил в ту ночь многих должностных лиц.

Бывший дежурный по штабу Краснознаменного Прибалтийского военного округа подполковник В. Ильин:

«Я заступил на дежурство 8 ноября 1975 года. Помню, что вскоре появились офицеры. Перебивая друг друга, они сообщили: «Военный корабль снялся с места в кильватерном парадном строю на Даугаве и пошел к устью в море. В Швецию угоняли, в Швецию!...»

Да ведь ему же долго надо было выбирать по реке на большую, воду. К тому же малым ходом. И берега-то во многих местах почти друг на друга смотрят, ширина по воде — минимум. Так если бы хотя бы танки выгнали на берег — да прямой! Хватило. Ну, а он бы не посмел. Танками надо было, танками!»

Тем не менее начальство решило — самолетами!

В 1941 году «юнкерсы» рейхсмаршала Геринга потопили в Ирбенском проливе советский эсминец «Сторожевой».

В ноябре 1975 года с тех же самых, когда-то немецких, аэродромов взлетели бомбардировщики главного маршала авиации Кутахова. Они тоже держали курс на Ирбены, и задание у них было тем же — бомбить советский корабль «Сторожевой».

Спирали истории, как и трассы самолетов, порой закручиваются в «мертвые петли».

Командир отдельного дивизиона связи радиотехнического обеспечения полка фронтовой авиации подполковник В. Прожогин:

«Мы стояли под Тукумсом. Полк дружный, с традициями, опытом. Воевали в Северной Корее. Так что новенькие тогда Су-24 одним из первых в армии доверили нам.

Восьмого ноября 1975 года ранним утром объявили боевую готовность. Подняли первое звено, второе, третье...»

Капитан-лейтенант В. Тыцких, замполит спасательного судна в Лиенае:

«В четыре утра подняли по тревоге всю базу. Мы получили приказ по радио: «Быть готовыми к работе с кораблем и экипажем на грунте». Долго ломали головы: подводная лодка, что ли, затонула?»

М. Родионова, корреспондент флотской газеты «Страж Балтики»:

«В тот день наша газета вышла с фотографией «Сторожевого» — «Лучший корабль Балтики». Представляете, как взъярилось начальство! Никто не хотел верить, что это случайность, что фотография была сделана задолго до события и поставлена в номер только потому, что «Сторожевой» ушел в Ригу на праздник... Но это к слову... Но вот что любопытно... Самолеты были подняты и с бывшего немецкого аэродрома под Мамоново. Полк был либо девятаевский... Помните, пленный летчик Михаил Девятаев бежал из лагеря на острове Рюген на немецком самолете? Либо покрышкинский. За Девятаевым гнались «мессершмитты», они поднимались как раз с того аэродрома, откуда взлетали теперь наши истребители в погоню за Саблиным...

Рассказ одного из летчиков, принимавших участие в операции 9 ноября 1975 года майора Юрия Дробышева:

«Первоначально планировалось работать звеньями, но погода не позволяла выполнять групповые полеты. Поэтому стартовали одиночными экипажами.

Приказ был краток и однозначен: обнаружить БПК, опознать его по присвоенному номеру и произвести бомбометание впереди корабля по курсу на расстоянии 1000—600 метров, побудив тем самым экипаж судна прекратить движение.

Первым поднялся в небо экипаж заместителя командира полка подполковника В. Потапенко, который одновременно выполнял роль и разведчика погоды. За ним — экипажи командиров эскадрилий и начальника воздушной огневой и тактической подготовки части майора А. Поротикова.

Выполнить задачу было непросто. Ведь предстояло найти в водах Балтики именно этот корабль (а в море находилось множество судов), опознать его, филигранно произвести бомбометание, чтобы не нанести ущерба ни БПК, ни, тем более, членам экипажа. Словом, это было под силу только высокоподготовленным воздушным бойцам. И мы остановили БПК...»

9 ноября 1975 года. Борт БПК «Сторожевой». Матрос Шеин:

«Подъема как такового не было. В восемь часов был завтрак. Уже рассвело. Первой новостью, облетевшей корабль, было появление пограничных катеров. Они шли по левому борту и

беспрестанно подавали сигналы остановиться. Саблин прокричал им в мегафон, что мы идем в море, чтобы заявить свой протест Политбюро, что мы не собираемся делать ничего дурного... Катера не отставали, а сзади нас нагонял сторожевик, которому, как мы позже узнали, было приказано открыть по «Сторожевому» оружейный огонь, как только он выйдет на дистанцию залпа.

Саблин попросил комендоров поворачивать орудийными башнями — для остротки. Однако этого делать не стали. Ракетного оружия на борту не было, а боекомплект в башни не подавали. Об этом даже и мысли не было — стрелять по своим.

Радисты передали в эфир саблинское Обращение: «Всем! Всем! Всем!»

Мы понимали: чтобы сохранить свою независимость, у нас только два выхода: либо стать к борту какого-нибудь судна, либо укрыться в терводах нейтрального государства.

Я смотрел на Саблина.

Он, побледневший, молчал.

«Сторожевой» шел вперед».

В. Саблин (из показаний на суде):

«С пограничных кораблей я получал приказы остановиться и следовать в город Ригу, но этого не сделал. Это было диким упрямством с моей стороны, которое я объяснить не могу...»

Вряд ли он хотел объяснять суду, что под этим «упрямством» жила надежда, последняя, отчаянная надежда, что стрелять по кораблю не станут, что произойдет чудо и погоня отстанет, скроется в дымке...

На самый, худой случай в кармане тужурки лежал текст обращения за помощью к генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму...

Матрос Шеин:

«К утру мы входили в Ирбенский пролив. Дальше начиналась открытая Балтика... И вот здесь-то появились самолеты — истребители-бомбардировщики. Они стали нас облетать, заходя на боевой курс. Чуть раньше радисты приняли предупреждение о том, что, если мы не остановимся, «Сторожевой» будет потоплен. Весть эта сразу же распространилась по кораблю, и прежнее воодушевление погасло окончательно».

Матрос Максименко:

«В восьмом часу проснулся — завтрак готов, можно кормить экипаж. Пришел Антон, открываю, в столовой никого нет. Валайтис с кислой физиономией посмотрел на меня: «Идем под конвоем».

Я стрелой вылетел на верхнюю палубу — на дистанции около мили по обоим бортам ходовые огни кораблей, видны вспышки сигнальных прожекторов. С левого борта — открытое море, справа — земля — значит, вдоль острова Сааремаа. Почти никто не завтракал, все разбежались по постам. Поел, не ощущая вкуса.

Спросил Валайтиса: «Обед будет?» — «Пожар отбивные», — ответил он, глядя в иллюминатор. Вдалеке обозначался расплывчатый силуэт пограничного корабля. Я вставил броняшку в иллюминатор и задраил барашки; завалился в подсобку — нервы сдали, уснул.

Антон стучит в дверь. Открываю, спрашиваю: «Молчат?» Кивнул в сторону юта. Иду через столовую — темнота, вышел на корму: красота, море отсвечивает золотом, багрово-красные волны, балтийское солнце тоже багровое — спит. Вдалеке корабли.

Рассказывают, Саблин выступил в эфире напрямую, теперь во всех странах знают. Различаю вдалеке силуэт нашего эсминца. Сказали, вся эскадра в море рыщет. Рев самолетов, задраились. Нормально. Возле нас на разных высотах ревут штук, наверное, двадцать самолетов. Что-то ударило. Болванку наш ракетносец кинул — с ультиматумом командующего.

Периодически выскакиваем на ют посмотреть.

...Четвертый час. По левому борту корабля: СКР, эсминец, тральщик, вдалеке — ВПК, десяток силуэтов — дистанция миль пять, но сближаемся. Нервы на пределе.

Пятый час. Справа и слева в кабельтове по два «охотника», на борту четко вижу абордажные команды. Восемь стволов направлены на нас с каждого борта и по четыре торпедных аппарата. Идут, а нервы у них ни к черту, как и у нас; все на палубах, боятся. Идем под эскортом час. У Антона из носа от напряжения потекла кровь. Я грызу зубами ногти: ну что, кто первый?

Вышел на ют, на погранцах десант готов — отчетливо вижу в руках у одного пулемет Калашникова: ясно, им надо выбрать момент. Только бы наши не пальнули. Я схватил нож, Валайтис вырвал его из рук. Прижал меня к стене переборки и шипит: «Олег, успокойся, будь готов ко всему».

Шестой час. Экипаж забежал туда-сюда, не слышно ни наших самолетов, ни натовских. Я как пьяный. Природа над нами издается — такая красота вокруг! Эх, что будет, то будет! Слышен топот и разговор, узнаю: полк ракетносецев отказался по нас стрелять — узнали из радиоперехвата.

...Рев самолетов. С Валайтисом прячемся в подсобку, я с трудом натягиваю на ходу три жилета, открываю запасный люк, чтобы не заклинило, кладу под него ветошь.

Тишина... Удар в левый борт! Падаем на стеллажи из-под посуды. Бьют авиационные пушки — пытаются добраться до валапровода, до турбин. Удары: по палубе, баку, в борт, в душу...

Минуты три очухиваемся, и я не могу понять, где верх, а где низ. Антон невменяем, его трясет. Я успокаиваю: «А ты как ду-мал, вязаться в драку и не получить по носу?»

Открываем дверь из подсобки — опять рев самолета. Закрыва-ем — удар! Я ничего не слышу, наверное, бомбочка килограммов на 250 за кормой. Катаемся по переборкам.

Два удара по курсу (еще две бомбы такие же). На камбузе упало все, что могло упасть, а что висело — на месте. Валайтис меня поднимает — теперь я не могу стоять на ногах, меня тошнит. Ко-рабль как будто прыгнул и замер, как конь, вставший на дыбы. Стрельба, тишина. Боцман-мичман влетает на камбуз, кричит: «Где о н и?»

Я отвечаю: «Никого нет». Он мне тычет в нос пистолетом: «Убью!» Удары с бортов — пришвартовались пограничники, кру-гом десантники. Слава Богу! Вроде живы — я бью Валайтиса по рукам, а он меня целует, как девуку, в щеку: «Жив! Жив!»...

Командир отдельного дивизиона связи радиотехнического обеспе-чения полка фронтовой авиации подполковник В. Прожогин:

— Я находился с командиром полка. Все время до окончатель-ного возвращения «сухих». Слушал все переговоры. А потом мы несколько раз прокручивали пленку. По сантиметру. Заходили на него по трое. С кормы. Высота — четыреста метров, скорость са-молетов — семьсот пятьдесят — восемьсот максимум. Так что, если бы он... Так бы в воду все трое и вошли. И не один раз. Вообще в открытом бою такой корабль способен «выключить» от шести до девяти атакующих самолетов. Без надрыва. Прежде, чем они его... Но он молчал... Летчики же клали по курсу.

— Предупредительные болванки?

— Нет. Фугасные бомбы по двести пятьдесят килограммов каж-дая. Но по курсу — это сперва.

— А что на командном пункте?

— Командир — командующему, тот держал связь с главкомом авиации маршалом Кутаховым, тот — Гречко, тот — Самому. Та-кой сверхспешки не помню за всю службу. Суета, лихорадка. На последний заход пошел лучший летчик полка — капитан Пороти-ков. Ведомые — Потапенко и Буланцев. Поротиков повредил ему винт и руль. «Сторожевой» закрутился на клесте, потеряв ход, начал описывать циркуляцию. Поротиков на аэродроме выбрался из самолета весь серый. Вскоре его орденом наградили. За юве-лирное бомбометание. Но он его ни разу не надел».

Матрос Шеин:

«Я поднимался на мостик, чтобы сказать Саблину, что все кончено и он сам должен сделать первый шаг назад, то есть застопорить ход. Но я опоздал... В это время вбежал какой-то матрос и крикнул, что арестованные во главе с командиром корабля освобождены и устремились к арсеналу. Саблин скомандовал по корабельной трансляции: «Все к арсеналу!» Я тоже побежал туда, но было уже поздно. Командир корабля Потульный отдавал приказания матросам, офицерам, и эти приказания исполнялись».

Старшина 2-й статьи Копылов (из показаний на следствии):

«Около 10 часов в кубрик № 5 позвонил старшина 2-й статьи Станкявичус и предложил мне, Лыкову и Набиеву собраться в кубрике № 10. Мы собрались и обсудили положение на корабле. Решили освобождать офицеров и командира. Матросы Феропонтов, Лыков, Борисов приготовили ломики, и мы пошли к посту № 6. По пути к нам присоединилось еще много матросов. Охраны у поста № 6 не было. Мы открыли люк, взломали дверь и освободили офицеров. Я видел, как выходили Кузьмин, Прошутинский и Виноградов. С указанными офицерами мы пошли освобождать Потульного. Пост ДО-3 охранял матрос Аверин. Сопротивления он не оказывал. Матросы Борисов, Лыков взломали дверь и выпустили командира».

Капитан 2-го ранга А. Потульный:

«Первым делом надо было обезоружить Саблина. Я решил идти на мостик сам. Моя вина, мне и исправлять. Подставлять кого-либо под пули не имел морального права. Приказал одной вооруженной группе прикрыть меня с кормы корабля, другой — с носа.

Убивать я его не хотел, хотя в груди все кипело от негодования. Метил в печень. Потом передумал: выстрелю в ногу — упадет.

Вхожу. Саблин бледный у машинного телеграфа... Выстрелил. Он упал, скорчился. Вытащил у него пистолет. Усадил в угол. Поставил матроса на руль.

Потом отправил Саблина в его каюту под арест».

В. Саблин (из показаний на следствии):

«10 часов 30 минут. Девятого ноября 1975 года я услышал взрывы бомб и удары осколков в борт нашего корабля.

Обернувшись, я увидел Потульного, поднимающегося по трапу. Он выстрелил в меня, я упал. Я был легко ранен, Потульный вступил в командование кораблем».

К первой фразе саблинского показания генерал-майор юстиции А. Борискин сделал примечание:

«Когда «Сторожевой» не удалось остановить группе пограничных катеров, в воздух были подняты самолеты. Они сбросили по

курсу движения корабля несколько бомб с таким расчетом, чтобы, заставив его остановиться, не причинить ему вреда».

Мичман Бородай:

«Нас обстреляли и из пулеметов. Хотя, по развороченным пробоинам, это что-то большего калибра. Были пробиты трубы, гальюны левого борта, левый борт. Мы накренились на правый борт. Счастье, что экипажа на палубе не было...»

Из обвинительного заключения:

«В 10 часов Саблин получил радиogramму Главнокомандующего ВМФ СССР с последним предупреждением... Однако и этот призыв Саблин не исполнил и продолжал вести корабль прежним курсом и с той же скоростью в сторону шведских территориальных вод...

В 10 часов 32 минуты 9 ноября 1975 года преступные действия Саблина и его пособника Шеина силами Военно-Морского Флота СССР и экипажа «Сторожевого» были пресечены, корабль остановлен в Балтийском море в точке с координатами: широта — 57° 58'6", долгота — 21° 02'9", в 21 миле от советской Государственной границы и на расстоянии 50 миль от территориальных вод Швеции».

Матрос Шеин:

«Меня схватили и заперли там, где сидели офицеры. Пистолета при мне не было. Сразу же после стычки с Пospelовым Валерий Михайлович забрал его у меня.

После всего пережитого я упал на что-то мягкое и от нервного перенапряжения сразу же уснул. Слышал только, как корабль содрогнулся от попавших в него снарядов. Это по нас полоснули из авиационных пушек самолеты. По счастью, никого не задело. Очнулся я уже в Риге. По кораблю уже сновали люди в штатском. Меня отвели сначала в ходовую рубку. Там увидел бледного, перевязанного Саблина. Я спросил его: «Кто вас так?» — «Анатолий Васильевич», — ответил он».

Мичман Бородай:

«Катера высадили к нам морских пехотинцев с автоматами Калашникова наизготовку. Никакого abordжа не было. Завели в ходовую рубку — «Руки на переборку!» Часа три так и простояли. Затем срочно перебросили нас в Ригу. Меня на ракетном катере.

Следователи в КГБ были в штатском, недовольные тем, что их «выдернули» из-за обильных праздничных столов.

Мой первый следователь на первом допросе объявил: «Жаль, что вас не потопили!»

Ответы их не интересовали... Нам всем сразу стало ясно, что все подгоняется под простую схему: «Сто сорок два дурачка-губошлепа подбил на измену враг народа прямо из пеленок, Валерий Саблина».

Они хотели выбить из нас любой материал. Но только против Саблина и только обливающий его грязью, только очерняющий. Любой ценой. И выбивали... А то и просто писали за нас показания сами...

Матрос Максименко:

«Везде работали следователи КГБ. Готовили обед. Появляется сменный экипаж. Сказали, после Лиепай «Сторожевой» отправят на Тихоокеанский флот.

...Команда строится, вечереет, мы со шмотками, нас «шмонают». По висячим сходням переходим на десантный корабль, я оглядываюсь: «Сторожевой» чуть накренился на левый борт... Прощай, «поющий фрегат», ты спел свою лебединую песню. Мы сходим, на нас со всех сторон смотрят десантники из спецназа, залезаем в новые «Икарусы», и через два часа — Рига. Ведут в Ворошиловские казармы, где размещался автобат, рядом с училищем гражданской авиации. Саблина и его помощников, человек двадцать, говорят, сразу же отправили самолетом в Москву, еще с корабля.

Нервишки на пределе, КГБ выясняет лишь мелочи, даже сочувствуют — всё уже вынюхали на корабле, всех прогнали через особый отдел. Затем главком Горшков приезжает с генералом армии Епишевым, ну и еще кое-кто. Нам читают длинную четырехчасовую мораль, после чего даем подписку, лично каждый — для Брежнева».

Бывший офицер особого отдела Балтийского флота капитан 3-го ранга В. Дудин:

««Сторожевой» притащили в Ригу. Корма была значительно разворочена, крен. Экипаж рассредоточили следующим образом. Матросов — в Ворошиловские казармы. Офицеров тотчас с берега доставили на угол улиц Ленина и Энгельса, в республиканский КГБ. Допрашивали всю ночь.

Рано утром 10 ноября всех офицеров и мичманов «Сторожевого» привезли на аэродром. Два Ан-24 вылетели на Москву. Нам, офицерам особого отдела, вменили в обязанность сопровождать арестованных. И только. Категорически запрещено было обменяться хотя бы полусловом. Рассадили так: офицер со «Сторожевого», а рядом — сопровождающий. Все арестованные в наручниках.

Саблина посадили впереди, между двумя. Он единственный, на ком не было наручников. Тяжело опирался на костыль. Лицо измученное. Невыспавшийся. Побриться не дали.

Машины московского КГБ встретили самолеты буквально дверь в дверь. Их сразу же увезли. А нас так же молча через несколько минут отправили обратно в Ригу».

Главком ВМФ Адмирал Флота Советского Союза Горшков проверял корабль, расспрашивал моряков... Потом недоумевал: «Не понимаю, как у такого командира могло случиться такое ЧП?! Но все дело в том, что такое ЧП случилось не у Потульного, а у него самого, и у Маршала Советского Союза Брежнева...

Потульный с честью вышел из труднейшего положения, в которое мог попасть любой из его коллег. Он сам обезоружил замполита, сам повернул корабль на обратный курс. И тем не менее оказался в зубчатых колесах той «пилорамы человеческих душ», против которой выступил Саблин. Пришло указание исключить Потульного из партии. На общем собрании никто из коммунистов так и не смог сказать ничего дурного о командире «Сторожевого» — грамотный моряк, честный партиец, исполнительный офицер, добрый семьянин. Не за что было и зацепиться. Секретарь парткомиссии увел Потульного в свой кабинет: «Сдай партбилет, Васильич. Иначе наверху нас не поймут».

На всей дальнейшей службе Потульного был поставлен размашистый крест.

А ресторан ревел динамиками эстрады. Мы выпили на посошок.

— Саблина на корабле уважали и офицеры и матросы, — вздохнул Потульный, — ровный, тактичный, эрудированный. Работать с людьми умел и любил. По службе его никто не затирал. Напротив, ему открывалась престижная вакансия быть замом командира по политчасти на тяжелом авианесущем крейсере «Киев»... Он пожертвовал всем... Как человека я его понимаю... Как офицера? Он же ничего не добился... Не так надо было делать...

На том мы и расстались с Анатолием Васильевичем Потульным. Он навсегда исчез в серой пасмури питерской осени. Командир корабля, выброшенный взрывом мятежа на сушу...

Глава восьмая **«ШВЕДСКАЯ ВЕРСИЯ»** **или «ЛЕНИН ТОЖЕ БЫЛ САБЛИНЫМ»**

4 марта 1990 года. Лефортово

Я долго искал этот дом номер 3а по Энергетической улице, пока не отыскал хитро спрятавшиеся за корпусами новостроек стены старинной, екатерининских времен еще, тюрьмы, а ныне

следственного изолятора КГБ. Именно сюда привезли Саблина в ноябре 1975-го, здесь его лечили, допрашивали, отсюда увозили на суд... Прохожу сквозь тесный пропускной пункт, два прапорщика в синеоколышных фуражках долго изучают мой паспорт, меня самого. Заявка на пропуск давно уже лежит у них на столике. Наконец пропускают. С замиранием сердца поднимаюсь на второй этаж. Высокие потолки, просторные коридоры, зеленые дорожки. Все чинно, благопристойно.

Окажись здесь нечаянно, минуя КПП, — и можно подумать, что попал в коридор заурядного московского НИИ или отраслевого главка. Но взгляд вдруг натывается на стенд с погрудной мишенью, изрешеченной пушечными пулями. Стенд спортобщества «Динамо». А победная мишень — гордость местных стрелков.

Нет, ты не в главке и не в НИИ, ты в следственном изоляторе Комитета госбезопасности.

Ускоряю шаги, ищу дверь с номером 216, кабинет заместителя начальника следственного отдела КГБ полковника юстиции О.А. Добровольского.

Пятнадцать лет назад капитан юстиции Олег Добровольский допрашивал здесь своего ровесника капитана 3-го ранга Саблина. Впрочем, тогда уже не капитана 3-го ранга, а подследственного Саблина.

— Я был младше его на год, — вспоминает Олег Андреевич, моложавый, круглолицый, чернобровый полковник в штатском. — Не знаю, почему бросили меня на это дело. У меня ведь был совсем другой профиль. Но считалось уж так, что я умею находить общий язык с самыми трудными подследственными. И я стал допрашивать Саблина...

За спинкой кресла моего собеседника холодно поблескивал на стене отлитый из бронзы Государственный герб СССР. Никогда привычный кругляш не казался мне таким зловещим... Еще висел обязательный портрет Дзержинского, но не канонически строгий, а с тонкой усмешкой на губах. Улыбающийся Феликс. Отсюда, со стены, улыбался он и подследственному Саблину — коварно, все-таки, беспощадно...

Я и представить себе не мог, что всего через год после визита в этот кабинет, однажды в августовский вечер выйду из метро на площадь Дзержинского и увижу пустой постамент Великого инквизитора, исписанный, как обломок колонны взятого рейхстага.

Честно говоря, за эти пятнадцать лет меня никто не спрашивал о Саблине, и многое подзабылось, — потирал виски Добровольский, — Потом был Афганистан, дело Руста...

— Вы вели дело Руста? В своем очерке я писал, что у Саблина была возможность прийти в Ленинград, каким бы невероятным ни казался его план. Ведь шансы Руста долететь до Москвы и посадить самолет на Красной площади теоретически были равны нулю.

— Да, это вообще фантастика. Я сам ходил на Большой Каменный мост и осматривал место происшествия. Он не мог там сесть — там же всюду троллейбусные провода, сплошная сетка. Физически невозможно. Потом докопался. На другой день после этого ЧП Управление пассажирского транспорта Москвы распорядилось затянуть пространство над мостом дополнительными проводами. Чтоб, не дай Бог, еще кто-нибудь не сел. Не смешно ли?!

А Чебриков, тогдашний председатель Комитета, называл мне по «вертушке» и нажимал на шпионский аспект дела Руста.

Добровольский невольно покосился на аппарат с золотистым гербом, и я посмотрел туда же: не по этой ли «вертушке» звонил председатель в 1976-м и нажимал на шпионский ли, изменнический или «шведский» аспекты?.. Я спрашиваю Добровольского о том, что он думает по поводу «шведской версии».

— Да, давление было... Саблину пытались навязать самую позорную для офицера версию — побег в другую страну, в Швецию... Мой подследственный объяснил, что уходил от навигационных опасностей курсом двести девяносто градусов, на норд-вест... Однако, в обвинительном заключении никакой Швеции нет. В вину ему вменялось совсем другое: попытка изменения государственного строя.

— То есть попытка угона корабля в Швецию не доказана?

— Совершенно верно. Но... Вы читали мое интервью в «Красной звезде»?

Разумеется, я читал...

О. Добровольский:

— Дальнейшие намерения Саблина трудно прогнозировать. Да, он заявлял морякам, что «Сторожевой» пойдет на Кронштадтский рейд... Однако обратимся к материалам обвинительного заключения: «...Корабль остановлен в Балтийском море... в 21 миле от советской Государственной границы и на расстоянии 50 миль от территориальных вод Швеции». Как бы дальше развивались события и куда бы пришел корабль, какой замысел был у Саблина — все это можно было только предполагать...

Осторожное заявление, но все-таки с намеком на уход «Сторожевого» в Швецию.

Генерал-майор юстиции А. Борискин был более определен в «шведской версии», приоткрыв на страницах февральского

(1991 года) номера «Военно-исторического журнала» и тактику следствия, и ответы Саблина на тогдашние вопросы Добровольского.

Выдержки из протокола допроса от 23 февраля 1976 года даны со сносками, примечаниями и комментариями А. Борискина:

«Следователь: Как видно из предъявленного вам заключения экспертов, пограничные катера не влияли на курс «Сторожевого», который после прохода Ирбенского маяка мог лечь на любой курс. Этот вывод экспертов опровергает ваше утверждение, что назначить курс двести девяносто градусов, ведущий к шведскому острову Готска-Сандён, вас вынудили действия пограничных катеров, маневрировавших на острых курсовых углах...

Саблин: Я не утверждаю, что пограничные катера специально произвели маневры... Курс же двести девяносто градусов я назначил совершенно произвольно, без учета его конечной направленности, тем более что на карте, находящейся в тот момент на столе автопрокладчика, не имелось изображений шведского берега и шведских островов¹.

Следователь: Из заключения штурманской экспертизы видно, что к 10 часам 09 минутам после отхода пограничных катеров от БПК на 50 кабельтовых «Сторожевой» следовал примерно 23 минуты без сопровождения, но назначенный курс не менял. Почему же за этот период вы не изменили курс, ведущий в сторону Швеции, и удалились от берегов СССР?

Саблин: Я еще раз заявляю, что курс в тот момент не имел для меня никакого значения: я старался уйти как можно дальше в открытое море от советских берегов».

Представьте себе картину с точки зрения шведской пограничной службы, в зону ответственности которой устремился большой противолодочный корабль соседней страны, сопровождаемый пограничными, тоже чужими, кораблями, а также боевыми самолетами... Трудно сказать, чем бы это могло закончиться. Не исключено, что и серьезным военным конфликтом. По крайней мере это могло произойти...

¹ На суде Саблин значительно уточнил эти свои отговорки заявлением о том, что знал, что почти любой курс ведет или в Швецию, или в Финляндию. Это он сделал после показаний капитана 2-го ранга Чистякова, командовавшего группой пограничных катеров, преследовавших «Сторожевой», с которых в течение трех часов и всеми возможными средствами (сигнальными ракетами, флагами, семафором, голосом посредством мегафона) Саблина передавали приказ остановиться. «Я предупредил Саблина, — показывал Чистяков, — после поворота у Ирбенского маяка, что он держит курс на Швецию». Такое же предупреждение было сделано и с другого пограничного корабля. Саблин на это заметил, что предупреждения не слышал, но об истинном направлении примерно знал.

Виня во всем Саблина, Борискин забывает сказать, что в подобных ситуациях законный долг одного правительства предупредить другое о происходящем инциденте. Но этого сделано не было, как не было потом предупреждений на межправительственном уровне о взрыве на Чернобыльской АЭС и радиоактивном облаке, плывущем в сторону Швеции, о заблудшей в шведских фиордах советской подводной лодке, о гибели атомарины у острова Медвежьего. Так что счет ответственности за возможный международный конфликт генерал Борискин должен предъявить и брежневской партийно-государственной верхушке. Но это другая грань проблемы. Многозначительный подсчет миль от берегов Швеции в обвинительном заключении был рассчитан на людей, не сведущих в географии района, или на тех, кому недосуг было заглянуть в карту Балтики. И тем не менее любой школьник, открыв географический атлас, поймет, что если Саблин действительно стремился уйти в Швецию, то курс ему надо было держать не на остров Готска-Сандён, а на остров Форё у Готланда, он ближе, и курс двести семьдесят градусов быстрее бы привел «Сторожевой» в иностранные терводы. Так что Саблин не кривил душой, заявляя, что курс в тот момент не имел для него никакого значения. Да и, поверни он на фарватер, ведущий в Финский залив, борискины все равно бы обвинили его в том, что нос корабля смотрел и сторону Финляндии. Там, куда ни поверни из Ирбен — на запад ли, на север, на юг, — либо Дания, либо Швеция, либо Финляндия.

Почему «шведская версия» так быстро пошла гулять по начальственным умам? Да потому, что были, как говорится, печальные прецеденты.

Ушел на корабельном катере из советской военно-морской базы в Польше (Свиноуйсце) морской офицер Артамонов, прихватив по пути возлюбленную даму.

Еще раньше, в мае 1962 года, к берегам острова Готланда (заметим, не Готска-Сандён, а кратчайшим путем к Готланду) лейтенант Плешкис пригнал вспомогательный корабль советского Балтфлота. Встал на якорь и попросил политического убежища. Шведские власти его приняли, а корабль увел в родную базу помощник советского военного атташе в Стокгольме капитан 3-го ранга Коновалов.

Так что шведские берега были воистину притчей во языцех...

Добровольский тщательно сложил газету, с которой, собственно, и начался наш разговор, и отодвинул в сторону:

— Я должен сказать вам, что мои слова приведены здесь неточно. Корреспондент Быстров брал у меня интервью ночью, так как

материал планировался на утро. Я заметил искажение моих мыслей, попросил поправить. Быстров обещал, но материал отложили, и он забыл. Забыл упомянуть о моем сообщении, что на «шведской версии» настаивали председатель Верховного суда СССР и Главная военная прокуратура. Саблин же мне так говорил: «Я бы мог уйти на Готланд за час... Шел же на норд-вест, потому что справа по курсу были мели». И еще: «Бардак на флоте проявился даже в том, как нас задерживали. Достаточно было бы закрыть боковые ворота в устье Даугавы». Самолеты и в самом деле сразу «Сторожевой» в море не нашли. Обстреляли поначалу какое-то судно.

...Вообще следствие по делу Саблина было несложным. Я гарантировал ему объективность, и все листы протоколов он подписал. Практически он ничего не скрывал... Никаких очных ставок не проводил — не было противоречивых показаний.

Его приносили из изолятора на носилках. Сначала ходил на костылях. Потом, по рекомендации врачей, его стали приносить на носилках. Вот там, в коридоре, — железная дверь лифта. Кабинет рядом, нести недалеко...

Да... Располагался в кресле полулежа-полусидя, чтобы не тревожить раненую ногу. Пили чай и говорили не только о том, кто за кем гонялся на корабле. Он был интересный собеседник. Я порой заслушивался. Начальник даже подтрунивал: «Смотри, он и тебя разагитирует». Ну, мне-то что, а вот генералу армии Епишеву, начальнику тогдашнего Главпура, спорить с ним трудновато было. Тот прилетел еще в Ригу, по горячим следам. В окружении политических генералов... Посмотреть на балтийского Шмидта.

«Ну что тебе, сынок, не хватало?! Чем тебя Советская власть обидела?» Саблин отвечал. И — как козырями — ленинскими цитатами крыл. Епишев ему так, а он: «А вот Ленин иначе думал!» И номер тома, страницу...

Епишев в шоке. Другие подходили, диспут продолжался в том же духе... Запас сведений и фактов по всяким ЧП и безобразиям у него огромный был. Умел расспрашивать матросов, возвращавшихся из отпусков.

По правилам ведения протокола требовалось крамольные мысли записывать в сослагательном наклонении: «Подследственный такой-то заявил, что в СССР якобы нет демократии». Боялись даже такой, «протокольной», пропаганды. А он — открытым текстом, в полный голос...

Хорошо держался. Иногда производил впечатление фанатика. Слишком тверд.

Кстати, психиатрическую экспертизу не проводили... Меня же настораживало то, что он верил в свое изначальное предназ-

начение. Подчеркивал, что он в этой роли не случаен, что в прошлом веке был такой народоволец, участник покушения на Александра II, Николай Саблин. Застрелился в тридцать два года при аресте. И у Ленина одним из псевдонимов была фамилия Саблин.

Что еще?.. Пограничные катера перед бомбежкой ушли.

Пробоины в борту были...

Дело Саблина заканчивал не я, а мой коллега. Меня срочно направили в Тбилиси по поводу взрывов там...

Уголовное дело сначала возбудили против четырнадцати человек. Но не хотели создавать перед очередным съездом КПСС видимость большой подпольной организации. Плохой сюрприз съезду. Поэтому судили только двоих: Саблина и Шеина.

Нет, я на суде не был. И «вышку» Саблина никак не ожидал. Даже расстроился, знаете ли...

Есть в гибели Саблина своя загадка. Из самого последнего его письма видно, что и он никак не ожидал смертного приговора. Кем-то очень обнадеженный, он просил родителей прислать теплые вещи и дорожные продукты. Это было в конце июля, а 3 августа — пуля в затылок.

Да, во все времена и на всех флотах захват военного корабля считался тягчайшим преступлением. Но в саблинском случае юристам было о чем поспорить: где провести границу между воинским преступлением и гражданским подвигом? Все-таки мирное время, не война... Не было и тяжких последствий. Если пролилась кровь, то только самого Саблина...

Я не юрист, не искушен в законотолковании, но не покидает меня сомнение: а не сработала ли и здесь Фемида с телефонной трубкой в руках вместо весов правосудия? Уж очень был напуган Сам саблинским выступлением. В официальных — секретных — документах прибегли к привычному эвфемизму. Мятеж на «Сторожевом» назвали «случаем неповиновения». Всего лишь на вс-его — случай... Так генсеку спокойнее...

В год гибели Саблина на экраны страны вышел фильм о Брежневце «Повесть о коммунисте». То было самое заурядное Зазеркалье. По одну сторону зеркала расстреливали коммуниста настоящего, по другую — примерял погоны со сталинского плеча коммунист, мягко говоря, липовый.

Смотреть этот кинопанегирик нас, офицеров подплава, заставили в организованном порядке. Ретивые устроители просмотра попытались воодушевить зал, чтоб спеть под занавес «Интернационал». Но зал безмолвствовал.

Глава девятая

ОТЗВУКИ ПОСЛЕДНЕГО ПАРАДА

История Саблина вызвала разные толки. Да, как офицер он не имел права покушаться на власть командира, самовольно вступать в управление кораблем... Но в том-то и дело, что Саблин был не просто офицером, он был политическим работником, комиссаром, представителем партии на корабле. И хотя он действовал в одиночку, на свой страх и риск, фактически он представлял те здоровые силы партии, которые спустя десять лет поведут страну к обновлению, к очищению, к демократии.

Юристы, причастные к делу Саблина, и сегодня комментируют его «преступление» с тех же позиций, с каких смотрела на этого офицера брежневская верхушка в 1976 году. При этом они лукавят, во-первых, в том, что объект преступления (брежневский режим) подменен в их толкованиях средством преступления (захват корабля); «забывают» при этом, во-вторых, что корабль Саблина был нужен вовсе не для предательского побега в Швецию, а для заявления протеста против самоубийственной для народа, страны партийно-государственной политики недогенералиссимуса.

Максимум саблинских требований — дать ему возможность выступить по Центральному телевидению.

Вот тут-то и заключена разгадка «феномена Саблина», объясненного почти за сто лет до выступления «Сторожевого» отставным штабс-капитаном артиллерии народовольцем Константином Степуриным. Двадцать пятого июля 1884 года он заявил на следствии:

«Коль скоро общество стеснено в выражении своих наболевших потребностей легальным путем, оно неизбежно заявит о них незаконными средствами (конечно, если сколь-нибудь жизненно), борясь за самосохранение...

То государство, в котором критика и гласность не пользуются правами гражданства, неизбежно обречено на смерть и разложение».

Присягу Саблин нарушил лишь формально. Объективно же его действия направлены не на измену Родине, а на освобождение Родины от тех пут — экономических и политических, — которые связали великую стрему по рукам и ногам. Карательный закон в неправовом государстве, что молитва Фарисея, — кровавое фарисейство. Маршал Брежнев тоже принимал военную присягу и как военный человек (Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны) тоже подлежит юрисдикции военной прокуратуры. И я считаю, что он в гораздо большей степени, чем Саб-

лин, заслуживает обвинения в измене Родине, ибо он своими действиями, а пуще — преступным бездействием уклонился от выполнения воинского, государственного и партийного долга. Он упустил тот исторический шанс, который был дан стране хрущевской «оттепелью», он привел КПСС к идеологическому банкротству, государство — к экономическому кризису, армию — к подрыву боевой мощи.

Как главноверх он несет прямую ответственность за серию военно-морских катастроф, происшедших в годы его правления, за зарождение и расцвет «дедовщины», за вторжение в Чехословакию. За одно лишь развязывание войны в Афганистане он должен быть назван военным преступником и изменником Родины (не говоря уже о таких «мелочах», как соучастие в бриллиантокрадстве).

То, что совершил Саблин, — ужасно. Но ужаснее всего то, что он должен был это совершить. И посему человек, выступивший против облеченного высшей властью изменника Родины, не может быть назван предателем.

Да, именно об этом почти сто лет назад твердил штабс-капитан Степурин:

«Побудило меня стать на нелегальный путь деятельности наболевшее... убеждение в полной невозможности законными средствами содействовать выходу России из того тягостного и поистине критического положения, в котором она в настоящее время находится и которое признает существующим и само правительство...

Бюрократия овладела всем и вся — и телом и духом общества — и своим мертвым формализмом и присущей ему традиционной неправдой... стоит фатальной стеной между правительством и обществом, мешая... возродить Россию от объявшего ее кошмара. Как же быть честному русскому гражданину при сознании всего этого? Оставаясь верным закону, он будет преступником против общества; оставаясь же на стороне интересов общества, он, чтобы заявить обществу о его критическом положении, должен нарушить закон...»

Эти на удивление не утратившие злободневности мысли хочется подкрепить выводом современного публициста: «Кто виноват? Брежнев? Сейчас легко так сказать. Виновата партийная дворня, не бескорыстно раздувавшая пустой резиновый сосуд? Больше, чем он. Да потому, что ведала, что творила. Но главный виновник, которого надо привлечь к суду истории, — Брежневский режим, который законсервировал бедность и развратил сознание огромной массы людей».

Если в Сталина многие верили и почитали его искренне, то Брежнев, омундиренный аппаратчик, отнюдь не представлял собой кумира даже для самой далекой от политики части народа. Слова Саблина о бедах страны, о ее корыстных и бездушных вождах, возможно, были самыми первыми словами правды, сказанными матросам официально, они обладали для них бесспорной очевидностью, особенно убеждать их, агитировать не пришлось. Искры упали на сухую траву. «Сторожевой» развел пары...

Главный камень преткновения для тех, кто не приемлет саблинского вызова, в том, что он нарушил военную присягу. Нарушил ее, ибо арестовал командира, взял командование кораблем и перестал подчиняться приказам вышестоящих начальников. Да, все это так. И тут есть о чем подумать. Но вот что удивительно. Газета «Красная звезда», та, что не раз бичевала Саблина посмертно, воздавая дань декабристам, воспевая их мятеж на Сенатской площади, утверждает устами своего публициста:

«Русские офицеры... честь свою ценили выше, чем присягу» (26 декабря 1990 года).

Значит, получается так, что русским офицерам можно было ценить свою честь выше, чем присягу, а советским — нельзя. Я вообще против искусственного разделения русской дореволюционной армии и современной. Но это особый разговор. Здесь же хочу напомнить, что и ныне лучшие офицеры честь свою ставят превыше всего. И капитан 3-го ранга Саблин — из их числа.

Из конспектов Саблина:

«Человек может и часто должен жертвовать своей жизнью, но не личностью. Жертва есть условие реализации личности». Ник. Бердяев.

«Большинство людей умирает, достигнув 20—30-летнего возраста. Перешагнув этот рубеж, они превращаются в собственную тень». Ромен Роллан.

Поступок Саблина мажется нам случайным броском героя-одиночки лишь на фоне нашего общего неведения о том, что все семьдесят лет партийной диктатуры борьба против нее не прекращалась. Еще не написана история этой борьбы. И как бы историки-наемники ни трактовали эту борьбу, ни наклеивали на нее пестрые ярлыки правых (левых) мятежей, она тем не менее шла до самых последних дней, и дело Саблина — это закономерный, неслучайный эпизод в череде.

Да, он не отбросил коммунистическую фразеологию, но не потому, что фанатично верил в лучезарное завтра по Марксу—Энгельсу—Ленину, а потому, что надеялся, что матросы, офице-

ры, все советские люди пойдут за ним скорее и вернее, если ему не придется ломать привычный им стереотип мышления, если он не даст повода сразу же заклеить себя тавром антикоммуниста, которое повлечет за собой весь набор идеологических ярлыков: антисоветчик, пособник империализма, вплоть до агента спецслужб.

С позиций истинного коммуниста, борца за неискаженное Учение он был менее уязвим со стороны идеологической инквизиции.

Так я думаю о Саблине теперь, прочтя его дневники, конспекты, письма, выслушав рассказы о нем его друзей и близких. Впрочем, вполне допускаю, что он мог искренне верить в справедливость марксизма-ленинизма, незамутненного кровавой практикой ВКП(б) — КПСС. В любом случае для него важнее всего было публично уличить партийных бонз в чудовищном расхождении их слов с их делами.

Сомнение в коммунистической убежденности Саблина высказал и генерал Борискин: «Скажу, что Саблин свои преступные действия только прикрывал коммунистическим призывом, а на самом деле готовил себя в военные диктаторы вроде генерала Корнилова или адмирала Колчака».

Оставим Колчака и Корнилова на совести генерала. Однако возьмем в толк, что Саблин, как и все мы, воспитывался не беспрестанном воспевании революционного насилия. Вспомним фильм «Броненосец “Потемкин”»: матросы, разъяренные недоброкачественным борщом, выбрасывают офицеров за борт и в конце концов уводят боевой корабль в чужую страну. Все они — беззаветные герои. Откроем любую книгу по истории русского флота. Бунт на крейсере «Память Азова»: матросы, недовольные все тем же борщом, берут на штыки командира корабля, убивают кувалдой инженера-механика, стреляют в только что назначенных на корабль девятнадцатилетних, ни в чем не повинных мичманов, и конечно же зачисляются нашими историками в герои. Матросы «Авроры» убивают своего командира — их портреты на музейных стендах.

Примерам несть числа. И потому удивление — «Как подобная мысль могла прийти в голову советскому офицеру?!» — лицемерно.

Выступление Саблина похоже на акт политического терроризма. Но это чисто внешнее сходство. Ибо Саблин полагался в своем выборе не на силу корабельного оружия, а на силу факта самого выступления.

Человек попытался дать сигнал аварийной тревоги на всю страну, замкнув провода своим телом, своей жизнью. Сигнал, запоз-

давший на полтора десятилетия. И те, кому был выгоден «сон разума» миллионов, его расстреляли. И сделали это так тихо, что звук выстрела не разбудил нас, благостно спавших...

Кое-кто из осторожных комментаторов усмотрел в выступление Саблина чуть ли не попытку военного переворота.

Да полноте!

Был в старом русском флоте обычай: команда, горячо не согласная с чем-либо, становилась во фронт и не расходилась до тех пор, пока не придет командир и не выслушает ее обиды. Это называлось «заявить претензию». Нечто подобное намеревался сделать и Саблин: «стать во фронт» и на виду города Ленина «заявить претензию» на чудовищную неправду нашей жизни, на искажение ленинских идей, на самоуправство брежневской элиты...

Давайте подумаем сначала, против чего выступил Саблин и во имя чего, а уж потом назовем, параграфы каких законов он при этом преступил. Однако, в самом главном военную присягу он не нарушил: «Я клянусь... до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей Советской Родине...

Из прощального письма Саблина к сыну: «Дорогой сынок, Миша! Я временно расстаюсь с вами, чтобы свой долг перед Родиной выполнить. Не скучай и помогай маме. Береги ее и не давай в обиду.

В чем мой долг перед Родиной?

Я боюсь, что сейчас ты не поймешь глубоко, но подрастешь, и все станет ясно. А сейчас я тебе советую прочитать рассказ Горького о Данко. Вот и я так решил—рвануть себе грудь и достать сердце...»

Говорят, трижды убийца тот, кто убивает мысль. Сколь же кратным убийцей был тот, кто убивал своей алчностью, аморальностью идеалы социального переустройства, веру людей в свое будущее, кто ввергал их в ледяной ад бездуховности?!

На одну минуту представим себе, что выступление «Сторожевого» и в самом деле послужило толчком падения Брежнева. Сколько бы дали стране, народу годы «безбрежного» десятилетия?! Быть может, не разрослись бы так метастазы адилевощины, чурбановщины — всего того, чему ужасаемся мы ныне?

Саблин — явление глубоко русское, оно из недр национального характера, о котором проникновенно сказал Достоевский:

...Они (русские мальчишки.— *Н.Ч.*) не станут тратить время на расчеты — поступят, как велит им совесть, часто даже будучи уверенными в самых ужасных для себя последствиях... В минуты опасности для Отечества оставляют дом, невесту, мать — и идут добровольцами, ополченцами, чтоб стать героями Бородина; забывают о

своей тысячеклетней родословной, и благах, и привилегиях, кои дна им обеспечивает, обрекая себя на виселицу, на кандалы, выходят на Сенатскую площадь, ибо честь и слава Отчизны, освобожденной от крепостного права и подчинения немецкой чиновной бюрократии, для них превыше благ и привилегий спокойного ничегонеделания...

Нетерпеливы русские мальчики, им хочется сразу всего, одним разом, либо пристукнуть весь мир зла и несправедливости, либо обнять и жизнью своей защитить его красоту от прихлопывания других. Все или ничего...»

«Ну и чего добился Саблин своим выступлением? — спрашивают скептики. — Двух пуль и добился: одну — в ногу, другую — в затылок...»

Чего он добился?..

Да, внешне ничего особенного не произошло: вышел корабль из парадного строя вечером, а под утро вернулся в базу. Никто из рижан этого даже и не заметил.

И все же весть о «Сторожевом» облетела по матросско-офицерскому телеграфу все флоты.

Чего он добился?

Да просто не так едко ест стыд теперь за позорные годы понурого молчания, за свое якобы «прозрение», за свою дарованную гласность.

Не столь убийствен будет упрек, который бросят наши потомки «потерянному поколению»: «Вы — молчальники, творцы все-союзного одобрения».

Некоторые из одноклассников Саблина уже стали адмиралами... Так и вертится строчка из песни: «Господа офицеры, я прошу вас учесть, кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь!» Не хочу сказать о них ничего дурного. Наверное, каждый из них по-своему честен, хотя кое-кто дорого бы дал, чтобы изъять свое курсантское фото из саблинского альбома. Но дело совсем не в этом, а в том, что сегодня они повторяют с высоких трибун или читают во всех газетах то, что пытался прокричать в радиоэфир Валерий Саблин в ноябре 1975-го. В годы безгласья и безвременья он ценой жизни спас их честь, спас честь своего поколения.

Глава десятая

ПИСЬМА ИЗ ЛЕФОРТОВО: «У МЕНЯ ВСЕ ХОРОШО...»

Пока Саблин лежал в тюремном лазарете (пуля пробила ногу чуть ниже колена), писал родителям бодрые письма, стараясь поддерживать в стариках веру, что жизнь у него не отнимут. Письма эти, по

счастьем, сохранились. Не хочется называть их казенным словом «документ», они слишком теплы для этого, человечны, полны внутренней веры в правоту своих убеждений, веры в добро, в жизнь.

«24.03.76 г.

Здравствуйте, дорогие мои мамочка и папочка!

...У меня все хорошо. Продолжаю поддерживать здоровье и настроение на должном уровне. Много читаю, так как здесь очень хорошая библиотека. Стараюсь меньше сидеть и лежать, а больше ходить. На прогулках напеваю песни, что помогает прочищать легкие и поднимает жизненный тонус: «...Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!»

Режим «письмомолчания», вероятнее всего, начнется где-то в апреле.

К сожалению, весна никак не начинается. А хотелось бы уже солнышка и тепла. У вас, вероятно, такая же кислая погода, простудная... Берегите себя! На госпиталь (больницу) надейся, а сам не плошай!

Я недавно выслал на имя Коли (младшего брата. — *Н.Ч.*) небольшую повесть о собаке Дике. Написал ее в феврале. Это и есть то занятие, которым я заполнял время, когда библиотека не работала. Сам понимаю, что по технике литературного исполнения она (повесть) слабовата, но поручил Коле изыскать возможность издать ее. Это была бы материальная поддержка для Мины. Я вложил в описание удивительной жизни Дика столько труда и любви, что решил посвятить эту повесть маме. Понравится ли она тебе, мама, не знаю, но я очень старался...»¹

«3.06.76 г.

...Только что получил ваше первое письмо из Белыми. Сразу же сел отвечать, так как за полтора месяца соскучился по вашим и Нининым письмам. Именно такие подробные письма о всех мелочах в вашей жизни для меня очень ценны и дороги!

...Спросите у Прыгуновых (соседей. — *Н.Ч.*), понравилось ли корове сено, которое мы с папой так усердно спасали от дождя. Пишу — и чувствую запах сена. Хорошо!

Рад за вас, что вы дышите чистейшим белыньским воздухом! «Все должно быть для здоровья с максимальной отдачей!!» — такой должен быть у вас девиз на четыре месяца.

Что, мама, ты сейчас читаешь? Читала ли рассказы Шукшина? Кажется, в сентябрьской «Роман-газете» они были опубликованы. Как впечатления? Береги себя, мамочка! Ты знаешь, о чем я говорю...

¹ Эта повесть не дошла до адресата и исчезла бесследно.

...О себе мне как-то и писать нечего. Кажется, не меняюсь ни к лучшему, ни к худшему. Это относится и к здоровью, и к настроению, и к внешнему виду.

Читаю Ромена Роллана о Бетховене, Толстом и Микеланджело. Назвал он свою книгу «Героические жизни», но в этих жизнях больше страдальческого, чем героического...

Прочитал «Письма из Сибири» — это сборник писем Кирова, Свердлова, Куйбышева и других революционеров своим родным и близким. Впечатляющая книга.

Режим выдерживаю строгий и разрешаю себе не делать физзарядку только в воскресенье. Ну, а в субботу, как положено, — большая приборка. То есть поддерживаются флотский порядок и режим. Так что обо мне не беспокойтесь. Берегите себя!»

Потом, после нескольких месяцев зловещего молчания, пришел тонкий конверт. Из него выпало вот это: «Свидетельство о смерти.

Гражданин Саблин В.М. умер третьего августа 1976 г. в возрасте 39 лет, о чем в книге регистрации актов о смерти 1977 года февраля месяца 22 числа произведена запись за № 344. Причина смерти — (прочерк). Место смерти — (прочерк)».

По странному совпадению в номере свидетельства о смерти оказались цифры бортового номера его корабля. Возраст Саблина указан ошибочно. Когда его расстреляли, ему было 37 лет, как и лейтенанту Шмидту.

Михаил Петрович Саблин пережил сына на шесть месяцев. Он умер в январе 1977-го. Не выдержав смерти двух самых дорогих для нее людей, скончалась спустя полгода и Анна Васильевна Бучнева, мать Валерия Саблина.

Младший брат сохранил его школьные стихи, посвященные маме:

Я помню, как в войну,
в суровую годину,
Ты хлеб последний
отдавала сыновьям...

С каким достоинством, с каким горьким смирением несла свой крест все эти годы обезглавленная семья Саблиных!.. И хоть не тридцатые, не сороковые, ох не сладко и в наши дни быть женой и сыном «изменника Родины».

Едва только военный городок потрясла весть о «Сторожевом», об аресте Саблина, как верхний сосед по подъезду, некто капитан Белоусов, тут же стал улучшать свои жилищные

условия за счет опальной семьи. Взломал дверь, принес свои вещи — убирайтесь, и все! Сразу же замолчал телефон. Кое-кто из бывших друзей поспешил забыть дорогу к дому № 26 по улице Ушакова.

То, что их жизнь вступила отныне в ледниковый период, остро понял и двенадцатилетний Миша Саблин. Он учился в одном классе с сыном командира своего отца. В школе знали, что произошло на «Сторожевом», разумеется, в самых общих, но тем не менее драматичных чертах.

«Саблин! Саблин!» — позвал приятель во дворе, и тут же родители сделали ему строгое внушение, чтобы не смел так громко произносить запретную фамилию.

И все-таки далеко не все смотрели на Саблиных косо. Несколько раз заходил в гости старпом капитан 3-го ранга Новожилов, спрашивал, не нужна ли какая помощь. Заглядывали и другие офицеры. Но потом прекратились и эти визиты. Кольцо отчуждения росло и ширилось. Нина решила уехать из Балтийска. В Калининграде им с Мишей довольно быстро дали однокомнатную квартиру. Потом она и вовсе перебралась из чужого города в Ленинград, к маме. Там и сейчас живет в Веселом поселке, где не так уж и весело, — далекий новостроечный район.

И вот что важно заметить: те всемогущие неизвестные силы, которые распорядились судьбой мужа, не стали ломать жизнь ни ей, ни его братьям, ни его сыну. Конечно же у Николая и Бориса собрались над головами черные тучи, но гром не грянул, оба остались так или иначе на своих ответственных инженерных постах. Не помешали они, эти силы, и ей прописаться в Ленинграде, а Мише поступить в университет. Правда, парень хотел быть моряком, но дорога на флот ему была заказана, и он пошел на биофак изучать древних ископаемых юрского периода. Благо уж в этой сфере никак не проявится его «генетическая предрасположенность» к «измене Родине». Однако на всякий случай от военной кафедры его отлучили.

Не потому ли — напрашивается мысль — эти всемогущие и всегда таинственные силы не стали загонять за Можай саблинских родственников, что не дает им это сделать смутное чувство вины перед вдовой расстрелянного офицера, преступление которого они признали лишь казенным разумом, а не собственным сердцем? Я тешу себя этой надеждой.

Раковины и морские звезды лежали на полках старенького серванта. Меж ними затерялась моделька корабля. Разостланный шлюпочный флаг. Книги с его пометками. Книги из серии «Пламенные революционеры», которую он собирал.

Тикает будильник — подарок на свадьбу. А этот кошелечек — все, что вернули из Лефортовской тюрьмы. Вот и весь домашний мемориал.

Я стоял в более чем скромной квартирке, куда меня поначалу и приглашать-то стеснялись, и жег меня стыд за свое благодеяние и за посмертное прозябание его дома.

Мы служили с ним на разных морях, но на одном флоте и в одно время... Мы росли на берегах одной и той же реки. Мы ночевали в одних и тех же горных приютах и жили на одних и тех же улицах в заполярных городах. Бродили по одним и тем же ленинградским и московским вокзалам. Ходила в один и тот же океан. Мне кажется, я знаю его целую вечность. Мне кажется, что и я потерял очень родного мне человека...

У Нины Саблиной, хозяйки дома, милая и робкая улыбка. Она исчезает мгновенно, и лицо каменеет в печали. Это самое привычное выражение.

Ленинградка. Но корни уходят в земли брянские и псковские. Окончила ЛИСИ — инженерно-строительный, работает в стройуправлении. С Валерием познакомились на танцах в училище в 1958 году, когда тот учился на третьем курсе. Поженились через два года...

Теперь вечера коротает с мамой — очень пожилой и болезненной. Сын недавно женился. Живет в центре. Обещал сегодня прийти.

И он приходит. Сдержанный, немногословный, с глубоко затаенной печалью. Мать не верит, а он верит, что об отце во всеулышание будут сказаны добрые слова. Порукой тому — портрет лейтенанта Шмидта, оставленный отцом в наследство.

Что стало с кораблем? Экипаж расформировали, а «Сторожевой» перегнали с Балтики на Тихий океан, чтоб не мозолил глаза и не вызывал ни у кого никаких ассоциаций. Он долго нес свою ратную службу, и нес ее на «отлично», из года в год ходил в лидерах. И хотя экипажи менялись, моряки знали, на каком корабле они служили. И держали марку. А теперь, уже шестой год, «Сторожевой» стоит в ремонте.

Глава одиннадцатая

ГЛАСНОСТЬ В БРОНЕЖИЛТЕ

Свою расстрельную статью в «Военно-историческом журнале» генерал-майор А. Борискин закончил так:

«В покаянной своей речи Саблин говорил: «Рассказывая о всех своих преступных действиях, я вспоминаю все, что было написа-

но на следствии в 39 томах данного дела, и понимаю, что это была авантюра. Когда меня спрашивали, признаю ли я себя изменником Родины, я ответил: «Не могу считать себя изменником Родины...» Если же посмотреть объективно, все мои действия являются изменой Родине». Эти слова не нуждаются в комментариях». И все-таки нуждаются.

Поражает стиль этого заявления: ...я вспоминаю все, что было написано на следствии в 39 томах данного дела...» Столь неуклюжую канцелярскую фразу могла вывести только рука следственного работника. И только под дулом пистолета, незримого, быть может, в ту минуту, но ошутимого холодеющим затылком, поставишь свою подпись под подобным «покаянием».

Как известно, суд был закрытым. Не пустили ни родителей, ни жену. Из всех участников суда самым доступным для меня оказался матрос Шеин.

Вот что писал он мне из Тольятти:

«До суда Саблин не признавал себя виноватым и не соглашался с предъявленным ему обвинением. Не признавал себя виновным и я, потому что совершенно искренне считал, что, если человек хочет что-то сказать своему народу и не находит иного выхода, как только воспользоваться кораблем, это не есть измена Родине. Как только я признал себя виновным, на следующий день в отношении всех остальных было прекращено дело. Я убежден, что если бы я не признал себя виновным, то была бы еще группа, прошедшая по этому делу, чего я, конечно, никому не желал, хотя и было где-то обидно...

В вынесении высшей меры наказания не были заинтересованы ни следственные органы, ни Военная коллегия Верховного суда СССР. Всем было ясно, что дело не носило характера прямой измены Родине. Кто там на кого давил, я не знаю, но приговор был нечестный и несправедливый. Саблин сам этого не ожидал, иначе бы он не пошел на этот последний компромисс: признать себя полностью виновным.

На суде он всю вину брал на себя и просил не наказывать пошедших за ним матросов.

Когда объявили приговор: «К высшей мере наказания», Саблин побледнел и на несколько мгновений потерял сознание. Потом пришел в себя. Хотел что-то сказать. Но сзади стояли охранники со специальными «намордниками»-кляпами. Накинули и увели».

«Красная звезда» сообщила об этом спустя четырнадцать лет так:

«По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР от 13 июля 1976 года капитан 3-го ранга Саблин Валерий Михайло-

вич был осужден на основании пункта «а» ст. 64 УК РСФСР к смертной казни — расстрелу. Приговор обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежал, просьбу Саблина о помиловании Президиум Верховного Совета СССР отклонил, и 3 августа того же года приговор был приведен в исполнение.

Двадцать один день он провел в камере смертников.

Физически Саблин был убит выстрелом в затылок, в подвальной тиши, втихаря...

И все же тем, кто хотел отправить его имя на дно Леты без всплеска, незаметно, пришлось расстрелять его публично — морально, залпом, как расстреливали Шмидта. В шеренге стрелявших стояли плечом к плечу «Красная звезда», «Военно-исторический журнал» и, как ни странно, лаптевские «Известия»...

Залп!

«Дело Саблина»! «Лицедеи»! «Был ли бунт на советском эсминце?»!

От посмертных ядовитых пуль прикрыли Саблина журнал «Родина», «Комсомольская правда», журнал Министерства внутренних дел «На боевом посту», районная газета «Заря Ирбита», «Советская молодежь», «Независимая газета», «Вечерний Омск», молодогвардейский альманах «Подвиг»... Безуспешно попытались встать на его защиту «Правда», журналы «Смена», «Знамя», «Молодая гвардия»...

История того, как имя Саблина пробилось на страницы нашей печати, стоит отдельного рассказа.

Собирать материал о «Сторожевом» и Саблине я начал осенью 1988 года. Шел четвертый год высочайше дарованной гласности, но меня не покидало чувство недозволённости того, чем я занимаюсь. Я держал в секрете свои поиски даже от самых близких — и все время опасался. Звонил ли вдове Саблина в Питер, ехал ли в Горький (теперешний Нижний Новгород) на встречу с младшим братом Валерия, расспрашивал ли знакомых моряков — опасался: вдруг вмешается некая властная серая сила, и жесткий голос рубанет: «Прекратите раз и навсегда заниматься этим делом. Немедленно сдайте все ваши записи, фотографии, ксерокопии».

На всякий случай я завел тайник и самые ценные материалы, имевшие характер документов, прятал там. Я убеждал себя, что наступили другие времена, что эта история никого ныне так не задевает, как в брежневское правление, что все саблинские слова и мысли уже прозвучали в той или иной форме в речах депутатов, в статьях публицистов, и тем не менее аккуратно пополнял свой тайный архив. Опасался я, как вскоре выяснилось, не напрасно.

К ноябрю 1989 года очерк был написан. Я озаглавил его строкой из саблинского письма: «На грозный бой с глубокой мглою», приложил к нему фотопортрет, где Саблин стоит на корабле в рабочей куртке, и отнес в «Правду». Публикация в этой газете была бы равносильна реабилитации Саблина. Спорить с «Правдой» даже в те «демократические времена» было не принято.

Особых надежд на удачу я не лелеял. Но очерк очень быстро лег на стол главного редактора. Афанасьев прочитал и... заслал в набор. Знакомые правдисты поздравляли меня, восторгались смелостью главного...

На другой день, 13 ноября, я, не веря глазам своим, вычитывал четвертую полосу, целиком занятую колонками очерка. Посреди полосы тонкая рамка отбила фотографию Валерия. Лицо его, слегка размытое, бледно пропечатанное, смотрело в наш обновляющийся мир, который он предвещал, но так и не увидел... Завтра его ожидала встреча со страной, с миллионами тех, до кого он не смог докричаться...

Увы, он не смог сделать этого и назавтра. Заместитель Афанасьева — дежурный редактор Королев снял очерк из номера.

«Ничего страшного, старик, — утешали друзья, сами обескураженные таким поворотом дела. — Напечатаем в ближайшем номере. Главный стоит горой...»

Была расширенная редколлегия. Много и горячо спорили. Вечером мне позвонили: «Приезжай утром. «Саблин» стоит в номере». Несусь в редакцию. Влажная, только что отгиснутая полоса. Прежнюю шапку сменили на нейтральный заголовок: «Чрезвычайное происшествие». Вместо фото Саблина — снимок корабля. Но и в таком «смягченном» виде очерк не вышел.

«Бог троицу любит! — подбадривали меня и себя коллеги. — С третьего захода пройдет».

От третьего захода меня чуть удар не хватил. Раскрыв 17 ноября полосу с оттиском, я тихо охнул. «Преступление на море» — вешали огромные черные литеры.

Но не помогла и эта уступка редакционным ястребам. Очерк с таким убийственным заголовком тоже не вышел. Было две или три редколлегии по этому поводу и даже партсобрание. Правдинский коллектив раскололся на два лагеря: одни — за Саблина, другие — против. Все это напоминало голосование на «Сторожевом». Только цензурные шлюзы перекрыли оперативнее, чем боковые ворота в устье Даугавы.

В «Правде» очерк «На грозный бой с глубокой мглою» так и не вышел. Видимо, глубокая мгла в редакционных коридорах к тому времени еще не рассеялась.

Любопытная деталь: в ту же ночь, когда очерк впервые сняли из номера, оттиски крамольной полосы стали исчезать из редакционных кабинетов. Их уносили домой дежурные сотрудники, несмотря на строжайший запрет подобных действий. Брали их, наверное, как сувениры: в кои-то веки в «Правде» снимают что-то прямо из номера!

Часть этого мизерного служебного тиража (сколько их там было, этих оттисков, — не больше двух дюжин) была кем-то отксерокопирована, и копии пошли гулять по московским вузам и НИИ.

Один экземпляр кто-то заботливо переправил в Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота, а другой, естественно, — в КГБ. Но посмертную судьбу Саблина могло решить именно первое учреждение — Главпур. Туда я и направил свои стопы вместе с бывшим правдистом, а ныне начальником студии военных писателей Виктором Верстаковым. Мы не питали никаких надежд, но попытка не пытка. К нашему приятному удивлению, среди главпуровских генералов мы нашли весьма влиятельных союзников: начальника отдела культуры генерал-майора Виктора Ивановича Якимова и заместителя начальника Главного политуправления генерал-полковника Геннадия Александровича Стефановского. Они приняли наши доводы, и мы, теперь уже вчетвером, вошли в кабинет высшего политического руководителя Вооруженных Сил генерала армии Лизичева. Тот, разумеется, читал контрабандную правдинскую полосу и был в курсе дел.

Мы дружно убеждали его, что в современной обстановке поступок Саблина приобретает новое звучание — в тон апрельских перемен, что идеи, мысли, выводы замполита со «Сторожевого» нашли свое полное подтверждение и в речах Генерального секретаря, и в передовицах «Правды»... Приводили и другие аргументы. Мол, весь мир читает роман о Саблине, изданный в США, и смотрит фильм «Погоня за “Красным Октябрем”», а у нас о нашем национальном герое блуждают только слухи и домыслы.

Лизичев долго и нерешительно мялся, переводя взгляд с одного на другого... Он походил на человека, загнанного в угол. Это были муки чиновника, никогда не принимавшего самостоятельных решений. Тем более таких, переводивших на 180 градусов путеводную стрелку Главпура. Тени прежних хозяев этого величественного кабинета с огромным напольным глобусом в углу — от Мехлиса до Епишева — стояли за его спиной.

Наконец он выдал из себя:

— Хорошо... Я согласен. Будем давать в «Красной звезде». Но...

Ну, конечно же — «но»!

— ...Но я посоветуюсь еще с Павловым, помощником Михаила Сергеевича.

При всей сговоренности этого вынужденного согласия, мы вышли из кабинета окрыленные. Уж если сам Лизичев сказал: «Я согласен», это кое-что!

Стефановский посоветовал мне побыстрее отвезти очерк в газету. Наутро я уже был в «Красной звезде». Главного редактора временно замещал полковник Сарин.

— Как?! — изумился он, когда я положил на стол рукопись. — У нас уже есть материал Быстрова. И нам велено давать именно его. Саблин — изменник Родины.

— Но Лизичев вчера сам сказал, что он «за»...

— А сегодня утром позвонил и сказал: срочно печатайте Быстрова...

Это было ужасно. Я только на минуту представил, что придется пережить вдове Саблина, сыну, его братьям и всем родственникам, когда спустя пятнадцать лет после трагедии на их общую фамилию снова обрушатся клеймящие слова: «предатель», «изменник Родины», «авантюрист», «уголовник»...

Но Лизичев... Если старший лейтенант Фирсов тайком перебрался с доносом по швартову, то генерал армии проделал практически тот же трюк, невзирая на чин, возраст и галстучную звезду с бриллиантами.

Однако, надо было что-то делать. Надо было во что бы то ни стало остановить запущенную машину...

Не помню, кто меня надоумил обратиться к писателю Ивану Стаднюку, но, выслушав мои сбивчивые объяснения, Иван Фотиевич предложил приехать к нему домой. Вскоре я уже раскладывал у него на столе фотографии Саблина, ксерокопии его писем. Я не ожидал от него, человека старого закала, «сталиниста», сочувствия к моему герою. Тем не менее Стаднюк его принял, понял всю чудовищную нелепость надвигающейся краснорозеточной публикации и стал звонить в Главпур. Только ему, писателю с большим авторитетом в высших военных кругах, удалось почти невозможное: быстровский материал из номера сняли и отложили, с условием что и я не буду публиковать свой очерк. И если он где-нибудь будет напечатан, то тут же выйдет и «Дело Саблина» в «Красной звезде». На том и порешили. Ни войны, ни мира. Мы выиграли меньшее из зол — молчание.

Но, видимо, там, наверху, хотели более надежных гарантий. Поэтому в один прекрасный вечер на пороге моей квартиры возник гость в штатском. Им оказался ни много ни мало начальник

одного из главных управлений КГБ генерал-лейтенант Василий Степанович Сергеев. Визит этот поверг моих домашних в великое смущение, хотя все и понимали, что в недобрые старые времена беседа наша протекала бы не на кухне за чашкой чая, а на Лубянке и без чая, в других тонах. Но... шел четвертый год перестройки, и понятие «демократия» уже не было пустым звуком. Гость мой оказался интересным собеседником, человек широких взглядов, он даже улыбнулся (в знак согласия?), когда я назвал его ведомство «комитетом собственной безопасности», но все его дружеские, почти отеческие, внушения сводились к тому, что очерк о Саблине печатать не надо, что публикация его может нанести огромный вред государству, переживающему такие катаклизмы, и что, не дай Бог, после прочтения моего опуса какому-нибудь командиру атомохода, не согласному с идеалами перестройки, придет саблинская мысль вывести корабль в нейтральные воды и оттуда грозить всем нам ядерным оружием.

— Но атомная лодка не мотоцикл, — возражал я, — и для ее угона нужно, чтобы саблинская мысль захватила, кроме командира, и большую часть экипажа, который запустит реактор, турбины, подготовит ракеты к старту... К тому же идеи носятся в воздухе, редкий командир на флоте не знает о саблинском поступке, и почему именно мой очерк с таким печальным концом (пуля в затылок) должен вдохновить атомоходчика на подобную авантюру?

Мы говорили долго. Нам так и не удалось убедить друг друга. Консенсуса, как говорится, не получилось.

После этого диспута за чашкой чая я почувствовал, как телефон мой стал негласным сотрудником органов, хотя и не получал от них никакого вознаграждения. При неосторожном слове «Саблин» в микрофоне что-то щелкало и слышимость явственно ухудшалась.

Не дожидаясь повторных визитов коллег Сергеева, я отнес и разослал очерк во все мыслимые и немыслимые органы советской печати. «Печатайте, кто сможет!»

Очерк бодро набирали, уверяли меня, что именно их журналу или их газете непременно удастся его напечатать, и... обескураженно возвращали мне гранки на память. Очень скоро у меня скопилась целая коллекция всевозможных шрифтовых наборов. Я мог поздравить себя с достижением, достойным Книги рекордов Гиннеса: по количеству снятых публикаций в бесцензурную эпоху гласности. Но, полагаю, у эка всегда больше шансов сбежать, чем у его тюремщика — предотвратить побег, ибо ээк думает о бегстве все время, а тюремщик — время от времени. Именно так произошло и с несчастным очерком. Ответственный секретарь журнала

«Родина» Владимир Долматов отправился в отпуск в родной уральский городок Ирбит и там, в интервью местной газете, сообщил коллегам, что среди прочих планов у журнала есть намерение опубликовать очерк о капитане 3-го ранга Саблине, который в 1975 году совершил то-то и то-то... Через какое-то время районная газета «Заря Ирбита», не читаемая московскими цензорами, опубликовала большой отрывок из моего очерка. Местный же цербер решил, что это перепечатка из журнала «Родина», и не стал препятствовать. Долматов завел в своем журнале рубрику «Из обзора местной прессы»; честно ссылаясь на «Зарю Ирбита», поставил весь очерк в очередной номер и... получил разрешение на публикацию. Этот ход конем блестяще оправдался бы, если бы не сроки выхода журнала. Очередной номер, увы, опаздывал к читателю почти на полгода. Это я сам испытал на себе как подписчик «Родины». И вдруг...

И вдруг тишину напряженного перемирия разорвал шальной выстрел.

Двадцать седьмого февраля 1990 года газета «Известия» опубликовала реплику собственного корреспондента в Нью-Йорке Шальнева «Был ли бунт на советском эсминце?». Задавая сей риторический вопрос «компетентным органам», собкор рассказывал, как видится наша морская драма, разыгравшаяся на Балтике, американцам да и вообще людям западного мира.

Самое печальное — это то, что заметка в «Известиях» была снабжена комментарием юриста из КГБ генерал-майора юстиции Борискина, который без тени сомнения брал на себя роль рупора брежневского правосудия, объявлял Саблина преступником, угонявшим корабль в сторону шведских территориальных вод, и авторитетно информировал советскую общественность, что «бомбометание велось не по кораблю... и, конечно, ни одного попадания, ни одного повреждения ни на палубе, ни на надстройках не было».

Подобной же ложью было и утверждение, что «пособник Саблина» матрос Шеин ранее отбывал срок за кражу. Никакого срока Шеин не отбывал.

От себя редакция добавляла, что она хотела бы узнать о событиях 8—9 ноября 1975 года более подробно, а также то, как Саблин «решился на такой крайний шаг, что думал и что исповедовал?»

Тут автор редакционного послесловия покривил душой, как и комментатор. Дело в том, что очерк «На грозный бой...» с последним письмом Саблина, в котором тот излагал, как он решился на такой крайний шаг, что думал и что исповедовал, давно лежал

в секретариате «Известий», но после неудачи «Правды» газета решила не рисковать. Я позвонил в редакцию и предложил опубликовать очерк как отклик на выступление Шальнева и Борискина, тем более что сборок справедливо восклицал: «Печально, когда на Западе пишут и защищают диссертации о событиях, которые происходят в нашей стране, но о которых мы сами ничего не знаем. Обидно, когда о своей истории — какой бы грязной или печальной она ни была — мы узнаем из книг зарубежных авторов, из фильмов их режиссеров».

В ответ было сказано:

— Мы согласны с генерал-майором Борискиным и будем придерживаться официальной версии.

Что делать?

На помощь пришла «Комсомольская правда», газета, с которой началась когда-то моя журналистская стезя. В тот же день главный редактор Владислав Фронин отправил очерк в набор, материал был выставлен в полполосы, и 1 марта «Последний парад» с портретами Саблина, его братьев и снимком «Сторожевого» вышел в пик известиинской публикации.

Спустя сутки «Красная звезда» швырнула в Саблина свой камень, давно пригретый за пазухой.

Еще через несколько дней к позиции «Комсомолки» присоединилась и «Советская молодежь» из Риги, опубликовав в трёх номерах очерк Майданова «Прямо по курсу — смерть».

Ну что ж, последняя (последняя ли?) запретная теме эпохи гласности была открыта... Началось всенародное обсуждение, осмысление деяния Валерия Саблина. Оно продолжилось и в документальном фильме молодого белорусского кинорежиссера Владимира Дашука «Форс-мажор», отрывки из которого были показаны за три недели до путча по Центральному телевидению. Телекадры с рассуждениями авторов фильма о мотивах и смысле саблинского выступления вызвали яростный гнев у министра обороны Язова и главного военного прокурора Катусева. В Останкино был послан офицер с требованием снять видеокассету с крамольной программой и доставить ее в секретариат министра. Зачем? Помахать после драки кулаками? Пугануть инакомыслящих авторов?

Они и пуганули. Всю страну пуганули, наводнив Москву танками, да только не запугали.

Моряки, к чести военно-морского флота, путчистов не приняли, на защиту Белого дома России переходили не только гвардейские танки, но и подводная лодка, вышедшая в Тихий океан под Андреевским флагом... Но это уже другая история.

Вместо послесловия

Дело Саблина, поступок Саблина, преступление Саблина, подвиг Саблина...

Та, теперь уже такая далекая драма, разыгравшаяся на морском параде в Риге, с непреуменьшившейся остротой продолжает волновать умы моряков и юристов, политиков и журналистов, всех нас, граждан своего Отечества, и зарубежных интересантов, которые знают о Саблине понаслышке — со страниц авантюрного романа «Охота за «Красным Октябрем» американского страхового агента Тома Кленси, принесшего его автору мировую известность.

Так кто он такой, капитан 3-го ранга Валерий Саблин? Разочаровавшийся в жизни авантюрист-одиночка? Ультралевый коммунист, который хотел быть святее генсека, или доморощенный бонапартик, метивший в военные диктаторы? Тщеславный безумец, задумавший повторить судьбу лейтенанта Шмидта? Изменник Родины, прельстившийся шведскими хлебами?

Вот уже много лет, изучая письма Саблина, его конспекты, дневники, расспрашивая его друзей и недругов, сослуживцев и родственников, тех, кто его судил, и тех, кто стоял с ним в роковую ночь рядом, пытаюсь постичь его характер и его личность, я сделал для себя такой вывод: **ВАЛЕРИЙ САБЛИН — ГРАЖДАНИН, РЕШИВШИЙСЯ УДАРИТЬ В НАБАТНЫЙ КОЛОКОЛ ТОГДА, КОГДА ВСЕ НАПАСТИ, ОБРУШИВШИЕСЯ НЫНЕ НА НАШУ СТРАНУ, ЕЩЕ ТОЛЬКО ВЫЗРЕВАЛИ.** Он попытался это сделать как можно громче, а потому не ограничился самосожжением где-нибудь посреди Москвы, как это уже делалось и до и после него в знак протеста против брежневского партийно-мафиозного маразма, а попытался крикнуть на всю Россию, на весь СССР и весь мир с палубы, с мостика, с антенн боевого корабля, откуда бы его непременно услышали: «Граждане, Отечество в опасности!» Не его вина, что сограждане его не услышали. Но тридцатисемилетний человек положил жизнь, как говорили встарь, за други своя, то есть за нас, за каждого из нас... И еще одно утверждение, выведенное как из дела Саблина, так и из собственного опыта флотской службы: подобное выступление могло произойти на любом корабле Военно-Морского Флота СССР, окажись на нем такой человек, как Саблин, скажи он такие слова, какие бросил замполит «Сторожевого» своей команде.

Был ли Саблин правоверным марксистом, фанатом учения? Этот вопрос мучил меня с первых же шагов по следам своего героя.

Думаю, что Саблин понимал, что матросы, да и народ вообще еще не готовы действовать вне рамок этого вероучения, впрыснутого в мозги миллионов людей. Поэтому он пользовался коммунистической фразеологией, ее лозунгами и постулатами. Но это лишь внешне. Для дела. Чтобы не оттолкнуть массы, чтобы говорить с ними на одном языке. («Царь мне нужен потому, что без него черная масса за мной не пойдет» — из речи лейтенанта П. Шмидта перед офицерами «Очакова».)

Для себя же, для души он исповедовал далекие от марксизма идеи академика Вернадского. И даже написал диссертацию о нем. Увы, оставшуюся незащищенной.

До сих пор юристы не могут точно определить формулу обвинения. За что именно был расстрелян Валерий Саблин? За воинское преступление, выразившееся в захвате корабля и неподчинении власти вышестоящих начальников? Но в приговоре военной коллегии Верховного суда СССР речь идет вовсе не об этом, а о попытке изменения государственного строя СССР, что и отождествляется с изменой Родине... Но вот государственный строй изменен, СССР не существует так же, как и пресловутой 58-й статьи, проведена не одна политическая амнистия, реабилитированы Сахаров, Солженицын, сотни диссидентов. А дело Саблина по-прежнему под сукном, а имя Саблина по-прежнему в черном списке. Вдова Саблина и братья подали прошение на пересмотр дела. Слово за Феимидой обновленной — демократической России.

ВЕНОК ИЗ ПИСЕМ: «ЗА» И «ПРОТИВ»

Сдать эти письма в архив не поднимается рука. Это отклики, пришедшие в «Комсомольскую правду» и другие газеты, на радио, телевидение после публикаций материалов о Саблине и «Сторожевом».

Прежде всего — слово участникам событий. Письмо бывшего старшего матроса «Сторожевого», ныне московского строителя Сергея Лыкова:

«На днях ребята по бригаде принесли мне газету. «Почитай, тебе будет интересно». Развернул и увидел фотографию своего замполита Валерия Михайловича Саблина. У меня в душе все перевернулось, а на глазах появились слезы... Слишком много вспомнилось.

То, что произошло в Риге в ноябре 1975 года нам, рядовому составу приказали забыть, а после двухмесячного разбирательства

напутствовали нас так: «Только честным трудом вы смоете позор с Балтийского флота». Домой ехать не хотелось, все боялся — вот приеду, и тут же на вокзале арестуют. Приехал домой ночью, мать обрадовалась и, плача, спросила — почему же так долго не приезжал. Сказал, что служба такая. Пока она хлопотала на кухне, подсел к приемнику, и, прокручивая станции, вдруг услышал сквозь трескотню помех сообщение «Голоса Америки»: мол, такого-то числа в Балтийском море был обстрелян советскими истребителями советский военный корабль. Дальше слушать не мог. Сидел и ревел, как девчонка. Было так обидно и стыдно за тех, кто послал эти самолеты...

Теперь вот прочитал в латвийской «молодежке» статью А. Майданова «Прямо по курсу — смерть», и снова стало обидно и стыдно, на этот раз за автора: столько неточностей и откровенной полуправды. Зачем так пинать нашего командира капитана 2-го ранга Потульного, которого на корабле уважали, несмотря и на некоторый гонор? И, наконец, полный бред, ясный и школьнику — самолет с водородной бомбой на борту, посланный вдогонку за «Сторожевым», чтобы уничтожить его — и где! — у берегов Латвии. Не надо драматизировать и без того трагическую ситуацию нелепыми домыслами. И чтобы подобное не накручивалось и впредь, прошу всех, кто причастен к тем событиям, самим рассказать как все было на самом деле».

Художнику тольяттинского народного театра Александру Николаевичу Шеину тридцать четыре года. Из них три года бывший матрос отдал флоту, восемь — тюрьме и лагерю.

Но даже там, за решеткой и «колючкой» его старались держать подальше от остальных заключенных, дабы бывший матрос не проговорился за что сидит. Он научился медитировать и выходить в астральное пространство, за неимением пространства иного.

В лагерной общеобразовательной школе Шеин впервые в жизни влюбился. В вольную. В учительницу литературы. В жену замполита конвойной роты. С таким же успехом он мог влюбляться в Жаклин Кеннеди или Эдиту Пьеху. Но произошло чудо, случившееся разве что в старой русской жизни: его возлюбленная оставила мужа-охранника и потянулась к нему, бритоголовому невольнику, дождалась, когда кончится срок и уехала с ним навсегда.

С Шеиным у меня завязалась обширная переписка.

«У нас напрасно искали потом подпольную организацию на корабле, — писал Шеин в очередном письме, — ее не было. Если уж меня определили ближайшим помощником Саблина, то я о его намерениях узнал лишь за три дня до выступления.

Саблина поддержали в основном матросы. Мы не были сильны в теории социализма, но мы хорошо чувствовали всю фальшь того, что нам внушали и как далеко расходились газетные словеса с нашей жизнью. Наглядный урок показухи, барства, лицемерия преподавал нам бывший Главком ВМФ Горшков, который выходил на нашем корабле в море вместе с министров обороны Гречко. Мы должны были продемонстрировать стрельбу ракетоторпедой по подводкой лодке. Лодку искали долго, но так и не нашли. Тогда высокое начальство решило стрелять наобум, получив данные о цели по прибору, имитирующему на тренировках подводную лодку. Ну и вжахнули! Красивое было зрелище, если не считать тех сотен тысяч рублей, которых оно стоило. Министр остался доволен. Все газеты расписали нашу блестящую атаку. А мы читали — плевались. И еще деталь. На том выходе корабельные коридоры были устланы ковравыми дорожками, прямо через комингсы, хотя это и мешало закрывать водонепроницаемые двери, как велят корабельные правила. Но что им Корабельный устав... Ребята все видели...

В конверте я нашел и вырезку из газеты «Страж Балтики» с отчетом о том походе. Любопытный документ.

«ПОД ФЛАГОМ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СССР». Высокий патристический дух царит на кораблях и в частях дважды Краснознаменного Балтийского флота. Воины-балтийцы глубоко осознают всю сложность и ответственность, вытекающие из решений XXIV съезда КПСС...

Руководители партии и правительства лично уделяют большое внимание военным морякам. Корабли и части ВМФ неоднократно посещали Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный, Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин.

На дважды Краснознаменном Балтийском флоте не раз бывал член Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А.Гречко. Сегодня такой чести удостоен этот корабль...

...И вот корабль вышел в море. На ходовом мостике — министр обороны СССР Маршал Советского Союза А.А.Гречко. Он заслушивает доклад командира корабля о поставленной перед экипажем задаче. Министр обороны подробно интересуется тем, как военные моряки осваивают новую технику и оружие, какие тактические приемы применяет командир в ходе боевой подготовки в море, как он учит подчиненных умению использовать оружие, организует занятия, тренировки, учения. Командир корабля докладывает министру обороны о том, что воодушевленные Обращением Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу, офицеры и мичманы, старши-

ны и матросы экипажа выполнили социалистические обязательства, принятые ими на зимний период обучения в соревновании под девизом «За дальнейшее повышение боевой готовности, отличное знание и обслуживание оружия и военной техники».

Министр обороны СССР обстоятельно заслушивает командира о людях экипажа корабля, офицерах, мичманах, старшинах, матросах, условиях их жизни, быта, отдыха.

Маршал Советского Союза А.А. Гречко спрашивает, как личный состав выполняет свои обязанности на боевых постах по различным вводным и командам. Специальная подготовленность моряков, уровень их тактической и морской выучки, морально-волевой настрой — это и многое другое в поле зрения Маршала Советского Союза А.А. Гречко.

Корабль под флагом министра обороны СССР следует в заданный район. А в это время поступает радиосообщение от вертолетчиков об обнаружении подводной лодки «противника». На всех боевых постах корабля идет боевая работа. Особо ответственна сейчас роль гидроакустиков. И они справились с задачей. По их данным командир принимает решение атаковать подводную лодку. Считанные минуты пролетели после установления контакта с подводной лодкой, и вот уже на подводную лодку обрушился удар всего комплекса противолодочного оружия корабля — реактивных бомбометных установок и торпед.

На выходе экипаж корабля продемонстрировал высокий уровень боевой подготовленности, выучки и мастерства. Сказалась большая партийно-политическая работа, проведенная в экипаже. Коммунисты и комсомольские активисты беседовали с воинами о заботе, проявляемой партией и правительством о военных моряках, призывали балтийцев ответить на это внимание новыми достижениями в совершенствовании боевого мастерства. Коммунисты и комсомольцы показали личный пример.

Начальник Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота генерал армии А.А. Епишев проявил глубокий интерес к организации партийно-политической работы на корабле, заслушал доклад заместителя командира корабля по политчасти».

Заслушать заслушал, но по-настоящему услышал лишь через год — в мятежном ноябре 1975-го.

Строки из писем:

«Я ровесница Саблина и я восхищаюсь его самоотверженным поступком... Ценой жизни решил разбудить нас, вывести из состояния глубокого сна. Он знал, на что шел! Сын может гордиться своим отцом. Л. Мороз, Москва».

«Я тоже служил в то время на Балтике, на корабле такого же проекта. Но мы ушли на Тихоокеанский флот в сентябре, и весть об этом случае до нас дошла уже в Индийском океане. Но преподнесли нам его совсем в другом виде: В. Саблин изменник Родины и хотел угнать корабль за границу и т.д. И все 15 лет я так и думал. Вот только горько, что уже нельзя извиниться перед В.Саблиным. Уверен, что многие, кто служил в то время на флоте, смогут понять теперь, с какой чудовищной неправдой мы жили, служили бок о бок».

В. Рубцов, Хабаровский край. Ванинский район.

«Я обращаюсь к «Комсомолке» с предложением начать кампанию по переименованию корабля «Сторожевой» в «Валерий Саблин». Хватит нам «Ждановых», «Ворошиловых», «Устиновых», «Калининых»! Народ, а не Главпур должен давать имена строящимся на его деньги кораблям! Имена подлинных героев, а не сталинско-брежневских креатур! Имя Валерия Саблина — Человека и Офицера — выступившего против извратившей и изолгавшей идею социализма бюрократическо-авторитарной шайки, должно навечно остаться в памяти советского народа!

Константин Чуприн, член КПСС, г. Баку».

«Люди издавна путают понятие «родина» с понятием «государство» — пишет Николай Кудряков из Десногорска. — А разница между этими понятиями очевидна уже на уровне грамматики: слово «родина» имеет общий корень со словом «народ», слово «государство» — со словом государь. Так что делать народу, когда государь жесток и неразумен? Вот и получается, что выступить на защиту родины иногда означает — восстать против государства.

Валерий Саблин поступил согласно присяга — он выступил на защиту своей Родины, и защищал ее, не щадя своей крови и самой жизни. И то, что Саблин был политработником, убежденным марксистом — очень характерно. Я помню, как в 1984 году, придя на второй курс Университета марксизма-ленинизма, я услышал буквально следующее: изучать марксизм-ленинизм необходимо для того, чтобы бороться с теми, кто нами правит. С этого заявления началось первое занятие по научному коммунизму. Человек, действительно узнавший и понявший Маркса и Ленина, не может не быть убежденным и последовательным врагом той общественной системы, в которой мы жили.

Вопрос в том, как бороться. И в этом смысле поступок Саблина — это авантюра. Петра Петровича Шмидта матросы сами

позвали. Он согласился возглавить выступление на «Очакове», согласившись разделить их судьбу. Матросов «Сторожевого» Вальерий Саблин подставил, сделал их заложниками. Делать такие вещи можно лишь тогда, когда люди разделяют твои убеждения, идут на риск сознательно. Сахаров и Солженицын при любом исходе отвечали за свои поступки и слова сами. Саблин сделал заложниками десятки человек. И вот в этом самый главный урок событий на Балтике. Чтобы бороться с государством — хотя бы и во имя народа — надо либо оставаться рыцарем-одиночкой, как Радищев, как Сахаров. Либо — организуя и воспитывая людей, создавая организацию революционеров — людей, на все идущих сознательно. Иначе любая революционность оборачивается авантюризмом и неизбежно приводит к гибели невинных людей. Бомбы, летящие с баррикады в батальон карателей — это одно. Бомба, бросаемая из-за угла и калечащая, помимо главной жертвы — министра или генерала — случайных прохожих, это совсем другое.

Ну что же, нельзя забывать, что мировоззрение Саблина вызревало на марксистско-коммунистических идеях. Он действовал в рамках партийной, революционно-большевистской морали, а логика ее позволяет во имя высшего блага большинства приносить в жертву невинное меньшинство.

Авторы немалой части писем увидели в Саблине только авантюриста и задают себе единственный вопрос: «Куда призывает молодежь нашей страны поступок В.Саблина? Для чего молодежная газета поместила такую статью?

Член КПСС А. Кузьменко, участник ВОВ, г.Рязань».

«С горечью вынужден констатировать, что публикация данного очерка отнюдь не способствует патристическому воспитанию нашей молодежи... Не следует забывать старинный российский военный призыв: «За Веру, Царя и Отечество!» Веру у нас отобрал тот, величием которого проникся военный преступник Саблин, Царя свергли и расстреляли тоже не без его участия. А Отечество у нас осталось — наша Родина, земля предков. И задача Вооруженных Сил защищать Отечество от посягательства на него извне, которые в истории еще долго не прекратятся. Каждый воин должен на своем посту укреплять Вооруженные Силы, независимо от того, хорош или плох правитель, стоящий во главе Отечества в данное время... Кто знает, сколько еще появится тайных или явных сторонников «партийных» переворотов в Вооруженных Силах?.. Считаю, настало время убрать институт «политиканов» из ВС страны. Каждый, гражданин на время служ-

бы не должен состоять ни в какой партии. К этому разумному выводу пришли руководители многих стран Варшавского договора и, к сожалению, раньше нас.

Ветеран Вооруженных Сил, подполковник запаса В. Бабич, Ленинград».

Раиса Аркадьевна Огнева, член КПСС, г.Калининград:

«Нет, не готово наше общество к таким героям и не герои плохи, а жизнь наша слишком сложна... Я полностью разделяю мнение генерал-майора юстиции А. Борискина: «Авантюризм, в том числе и политический тем более, если он опирается на противоправные действия, ничем не может быть оправдан и приводит к элементарной уголовщине».

«Прекрасные слова! — Воскликает читатель «Комсомолки» из Киева В. Ткаченко, — их бы напомнить тем, кто свергал законное правительство в октябре 17-го, кто разгонял Учредительное собрание в 18-м, кто уводил в Румынию воспетый во всех партийных хрестоматиях броненосец «Потемкин». Сколько поколений было воспитано на одах тех, кто опирался на достижение своих политических и как сегодня выясняется авантюрных целей «опираясь на противоправные действия». Я не восхваляю Саблина, но я понимаю его. Он боролся с политической системой теми средствами, которыми система эта его и вооружила».

Подполковник Анатолий Юдин, г.Рига:

«Я полагаю, напрасно некоторые авторы изображают Саблина пострадавшим за идейные разногласия, «буревестником» новых политических взглядов. На деле его поступок — нарушение военной присяги, дешевый политический авантюризм, граничащий с элементарной уголовщиной.

Так думают и мои сослуживцы, которым довелось принять участие в пресечении ухода БПК «Сторожевой» к берегам Швеции. Ибо, если следовать их логике, то можно оправдать не только Саблина, но и воздушных террористов, убивших бортпроводницу Надю Курченко, и небезызвестного летчика Беленко, угнавшего МиГ-25 в Японию. А почему бы и нет? Ведь они тоже якобы боролись с «системой», выступали таким «неординарным» способом против тоталитарного режима. Следовательно, они не клятвопреступники, а герои? Но, извините, назвать их таковыми просто язык не поворачивается».

«В статье «Последний парад» вы были обязаны назвать фамилии и нынешние должности прокурора, судей и исполнителей приговора Саблину. Не для суда над ними, а чтобы страна знала всех своих героев. Не сомневаюсь, что после процесса они выросли в должностях, и сейчас, конечно, за перестройку.

Е.Верещук, экскаваторщик, Магаданская обл., п.Духот».

«Убедительно прошу откликнуться на мое письмо и помочь нашему музею — Музею П.П. Шмидта — в сборе материалов, документов, фотографий, реликвий, связанных с именем Валерия Саблина. Я думаю, мы обязаны рассказать о нем в экспозиции нашего музея. Знаменательно, что и в годы застоя среди офицеров морского флота нашелся человек с совестью лейтенанта Шмидта. И еще одно совпадение. Валерий окончил тоже училище, в стенах которого учился и П.П. Шмидт.

Заведующая музеем П.П. Шмидта Лидия Иващенко, г.Очаков».

«Я автор песен, две из которых получили широкую известность «Медленным шагом, робким зигзагом» (1953) и «По тундре, по железной дороге» (1942). Последняя вошла в сборник лагерной поэзии, выпускаемый издательством «Московский рабочий». Песня о Валерии Саблине — не случайный эпизод в моей творческой биографии. Ее пели уже со второй половины 70-х годов на вечеринках и сходках в Москве, Киеве, на Урале. Те, кто слышал песню, частенько удивлялись: замполит, а решился на такое... Тогда я обычно напоминал слова Солженицына... «я верю, что здоровые силы русского народа имеются на всех ступенях социальной лестницы».

Песня написана на мотив «Варяга»:

...Команда в застенках. А Саблин казнен.
Их подвиг стране неизвестен.
И только в сердцах обездоленных жен
Звучит лебединою песней...

Григорий Шурмак, г. Электросталь

«Почему, — вопрошает в своем письме — капитан-лейтенант А. Давыдов, — пусть даже за попытку измены Родине человека втихую расстреляли и его просьба о помиловании отклонена. Ведь поступили более жестоко, чем самодержец всероссийский с декабристами... Как офицер флота знаю, что в одиночку никакой авантюрист такой корабль как «Сторожевой» (я сам служу на корабле такого же проекта) вместе с его экипажем, у членов которого есть семьи, дети, родные, Родина, наконец, угнать за грани-

цу не сможет... Кому-то и по сей день не выгодно проливать свет на «дело Саблина». Ведь если это был не примитивный угон, а политический протест, тогда это пример, на котором надо воспитывать всех и в первую очередь политработников, институт которых в годы застоя послужил удобной подстилкой для клана командно-административной системы».

Письма эти, как венки из терний и роз пусть лягут к подножью безвестной могилы капитана 3-го ранга Валерия Саблина, похороненному не по морскому и не по людскому обычаю.

ТОЛЬКО ДОКУМЕНТЫ...

(Из Особой папки ЦК КПСС)

Из Обращения Саблина и советскому народу, записанного на магнитную пленку (расшифровка органов следствия КГБ):

«Товарищи! Прослушайте, текст выступления, с которым мы стремимся выступить по радио и телевидению.

Прежде всего большое спасибо вам за поддержку, иначе бы я не беседовал сегодня с вами. Наше выступление не есть предательство Родины, а чисто политическое, прогрессивное выступление, и предателями «Родины будут те, кто пытается нам помешать. Мои товарищи просили передать, что в случае военных действий против нашей страны мы будем достойно защищать ее. А сейчас наша цель другая: поднять голос правды.

Мы твердо убеждены, что необходимость изложить свои взгляды на внутреннее положение в нашей стране, причем чисто критического плана по отношению к политике Центрального Комитета КПСС и Советского правительства, имеется у многих честных людей в Советском Союзе.

<...> Ленин мечтал о государстве справедливости и свободы, а не о государстве жесткого подчинения и политического бесправия. <...> Я думаю, нет смысла доказывать, что в настоящее время слуги общества уже превратились в господ над обществом. На этот счет каждый имеет не один пример из жизни. Мы наблюдаем игру в формальный парламентаризм при выборах в советские органы и в исполнении Советами своих обязанностей. Практически судьба всего народа находится в руках избранной элиты в лице Политбюро ЦК КПСС. Всеобъемлющая концентрация власти, политической, государственной, стала стабильным и общепризнанным фактом. Особенно роковую роль в развитии революционного процесса в нашей стране сыграло уничтожение инакомыслящих в период культа личности Сталина, Хрущева. А сейчас, к сведению, тоже ежегодно арестовывается до 75 человек по политическим мотивам.

вам. Пропала вера в существование справедливости в нашем обществе. А это первый симптом тяжелой болезни общества. <...> Почему-то считается, что народ должен довольствоваться фактами и быть политически безвольной массой. А народу нужна политическая активность. ...Скажите, где, в каком печатном органе или в передаче радио и телевидения допускается критика верхов? Это исключено. И мы должны честно признаться, что у нас нет политического или общественного органа, который бы позволил развернуть дискуссию по многим спорным вопросам общественного, политического, экономического и культурного развития нашей страны, так как все находится под давлением партийных и государственных органов. Самый передовой в социальном развитии строй в исторически короткий период времени, 50 лет, преломился в такую социальную систему, в которой народ оказался в затхлой атмосфере беспрекословной веры в указание свыше, в «атмосфере политической бесправности и бессловесности, в которой процветает боязнь выступить против партии и иного государственного органа, так как это отразится на личной судьбе. Наш народ уже значительно пострадал и страдает из-за своего политического бесправия. Только узкому кругу специалистов известно, сколько вреда принесло и приносит волонтаристское вмешательство государственных и партийных органов в развитие науки и искусства, в развитие вооруженных сил и экономики, в решение национальных вопросов и воспитание молодежи.

Мы, конечно, можем миллион раз хохотать над сатирой Райкина, журнала «Крокодил», киножурнала «Фитиль», но должны же когда-то появиться слезы сквозь смех по поводу настоящего и будущего Родины. Пора уже не смеяться, а привлечь кое-кого к всенародному суду и спросить со всей строгостью за весь этот горький смех. Сейчас в нашей стране сложилась сложная ситуация: с одной стороны, с внешней, официальной, в нашем обществе всеобщая гармония и социальное согласие, ни дать ни взять — всенародное государство, а с другой стороны — всеобщая индивидуальная неудовлетворенность существующим положением дел. <...> Наше выступление — это только маленький импульс, который должен послужить началом всплеска. <...> Будет ли революция коммунистическая носить характер острой классовой борьбы в виде вооруженной борьбы или ограничится политической борьбой? Это зависит от ряда факторов. Во-первых, сразу ли поверит народ в необходимость социальных преобразований. И в то, что путь к ним только через коммунистическую революцию. Или это будет длительный процесс роста общественного понимания, политического сознания. Во-вторых, будет ли создана в ближайшее

время организующая и вдохновляющая сила революции, то есть новая революционная партия, опирающаяся на новую передовую теорию. И, наконец, насколько яростно верхи будут оказывать сопротивление революции, топить ее в крови народной, а это во многом зависит от того, на чью сторону встанут войска, милиция и другие вооруженные части. Можно лишь теоретически предположить, что наличие современных средств информации, связи и транспорта, а также высокий культурный уровень населения, большой опыт социальных революций в прошлом позволят нашему народу заставить правительство отказаться от насильственных контрреволюционных мер и направить революцию по мирному пути развития. Однако, мы никогда не должны забывать, что революционная бдительность — основа успеха борьбы в революционную эпоху, и поэтому надо быть готовым к различным поворотам истории. Главная наша задача на настоящий момент, когда по всей стране нет пока широкой сети революционных кружков, нет ни профсоюзных, ни молодежных, ни общественных (а они будут расти быстро, как грибы после дождя), главная задача сейчас — вселить в людей непоколебимую веру в жизненную необходимость коммунистической революции, в то, что иного пути нет, все иное приведет к внутренним, еще большим осложнениям и мучениям. И сомнения одного поколения все равно выльются в резолюцию следующего поколения, более болезненную и тяжелую. Эта вера в необходимость революции будет тем дождем, который даст организационные всходы.

<...> Сразу же возникает вопрос — кто, какой класс будет гегемоном революции? Это будет класс, трудовой, рабоче-крестьянской интеллигенции, к которому мы относим, с одной стороны, высококвалифицированных рабочих и крестьян, а с другой стороны — инженерно-технический персонал в промышленности и сельском хозяйстве. За этим классом — будущее. Это класс, который постепенно превратится в общество без классов после коммунистической революции. А кто будет противостоять этому классу? Каково социальное лицо противника? Класс управляющих. Он не является многочисленным, но у него сконцентрировано руководство экономикой, средствами информации, финансы. На базе него построена вся государственная надстройка, и за счет него она держится. К классу управляющих относятся партийные и профсоюзные освобожденные работники, руководители крупных и средних производственных коллективов и торговых центров, кто успешно использует, не нарушая, конечно, советских законов, социалистическую систему хозяйствования для личного обогащения, личного утверждения в обществе в качестве хо-

зяина, путем получения через государственную сеть дополнительных материальных и моральных льгот. Эта новая система эксплуатации путем оборота капитала через государственный бюджет требует еще подробного изучения для разоблачения и разрушения. <...>

И, наконец, стержневой вопрос любой революции — это вопрос власти... Предполагается... что, во-первых, нынешний государственный аппарат будет основательно очищен, а по некоторым узлам разбит и выброшен на свалку истории, так как он глубоко заражен семейственностью, взяточничеством, карьеризмом, высокомерен по отношению к народу, во-вторых, на свалку должна быть выброшена система выборов, превращающая народ в безликую массу. В-третьих, должны быть ликвидированы все условия, порождающие всесильность и бесконтрольность государственных органов со стороны народных масс. Будут ли эти вопросы решаться через диктатуру ведущего класса? Обязательно! Иначе вся революция закончится захватом власти — и не более. Только через величайшую всенародную бдительность — путь к обществу счастья». <...>

«А теперь прослушайте радиogramму, которую предполагается дать в адрес командования Флота о нашем выступлении.

Радиogramма в адрес Главнокомандующего ВМФ СССР

Прошу срочно доложить Политбюро ЦК КПСС и Советскому правительству, что на БПК «Сторожевой» поднят флаг грядущей коммунистической революции.

Мы требуем: первое — объявить территорию корабля «Сторожевой» свободной и независимой от государственных и партийных органов в течение года.

Второе — предоставить возможность одному из членов экипажа по нашему решению выступать по Центральному радио и телевидению в течение 30 минут в период с 21.30 до 22.00 по московскому времени ежедневно...

Третье — обеспечивать корабль «Сторожевой» всеми видами довольствия согласно нормам в любой базе.

Четвертое — разрешить «Сторожевому» постановку на якорь и швартовые в любой базе и точке территориальных вод СССР.

Пятое — обеспечить доставку и отправку почты «Сторожевого».

Шестое — разрешить радиопередачи радиостанции «Сторожевого» в радиосети «Маяк» в вечернее время».

Вместо эпилога

«Оснований для утверждения о намерении САБЛИНА увести корабль в Швецию в ходе расследования не выявлено».

Из докладной записки министру обороны СССР

«Министру обороны Союза ССР
Маршалу Советского Союза
товарищу ГРЕЧКО А.А.
Докладываем!

Комиссия, назначенная Вашим приказом N 800105 от 9 ноября 1975 года, произвела расследование случая неповиновения, имевшего место 8—9 ноября с. г. на большом противолодочном корабле «Сторожевой» 128-й бригады ракетных кораблей Балтийского флота. <...>

<...> На корабле находилось 194 человека. Из них: офицеров — 15, мичманов — 14, старшин и матросов — 165; членов КПСС — 7, кандидатов в члены КПСС — 9, комсомольцев — 164. В составе экипажа представители 18 национальностей, в том числе: 111 русских, 22 украинца, 12 белорусов, 5 латышей, 5 молдаван, 3 литовца, 2 поляка и др. По социальному положению: 114 рабочих, 19 колхозников, 29 служащих, 32 учащихся. <...>

Самовольный выход корабля в море и неповиновение командованию явились следствием преступных действий бывшего заместителя командира корабля по политической части САБЛИНА, злобного перерожденца-антисоветчика, прикрывавшегося формой офицера, которому путем демагогических заявлений и обмана удалось временно склонить на свою сторону часть личного состава корабля.

Чрезвычайное происшествие явилось также следствием неосознанных действий определенной группы людей, поддавшейся на демагогическую, лживую агитацию врага, который в течение длительного времени вынашивал преступные замыслы против существующих порядков в партии и нашем государстве. Используя высокий авторитет занимаемой должности, зная психологию многих своих подчиненных, тонко играя на их чувствах, подтасовывая факты, САБЛИН сумел убедить психологически неустойчивую часть личного состава в том, что он только хочет публично выступить с критикой недостатков в политическом, социальном и экономическом развитии нашей страны.

<...> Изучение личных записей САБЛИНА, отдельных подобранных им материалов, поведение при обследовании позво-

ляют охарактеризовать его как человека с болезненным честолюбием, одержимого навязчивой идеей и стремлением выделяться из общей массы и стать исключительной личностью. Одним из путей этого он считал публичные выступления по телевидению.

В ходе работы комиссией не выявлено наличие на БПК «Сторожевой» вражеской антисоветской группы и так называемого «ревкома», фигурирующего в телеграмме на имя Главнокомандующего ВМФ. Саблин действовал единолично при поддержке нескольких человек, обработанных им лишь накануне открытых действий. Оснований для утверждения о намерении САБЛИНА увести корабль в Швецию в ходе расследования не выявлено. <...>

САБЛИН является ярким замаскировавшимся антисоветчиком, который длительное время вынашивал свои враждебные взгляды. Демагогическими приемами, используя высокий должностной авторитет, недостаточную политическую зрелость, пассивность и нерешительность части личного состава, ему удалось овладеть на короткое время положением на корабле.

<...> Командир корабля капитан 2-го ранга ПОТУЛЬНЫЙ А.В. не сумел воспитать экипаж как единый боевой коллектив, способный в любой обстановке выполнить свой воинский долг. Расследование также показало определенную пассивность и растерянность офицерского состава, не сумевшего своевременно распознать антисоветский смысл выступлений и намерений предателя и решительно пресечь его деятельность.

В самовольном выходе корабля во многом повинны дежурная служба и руководство Рижского морского гарнизона... Получив доклад от старшего лейтенанта ФИРСОВА В.В., начальник штаба 78-й бригады кораблей охраны водного района капитан 2-го ранга ВЛАСОВ В.С., начальник особого отдела бригады капитан 2-го ранга ЮДИН В.Г., дежурный по рейду командир подводной лодки С-263 капитан 2-го ранга СВЕТЛОВСКИЙ Л.В. вместо принятия должных мер длительное время совещались, с большим запозданием доложили по команде, проявили нераспорядительность и нерешительность, граничащие с трусостью.

Одновременно докладываем:

Во время бесед комиссии и руководящих должностных лиц Военно-Морского Флота со многими членами экипажа, а также со всем личным составом большого противолодочного корабля «Сторожевой», люди выражали возмущение предательскими действиями САБЛИНА и просили заверить Министра обороны, ЦК КПСС и лично товарища БРЕЖНЕВА Л.И. в том, что матросы, старшины, мичманы и офицеры глубоко осознали свое временное заблуждение и готовы к выполнению своего воинского долга.

По чрезвычайному происшествию ведется следствие для привлечения виновных к уголовной ответственности. Проведено партийное собрание, на котором явные виновники, в том числе САБЛИН, исключены из рядов КПСС. Экипаж корабля расформирован, корабль передан новому экипажу. БПК «Сторожевой» находится в строю, оружие и технические средства в исправности. На флоте приняты меры к исключению утечки информации.

Председатель комиссии

Адмирал Флота Советского Союза С. Горшков

Члены комиссии:

Генерал армии А. Епишев

Вице-адмирал П. Навойцев

Генерал-лейтенант С. Романов

Контр-адмирал В. Сабанеев

Генерал-майор Ю. Любанский

Контр-адмирал М. Гуляев

17 ноября 1975 года.

Из магнитофонной расшифровки следственными органами КГБ:

«ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Говорит большой противолодочный корабль «Сторожевой».

Мы не предатели Родины и не авантюристы, ищущие известности любыми средствами. Назрела крайняя необходимость открыто поставить ряд вопросов о политическом, социальном и экономическом развитии нашей страны, о будущем нашего народа, требующих коллективного, именно всенародного, обсуждения без давления со стороны государственных и партийных органов. Мы решились на данное выступление с ясным пониманием ответственности за судьбу Родины, с чувством горячего желания добиться коммунистических отношений в нашем обществе. Но мы также сознаем опасность быть уничтоженными физически или в моральном смысле соответствующими органами государства или наемными лицами. Поэтому мы обращаемся за поддержкой ко всем честным людям нашей страны и за рубежом. И если в указанное нами время, день, в 21.30 по московскому времени, на экранах ваших телевизоров не появится один из представителей нашего корабля, просьба не выходить на следующий день на работу и продолжать эту телевизионную забастовку до тех пор, пока правительство не откажется от грубого попрания свободы слова и пока не состоится наша с вами встреча.

Поддержите нас, товарищи! До свидания».

Радиотелеграфист от себя добавил: «Прощайте, братишки!..

Любимая поговорка Валерия Саблина: «Ничто не вышибет нас из седла». Его любимая песня — «Я люблю тебя жизнь, и надеюсь, что это взаимно...

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ОСОБАЯ ПАПКА ЦК КПСС

Комитетом госбезопасности заканчивается расследование уголовного дела по обвинению капитана III ранга САБЛИНА В.М. и других военнослужащих — участников преступной акции 8—9 ноября 1975 г. на большом противолодочном корабле «Сторожевой» (всего 14 человек).

Установлено, что организатор этого преступления САБЛИН, подпав под влияние ревизионистской идеологии, на протяжении ряда лет вынашивал враждебные взгляды на советскую действительность. В апреле 1975 г. он, сформулировав их в письменном виде, записал на магнитофонную ленту, и во время событий на «Сторожевом» выступил с записанной речью перед личным составом. Политическая «платформа» САБЛИНА включала набор заимствованных из буржуазной пропаганды клеветнических утверждений об «устарелости марксизма-ленинизма, о «бюрократическом перерождении» государственного и партийного аппарата СССР и призывы к отстранению КПСС от руководства обществом, к созданию новой, «более прогрессивной» партии.

Весной 1975 г. он разработал детальный план захвата военного корабля, который намеревался использовать как «политическую трибуну» для выдвижения требований об изменении государственного строя в СССР и борьбы с Советской властью.

Готовясь к реализации этого плана, САБЛИН изучал настроения членов экипажа, приближал к себе отдельных военнослужащих, обрабатывал их в духе негативного отношения к советской действительности, однако, как установлено следствием, найти единомышленников и создать на корабле антисоветскую группу ему не удалось. Лишь за три дня до событий САБЛИН посвятил в свои преступные замыслы матроса ШЕИНА А.Н., заручился его поддержкой и передал для распространения магнитную ленту с речью антисоветского содержания.

ШЕИН до призыва на военную службу привлекался к уголовной ответственности за участие в хищении, в период службы имел 13 дисциплинарных взысканий, допускал политически нездоровые суждения.

Во время событий на «Сторожевом» ШЕИН, получив от САБЛИНА пистолет, оказал ему содействие в аресте командира корабля, принял участие в изоляции и охране офицеров и мичма-

нов, отказавшихся поддержать САБЛИНА, противодействовал попыткам отдельных членов экипажа освободить командира и арестовать САБЛИНА, нанес при этом телесные повреждения старшине КОПЫЛОВУ.

В целях вовлечения части экипажа в противоправные действия по захвату «Сторожевого» САБЛИН использовал свое служебное положение заместителя командира по политчасти, а для маскировки враждебных намерений прибег к изощренным демагогическим заявлениям, сопровождая их цитатами из произведений классиков марксизма-ленинизма.

В результате преступных действий САБЛИНА «Сторожевой» был самовольно угнан из Рижского залива за пределы советских территориальных вод в сторону Швеции (на 21 милю). Неоднократные и категорические требования командования о возвращении корабля в порт САБЛИН игнорировал. Только решительными мерами командования «Сторожевой» при участии членов экипажа был остановлен и возвращен на базу. Таким образом, большой противолодочный корабль на 16 часов был выведен из боевого состава Военно-Морского Флота.

На основании полученных в ходе следствия доказательств преступные действия САБЛИНА квалифицированы как изменнические, совершенные умышленно в целях подрыва существующего в СССР строя и в ущерб военной мощи нашей страны, а преступление ШЕЙНА — как пособничество в измене Родине.

Остальные обвиняемые: лейтенанты ВАВИЛКИН В.И. и ДУДНИК В.К., мичманы БОРОДАЙ В.М., ВЕЛИЧКО В.Г., ГОМЕНЧУК А.А., КАЛИНИЧЕВ В.А. и ХОМЯКОВ А.Т., старшина СКИДАНОВ А.В., матросы АВЕРИН В.Н., БУРОВ М.М., САЛИВОНЧИК Н.Ф. и САХНЕВИЧ Г.В. — молодые люди в возрасте 20—23 лет, не имеющие еще достаточного жизненного опыта и политической закалки, были спровоцированы и введены в заблуждение САБЛИНЫМ. О его изменнических замыслах они не знали, однако, поддержав действия САБЛИНА, по существу способствовали ему в реализации преступного плана захвата корабля. Некоторые из них еще на первоначальном этапе отказались от поддержки САБЛИНА и были им изолированы. Из материалов следствия усматривается, что умысла изменить Родине они не имели, в связи с неожиданностью и скоротечностью событий своевременно не разобрались во враждебной направленности намерений САБЛИНА и не смогли их правильно оценить.

На допросах указанные обвиняемые дали исчерпывающие показания о совершенных правонарушениях, глубоко раскаява-

ются в содеянном и осуждают преступную авантюру САБЛИНА. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Действия этой группы обвиняемых подлежат квалификации как воинские преступления.

С учетом установленных обстоятельств и причин чрезвычайного происшествия на БПК «Сторожевой» считаем целесообразным уголовное дело на САБЛИНА и ШЕИНА по обвинению в измене Родине направить на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда СССР.

Остальных 12 обвиняемых, совершивших воинские преступления, в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1958 г. и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1958 г. и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1973 г., регламентирующими вопросы привлечения военнослужащих к уголовной ответственности, суду не предавать, дела на них прекратить, строго наказать в дисциплинарном порядке властью министра обороны СССР.

Просим рассмотреть.

Проект постановления ЦК КПСС прилагается.

Ю. АНДРОПОВ А. ГРЕЧКО Р. РУДЕНКО Л. СМЕРНОВ.

18 февраля 1976 года»¹.

ПРИГОВОР

Именем Союза Советских Социалистических Республик

13 июля 1976 г. г. Москва

Военная коллегия Верховного суда СССР в составе: председательствующего генерал-майора юстиции БУШУЕВА Г. И. и народных заседателей:

генерал-лейтенанта-инженера ЦЫГАНКОВА И.С., генерал-майора инженерных войск КОЗЛОВА Б.В. при секретарях: полковнике административной службы Афанасьеве М.В. и служащем Советской Армии Кузнецове В.С. с участием государственного обвинителя — старшего помощника Главного военного прокурора генерал-майора юстиции Шантурова В.С. и защитников — адвокатов Аксенова Л.В. и Попова Л.М. рассмотрела в закрытом судебном заседании в помещении Верховного суда СССР уголовное дело по обвинению военнослужащих:

¹ Этот документ защитник Саблина на общественном слушании дела адвокат Юрий Шмидт квалифицировал как партийное вмешательство в судопроизводство и просил передать в Конституционный суд как свидетельство подмены судебной власти диктатором КПСС.

1. Капитана III ранга Саблина Валерия Михайловича, родившегося 1 января 1939 года в городе Ленинграде, русского, исключенного из членов КПСС в связи с данным делом, имеющего высшее образование, женатого, ранее не судимого, на службе в Военно-Морском Флоте СССР с июля 1956 года, — в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» статьи 64 УК РСФСР.

2. Матроса Шеина Александра Николаевича, родившегося 7 марта 1955 года в городе Рубцовске Алтайского края, русского, исключенного из членов ВЛКСМ в связи с данным делом, с образованием 10 классов, холостого, не имеющего судимости, на службу в Военно-Морской Флот СССР призванного в мае 1973 года, — в совершении преступления, предусмотренного ст. 17 и пунктом «а» ст. 664 УК РСФСР.

При назначении Шеину наказания суд, принимая во внимание признание им своей вины и раскаяние в содеянном, что преступление он совершил под влиянием Саблина, который был его начальником, а также степень и характер его участия в совершении преступления, находит возможным применить к нему ст. 43 УК РСФСР и не применять ссылку.

В отношении Саблина, учитывая исключительную опасность совершенного им преступления, суд считает необходимым применить исключительную меру наказания, предусмотренную законом, хотя в судебном заседании Саблин полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении ребенка, а за время военной службы неоднократно поощрялся.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, ст. ст. 301—303, 312—315 и 317 УПК РСФСР, Военная коллегия Верховного суда Союза ССР

приговорила:

Саблина Валерия Михайловича признать виновным в измене Родине, т. е. в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» ст. 64 УК РСФСР, и на основании этого уголовного закона подвергнуть его смертной казни — расстрелу без конфискации имущества за отсутствием такового.

На основании ст. 36 УК РСФСР Саблина В.М. лишить воинского звания «капитан III ранга». Внести представление в Президиум Верховного Совета СССР о лишении Саблина В.М. ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и медалей «За воинскую доблесть», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а

также министру обороны СССР о лишении Саблина В.М. медалей «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» II и III степени.

Шейна Александра Николаевича признать виновным в соучастии в измене Родине (в качестве пособника), т. е. в совершении преступления, предусмотренного ст. 17 и пунктом «а» ст. 64 УК РСФСР, и на основании этого уголовного закона, с применением ст. 43 УК РСФСР, лишить его свободы сроком на 8 (восемь) лет, из которых первые два года содержать в тюрьме, а остальной срок — в исправительно-трудовой колонии строгого режима, без ссылки и без конфискации имущества за отсутствием такового.

Начальный срок отбытия Шеиным А.Н. наказания, с зачетом предварительного заключения, исчислять с 9 ноября 1975 года.

Вещественные доказательства, перечисленные в том 39 лд, 211 (в части первой пункта 6) — оставить при деле, перечисленные в том 39 лд. 211—212 (часть 2 пункта 6) — возвратить по принадлежности в воинские части: два пистолета и две обоймы, переданные на хранение в войсковую часть 49358, возвратить по принадлежности в воинскую часть.

Судебные издержки на общую сумму 243 рубля 10 коп. распределить следующим образом: взыскать с Шеина Александра Николаевича в доход государства 186 (сто восемьдесят шесть) рублей 50 копеек; остальную сумму (56 руб. 60 коп.) — принять на счет государства.

Приговор обжалованию и опротестованию в кассационном порядке не подлежит.

ВЕРНО: Судебный секретарь Военной коллегии Верховного суда СССР.

И, наконец, как образец социалистической гуманности:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об отклонении ходатайства о помиловании Саблина В.М., осужденного к смертной казни

Рассмотрев ходатайство о помиловании Саблина В.М., осужденного к смертной казни, предложения в связи с этим Прокуратуры СССР и Верховного суда СССР, ввиду исключительной тяжести совершенного им преступления, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

Отклонить ходатайство о помиловании САБЛИНА Валерия Михайловича, рожд. 1939 года, уроженца гор. Ленинграда.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
(Н. Подгорный)
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
(М. Георгадзе) Москва. Кремль. 2 августа 1976 г.
№ 4305 — IX.»
Таков финал этой трагедии.

СУДИЛИ КОЛОКОЛ...

Договорились сразу, что это не будет пересуд того — брежневского суда — закрытого, военного, вынесшего в июле 1976 года расстрельный приговор. Это будет общественное слушание дела капитана 2-го ранга Саблина по регламенту суда присяжных со всеми установлениями, принятыми на 1915 год. Так замыслилась весной 1992 года телевизионная программа «Процесс» под эгидой известного теледокументалиста Игоря Беляева.

Все лето пять режиссерских групп, так и хочется назвать их следственными группами, разъезжали по стране — Петербург, Минск, Владивосток, Нижний Новгород, Калининград — встречались с участниками событий на «Сторожевом», с теми, кто вел преследование корабля, останавливал его, арестовывал инсургентов, судил их... Разумеется, далеко не все соглашались давать свои показания перед телекамерами. Наотрез отказался бывший командир «Сторожевого» капитан 2-го ранга запаса А. Потульный, бывший государственный обвинитель на процессе 1976 года генерал-майор юстиции А.С. Шантуров, под разными предложениями уклонились от присутствия в зале общественного слушания бывший адвокат Саблина Л.В. Аксенов, бывший следователь О.А. Добровольский, капитан 1-го ранга (в 1975-м — старший лейтенант) В. Фирсов.

Но согласились выступать бывший командующий Балтийским флотом в то время вице-адмирал запаса А.М. Косов, бывшие командиры дивизии и бригады ракетных кораблей, в состав которых входил когда-то «Сторожевой». Приехали в Москву многие матросы, старшины, мичманы, офицеры из экипажа корабля. Долго ломали голову над тем, кто или что будет символически представлять Саблина на скамье подсудимых: задержанный актер? Портрет Саблина? Папка с надписью: «Дело Саблина»? Не годилось ни то, ни другое, ни третье... Пока из Владивостока не вернулась съемочная группа режиссера Романа Хруща и не привезла с собой судовой колокол со «Сторожевого» — «рынду» в морском обиходе, снятого на ремонт по причине огромной трещины в бронзовом теле. Тогда — в ноябре 75-го — в «рынду» по-

пал осколок авиабомбы... Вот эту-то реликвию и водрузили на специальную тумбу перед судейским столом, накрытую черным бархатом.

Кажется, во второй раз в истории России, после наказания медного вечевоего глашатая из Новгорода, судили колокол... Тот самый, который по мысли Саблина, должен был набатом прогмечь на всю страну, на весь Союз. Как и его неудавшийся звонарь, колокол со славянской вязью на реборде «Сторожевой», был мертв. Разветвленная трещина и снятый язык лишали его жизни...

Он по-прежнему молчал. Но говорили моряки, ходившие с ним в моря...

Общественное слушание назначили на первые два октябрьских дня. Был снят уютный зальчик в Доме Российской прессы на Большой Дмитровке (ныне здесь Совет Федерации России). Хозяева Дома называли зал Павловским, но не в честь Императора Гроссмейстера Мальтийского Ордера, а по фамилии незадачливого Премьера, который проводил в этом зале одно из тайных заседаний будущего ГКЧП. Зрители и кандидаты в присяжные заседатели были приглашены из представителей различных политических партий России, общественных движений, государственных организаций. После жеребьевки определились двенадцать присяжных и двое запасных. Председательское кресло занял известный российский юрист Сергей Сергеевич Алексеев, возглавлявший до недавнего времени Конституционный суд СССР. Адвоката пригласили из Петербурга — Юрия Марковича Шмидта.

Я очень опасался, что общественное слушание выльется в некое театрализованное действо вроде литературного суда над Евгением Онегиным. Но с первых же минут процесса стало видно, что все собравшиеся меньше всего озабочены зрелищной стороной дела. Забыв о телекамерах, люди на свидетельской трибуне волновались, переживали, раскрывались и выкручивались, признавались и обличали так, как если бы именно сейчас решалась судьба Валерия Саблина. Собственно, так оно и было: разве что решалась, увы, не проблема его земного существования, решалась судьба его доброго имени.

Присяжным заседателям предлагалось ответить на три вопроса:

- уронил ли Саблин честь русского офицера?
- является ли он изменником Родины?
- нанес ли он своими действиями ущерб советскому народу?

Обвинение на слушании поддерживал профессиональный юрист Макс Хазин. Но фактическим обвинителем выступил вице-адмирал А.М. Косов, приглашенный в зал процесса, как свидетель. Можно было понять раздражение этого грузного «старорежимного» флотноначальника и против самого Саблина, и против попытки спасти его доброе имя. Ведь «рижское ЧП» случилось именно на его, косовском флоте, в бытность его командования всеми морскими силами советской Балтики. И именно ему, вице-адмиралу Косову, пришлось потом оставить этот высокий пост, понести служебное и партийное наказание.

Косов на трибуне являл собой совсем еще не забытый тип брежневского сановника, облеченного некогда почти безраздельной властью над вверенной ему «епархией», или говоря советским «новоязом» — «доверенном ему участке партийно-государственной работы». На его лице навечно застыла эта маска: брезгливо-недовольного высокомерия. Не знаю, быть может как раз это-то Ленин и называл «комчванством», но убежден в одном: именно такие «слуги народа», выбившиеся из грязи в князи — сколько же их было не только в Вооруженных Силах СССР! — спровоцировали выступление Саблина.

Обвинение Косова вполне укладывалось в дух и смысл Докладной записки, которую представила в ЦК КПСС Комиссия Министерства обороны во главе с Маршалом Советского Союза А.А. Гречко.

Вице-адмирал Косов:

— Восьмого ноября я позвонил на «Сторожевой» из Калининграда по ЗАСу — закрытой автоматической связи. Я не знал, что корабль уже захвачен, но меня насторожило то, что трубку взял не командир, а Саблин, его заместитель по политчасти. И даже не это, а то, что служебный разговор велся в непривычном порядке, не с теми оборотами речи... Лишь потом узнал, что сеанс связи обеспечивал не офицер (он был заперт в каюте), а мичман, старшина команды, который никогда этим делом не занимался. Саблин доложил мне, что все в порядке...

...Потом, когда пограничники просили дать им разрешение снести из пулеметов ходовую рубку вместе с Саблиным, я им не разрешил...

Потульный сам обезвредил захватчика. Потом сожалел, что не сразил его наповал. «Надо было или сразу или вообще не стрелять, — говорил он. — Сначала целился в печень, а потом передумал и выстрелил в ногу».

Между прочим это именно я должен был вручать Саблину орден «За службу Родине». Но он опоздал, и вручал член военного совета Шабликов. Слава Богу, что не я...

Полным диссонансом вышеприведенным документам — об одураченных несмысленных матросах — прозвучали показания самих матросов «Сторожевого», поднявшихся на трибуну вслед за вице-адмиралом Косовым.

Старшина 1-й статьи Соловьев. Русское рязанско-скуластое голубоглазое лицо со строгими усами, эдакий чуть окающий и якающий Садко-мореход:

— Да, это я вел «Сторожевой» в нейтральные воды! Я стоял на руле! На следствии меня спрашивали, почему я не направил корабль носом в берег, не посадил его на мель? Ведь у меня была такая возможность. Но я не стал этого делать, потому что я разделял и разделяю все взгляды Саблина на нашу тогдашнюю действительность. Я верил ему, как самому себе. И верю сейчас в правоту нашего выступления.

Матрос Копылов:

— Многие «годки», старослужащие матросы, быстро поняли, чем может обернуться для них саблинская авантюра. Дослужить оставалось всего ничего, а тут такое... Решили остановить корабль. Но как? Кто-то предложил засунуть баллон с кислородом в газотвод. Рвануло бы не хуже бомбы. Но передумали. А может, не успели. Сейчас трудно сказать...

Капитан-лейтенант в отставке В. Прошутинский. Судьба этого человека будто из горькой частушки 20-х годов:

Раньше был я прапор, золоты погоны,

А теперь я смазчик, лезу под вагоны...

Раньше выпускник ВМУРЭ — Высшего военно-морского училища радиоэлектроники — капитан-лейтенант Прошутинский возглавлял радиотехническую службу БПК «Сторожевой», повелевал мощными радарными и гидроакустическими комплексами. Теперь вот уже много лет ремонтирует в архангельском депо динамики вагонной радиотрансляции.

— Понимаете, если Саблин много лет готовился к своему выступлению, — рассказывает разжалованный офицер, — то для нас его заявление было совершенно неожиданно. И хотя все мы в душе были согласны с его словами, решиться следовать за ним я, например, не смог. Сразу же подумал, что станет с женой и двумя малыми ребятишками...

Матрос Петр Голосов, радиометрист:

— С началом нашего похода я находился на ГКП — главном командном пункте «Сторожевого». Саблин сам управлял кораб-

лем, включив навигационный лоатор «Дон». По выходе из Даугавы он попросил включить РЛС «Волгу» и я включил эту более мощную радиолокационную станцию.

После завтрака вышел на сигнальный мостик. Сигнальщики делали отмашку сопровождавшим нас кораблям. Те отвечали по громкой связи. Звук на воде хорошо слышен — издалека.

Потом прилетели самолеты. Мы думали — НАТОвские. Но разглядели звезды на крыльях. Не думали, что будут стрелять по боевому. В момент обстрела невольно глянул на морские часы, висевшие на ГКП: было 10.25. От мощного удара в борт «Сторожевой» накренился. Мелькнула мысль — «а не выпрыгнуть ли в воду?» Но удержался... И вдруг в ходовой рубке раздался громкий трескучий щелчок. Не сразу понял, что это пистолетный выстрел. Зашел в рубку, а там полно офицеров. И Саблин — раненый — на палубе в крови...

Матрос Геннадий Сахневич, белорус, приехал в Москву из Брестской области. На «Сторожевом» он дослуживал последний год.

— Я поддержал нашего зама, потому что он впервые сказал нам, матросам, всю правду. Такая страна богатая, а так бедно живем... И все поддержали, иначе бы не вывели БПК, не запустили бы движки. Ведь сами подумайте, такую махину, как океанский корабль, без офицеров, без спецов, на одном матросском энтузиазме в нейтральные воды привели! Это же понимать надо!

Общественное слушание дела Валерия Саблина, проведенное по инициативе Всероссийского общества истории флота, ряда правозащитных государственных и общественных организаций, закончилось 2 октября 1992 года.

Присяжные заседатели, среди которых были представители различных политических партий, Комитета по делам военнослужащих и их семей, Российской ассоциации жертв незаконных политических репрессий, Союза казаков, Христианско-демократического союза, фонда Всехвального апостола Андрея Первозванного вынесли единодушный вердикт — НЕ ВИНОВЕН.

В 1994 году военная коллегия Верховного суда РФ смягчила приговор. Смертную казнь расстрелянному офицеру отменили, дали 10 лет лишения свободы. Ему — уже лишенному жизни! Воистину, наш суд самый гуманный в мире.

*Рига — Ленинград — Горький — Марьина Горка — Омск
1988—2003 гг.*

Хронометрия события

- 8 ноября 1975 г. 18.00 — ужин на «Сторожевом». Затем, начало показа первого кинофильма в столовой личного состава.
- 19.00 — визит Саблина к командиру. Сообщает о ЧП.
- 19.10 — оба спускаются в носовые выгородки. Саблин запирает командира в каюте.
- 19.20 — матросы Шеин и Аверин подпирают люк запертого командира раздвижным упором (2-й БП РТС).
- 19.30 — выступление Саблина перед офицерами. Голосование шашками в мичманской кают-компании.
- 19.45 — арест офицеров.
- 20.00 — начало показа второго фильма «Броненосец “Потемкин”».
- 22.10 — сигнал «Большой сбор». Построение экипажа на юте. Выступление Саблина перед матросами. В это же время матросы Копылов и Набиев пытаются обезоружить матроса Шеина во 2-м тамбуре.
- 22.50 — попытка лейтенантов Степанова, Саитова и мичмана Ковальченкова арестовать Саблина в каюте лейтенанта Саитова и офицерском коридоре.
- 22.00—22.30 — старший лейтенант Фирсов покидает корабль и перебирается на подводную лодку.
- 23.00 — Фирсов на берегу, в Риге. На «Сторожевом» начато экстренное приготовление корабля к бою и походу. «Сторожевой» снимается с якорной бочки и выходит в Даугаву.
- 00.00 — Фирсов у дежурного по штабу Рижской военно-морской базы.
- 9 ноября 1.30—1.40 — оперативный дежурный штаба Балтийского флота сообщает Косову о самовольном уходе «Сторожевого» из Риги.
- 1.40—1.50 — вице-адмирал Косов прибывает на командный пункт Балтийского флота.
- 2.00—2.30 — Косов докладывает Главкому ВМФ Адмиралу Флота Советского Союза С. Горшкову о ЧП на «Сторожевом».
- 2.30 — Косов выходит на связь с Саблиным (до выхода корабля в залив).
- 4.00 — Адмирал Флота С. Горшков ведет разговор с Саблиным по

радиотелефону.

5.00 — министр обороны Маршал Советского Союза А.А. Гречко ведет разговор с Саблиным по радиотелефону.

5.00—6.00 — корабли под командованием капитана 1-го ранга Бобракова выходят из Лиепай на перехват «Сторожевого».

6.00 — поднята в воздух разведывательная авиация Балтийского флота. Доклад: в пятне нанесения удара 15—18 судов, не считая малых рыболовецких сейнеров.

6.30 — подняты в воздух армейские бомбардировщики.

7.00 — подняты ракетноносцы из Белоруссии (с аэродрома «Быково»).

8.00 — транспортный отцеп ракет. Появление пограничных катеров. Попытка передать в эфир воззвание: «Всем! Всем! Всем!».

9.40 — матросы Лыков, Набиев, старшина 2-й статьи Станкявичус освобождают запертых офицеров.

10.00 — матросы Лыков и Борисов взламывают люк 2-го поста РТС и освобождают командира Потульного. Раздача оружия.

10.09 — пограничные катера уходят.

10.20—10.32 — облеты самолетов. Обстрел. Арест Саблина.

Все трое летчиков, бомбивших «Сторожевой», умерли от рака. Первым скончался подполковник Поротиков...

Историческая справка

Первый корабль, который носил имя «Сторожевой», входил в состав Порт-артурской эскадры. До декабря 1904 года им командовал лейтенант Лукин, затем лейтенант Непенин. Миноносец «Сторожевой» принимал активное участие в морской обороне Порт-Артура и был подорван и затоплен при сдаче крепости японцам 2 января 1905 года.

Второй корабль, унаследовавший это имя, был построен на Балтике и принимал активное участие в первой мировой войне под командованием капитана 2-го ранга Коптева 2-го. В гражданскую войну корабль ходил под красным флагом. Разобран на металл в конце 1925 года.

Третий «Сторожевой» заложен в 1936 году. В 1940 году вошел в состав Краснознаменного Балтийского флота. Участвовал в обороне Ленинграда и Рижского залива. Потоплен в Ирбенском проливе немецкими самолетами в 1941 году.

Четвертый «Сторожевой» был построен на Калининградском судостроительном объединении «Янтарь». Переведен из класса

сторожевых кораблей в большие противолодочные в 1972 году. Корабль 2-го ранга. Многоцелевой. Главное назначение — поиск и уничтожение подводных лодок, охранение больших кораблей в составе ударных корабельных группировок. Может ставить мины, высаживать десанты.

Его основные тактико-технические данные:

Водоизмещение — 3800 т

Длина — 123 м

Ширина — 14 м

Осадка — 4,5 м

Скорость — 30 узлов

Экипаж — 250 человек

БПК вооружен зенитным ракетным комплексом, башенными артиллерийскими, реактивными противолодочными бомбометами.

Район плавания не ограничен.

Саблин — первый из политработников Балтийского флота был награжден орденом «За службу Родине».

Саблины в российском флоте

Старинная казачья фамилия Саблиных на флоте прижилась давно и прочно.

На царской яхте «Штандарт» служили сразу двое Саблиных — не родственников, однофамильцев, тезок и ровесников: Николай Васильевич Саблин и Николай Павлович Саблин.

Первый — Николай Васильевич, родившийся в 1880 году, окончил Морской корпус в 1901 году (за 60 лет до выпуска из него Валерия Саблина). Служил на эскадренном броненосце «Ретвизан», участвовал в обороне Порт-Артура. Потом был начальником Сатакундской флотилии. Был зачислен в Гвардейский экипаж. Революцию встретил в чине капитана 2-го ранга.

Эмигрировал в Румынию. Жил в Бухаресте. В 1928 году вступил в Кружок офицеров российского императорского флота и вскоре возглавил его. Сотрудничал с парижским журналом «Военная быль», публиковался в «Морском журнале», во многих эмигрантских газетах. Написал воспоминания «Эскадренный броненосец «Ретвизан» и «Десять лет на императорской яхте «Штандарт».

В 1945 году с вступлением советских войск в Румынию был арестован и депортирован в СССР, отбывал свой срок в Джезказгане (Казахстан). В виду тяжелой болезни был передан румынским властям в 1955 году. Но через три года был арестован румынскими «чекистами» и приговорен к 28 годам заключения.. Умер в

тюрьме города Деж 20 января 1962 года в возрасте 82 лет.

Интересно, что Николай Васильевич Саблин приходился родным дядей Любови Евгеньевне Белозерской, второй жене Михаила Булгакова. Именно ей посвящены «Белая гвардия», «Бег» и «Собачье сердце».

Судьба второго Николая Саблина — Павловича, была более милостивой, если не считать, что жизненный путь его оборвался в 57 лет. Капитан 1-го ранга Саблин был лицом приближенным к императору, его часто приглашали на обед, семейные прогулки и вечера.

Скончался он в Париже 21 августа 1937 года и погребен на кладбище Сен-Женевьев де Буа. По всей вероятности, полковник лейб-гвардии Конной артиллерии Александр Павлович Саблин, приходился ему братом. Он также кончил свои дни в Париже в 1961 году.

В «Морском биографическом словаре» имя Валерия Саблина мы не найдем (хотя его кумир — лейтенант Шмидт представлен как подобает герою отечества). Но мы обнаружим в этом авторитетном издании двух других Саблиных — одного контр-адмирала, отнесенного советскими историками к «белогвардейцам», другого Героя Социалистического Труда, капитана мощного землесоса - «Северо-Западный-14».

Контр-адмирал Михаил Павлович Саблин принял Черноморский флот от вице-адмирала Колчака в лихолетье 1917 года. Он также питомец Морского корпуса (выпуска 1890 года), участвовал в русско-китайской и русско-японских войнах, командовал миноносцем «Завидный», канонерской лодкой «Донец». Цусимское сражение принял на борту миноносца «Бравый», который в числе немногих кораблей смог прорваться во Владивосток. В 1912 году получил в командование линейный корабль «Ростислав» на Черноморском флоте. В годы первой мировой войны командовал 2-й бригадой линкоров на Черном море, был награжден многими боевыми орденами и золотым оружием.

Умер он от рака печени 17 октября 1920 года в Ялте и погребен в Севастополе — в усыпальнице знаменитых адмиралов. Однако, с приходом в Крым Красной армии адмиральская усыпальница в нижнем храме Свято-Владимирского собора была уничтожена.

Саблин Петр Петрович, углубитель морей и каналов, окончил в 1970 году Горьковский институт инженеров водного транспорта, в котором преподавал в то время отец Валерия Саблина — Михаил Петрович Саблин.

И, наконец, еще один Саблин — Юрий Борисович, капитан 2-го ранга, погибший на «Курске». Он родом из Севастополя, родился в 1966 году в семье офицера-подводника. Сам стал подводником — командиром электромеханической боевой части новейшего атомного подводного крейсера. Писал стихи. В том числе и эти, пророческие:

А Родина тебе венок сплетет
Из нежных пластмассовых цветов.
По совести судить вновь не смогла
Всю правду рассказать, не приукрасив слов.

Но верю я, что время то придет
И будет ясно, кто был виноват.
Ну, а пока — мы вновь за шагом шаг
Идем по лестнице крутой, ведущей в ад.

Эти строки вполне могли бы стать эпитафией и морякам «Курска» и Валерию Саблину.

ВАХТЫ СТОЯЛИ В РТУТНЫХ ПАРАХ

Вице-адмирал запаса Николай Александрович Шашков. В период арабо-израильского военного конфликта — так называемой «шестидневной войны», ракетная атомная подводная лодка, которой он в ту пору командовал, находилась в восточной части Средиземного моря — в водах «горячего региона». На долю экипажа К-172 выпало едва ли не самое тяжелое испытание...

Вице-адмирал Николай Шашков:

— Перед выходом на боевую службу я получил распоряжение Главнокомандующего Военно-Морским Флотом СССР Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова — «быть готовым к нанесению ракетного удара по побережью Израиля». Разумеется, в том случае, если бы американцы и израильтяне начали бы высадку десанта на побережье дружественной нам Сирии. Собственно там, вблизи сирийских берегов и находился мой основной позиционный район. Была и запасная позиция — в заливе Сидра. Меня очень сковывала дальность полета моих ракет. Она не превышала шестиста километров, поэтому мне пришлось елозить, как говорят подводники, в опасной близости от американских авианосных ударных группировок. А их было три во главе с атомными авианосцами «Америка», «Форрестол» и «Интерпрайз». А в эскорте у каждого немного-немало 20—30 кораблей и почти на каждом — системы поиска подводных лодок. А я — один. К тому же в воздухе висели патрульные американские самолеты. Временами над морем кружились до семнадцати крылатых охотников за субмаринами, которые молотили своими радарами по всему Восточному Средиземноморью. На антенне все время бил сигнал¹. Они искали советскую подводную завесу, не подозревая, что вместо нее под водой находилась лишь одна моя К-172. И мой корабль

¹ Речь об антенне отметчика работы чужих радаров.

был, если хотите, козырным тузом в той весьма накаленной и вовсе некарточной игре. Шла война и уже отнюдь не холодная. Никто не знал как повернутся события через день. Заметьте, это было второе после Карибского кризиса обострение международной обстановки, которое могло привести к обмену ракетно-ядерными ударами, то есть к атомной войне всемирного масштаба. Я должен был начать ее первым по первому же сигналу из Москвы. И чтобы не пропустить его надо было подвсплывать на сеансы связи через каждые два часа. Море весеннее — беспокойное — 3—4 балла, качает. То и дело приходилось нырять от приближающихся самолетов. Вокруг — обычная в принципе жизнь: сухогрузы, лайнеры, рыбаки. А мы — почти все время на перископной глубине. А эта глубина для подводной лодки опаснее, чем предельная — можно угодить под чей-нибудь форштевень. Еще очень опасались американских низкочастотных гидроакустических станций — сонаров. Нас наша разведка просто запугала — «берегитесь, они берут лодку с двухсот миль при любой гидрологии». Ни черта не брали. Мы их слышали, они нас нет.

— Вы в этом уверены?

Николай Шашков покачивает, усмехаясь, головой:

— Да если бы они меня обнаружили мы бы с вами не вели этой приятной беседы. Это был бы конец моей командирской карьеры... Если бы они меня обнаружили, сбежалась бы полдюжины противолодочных кораблей, надо мной висели бы «Си Кинги» (противолодочные вертолеты. — *Н. Ч.*), а на хвосте сидела бы торпедная атомная лодка, готовая всадить полный залп, едва бы я открыл крышки ракетных контейнеров. Так что уверен на все сто — свою скрытность мы ничем не нарушили. Это подтвердилось данными разведки с приходом в базу.

— А арабы знали о вашем присутствии?

— О том какая лодка и где она находится — конечно нет. Но знали, в критической ситуации Советский Союз поддержит их любыми средствами, в том числе и ядерными. Откуда будет нанесен удар по Израилю тоже догадывались — с моря.

Но вот, что было странно: с проходом Гибралтарского пролива в отсеках К-172 стали исходить пренеприятные вещи: матросы — крепкие дюжие парни валялись с ног от непонятной хворобы, их тошнило, выворачивало, хотя на глубине качки не было и в помине... В конце концов корабельный врач доложил командиру об эпидемии непонятного заболевания.

Я и сам чувствовал себя прескверно. По ночам мерещилась какая-то чертовщина. Во рту металлический привкус, есть не хочется, на любую жидкость — чай, кофе, вино, компот — смотреть

противно. Решили проверить воду. Хотя чего ее проверять, мы сами ее в своих испарителях варим. Вода — норма. Стали грешить на фруктовые соки. Разбились по отсекам: первый пьет только яблочный, второй — только сливовый, третий — только виноградный. Результат: у всех одна, как говорят врачи: клиника...

«Может быть радиация»? — Предположил доктор. Но это мы сразу проверили — биозащита в норме, дозиметры — в пределах фона. А люди погибают. Бледные, квелые, на глазах сохнут. Решили не есть. Но и голодание не принесло ни малейшего облегчения.

Доктор предположил отравление солями тяжелых металлов. Но у нас нет на борту никаких солей, кроме поваренной. Свинец в биозащите? Так чтобы его окислить нужны ого-го какие температуры. Может, ртуть? Ртуть на лодке может быть только в лаге — приборе, показывающем скорость корабля. Там ее около 18 килограммов. Но лаг герметичен. Прибор исправно работает. В чем дело? Мистика какая-то, чертовщина, бермудский треугольник... Люди чахнут день ото дня. Надо в Москву докладывать. Но это возвращение с боевой службы, срыв выполнения стратегической задачи. Понимаете чем это было чревато для меня как командира? Полный крест на всей дальнейшей службе. «Не справился с выполнением важной государственной задачи». И все. А как, что, почему — это уже брызги. Никого не волнует. А с другой стороны, не доложишь, а вдруг начнутся смертные исходы. Опять командир виноват.

Все-таки дал радио в Москву. Приказ: выйти в такую-то точку, встать к борту БПК — большого противолодочного корабля. Подхожу, встаю, перехожу на борт, беру трубку радиотелефона. Голос главкома, Сергея Георгиевича:

— Ну, что, сынок, трудно?

— Держимся, товарищ главнокомандующий.

— Принимай решение сам! Ты командир, тебе на месте виднее. Главное — людей побереги. Если есть угроза для жизни — возвращайтесь.

— Будем держаться!

— За вами сам товарищ Брежнев следит. Вернетесь с победой — к звезде Героя представлю.

Часть личного состава, кто уж совсем влещку лежал — сменили. Спасатели — крепкие мужики — смотрели на нас и слезы у них в глазах стояли. Жалко нас стало — такие доходяги и снова на боевые позиции. Командир БЧ-5, инженер-механик Шота Данелия еле ноги волочил.

«Ну, что Шота, — спрашиваю, — пойдешь на БПК?»

«Нет! Здесь останусь». — «Ну и правильно, я бы тебя все равно не отпустил».

Я и сам еле двигался. С 30 марта из Центрального поста не выходил, на барбете перископа прикорну и снова на вахту. А в голове шум, на душе тоска.

К нам врачебную бригаду подсадили — майора и подполковника, стали изучать, анализы брать, через сутки сами свалились.

— Там что же все-таки отравляло вам жизнь?

— Ртуть. Точнее ее пары. Ведь ртуть начинает активно «парить» уже при 18 градусов Цельсия. Мы полтора месяца травились в парах ядовитейшего вещества. Точно нас проклял кто!.. Установили это сразу же как только вернулись на Север. Я был весь в ртути. Потом у всего экипажа выгоняли ее из печени — там она оседала и накапливалась больше всего. Я потом шутил — у наших матросов их печени можно и золото добывать. Шутки шутками, а источник выделения ртутных паров так и не определили. Ясно одно, что он в центральном посту. Там самая концентрация. Лодку погнали на завод — на демернуризацию, очистку от ртути. Демонтировали все основные агрегаты, ободрали с перебором всю пробковую крошку, краску. Концентрация та же. Сменили фильтры, перебрали всю вентиляцию — результат тот же. Комиссия из Москвы, экспертные группы медиков, инженеров, кораблестроителей — никто ничего не может понять. Витает эта самая проклятая ртуть хоть тресни.

Мы все в госпитале. Встретили нас как героев — с оркестром, цветами, обещаниями представить весь экипаж к наградам. Ведь полтора месяца сохраняли боеготовность в ядовитейших парах, поотравлялись все, кто с желудком слег, кто с почками, кто в печеню, а с позиций не ушли, и ракетный залп готовы были дать в любую минуту, и скрытность сохранили, и ни одного человека не потеряли. Вдруг одна из высоких комиссий доложила главному, что мы тут мудрим, темним, скрываем источник ртутного заражения. И вся ситуация развернулась на 180 градусов. Никаких наград. Одна награда на всех — не наказали. Офицерский костяк экипажа распаспировали и разбросали по разным флотам, матросов демобилизовали.

Обидно, конечно... Да... Не награждать у нас умели, как и «прощать» геройские дела.

— Но почему же так получилось?

— Такая сложилась практика. Печальная практика... Командирам не верили, потому что командиры боялись докладывать. Доложить о ЧП, тебя же и накажут — в любом случае, ибо командир отвечает за все. Дело доходило до абсурда, до курьезов.

Атомная подводная лодка К-52, командир капитан 1-го ранга Борисенко, шла в подводном положении через Тунисский пролив. Вдруг удар. Всплыли — огляделись: горизонт чист. Глубины — километровые, никаких подводных скал нет. Ага — значит столкнулись с чьей-то подводной лодкой. Осмотрелись в отсеках — все в порядке, замечаний нет. Погрузились, пошли дальше. Через несколько суток запрос из Москвы: «Доложите, что у вас произошло в Тунисском проливе». Борисенко отбивает бодрое радио: так мол и так, столкнулись с неопознанной подводной емкостью. — Емкостью! — Видимых повреждений нет. Выполняем задачи боевой службы.

А что получилось? Столкнулись они с американским атомоходом. Американец подвсплыл под перископ и сфотографировал вынырнувшую по аварийному всплытию К-52. Бортового номера, конечно, не было. Но по силуэту установили — советская ПЛА такого-то класса. Доложили в свой центр управления. Оттуда информация госсекретарю США: столкнулись с советским атомоходом, наблюдали его погружение, сведениями о дальнейшей судьбе не располагаем. Киссинджер в порядке вежливости звонит Косыгину: мол все ли у вас о'кей с подводниками, живы ли и здоровы? А Алексей Николаевич к Леониду Ильичу. Тот, разумеется ничего не знает. Звонил министру обороны. Гречко — «Не могу знать. Разберемся», и тут же к главному ВМФ. Горшков пожимает плечами — первый раз слышу и сам немедленно вызывает оперативного дежурного: кто у нас там Тунисский пролив проходил? Борисенко? К ответу его. А, пустяки — «неопознанная подводная емкость». Доложил — наказали бы. Не доложил — наказали. Это же всеобщая практика была, по всей стране: скрыть промашку, но красиво отрапортовать об очередном успехе.

— И что, источник ртути так и не обнаружили?

— Обнаружили. Это уж когда особисты подключились. Предполагалась диверсия. Опросили всех и каждого, кто, что, где, когда. Нашли даже матроса-химика из первого экипажа. Он перед роковой нашей «автономной» уволился в запас и уехал в Баку. Матрос вспомнил, что он вылил несколько килограммов ртути в раковину умывальника. Зачем? Чтобы избавиться от ненужного реагента. Дело в том, что на первых порах наука разработала способ определения кислорода в воде первого контура ядерного реактора с помощью ртути. Потом эту технологию упростили, а ртуть в стальных бутылках с атомных подводных лодок «Эхо-два» не изъяли. И наш доблестный матрос-химик, не долго думая вылил восемнадцать килограммов жидкого металла в умывальную раковину, которая находилась у него в химвосту в Третьем отсеке, где,

кстати говоря, расположен и центральный пост — глаза и мозг подводной лодки. Килограммов десять ртути осталось в изгибе сливного сифона. Вот оттуда-то и шли ядовитые испарения.

— И что сделали с этим матросом?

— А что ему сделаешь? Он уже гражданский человек. Не ведал, что творил. Командир отвечает за все. Командиру сделали... Между прочим, мне мои матросы, зная, что меня представляли за этот поход к званию Героя Советского Союза, подарили искусно выпиленную из латуни геройскую звездочку. Вон она — на стене висит. Для меня это очень дорогая награда.

РУССКИЙ АВИАНОСЕЦ

У этой истории три героя: Море, Адмирал и Корабль.

Море — Средиземное. Адмирал — Валентин Егорович Селиванов. Корабль — авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»...

1996 год... Растерзанный за первую пятилетку «реформ», некрашенный, полураспроданный, обреченный на безденежье и жалкое пристеночное существование российский флот отмечал свое Трехсотлетие. Тем не менее отметить эту воистину историческую дату надо было достойно. Гремели парады и лилось рекой вино на банкетах, сыпались награды и звезды на погоны, но главным событием этого праздника с горькими слезами на глазах был поход первого российского авианосца в Средиземное море. Собственно с него и начинался юбилейный год.

Это было нечто большее, чем демонстрация флага или поход престижа. То была военно-морская мистерия, в которой участвовали и тени незабытых предков, и призраки их кораблей, и наши современники в матросских робах и офицерских тужурках, мистерия, в которой участвовал весь флот и вся Россия, породившая этот чудо-корабль на последнем издыхании своей морской мощи...

Во-первых, это был поход Мечты. Мечты в с е х поколений российских моряков: от царя Петра и адмирала Ушакова до Генералиссимуса Сталина, Адмирала великой советской армады Сергея Горшкова и нынешнего безусого лейтенанта, верящего в лучшую будущность родного флота. Разумеется, в ушаковские времена не помышляли о самолетах, взлетающих с корабельных палуб, но лелеяли надежду о выходе России в Средиземное море под Андреевским флагом всерьез и надолго. Во-вторых, Андреевский флаг впервые возвращался в Средиземное море после ушаковских побед и после печального спуска этого славного стяга в 1924

году на рейде Бизерты; возвращался на гафеле не эсминца или крейсера, а корабля мечты (и яростных споров — нужен — не нужен) опять же всех поколений моряков в двадцатом веке — первого русского авианосца. Это надо понять и прочувствовать: третий век российского флота, несмотря ни на что, ни какие социальные беды и политические невзгоды, завершен достойно и красиво — под рев самолетов, взмывающих с полетной палубы в заветное средиземноморское небо. Мир должен был понять, что российский флот скорее жив, чем мертв...

Именно это и осталось в кадре истории: могучий корабль разворачивался против ветра на средиземноморском просторе, выбрасывая в небо самолет за самолетом... За кадром же скрылось то, о чем поведал в минуту откровения совсем не старый еще адмирал...

АДМИРАЛ

Валентин Егорович Селиванов родился в 1936 году. Выходец из кубанских казаков. Окончил Высшее военно-морское училище им. Фрунзе (бывший Морской корпус) в 1958 году, Высшие специальные офицерские классы ВМФ и Военно-морскую академию. С 1965 года — командир сторожевого корабля, эскадренного миноносца.

Выводил в моря практически все авианесущие корабли отечественного флота.

Фамилия Селиванова внесена в святцы флотской истории с 1861 года. Именно в том давнем году в ураганном Индийском океане пропал без вести русский клипер «Опричник» под командованием капитан-лейтенанта Петра Александровича Селиванова. Были ли они родственниками? Бог весть...

С 1992 года Валентин Селиванов — начальник Главного штаба ВМФ, первый заместитель главнокомандующего ВМФ.

В 1990 году Адмирал обеспечивал визит Горбачева на Мальту. И именно здесь, на рейде Ла-Валлетты едва не разыгралась драма, которая дорого бы обошлась российскому флоту да и международному престижу России.

КОРАБЛЬ

Итак, столь обыденный в совсем еще недавние времена поход по маршруту — Североморск — Гибралтарский пролив — Средиземное море — представлял теперь для умиравшего Северного флота почти невыполнимой задачей. Дело в том, что красавец-корабль, первый и единственный за всю трехсотлетнюю историю русский авианосец, страдал той же немощью, что и молодой Илья Муром-

мец: как поначалу не держали ноги богатыря, так и корабль-богатырь был слаб в ходу. Рождение «Кузнецова» пришлось на лихие перестроечные годы и был он принят с мощностью машин, доведенной лишь на одну треть от расчетной.

Самый большой за всю историю российского и советского флота корабль. Длина — в треть километра. Три тысячи живых душ — вместе с авиаторами. Мощность — двести тысяч лошадиных сил. Плавающий город-аэродром. Полк истребителей и вертолетный полк. Смешанная авиадивизия. Вооружен ракетами и скорострельной артиллерией. Единственный за всю отечественную историю полноплавный авианосец: самолеты взлетали с разбега — с трамплина.

Командир — капитан 1-го ранга Челпанов. Адмирал сказал о нем так: «Мостик чувствует как надо. И рулит хорошо».

КОРАБЛЬ. Первый отечественный авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» был заложен в январе 1983 года под названием «Тбилиси», затем был переименован в «Леонида Брежнева». Спущен на воду в декабре 1985 года, введен в строй 20 января 1990 года. Водоизмещение 55000/67500 тонн.

АДМИРАЛ

— Как СССР умирал, так умирал и этот великий корабль — вместе с державой...

На авианосце — восемь котлов. На государственных испытаниях их паропроизводительность сумели довести лишь до одной трети от положенной. Потому и скорость даже в 18 узлов не смогли развить. И это при 32 узлах проектной скорости хода! А почему? Да потому, что давление должно было быть 68 кг/см, а котлы давали только 45 — летели трубки...

В 1992 году я принял Главный штаб ВМФ. Мне докладывают: на «Кузнецове» в котлах то и дело трубки летят. Вызываю начальника техупра. В чем дело? Почему прогорают трубки? Да потому что их поставляли ржавыми, а теперь и вовсе перестали поставлять...

Узнаю, что трубки для «кузнецовских» котлов есть на Урале. Послал туда самолет. Забрали их там из-под снега, никому не нужны — металлолом, хорошо хоть списать не успели! Но трубки надо же гнуть соответствующим образом. Делать это могут только там, где строили уникальный корабль — в Николаеве. Договорились с руководством завода. Прилетает туда наш транспортный самолет с Урала. На борту груз остродефицитных трубок. Но таможенники самостийной Украины арестовывают крылатую машину: платите деньги за аэродромное обслуживание! Экипаж выводят из самолета...

Посылаю следующий экипаж уже не с трубами, а с не менее дефицитной «наличкой». Пропустили. Николаевцы согнули нам трубки как положено по чертежам. Таким образом мы на «Кузнецов» первый эшелон котлов привели в порядок. В зиму 1994/95 года заменили трубки и во втором эшелоне. У меня на душе полегало: корабль будет жить. Однако, на том проблемы не кончились.

Адмирал Ерофеев скрыл, что на предыдущем выходе в море «Кузнецов» попал в шторм, подзасолил трубки, потерял ход и едва не был выброшен на скалы Новой Земли. Корабль нуждался в хорошем ремонте, но Ерофеев доложил, что «Кузнецов» к боевой службе готов.

Личный состав плохо обучен. Позже выяснилось, что два котла из восьми — вообще замазучены. Особисты разузнали, что полубоученные матросы принимали в котлы вместо дистиллята забортную — соленую! — воду. А что делать — самое начало «костоломных реформ».

Однако адмирал Ерофеев докладывает — к походу готовы! И я планирую поход на 1996 год. Пригласил всех военно-морских атташе из средиземноморских стран, а также германского и английского — мол будем поднимать в Атлантике и в Средиземном море свои палубные самолеты. Почти блеф. Однако же поднимали!

ОКЕАН

Как бы то ни было, но в январе 1996 года авианосец «Кузнецов» в сопровождении эсминца «Бесстрашный» вышел в дальний поход под флагом адмирала Игоря Касатонова. Уже на выходе из Кольского залива сразу же попали в жестокий зимний шторм. Да и в Атлантике было не легче. Ураганные ветры свирепствовали повсюду. Семибальная зыбь воспринималась потом, как отдых. На ней даже вели траверзную заправку топливом.

АДМИРАЛ

— Только вышли за Норд-Кап, Касатонов докладывает в Главный штаб:

«Валя, трубки летят. Два котла не в строю. Что делать?»

«Сам решай, ты там на борту, тебе виднее».

Флагман решил идти. По плану они должны были принять на борт министра обороны Норвегии, но опоздали к точке встречи из-за падения скорости хода. Тем не менее вертолет министра приняли, объяснили задержку тем, что «выполняли в Баренцевом море спецзадачи».

Гибралтар прошли на 4-х узловой скорости и вошли в Средиземное море...

К началу февраля окончательно выяснилось, что положение с котлами на «Кузнецове» критическое. Потеря хода в открытом море для любого корабля не только позорное дело, но и крайне опасное. Тем более для авианосца с его огромной парусностью... Главком приказал своему первому заместителю немедленно отправляться в Средиземное море — выручать корабль. Адмирал Селиванов вылетел в Севастополь и в тот же день вышел на борту большого противолодочного корабля «Красный Кавказ».

4 февраля у острова Крит он сменил адмирала Касатонova на борту «Кузнецова» и поднял свой флаг — флаг начальника Главного штаба ВМФ России.

АДМИРАЛ

Первым делом заслушал механиков. Приносят злополучные котельные трубки: стальные, толщиной в палец — разорваны, как камышинки.

В строю всего шесть котлов. На ветер корабль не ворочает — ветром его отжимает. На всякий случай провели учения по буксировке. Буксир «Шахтер» едва тянул нашу громадину со скоростью два узла. А тут еще испарители воду не варят. Турбогенераторы летят, дизель-генераторы — летят. А надо на Мальту идти — делом заход.

МАЛЬТА

18 февраля 1996 года «Адмирал Кузнецов» бросил якоря на внешнем рейде Ла-Валлетты.

Русский авианосец у берегов Мальты. Это надо прочувствовать. Древние форты, выдавшие едва ли не все корабли мира на этом главнейшем морском перепутье, такого не видывали — авианосец под Андреевским флагом.

К «непотопляемому авианосцу», как назвал Мальту Черчилль — пришвартовался первый русский авианосец... Это тоже история.

Адмирал Селиванов бывал у здешних берегов не впервые. В 1990 году он прибыл сюда на ракетном крейсере «Слава» обеспечивать визит Горбачева. Президент СССР встречался с президентом США на нейтральной земле. Тогда был злейший шторм. И в этот раз тоже. Президент Мальты встретил российского адмирала с улыбкой: «Когда вы к нам в хорошую погоду придете?» Но Селиванову было не до шуток. Февральский шторм продолжал усиливаться...

АДМИРАЛ

— Мы во дворце — у министра обороны. Мой офицер связи докладывает: усиление ветра до 30 метров в секунду, а на «Кузнецове» по закону подлости ни один котел не пашет.

Быстро прикидываю: якорь-цепь у нас вытравлена на 100 метров, длина корпуса — 304 метра, а до скал — 250. При огромной парусности корабля — беды не миновать. Приношу извинения за то, что прерываем визит. Министр обороны понимающе с нами прощается. Машина мчит нас на вертолетную площадку. По всем летным правилам посадка на палубу при таком ветре запрещена, но мы поднимаемся в воздух. Если гробанемся, думаю, так хоть позора нашего не увижу — нанесет корабль на скалы на виду у всего города, всей Мальты, всей Европы... Однако летчики мастерски посадили свою машину на палубу «Кузнецова».

То, чего боялся больше всего — случилось: ни один из восьми котлов не в строю. А корму несет на скалы. С матюками и божьей помощью — ввели кое-как один котел, но всей его мощи хватает лишь для того, чтобы дать ход в полтора узла. Этого мало даже корму отбросить, а не то, чтобы сняться и уйти. Идут томительнейшие минуты... Корабль по-прежнему несет на камни. Уже не жду ничего хорошего. Вдруг доклад — ввели еще один! Смотрю с мостика — скалы медленно удаляются от кормы. Теперь можно и с якоря сниматься. Слава Богу и матросам из БЧ-5, наш вселенский позор не состоялся!

С Мальты уходили под самый красивый в мире марш «Прощание славянки». Его отчаянные и гордые рулады взлетали с палубы эсминца над старинными бастионами, столь похожие цветом камня на севастопольские батареи...

Провожать русские корабли вышла вся Ла-Валлетта. Никто, даже российский посол не подозревал, чего стоил авианосцу, чей пирамидальный силуэт маячил на внешнем рейде, отход от гостеприимного берега...

Но как идти дальше? Как возвращаться домой на двух котлах?

Безо всяких иносказаний на адмирала Селиванова взирали в те дни тени великих предшественников: Ушаков, Лазарев, Сенявин... Ведь это их эскадры в этих же водах добыли России славу великой морской державы. Они взирали на него умоляюще — не подведи, не посрами, спаси свою и нашу честь. — Кто-кто, а второй человек на российском флоте, адмирал Селиванов, прекрасно понимал, какой флаг развевался на гафеле его корабля! И какая тень может пасть на все три века родного флота, которому он отдал жизнь.

Спаси!

АДМИРАЛ

Передо мной были три варианта:

1. Дойти до Тулона и встать в ремонт. Но это опять позор на всю Европу.

2. Идти вдоль берега через Ла-Манш на Балтику. На этом пути в любой момент можно встать на якорь — глубины позволяют. Дотянем до Калининграда, а там в завод. Все-таки свой.

3. Идти на Север кратчайшим путем вдоль норвежского побережья.

Я принял решение возвращаться тем путем, каким пришли — вокруг Англии. И мы двинулись на Север... Я чувал этот корабль, как свою плоть, знал все повадки механизмов и турбин, котлов, наперед чувал: что когда сломается... И все-таки мы шли. Домой. Как в песне: «Мы же конечно ...дотянем, доплывем».

Невидимые миру терзания остались за кадром истории. Мир же лицеизрел, как с крутого трамплина русского авианосца срываются и взмывают в небо остроклювые птицы палубных истребителей. Что бы там ни было и как бы там ни было, но авианосец вышел в моря, дабы оправдать главное свое назначение.

Аксиома военно-морской стратегии: битву за океан невозможно выиграть без господства в океане воздушном. Крылатые ракетноносцы, разведчики и охотники за подводными лодками без прикрытия истребителей действовать не могут. Поэтому все ведущие морские державы мира строят плавучие аэродромы — авианосцы. Даже Индия обладает пусть стареньким, но все же авианосцем.

«Не расскажешь, не опишешь, что за жизнь, когда в бою за чужим огнем расслышишь артиллерию свою...» Перефразируя Твардовского — «... в небесах морских увидишь авиацию свою». Никогда не забуду, как в разгар «холодной войны», первый советский авианесущий крейсер «Киев» поднимал свои самолеты вертикального старта в Средиземном море. Английский эсминец всячески мешал маневрировать огромному кораблю, который готовился к приему палубных штурмовиков. И тогда летчики получили приказ отогнать наглеца. С диким ревом пара «Яков» пронеслась над эминцем на высоте его мачт. Англичанин от неожиданности выбросил шапку дыма и поспешно ретировался. Все, кто был на полетной палубе «Киева», на мостике, грянули «Ура!», в воздух полетели тропические пилотки... Сегодня другие времена, и авианосец «Кузнецов» здорово запоздал со своим выходом в моря, однако вышел он не для того, чтобы запугивать «вероятных друзей», а для того, чтобы поднять дух и престиж российского флота.

Мы тоже можем. Нам по плечу любые морские свершения. Мы можем строить корабли всех существующих в мире классов: от подводных атомных ракетноносцев до классических авианосцев. Осознать это и показать миру — великое морально-политическое деяние.

В кадре истории навсегда останется этот гигантский корабль с носом крутым, словно тулья шегольской фуражки.

...Звонящий визг самолетных турбин... Ярко-синие машины Су-27, больше похожие на крылатые ракеты. Опускаются консоли заваленных по-ангарному крыльев и поднимаются щиты пламяотбойников. Колеса шасси наваливаются на палубные стопоры, выжидая, когда турбины наберут достаточной мощности для взлета. Старт!

С кажущейся неспешностью самолет бежит по взгорью палубы и на гребне трамплина взмывает в воздух.

Старт за стартом, взлет за взлетом, вираж за виражем...

Вот она — шестерка асов над Средиземным морем! Смотрите все — это русские палубные летчики творят фигуры высшего пилотажа на предельно малой высоте — над гребнями лазурных волн.

Все это надо было видеть! Увы, уникальные видеокадры не привлекли внимания наших телевизионных боссов. Кассета с записью тех небывалых взлетов и посадок осталась лишь на память Адмиралу... Она принадлежит Истории.

Шестерка заходит на посадку... Первый...

Вот из под его хвоста, словно осиное жало выскакивает черно-белый гак-крюк, который цепляется за натянутую тормозную струну аэрофинишера... Та натягивается, как тетива, гася посадочную скорость. Самолет быстро откатывают на стоянку, и над кормовым срезом проносится новая машина...

В том невероятно трудном походе с палубы «Кузнецова» было совершено 2,5 тысячи самолетовылетов.

В том самом трудном своем походе, адмирал Селиванов, который выводил в моря все типы авианесущих кораблей отечественного флота, встретил свое 60-летие. В тот день он совершенно забыл о своем юбилее, потому что в небе над морем назревала катастрофа. Четверка палубных вертолетов ушла далеко в море на поиск подводной лодки. Доклад одного из командиров встревожил всех: из редуктора несущего винта вытекло масло. Подобная авария грозила пожаром и падением винтокрылой машины в воду. Адмирал Селиванов мерил огромную ходовую рубку шагами и мысленно проигрывал все варианты спасательной операции. Толь-

ко бы летчики успели выпрыгнуть из тонущей машины... Каждую секунду из этих бесконечно долгих четырех часов он ожидал доклада о неизбежном. Но судьба преподнесла ему в тот день царский подарок: аварийный вертолет благополучно дотянул до родной палубы. Вся четверка села «без замечаний». За час до полуночи адмирал Селиванов вошел во флагманский салон, где был накрыт стол сразу для трех именинников — контр-адмирала Доброскоchenко и еще подполковника медицинской службы.

Как и всякий дальний поход «автономка» «Кузнецова» не обошлась без чрезвычайных происшествий. И всякий раз адмиралу Селиванову приходилось решать судьбы своих соплавателей. Двоих серьезно заболевших матросов отправил на вертолетах в Тунис.

В Гибралтаре хватились матроса-крановщика. Нет его. Обыскали весь огромный корабль. Может быть за борт свалился? А может быть «годки» затравили — повесился в укромном уголке? А может, затаился где? Чего только не передумал флагман за эти томительные сутки.

К пропавшему матросу обратились по общекорабельной трансляции: «Вася, если нас слышишь, выйди! Если в чем провинился — все простим! Если кто обидел — накажем обидчика!»

На третьи сутки пропащая душа объявилась. Щуплый матросик вылез из такой тесной «шхеры» — из вентиляционной выгородки — где искать его никому не приходило в голову.

Матроса тут же привели к адмиралу Селиванову. Тот был счастлив, что поход не омрачился гибелью бойца и потому был заботлив, как отец родной:

— Сынок, кто тебя обидел?

Вскоре выяснилось, что при погрузке продуктов, ушлый крановщик натаскал «харча» в облюбованную выгородку, а потом решил там отдохнуть от службы. Селиванов вызвал лейтенанта, командира группы, в которой числился крановщик, сказал ему:

— Глаз с парня не спускай: ешь с ним, спи с ним — но только чтоб до дому никуда не пропал! Понял?

— Так точно!

Однако, без потерь не обошлось. На эсминце «Беззаветный» умер мичман, подавившись рыбной костью. Так уж видно было ему на роду написано...

Тем временем, авианосец на малом ходу прошел Гибралтарский пролив и вошел в Атлантический океан, по-весеннему неспокойный. И вопрос — как добираться домой? — висел над адмиралом Дамокловым мечом. Селиванов все-таки бросил вызов морской Фортуне: возвращаться в Североморск тем путем, каким пришли — обогнув Британские острова с севера. Дерзкое это ре-

шение было принято на траверзе испанского мыса Трафальгар, там, где адмирал Нельсон обрел свои бессмертные лавры... И хотя адмирал Селиванов героически вывел первый русский авианосец из всех передряг и то была несомненная, хотя и не столь громкая победа, никаких лавр он не дождался. Все было по флотскому присловью: не наказали, значит наградили.

Среди тех, кто в подпалубных низах авианосца пытался наладить нормальный ход был и капитан-лейтенант Николай Белозеров. Тот самый, кому суждено было погибнуть на атомной подводной лодке «Курск», спустя пять лет. Эх, судьба моряцкая, всегда ты темна, как глубина под килем: кому от рыбьей кости, а кому от взрыва торпед...

На обратном пути — в Гибралтаре — адмирал Селиванов попрощался со Средиземным морем. Он ушел на корму авианосца и долго глядел в пригоризонтную синеву. Именно в ней навсегда исчезали корабли его лейтенантской юности и адмиральской зрелости. Там, в заливе Хамамет оставалась точка «номер поста два» — якорная стоянка кораблей былой нашей Средиземноморской эскадры, прозванная моряками «деревней Селивановкой», поскольку чаще всего именно там стоял флагманский корабль командира Пятой оперативной эскадры. Пять лет держал здесь свой флаг вице-адмирал Селиванов. Разве расскажешь в двух словах, что творится в такую минуту на душе моряка, для которого э т о море стало полем судьбы? Оно и в этот последний раз позволило ему уйти с победой... Адмирал снял черную походную пилотку, достал из кармана железный рубль и швырнул его в кильватерный след корабля.

— Прощай море!.. Море судьбы моей и жизни... До свидания море! Мы еще вернемся!

Это не Селиванов прощался со Средиземным морем. Это Россия прощалась. И прощалась достойно.

АДМИРАЛ

Мы сидим с Валентином Егоровичем в его домашнем кабинете в подмосковном Переделкино. Теперь ему и самому не верится в то, что осталось за плечами:

— И мы при семи баллах — на двух котлах и восьми узлах — еще заправлялись в Атлантике траверзным способом!

Понять, чего это стоил этот высший моряцкий пилотаж, может только моряк...

— В Атлантике, в британской зоне ответственности, нас взял на сопровождение эсминец «Шеффилд». Командир его попросил «добро» посадить на нашу палубу свой вертолет. Разрешаю — садитесь! Сели. Пилоты — асы. Взлетали по-самолетному с разбегом и с трамплина.

Мы предложили обменяться «воздушными делегациями». Англичане сразу примолкли. Больше суток — запрашивали свое Адмиралтейство. У них тот еще железный занавес. Наконец, им разрешили. Слетали по пять человек друг к другу в гости — мы к ним, они к нам.

Моряки с «Шеффилда» так к нам расположились, что прошли с нами чуть ли не до самого Мурманска. Потом попросили разрешения пройти у нас вдоль борта — попрощаться. Добро. Прошли, попрощались...

Все на свете кончается, даже самые бесконечные испытания. Там за туманами... Мы дотянем, мы придем...

Перед входом в Кольский залив авиационный полк покидал свой корабль, чтобы не «напрягать обстановку в узкости». Мела пурга. Самолеты взлетали и тотчас же исчезали в белой замяти. Они уходили на береговой аэродром, а «Кузнецов» вскоре встал на свои якорные бочки ввиду штаба Северного флота. Адмирал Селиванов улетел в Питер, пришел в Морской собор, что на Крюковом канале и заказал настоятелю — отцу Богдану благодарственный молебен за счастливый исход трудного плавания. После чего написал рапорт об увольнении в запас и навсегда снял адмиральские погоны.

СМЕРТНИКИ ДЕСЯТОГО ОТСЕКА

И, наконец, третий рекорд — рекорд человеческой выносливости. Речь идет даже не о продолжительности подводных «автономок», хотя некоторые из них длились по 18 месяцев в отрыве от родных берегов. Речь о самой жестокой робинзонаде XX века.

Этот рекорд выживаемости поставили, сами того не желая, подводники печальной знаменитой атомной подводной лодки К-19.

Душа современника устала ужасаться тем изощренным мучениям, каким подвергала человека наша бешеная технотронная цивилизация. И все же этим выпало нечто особенное...

1972 год. Атлантический океан, Бискайский залив. В дальнейшем походе в девятом отсеке вспыхнул жестокий объемный пожар, который унес жизни более сорок моряков. Двенадцать человек, отрезанных от экипажа, от всего мира анфиладой задымленных, заваленных трупами отсеков, оставались в последнем из них — в десятом. Телефонная связь прервалась на вторые сутки. На пятые их всех причислили к лику «погибших при исполнении...» А они жили и на пятые, и на десятые, и на двадцатые сутки своего невыносимого испытания — в отравленном воздухе, без еды, в крошечной тьме и сыром холоде железа, промерзшего в зимнем океане; жили в полном неведении о том, что происходит на корабле и что станет с ними в следующую минуту...

Вообразим себе стальную капсулу, разделенную на три яруса, густо переплетенных трубопроводами, кабельными трассами, загроможденных агрегатами и механизмами. Это и есть жилой торпедный отсек в корме К-19. На самом верхнем этаже — две тесные каютки-шестиместки, два торпедных аппарата и торпеды, уложенные вдоль бортов на стеллажи. Под ними — палуба вспомогательных механизмов и трюм. Дышат в десятом воздухом, который не успела вытеснить плотная корабельная машинерия. Войти сюда и выйти отсюда можно лишь через круглый лаз в глухой

сферической переборке (перегородке), разделяющей десятый и девятый отсеки. Лаз перекрывается литой круглой дверью весом в полтонны, которая задраивается кремальберным запором. Вот это и есть десятый отсек...

Сгоревшим живо в девятом отсеке выпала жуткая участь. Но лучшая ли доля досталась тем, кто находился в кормовом отсеке, единственный вход в который запечатал люк, приваренный к горловине жаром бушевавшего пламени?

Двенадцать человек, двенадцать живых душ (о, это каноническое число!) оказались в глухой стальной капсуле, одну из стенок которой лизал огонь.

Даже грешники в аду кипят в открытых котлах. А здесь — в стальной бомбе, начиненной ядерными торпедами, Но прежде чем рванул бы пусковой тротил боевых зарядных отделений, им предстояло медленно задохнуться, иссохнуть, обезводиться, мумифицироваться в этом дьявольском автоклаве.

Даже первые христианские мученики не подвергались таким пыткам. А этих, двенадцать, — за что? Не злодеи ведь, простые, в общую меру грешные, люди. Воины. Не на морской разбой шли — свои берега прикрывать.

За что же им такое?!

Впрочем, тогда их мучил совсем другой вопрос: как? Как спастись из этой камеры-душегубки?

Из отростков вентиляционной магистрали хлестал черный от дыма угарный газ. Его гнало из горящего смежного отсека. На двенадцать человек — только шесть дыхательных масок. Спасательных средств в десятом отсеке было ровно столько, сколько предусматривалось здесь моряков по боевой тревоге. Шестеро были лишними. Они не успели перебежать на свои посты через горящий девятый и теперь со смертным ужасом взирали на эти черные ядовитые струи...

Первым бросился к клинкету (запорному механизму) вентиляции капитан-лейтенант Борис Поляков. Закрутил маховик с такой силой, что сорвал его со штока. Дымные струи иссякли... Смерть первая, самая скорая, самая верная, — отступила. Но за ней маячила вторая — не столь торопливая, но неотвратимая: от общего удушья в закупоренном отсеке. И каждый из двенадцати понимал, что отныне такой привычный, обжитой, удаленный от начальства в центральном и тем особенно ценимый десятый вдруг по мановению коварной морской фортуны превратился в камеру смертников. Что стоило им выдышать в двенадцать пар легочных крыл кислород из трехсот пятидесяти двух кубометров задымленного и загазованного воздуха...

Эзотеристы утверждают, что у каждого человека есть свой коридор, который ведет его к смерти, и коридор этот не замкнут, ибо и после физической кончины душа обретает новое пространство. Их же вел к гибели один коридор на всех — средний проход кормового отсека, и упирался он в стальной тупик. Даже души их не смогли бы вырваться из этой западни.

Двенадцать молодых, крепких мужчин были заживо замурованы в «духовке», разогреваемой на медленном огне. Два офицера, три мичмана, семеро старшин и матросов. Кто мог поручиться, что их фамилии не продолжат скорбный список тех, кто сгорел в девятом.

Там, в центральном посту, у кого-то возникла жестоко-милосердная мысль: пустить в десятый фреон, чтобы обреченные на верную смерть люди не мучились зря... Но командир корабля идею эвтаназии — легкой смерти — не одобрил. Подводники — смертники веры. Вера в спасение умирает только вместе с ними.

Подводник — это не просто профессия, ставшая образом жизни, это еще, и может быть прежде всего характер, то есть склад души и способ мышления.

Люди накопили вековой опыт выживания в пустыне и тайге, горах и тундре, на необитаемых островах, наконец, на плотике посреди океана. Но уметь выживать в железных джунглях машинерии, в ее магнитных, радиационных, электрических полях, в ее бессолнечном свете, дозированно-фильтрованном воздухе, к тому же химического происхождения, в ее тесном замкнутом узилище, в ее щелях, просветах и выгородках между жизнеопасными агрегатами, — это удел подводника.

Борис Поляков в свои двадцать шесть был истинным подводником. Что бы ни делали сейчас его руки — перекрывали ли клинкет вентиляции или расклинивали вместе со всеми стеллажные торпеды, которые грозили сорваться со своих мест в эту бешеную качку, — мозг его лихорадочно искал ответы на два жизненно важных вопроса: каким образом можно выбраться из этой ловушки, а если нельзя, то каким способом пустить в нее воздух?

Нечего было и думать открыть люк (то, что он приварился, Поляков еще не знал) и перебежать сквозь доменную печь, в какую превратился девятый, в смежный с ним восьмой отсек. Не оставляли надежды на спасение и кормовые торпедные аппараты — через трубу одного из них Поляков мог прошлюзовать за борт только четверых, на которых были гидрокомбинезоны с дыхательными масками, да и то выход в штормовой океан обернулся бы для них медленным самоубийством.

Эх, наладить бы хоть самую хилую вентиляцию... Но как?

Он решал эту техническую головоломку, надышавшись угарной отравы. Ломило в висках. Тошнило от выворачивающей душу качки: бездвижную атомарину валило с борта на борт так, что маятник кренометра уходил за угол заката. В отсеках грохотало от перекачывавшихся вещей. Всплытие было неожиданным, и поштормовому ничего не успели закрепить. Атомоходчики всплывают редко и потому от качки страдают особенно жестоко — привычка к болтанке вырабатывается обычно на вторые, а у кого и на третьи-четвертые сутки. Так что вместо элегического прощания с жизнью последние часы смертников десятого отсека проходили в рвотных спазмах — до слез. И все-таки они с надеждой смотрели на Полякова: «Ты же офицер, у тебя на погонах инженерные молоточки, ну придумай же что-нибудь!»

В десятом отсеке он оказался волей житейского случая. Штатная койка командира первой контрольной группы дистанционного управления реактором (так называлась должность капитан-лейтенанта Полякова) — в восьмом отсеке по левому борту. Но спать там жарко, и в эту роковую ночь Борис перебрался в десятый, в каюту друга-однокашника по училищу, Володи Давыдова, тоже командира группы и капитан-лейтенанта. На его же, поляковской, койке спал в восьмом штатный командир десятого отсека лейтенант Хрычиков.

Одному из них — лейтенанту Хрычикову — этот обмен койками стоил жизни. Он погиб в горящем отсеке.

Борис Поляков: «У нас на лодке было два старпома. Второй шел вроде дублера. Когда услышал звонки аварийной тревоги, подумал — молодой отработывается. То один в «войну» играет, то другой... Надоело. У меня ведь восьмая боевая служба... Вскочил, надо бежать в центральный, мое место на пульте... Да не тут-то было. Через девятый уже не пробежать. А спустя две-три минуты к нам пошел угарный газ... Перекрыл... Нет, к нам из девятого никто не ломился, не стучал. Слишком быстро все разыгралось. Переборка накалилась так, что стала тлеть обшивка из прессованных опилок. Пришлось плескать водой, сбивали топорами... Потом погасли аварийные плафоны, питания для них хватило на два часа».

...И он решал эту немыслимую инженерную задачу — как добыть воздух? — под грохот ураганного шторма, в меркнувшем свете, в неразволокшемся еще дыму, вцепившись в трубопроводы, чтобы удержаться на ногах. «Ну придумай же что-нибудь!» — все так же исступленно и немо молили его глаза остальных одиннадцати.

Три года назад он был командиром этого отсека. Он обязан был знать все три яруса его хитроумной машинерии досконально. Три этажа, перевитых пучками разномасстных трубопроводов, кабельных трасс... Они обитали на верхнем — третьем — ярусе, который считался жилой палубой.

К вечеру — часам к двадцати — дышать уже было нечем. Регенерации, насыщавшей воздух химическим кислородом, в отсеке не было. Голодная кровь стучала в виски, гнала холодный липкий пот... Плафоны уже давно погасли. Аварийные фонари едва тле-ли: садились их аккумуляторы...

Воздуха! Хотя бы глоток...

Глоток он нашел. Спустился в трюм, едва удерживаясь на перекладинах трапа, и стравил из патрубков-гусаков дифферентной цистерны скопившийся там воздух. Грязный, масляный, набитый компрессором без каких-либо фильтров, он все же пошел. Под его шипенье Полякова и осенило: если открыть кингстон глубиномера, то возникнет пусть слабый, но все же проток, продых... Надо было только сообщить в центральный, чтобы поддули в дифферентную магистраль...

«Каштан» — межотсечная связь — не работал. Его замкнуло при пожаре. Поляков с замиранием сердца вынул из зажимов увесистую трубку корабельного телефона. Этот древний слаботочный аппарат, питавшийся от ручного магнето, как и его прародитель — полевой телефон времен первой мировой, — работал безотказно. Связь удалось установить только с первым отсеком. Ответил его командир, минер Валентин Заварин.

— Валя, — попросил Поляков, — скажи Рудольфу (инженер-механику Миняеву. — *Н.Ч.*), пусть наддувает дифферентные цистерны. А мы откроем кингстон глубиномера.

— Добро!

И воздух пошел! Они вдыхали его, будто пили луговую свежесть.

Призрак смерти от удушья уступил место своей младшей сестре — гибели от жажды. В десятом не было воды. Ни глотка. Пить хотелось, хотя все дрожали от холода. Пожар в девятом заглож, притаился до первой порции свежего воздуха. Переборка была теплой, и все отогревались на ней. Ведь одеты были в «репс» — легкие лодочные куртки и брюки. В отсеке же стояла зябкая осень: воздух остыл до температуры забортной воды — градуса три-четыре тепла. Разыскали на ощупь четыре комплекта аварийного шерстяного белья. Разумеется, они были неполны — беда всех подводных кораблей! Растащили: кто — поди узнай. На двенадцать человек пришлось два свитера, трое шерстяных рейтузов, две

фески, пара чулок... Но не одежда тревожила Полякова. По самым скромным прикидкам, буксировка в базу, на Север, должна была занять месяца полтора. Только в базе их могли извлечь из западни десятого. Сорок пять суток без воды? Еще один необъявленный смертный приговор судьбы.

Лет десять назад все они были наслышаны о сорокадевятидневном дрейфе в океане сорванной штормом баржи с четырьмя солдатами — Зиганшиным, Крючковым, Поплавским, Федотовым. Та сенсация облетела мир: полтора месяца без еды, солдаты съели кожаные меха гармони и голенища сапог... Теперь нечто подобное выпадало им. Разве что в гораздо худшем варианте — в крошечной темноте, в грязном воздухе, в промозглом холоде. И главное — без воды.

Поляков знал, что в десятом отсеке расположена расходная цистерна с пресной водой. Но она оказалась пуста... Бачки с аварийным запасом продуктов — тоже. Их раскурочили, как это водится по неистребимому безалаберному обычаю, хозяева отсека еще в начале похода... Но даже если бы бачки были полны, их все равно не хватило бы для дюжины едоков на полтора месяца.

Вода!.. Она плескалась, шумела, журчала над головой, в штормовом океане, разбивавшем о лодку крутые валы. Эти водные звуки дразнили жажду еще горше, ежеминутно напоминая о недоступном.

Попробовали собирать тряпкой конденсат — напотевавшую на подволоке влагу, тряпку выжимали в миску. Но многочасовой труд не увенчался и добрым глотком грязноватой, вонючей воды.

И снова все с надеждой смотрели на Полякова: ты, командир, добыл воздух, добудь и воду.

И он добыл воду. Добыл, потому что знал эти стальные джунгли, как никто другой.

Там, в расходной цистерне, должен был оставаться «мертвый запас» воды, скапливающейся ниже фланца сливного трубопровода. Что, если разбить водомерное стекло и отсосать через трубку?... Это было еще одно гениальное озарение!

Поляков велел трюмному матросу найти кусок шланга и объяснил, что нужно делать. Через четверть часа тот принес в окровавленных руках миску ржавого отстоя. Руки порезал в темноте об осколки водомерного стекла, когда швырнуло при крене. Поляков перевязал ему кисти обрывками разовой простыни и распорядился добыть емкость, повместительнее миски. При свете тусклой «лампочки Ильича» сооруженной из батареек, вытрянутых из найденного магнитофона, отыскивали большую жестянку из-под сухарей. Скорее всего, она служила тут писсуаром, но выби-

рать не приходилось. В нее с грехом пополам нацедили литров пять все того же ржавого отстоя. Его разлила в бутылки из-под вина, и Поляков велел держать их между ног, чтобы хоть как-то согреть ледяную воду.

Теперь, когда утолена была первая жажда, подступил голод. Есть в холоде хотелось мучительно...

По иронии судьбы среди пленников десятого отсека оказался начальник интендантской службы мичман Мостовой Иван Иванович, известный на лодке «прижим». При нем были ключи от кладовой, открыв которую обнаружили только коробки с макаронами и пачки поваренной соли. И все.

Макароны, как ни противно было, грызли всухую. Соль тоже пригодилась. На третьи-четвертые сутки у многих в холодной сырости заложило дыхание, воспалились глотки... Поляков вспомнил народное средство: ложка соли на кружку воды, и полоскать. Помогло!

На пятый день серьезно занемог мичман-секретчик. «Спину ломит. Помираю...» Застудил почки. Это не горло. Тут врачебная помощь нужна. Или хотя бы консультация. Но телефонная связь прервалась еще на второй день. А парень и в самом деле вот-вот Богу душу отдаст. Стонет, мечется... Пришлось действовать на свой страх и риск. По счастью, в одной из кают удалось отыскать пол-литра спирта. Поляков разодрал разовую простыню на лоскуты, смочил спиртом и наложил на поясницу мичману, терявшему порой сознание от боли. Велел натянуть шерстяной свитер и накрыл всем, что было теплого под рукой. Спиртовой компресс подействовал. Боль приутихла...

Борис Поляков: — До восьмого марта вел календарь в уме. Потом сбился... Ураган буйствовал пять дней. Но и когда приутих — легче не стало... Самым трудным, я бы сказал — критическим, днем были шестые сутки. Дышать уже было нечем, хотя легкий поддув еще чувствовался. В центральном на пятые сутки нас похоронили. Но адмирал Касатонов, руководитель спасательной операции, приказал числить нас в живых до самого последнего дня. Конечно, мы ничего о том не знали и сообщить о себе никак не могли, но чувствовали, что воздух через дифферентную цистерну малопомалу идет...

Так вот, на шестой день отчаянные головы стали предлагать: мол, пожар в девятом утих — перебежим в восьмой. Но ведь там же дикая загазованность. «А как в Освенциме спасались? В газовых камерах, — напирал Володя Давыдов. — Платок мочой смачивали и через него дышали. А у нас вода есть, противогазы...

Проскочим как-нибудь». — «Не проскочим! — отвечали ему. — Там все штормом завалило. Да и настил, скорее всего, прогорел. В темноте провалимся — всем каюк».

На всякий случай встал к люку. Если кто силой попытается открыть — завалю. Спортсом занимался... Но, к счастью, никто не рискнул. А если бы кто и рискнул, все равно не отдраил бы люк: клинковый запор заварило пламенем. Хорошо, что мы о том не подозревали. А то еще тягостнее было бы... Конечно, подбадривал людей, как мог. Внушал: надо погоду ждать, океан успокоится — спасут.

Еще морячок у нас был из циркового училища. Пришлось ему поработать в отсеке в режиме клоуна. О представлениях рассказывал, смешные репризы вспоминал... О детях своих говорили. Это тоже жить заставляло. Моему-то огольцу, Андрюхе, восьмой годок шел...

А вообще мутрно было. Темнота давила. Углекислотой надышались уже до одышки. Многие лежали ничком, и только качка переваливала с боку на бок, как трупы. Некоторых в гальюн приходилось под руки отводить. Штатного гальюна в отсеке не было. Нашли местечко в трюме. Вконец ослабевших на подвеске спустили... Фильтр самодельный придумали, из кусков верблюжьего одеяла. Но все равно вонь шла. Можете представить, чем мы дышали кроме дыма и углекислоты. Та еще атмосфера была. Я говорил ребятам — мы на любой планете теперь выживем. Хоть в отряд космонавтов записывайся...

Мы сидим в кабинете Полякова. В распахнутое окно налетает летний ветерок, настоящий на хвое гатчинских сосен. После таких рассказов хочется вдыхать этот воздух полной грудью и радоваться его обилию.

Борис Александрович давно ушел со службы в запас. Живет и работает в доброй старой Гатчине инженером по строительству при одном из петербургских НИИ. Растит внука.

Голубоглазое кругловатое лицо его улыбочиво и открыто, только быстрая мимика, слишком быстрая смена улыбок и хмурых гримас выдают в нем подводника, наигравшегося со смертью...

Борис Поляков: — Иногда накатывала чудовищная тоска, и тогда казалось, будто на лодке вообще не осталось никого в живых и нам так и придется болтаться в океане, пока не перемрем. Ведь никаких звуков, выдававших присутствие экипажа, мы не слышали. Только один и тот же сводящий с ума плеск волн над головой. А что, если экипаж давно покинул лодку, а нас посчитали погиб-

шими? Что, если лодка уже наполнилась водой и вот-вот канет в пучину?

Чего только не приходило в голову. А время в темноте тянется особенно нудно.

И вдруг однажды слышим слабый стрекот вертолета. Ну, тут воспрянули! Ишут, спасают... Спасут!

Вертолет кружил явно над нами. Разумеется, мы ничего не знали о том, что там происходит, за стенками нашей темницы. Только строили свои догадки. Зато теперь по шуму вертолета могли определять время суток; работает — значит, день, затих — ночь...

Смысл всех усилий спасателей сводился к тому, чтобы подать на лодку силовую кабель. Своей энергетики на К-19 не было. Реактор заглушен. И только 8 марта ценой невероятных усилий удалось дать питание на распределитель № 1, с которого и попытались провентилировать погорелый отсек. Но неудачно. Притихший пожар в нем снова разбушевался...

Возобновившийся пожар стих сам собой. Но ушло еще десять суток на то, чтобы повторить попытку провентилировать отсеки. И только 18 марта, когда океан застыл в штиле и удалось наконец перекинуть на лодку электрокабель, мы услышали гул вентиляции, а потом — долгожданный стук из девятого. По азбуке перестукивания нас предупредили, чтобы мы выходили с закрытыми глазами. Иначе могли ослепнуть от непривычно яркого света. Потом взломали ломиками замок нашего люка...

Это случилось на двадцать третьи сутки их чудовищной робинзонады. К тому времени на ногах держались лишь двое: капитан-лейтенант Поляков и еще один моряк. Остальных выносили на руках.

Поляков с превеликим трудом одолел полсотни шагов до ракетного отсека. Там было устроено нечто вроде походного лазарета, где спасенные шесть часов отлеживались в тепле, прежде чем их переправили на плавучую базу «Магомед Гаджиев».

Борис Поляков: — Эти шаги дались мне как десятикилометровый марафон. Свалился с одышкой... Потерял в весе двадцать восемь килограммов. Остальные тоже превратились в доходяг. Обросли бородами. Бороды в углекислой среде растут очень быстро. И ногти тоже как у обезьян... Самое противное, что у всех нас сразу же подскочила температура до 41—42 градусов. Это из-за перенасыщения организма углекислотой. В атмосфере десятого отсека потом, когда замерили, оказалось свыше шести процентов углекислого газа.

У двоих — мичмана Мостового и одного матроса — скрючило конечности. Врачи говорили, что это от психической травмы, и обещали, что со временем пройдет.

— Да уж, древние не ошибались: время — лучший лекарь! — заключил Поляков с таким видом и таким тоном, что становилось ясно — с этой минуты он отрешается от рассказанного и попытается снова забыть все ужасы того похода. Лет эдак на двадцать, как и было до сих пор.

Борис Поляков и его товарищи установили невольный рекорд выживаемости человека, рекорд силы духа. Они не готовились к нему специально... Испытание застало их врасплох. Они перенесли все виды голода, каким подвержен живой организм, — световой, кислородный, белковый, эмоциональный... Они не были подопытными кроликами. Они боролись. И установили рекорд, о котором не помышляли. Его не внесли в Книгу рекордов Гиннеса. О нем не писали в газетах. О нем было велено молчать.

Молчание длилось двадцать лет. Для большинства из двенадцати человек это был срок, прожитый ими до рокового звонка аварийной тревоги.

КАК СПАСАЛИ «АРГУС»

«Аргус» — глубоководный обитаемый аппарат Института океанологии имени П.П. Ширшова. Названный по имени легендарного морского чудища, он выглядит вполне элегантно: такой ярко-лимонный гоночный автомобиль с самолетным килем и маленькой глазастой рубкой.

105-е его погружение началось, как обычно: утром 21 июля 1980 года батискаф выкатил на берег геленджикской Голубой бухты, по рельсовой дорожке спустили на воду. Предстояло обследовать в море стенку подводного каньона...

Все шло привычно: глубина за иллюминатором, сначала нежно-голубая, зеленела, синела, пока вокруг аппарата не сомкнулась, наконец, непроглядная мгла. Включили забортные светильники. В прожекторных лучах медленно уплывала вверх неровная стенка подводного ущелья.

В 11 часов 17 минут гидронавты услышали легкий скрежет по правому борту, «Аргус» дернулся, накренился. Второй пилот Леонид Воронов выглянул в верхний иллюминатор: в нескольких сантиметрах от толстого стекла он увидел стальную оплетку кабеля. Дали задний ход — вырваться не удалось. После трех часов попыток вырваться гидронавты поняли, что застряли прочно: кабель придавил аппарат, под лыжами — грунт, по бортам — стенки каньона. Стрелка глубиномера застыла на 340 метрах. На такой глубине, не откроешь и люка, даже если дать в отсек весь сжатый воздух.

Так в солнечное июльское утро три человека оказались в беде: Евгений Павличенко, 37-летний командир аппарата, Леонид Воронов, правый пилот, студент-океанолог, и стажер-гидронавт Сергей Холмов, 1957 года рождения...

В Москве в Институте океанологии имени П.П. Ширшова была немедленно создана комиссия по спасению «Аргуса». К месту происшествия подошло судно «Гидронавт» под флагом Министерства рыбного хозяйства. Это было очень кстати, так как на борту «Гидронавта» находился глубоководный аппарат «ТИНРО».

Рассказывает один из участников спасательной операции командир глубоководного аппарата Михаил Севрюгин:

— Когда мы погрузились и приблизились к грунту, поняли, что найти «Аргус» будет сложно. Рельеф дна сильно пересечен: вымоины, обрывы, склоны... Гидролокатор в таких условиях почти бесполезен — идет сильный разброс эхо-сигнала. Однако, мы обнаружили кабель и выставили над ним буй. По звукоподводной связи удалось связаться с «Аргусом». Гидронавты сообщили, что чувствуют себя хорошо, слышат импульсы нашего гидролокатора. Воронов просил передать жене, чтобы не слишком переживала...

...340 метров. Почти столько же шагов отделяет домик Вороновых от эллинга «Аргуса». Людмила узнала о несчастье в числе первых. Сын — школьник и шестилетняя Олеся почувствовали недоброе лишь утром — папа не вернулся домой. Людмила провела бессонную ночь. Инженер-океанолог, она прекрасно понимала, что грозит Леониду и его товарищам.

Когда стало ясно, что своими силами не обойтись, из Академии наук позвонили в Главный штаб ВМФ. Аварийно-спасательная служба Краснознаменного Черноморского флота была поднята по тревоге.

Капитан 1-го ранга — инженер Н. Игнатьев не новичок в подобных делах. Но здесь случай особый. Если у подводных лодок есть целый набор стандартных аварийно-спасательных приспособлений, то «Аргус» — аппарат уникальный, существует в единственном числе. Игнатьев с трудом представлял даже, как он выглядит... На всякий случай включил в отряд спасательных кораблей кабельное судно «Цну».

«Цна» только что вернулась в Севастополь из трудного рейса, и ее капитан Ф. Китченко, объявив понедельник выходным днем, отпустил большую часть команды по домам. По счастью, Федор Терентьевич задержался в каюте и потому сам снял телефонную трубку. Звонил оперативный дежурный: «Вам срочный выход в район Геленджика!»

Тем временем на «Аргусе» встречали вторые подводные сутки. Павличенко открыл новую банку с регенерационными пластинами. Белые пластины, похожие на большие вафли, отдавая кислород, набухали, желтели. Аварийный запас пластин таял, как таяла и энергия в аккумуляторных батареях. Осветительные плафончики давно выключили. Горела лишь крохотная лампочка приборной подсветки. Ответные сигналы спасателям выстукивали молотком по запору люка. Дремали, стараясь как можно реже двигаться — неподвижный человек реже дышит. Провизионный бачок был набит домашними бутербродами, но есть не хотелось. Воро-

нов вел бортовой журнал, отмечая события со скрупулезностью ученого. Аппарат поднимают. В этом никто не сомневался. И верили, что поднимают раньше, чем иссякнет последняя пластина. Лишь бы не разразился шторм...

«Цна» пришла в район спасения к исходу вторых суток. Здесь уже «толпилось» немало судов — спасательных, поисковых, научных. Свежело. Кое-где уже вскидывались первые «барашки».

Это только на первый взгляд просто — приподнять кабель и стащить его с аппарата. Во-первых, приподнять надо так, чтобы не перевернуть при этом сам «Аргус». Во-вторых, нащупать кабель на дне морском весьма трудно — чаще всего он врастает в мягкий грунт, уходит в ил... В-третьих, на карте значилось несколько кабельных ниток: под какой из них «Аргус»? Решили начать с той, что ближе к берегу.

На кабельный бак — носовую площадку с огромными ролами — вышел начальник кабельной партии Николай Ефименко со своими помощниками. Волновались.

— Дерзай, Яковлевич! — подбодрил капитан «Цны» Ф.Т. Китченко, — у тебя на кабель нях особый!

Ушел за борт грапель — кус цепи с рогатыми звеньями. Минут через 15 прыгнула стрелка динамометра — есть зацеп! Подняли кабель.

Но напрасно Воронов в «Аргусе» вглядывался в иллюминатор — стальная оплетка возле стекла даже не дрогнула.

Бросили грапель во второй раз. Снова зацеп! Радоваться, однако, не спешили: вдруг опять не то?

Холмов уверял, что он первый заметил, как стрелка глубиномера сдвинулась «на микрон». Воронов прильнул к иллюминатору: тусклый свет светильника мерк в взбаламученной воде. Кабель не просматривался. Еще боясь поверить в то, что они свободны, гидронавты молчали. Потом сверху раздалась команда на всплытие. Продули цистерну. Но «Аргус», присосанный илом, не шевелился. Оставалось последнее — аварийный сброс груза. Семь свинцовых кругляшей упали на грунт, и аппарат дрогнул, качнулся...

Есть у гидронавтов своя песня (Холмов нередко пел ее под гитару):

За стеклом планктон летит,
Как снег, —
Это значит, мы идем наверх...

В иллюминаторах «Аргуса» бушевала планктоновая метель...

Аппарат вынырнул в двух кабельтовых от правого борта «Цны». Стрелки показывали 4 часа 42 минуты. Когда отдраили люк, Холмов поразился красоте серых, чуть брезжащих сумерек.

Вот и все. В послесловии к спасательной операции надо бы сказать, что в мировой практике подобные случаи с глубоководными обитаемыми аппаратами нередки. Это естественно: наука штурмует гидросферу планеты, а штурм есть штурм.

Аппарат «Аргус» — отечественной постройки. Он прекрасно выдержал необычное испытание. Особенно хорошо показала себя система жизнеобеспечения. 44 часа 25 минут провели гидронавты в небольшом по объему отсеке. Теплозащита не дала температуре внутри аппарата упасть ниже семнадцати градусов.

Главный успех спасательной операции приходится, конечно же, на долю кабельного судна «Цна». Говорят, в одном порту некий находчивый гид, который слыхом не слыхивал о тамбовской речке Цна, так перевел своим спутникам название судна: Центральная научная академия. Капитан Китченко смеется, но шутка отчасти справедлива, если бы судам, как и театрам, давали бы звание «академическое», «Цна», удостоилась бы его в первую очередь. Здесь подобрались редкостные мастера подводных трассвязей. Сам Федор Терентьевич бывший севастопольский юнга, опытейший на черноморье капитан-кабельщик высоко ценит изобретательскую жилку своих подчиненных. Вот электрик по кабельным устройствам Александр Кутик решил придумать то, чего нет пока ни на одном кабельном судне мира. Устройство по механической укладке кабеля — в танксы — трюмы. Это тяжелейшая ручная работа. Кутик подготовил чертежи принципиальной схемы будущего устройства. Судовые инженеры нашли их дельными. Сейчас работают над схемами сообща. Мы сидим с Вороновым и Холмовым (Павличенко в Москве) внутри «Аргуса». На желтой рубке, потемневшей от черноморского сероводорода еще не стерт смолистый след злополучного кабеля. Пространства внутри столько, сколько в танковой башне.

В стенке эллинга гвоздик, на гвозде — поздравительные телеграммы из Москвы. Одна — за подписью заместителя директора института океанологии: «Ваше мужественное поведение послужит примером для всех гидронавтов страны». Думаю, что не только для гидронавтов...

Мерцают южные звезды, таинственно уходят в ночную воду рельсы из эллинга. Воронов и Холмов спорят о преимуществах обитаемых аппаратов перед подводными роботами.

Вскоре они собираются работать по новой программе — археологической. Будут искать старинный затонувший корабль — амфороносец.

СОДЕРЖАНИЕ

АВАНТЮРЫ РУССКОГО ФЛОТА

5

АВАНТЮРЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

159

АВАНТЮРЫ ВО ЛЬДАХ

207

АВАНТЮРЫ СОВЕТСКОГО ФЛОТА

229

Николай Андреевич Черкашин
АВАНТЮРЫ ОТКРЫТОГО МОРЯ

Редактор *О. Рябова*
Технический редактор *Е. Кузьмина*
Корректор *А. Смирнов*
Компьютерная верстка *Л. Фирсовой*
Компьютерная обработка иллюстраций *А. Андреев*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 95 3000 — книги, брошюры.

ЛР № 00473 от 25.11.99

Подписано в печать 12.05.2004. Формат 84х108/32. Гарнитура Таймс
Печать офсетная. Бумага писчая. Усл. печ. л. 23,52 (в т.ч. вкл. 1,68)
Уч.-изд. л. 24,60 (в т.ч. вкл. 1,9). Тираж 2000 экз. Заказ № 2425. С 161

Набор и верстка выполнены ООО «Совершенно секретно»
103009, Москва, Б. Никитская ул., д. 22, офис 12. E-Mail: topsec@online.ru
Отдел реализации: (095) 291-51-44, 290-04-38

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 5-89048-128-2



9 785890 481283 >

